

1

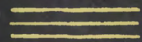
# Александр ГОВОРОВ

собрание  
сочинений

ТОМ 1



Александр  
ГОВОРОВ



1



Александр  
ГОВОРОВ



*Handwritten signature in white ink, appearing to read 'Alex'.*





# Александр ГОВОРОВ

собрание  
сочинений  
в четырех томах



МОСКВА  
«ТЕРРА»—«TERRA»  
1993

# Александр ГОВОРОВ

ТОМ 1

АЛКАМЕН-  
ТЕАТРАЛЬНЫЙ  
МАЛЬЧИК  
историческая повесть

ПОСЛЕДНИЕ  
КАРОЛИНГИ  
исторический роман



МОСКВА  
«ТЕРРА» — «TERRA»  
1993

ББК 84Р7  
Г57

*Художник В. БРАГИНСКИЙ*

**Говоров А.**  
Г57      Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1: Алкамен—  
театральный мальчик: Историческая повесть; По-  
следние Каролинги: Исторический роман.— М.:  
ТЕРРА, 1993.— 432 с.

ISBN 5-85255-244-5 (т.1)

ISBN 5-85255-245-3

Г 4702010201-054 Подписное  
А30(03)-93

**ББК 84Р7**

ISBN 5-85255-244-5 (т.1)  
ISBN 5-85255-245-3

© Издательский центр «ТЕРРА», 1993

## КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Говоров Александр Алексеевич, родился в 1925 году, том самом золотом году нэпа, когда история еще могла пойти другой дорогой, но не пошла.

Я родился в провинциальном городе Мценске, и если учесть, что, по словам этнографов, Орловщина и есть колыбель великорусской цивилизации, то уж наш Мценск должен почитаться как пуп земли Российской. Девяностолетняя прабабушка, дожившая до нас от времен крепостного права, искренне была убеждена, что все святые по-русски говорили, а Вифлеем где-то рядом, возле Стрелецкой слободы. А какие, послушайте, все-таки имена — Тургенев, Лесков, Фет, Иван Новиков... Киселев, автор 41 издания учебников математики! Ну как тут ребенку не стать литератором.

Род Говоровых в исторических источниках упоминается в 1606 году при Лжедмитрии, отчего мы предпочитаем называть его, Гришку, осторожно — Названный Димитрий. В нашем роду много знаменитостей — святой затворник и учитель Пушкина, прославленный маршал и харьковский ученый-врач. Я же появился на свет в семье скромных советских школьных учителей.

Семья матери происходит из не менее старинного рода. Ее приемный отец, кадровый офицер царской армии, погиб в рядах 13-й Красной Армии в день знаменитой битвы при Касторной (прислушайтесь — какой романтический рык в этом названии!). Это, однако, не спасло нашу семью от необходимости в 1930 году бросить все и бежать в Москву. Бабушка стирала наши порточкИ (жили мы без отца и в страшном убожестве), сидя за корытом на табурете — у нее были больные ноги. А соседки шипели — барыня! Впрочем, в тогдашних коммуналках жили просто, но дружно, видя в этом некий предвестник грядущего и всеми ожидаемого коммунизма.

Конечно, это она, бабушка, многотерпеливая русская женщина, патриотка в чиненных-перечиненных платьях, взлелеяла мою душу. Помню культ героического деда, рассказы о нем напоминают чеховские «Три сестры», да и вообще подсказывают крамольную мысль. Кто в течение поколений предвещал и подготавливал взрыв Октябрьской революции? Нет, не Буревестник Пешков и не Анатэма Андреев, нет — Чехов и его герои!

Ладно, это проблематично, а мы вернемся к моей автобиографии. Как бы то ни было, я учился в Московской 7-й образцовой школе, одной из школ, воспетых в знаменитых романах Юрия Трифонова. Учителя — фантастическая смесь интеллигентного барства, разночинства и пролетарских выдвиненцев, приучили меня с восторгом принимать небывалые перелеты, победные переходы, обожать революционных вождей и не видеть теней и мерзости оборотной стороны. Впрочем, ответил же Бисмарк на вопрос — кто победил Францию в кровопролитной войне? — прусский школьный учитель, подготовивший нацию победителей. В том же духе можно сказать и о нас. Победу в Великой Отечественной войне



1941—1945 гг. в значительной мере подготовил советский школьный учитель, полуголодный фанатик, пророк с авоськой и кипой школьных тетрадей в руках.

Лучше Вениамина Каверина никто, кажется, не написал об этом учителе, но, думаю, главный роман еще впереди. А мне вспоминается каждый из моих учителей с его неповторимой индивидуальностью и первыми, конечно,— Александра Романовна Левина, обратившая меня к истории, и Наталия Николаевна Недович — к художественной литературе. Будучи тринадцатилетним, я уже знал, что стану сочинять исторические романы, и весь наш класс (я учился тогда уже в московской 528-й школе) был уверен в этом. И как жизнь меня потом ни кидала, какие ни выписывала зигзаги, все же к этому привела.

Мне не посчастливилось быть на фронте (или, вернее, посчастливилось там не побывать), но мере войны довелось испытать, как и другим. Я копал окопы, работал на военном заводе, был и на трудовом фронте. В армии побыл совсем немного — из-за болезни, которая грызет меня и сейчас. Но вспоминаю это тоже с каким-то романтическим чувством. Запомнил на всю жизнь, как одна маленькая девочка заметила своей бабушке, позволившей предположить, что какой-то солдатик по какому-то поводу что-то соврал. «Бабушка! — с силой убежденности сказала она. — Как ты можешь думать такое? Он же красноармеец!»

Далее началось у меня шатание, о которых иногда вспоминать нелегко — что поделать, жизнь складывается не столько из достижений, сколько из неудач и ошибок. Пробовал стать и художником, и дипломатом, и даже юристом, но каждый раз все это обрушивалось в какую-то бездну и я замыкался в себе, прятался, что ли... Единственное, что осталось от той поры, — я безудержно писал стихи. Все они были, конечно, подражательны, теперь их перечитывать невозможно без снисходительной улыбки.

Я побывал, естественно, в нескольких вузах, но окончил (в конце концов) Московский городской педагогический институт имени В. П. Потемкина, исторический факультет. Сам я теперь уже давно преподаю в вузе и много раз переживал волнения по поводу новаций — а зачем вузы, зачем такая устаревшая форма передачи информации, как лекция, и т. д. и т. п. После интенсивных размышлений и воспоминаний прихожу, однако, к убеждению — нет, вуз конечно, нужен, и именно в той форме, как существует он тысячу лет, — и факультеты, и доценты, и лекции, и прогульщики... Был я парень информированный, начитанный, когда меня буквально за руку перетаскил на истфак его декан. Но на лекциях там я ничего для себя нового не получал, хотя читали их звезды тогдашней науки.

Но среда, среда! «Ум юношеский созревает среди себе подобных, в борении с умами авторитетов...» Пример талантливых товарищей и любимых педагогов — вот разгадка! Теперь частенько читаешь лекцию и ловишь себя на том, что невольно подражаешь Александру Алексеевичу Фортунатову — моему кумиру тогдашних лет — его жест, его интонация! На факультете каждую неделю (каждую неделю!) устраивались либо танцы, либо литературные вечера, на которые если и приходил декан, то потому, что сам любил потанцевать со студентками или прочесть стишок-другой.

И вновь на двинулось неотвратимое. После войны, после такой победы, думалось всем (в особенности, конечно, интеллигенции), должен же наступить светлый час всепрощения, примирения, полная и абсолютная свобода, обещанная Лениным еще на заре Октября. Между прочим, хотя все кляли колхозы, а о ежовщине говорили только шепотом, но по

свойственной русскому народу жертвенности считали, что так оно было нужно. Мой оракул, моя бабушка, например (из песни слов не выкинешь), искренне была убеждена, что, приди к власти троцкисты, было бы гораздо хуже, а без колхозов у мужика и зернышка хлеба не получить бы для победы, как и было в первую мировую...

Я сочинил тогда две повестушки, носившие автобиографический характер. Одну я назвал претенциозно — «Книга бытия», другую — «По ту сторону ночи». Они заключались в общих тетрадках в клеточку, брали почитать их охотно, даже переписывали, но, возвращая, озирались: а ты не боишься, что посадят? Что говорить, боялся, но как в той знаменитой книге — пепел Клааса стучал в мое сердце. Впрочем, ничего гениального в этих тетрадках, конечно, не было — те же среднестатистические колхозы, свобода печати, прощение белогвардейцам. Но как выяснилось потом, властей предержащих испугало там другое — попытка серьезного исторического анализа идей большевизма.

Кончилось, сами понимаете, в подвалах Малой Лубянки. Как утверждал покойный Варлам Шаламов, тюрьма есть образцовая школа жизни, но лучше никому не проходить этой школы. Честно говоря, я все подписал, что мне подсовывали, и не потому, что не вытерпел испытаний, нет. Я в общем человек выносливый. Подписал же по чисто моральной причине. Я ведь был очень молоденький, так сказать формирующийся, интеллект, а организованной силы сопротивления там, в тюрьме, я не встретил. Сидели кто угодно: и троцкисты, и анархисты, и дашнаки, но все это была причудливая смесь неудачников, просто несчастных людей...

И поехал я на Воркуту, в край с разноцветными небесами, как на картинах Роквелла Кента. Но прежде судьба приуговорила мне еще одну удивительную встречу. Было это в 1950 году в Горьковской пересыльной тюрьме, прославившейся своими автоматическими воротами, за которые будто бы начальник тюрьмы получил Сталинскую премию. Однажды рано утром в камеру явился новый этап, впереди которого шел величественный старик с белой бородою — отец Рафаил из Оптиной пустыни, не помню сейчас его мирского имени, да это и не нужно. Вот он стал стал за краткий период тюремного общения моим духовным отцом, обратил мою душу к христианству, хотя веровал я по-своему с самого детства. Должен сразу внести ясность — я никогда не состоял в рядах комсомола или партии, так что возвращать партбилетов не пришлось. Хотя опять же должен сказать честно — я не вижу особых противоречий между коммунизмом и христианством, возвышенная цель у них одна. Отсылаю к книге преподобного Хьюлетта Джонсона «Христиане и коммунизм», которую, кстати, можно бы издательству «Тerra» и периздать.

Лагерь в отличие от тюрьмы — это арена политической борьбы. Либо молоды мы были и кровь, что ли, в нас кипела, но жертвенности там не было никакой. Не согласен с А. И. Солженицыным, когда он своего мужественного Кавторанга делает таким нытиком, для лагерей нашей поры это не характерно. Думаю также, что главная книга о советских лагерях (не исследование, как «Архипелаг Гулаг», а чисто художественное произведение) еще не написана, и напишет ее, как мне кажется, не участник тех событий, а человек совсем другого поколения, так же как «Войну и мир» не мог написать участник войны 1812 года. В лагерях я прошел настоящую школу интернационализма, братской взаимопомощи, мужской выдержки и обязательности. И опять приходит в голову совершенной еретической мыслью: а может быть, где-то здесь тоже зародыш идеального общества, как у Томаса Мора или Этьена Кабе?

Не стану расписывать свое пребывание в лагерях, это перестало быть интересным. Мемуаров я не пишу, хотя все это конечно же своеобразным путем прошло в мои повести и романы — Алкамен, с его обостренным чувством свободы, Смирдин, который ничего для себя лично... Как же иначе быть писателю? Он вынимает собственную душу и препарирует ее перед читателем, облекая в символы и образы литературы.

Но вот пришел час освобождения, слава Никите Сергеевичу Хрущеву, который ухитрился провести свою перестройку без особенной катастрофы. Мне дали закончить институт. Некоторое время я был без работы. В детском доме, где я устроился было воспитателем, я не смог оставаться. Там были дети, отобранные у родителей по суду, а я сам был с незаросшими язвами от тюрьмы да от сумы. Искал работу, ходил по школам, но меня не брали, узнавая мою биографию.

Тут еще одна деталь моей пестрой жизни. Еще во время войны, в 1942 году, еле отвертевшись от завода, я поступил продавцом в букинистический магазин. Сказать, что это тогда меня очень увлекло, не могу. Я больше интересовался опереттой и девицами с улицы Кирова. Но какое-то время я пробыл правоверным букинистом.

И в 1955 году я совершил шаг, который потом описал в жизни моего героя Смирдина. Я пришел в книжную торговлю, а реально — в контору Москниготорга, где меня встретил доброжелательный Федор Митрофанович Корнюшко, кстати сам бывший армейский комиссар. И на мои слезные признания, что я такой-сякой лагерник, реабилитированный досрочно, он ответил — неважно, лишь бы работал честно. И стал я профессиональным книготорговцем.

Если бог даст мне еще здоровье и время, я напишу исторический роман о так называемой оттепели. Почему же исторический? Да потому, что это уже далекая история и для нынешнего читателя выглядит баснословно, как какая-нибудь эпоха Каролингов. Я отношу себя к поколению шестидесятников — какими же мы были идеалистами, боже мой!

Я не стану подробно описывать, как работал в различных книжных магазинах. Здесь главным было то же, что во всей моей бродячей жизни — встреченные мною удивительные люди! Кто-то кинул броскую фразу — «Книжная торговля есть пристанище неудачников». Ой ли? Мне говаривал один умница материальщик из тканевого магазина напротив: ну что ты, мол, в книжной этой торговле тянешь свою ляжку? Ты давай к нам... Я теперь частенько его вспоминаю — небось уже миллионер и виллы у него. А все же я не ощущаю себя неудачником. Конечно, мы, профессиональные книготорговцы, бедны, как церковные мыши, и все же, да простит мне Бог, в каждом из нас есть что-то от Христа и мы знаем это и ценим выше всяких убогств.

А вот Сергей Ерофеевич Поливановский, многолетнейший директор Москниги, человек высочайшей культуры и непомерного остроумия. Про него даже одна газета в те времена озаглавила фельетон «Не там сидит». А он крепко сидел на своем месте, и провозагать его на кладбище пришло пол-Москвы. Почему я его припомнил в автобиографии? Потому что он предсказал мне судьбу. Хотя я втихомолку и занимался литературными опытами, но лет до сорока видел свою жизнь только в книжной торговле, и только в ней.

Однажды девушки из конторы мне говорят: «А Ерофеич-то опять тебя из списков кандидатов в директора вычеркнул. И что ты, дурачок, в партию не вступаешь!» Я выбрал удобный момент и с претензией к нему. Он поглядел на меня с лукавинкой и сказал: «Никогда не быть тебе директором. Ты из другого теста сделан».

Потом я работал в Центросоюзе, это могучая организация, государство в государстве. Для тоталитарной экономики того времени какой-то реликт с известной свободой личной инициативы, с народнической страстью работать для крестьянина. Дали мне экзотический титул — главный товаровед по книге, и стал я служить селу. Объездил всю страну, от целины до Молдовы, от сердца Азии до старинных местечек Беларуси. Но не только жажда путешествий меня влекла.

Сейчас я выскажу такое, за что демороссы снесут мою бедную головушку. В 1960 году было опубликовано партийно-правительственное постановление о книжной торговле. Там был пункт, на основе которого развитие книжной торговли в сельской глубинке финансировалось за счет общих доходов потребительской кооперации — заготовок, переработки сельхозпродуктов, продажи водки, селедки и пр. И это было справедливо, чтобы книга шла к сельскому жителю.

И я приезжал в какой-нибудь райцентр или большое село, имея все полномочия. И брал я за жабры какого-нибудь дремучего завторга: почему, мол, у тебя товаровед по книге получать на базу шампанское поехал? «Да план же горит!» — стонал завторг, но я заставлял вернуть товароведа в книжный магазин, который действительно не приносил денежной прибыли. И чувствовал я себя при этом в роли подвижника культуры. А один приезжий француз из Бордосского университета, которому я долго растолковывал, что за профессия у меня и должность, удивился и гарантировал, что человечество однажды оплатит мне за мой труд особой признательностью... (Я буквально перевожу его французские слова.)

Но чу! — как выражались романисты прежних времен. Разрешенный мне объем автобиографии заканчивается, а я главное и не сказал — как же я стал писателем?

Когда сидел я на Малой Лубянке, но уже на выход (т. е. перед освобождением), условия были сносные, одно плохо — одиночка! Надзиратель на мои жалобы угрюмо шутил: не наловили еще... Так, я от нечего делать мерил камеру шагами и придумывал сюжеты исторических романов. Ей-богу, не шучу — я до сих пор выполняю эту программу и пока целиком ее не реализовал. Конечно, я не продумывал конкретных героев или конкретные коллизии, скорее это был перечень тем, которые я по моим убеждениям, пристрастиям или познаниям мог бы поднять.

Однажды в 1960 году был я в командировке на целине с Самуилом Ефимовичем Миримским из издательства «Детская литература». Случайно оказались мы вместе в гостинице, и нас там задержал многодневный буран. Я признался попутчику, что грешу писательством, много мы спорили и рассуждали. Сам прекрасный писатель (под псевдонимом С. Полетаев) он понял меня и говорит: «Напиши нам на пробу какую-нибудь главичку, приходи, потолкуем». Приехав домой, я сел писать главичку, но так и не смог встать из-за машинки, пока не получился «Алкамен — театральный мальчик». Пришел в издательство с рукописью уже в конце зимы. Миримский говорит: «Что же ты пропал? Повесть целую принеся? Какой чудак ты, право!»

Да, Муля, я чудак. Спасибо тебе, добрый человек, мой крестный отец в художественной литературе.

Думаю, не стоит подробно рассказывать, как сложилась та или иная вещь, каждая имеет свою историю. Хочется сказать лишь несколько наиболее общих соображений, так сказать в напутствие читателю, взявшему на себя (так и хочется соболезующе улыбнуться) труд раскрыть мое собрание сочинений.

Я избрал своим жанром так называемый профессорский роман, то есть художественное произведение, написанное ученым, знатоком в своей области, однако написанное без какой-нибудь занученности, по вольным законам литературного творчества. В Европе провозвестником этого жанра был великий немец профессор египтологии Георг Эберс («Уарда», «Император», «Арахнея»), у французов, конечно, Проспер Мериме. У нас не обойти Юрия Тынянова, Ивана Ефремова, Владимира Обручева. Но основная глыба здесь, конечно, это Алексей Николаевич Толстой и его «Петр I». Он наш общий учитель, основными эстетическими критериями его руководствуюсь и я.

Недавно я прочитал сообщение международных статистических организаций, что в мире по количеству тиражей и переводов первое место стойко держит Жюль Верн. Это очень обнадеживает и приводит к оптимистическому выводу, что человечество в целом движется в сторону прогресса, сулит и отрядные перспективы такому познавательному жанру, как наш.

Прислал мне письмо правнук славного Смирдина (да нет — праправнук!), потомок его дочери Кати Александровой. Сам уже старый человек, он благодарит за «публикацию» свидетельств о доме и семье его прабабки... И я оказался в чрезвычайно трудном положении — ведь архивы Смирдина совершенно не сохранились. Мемуаристы-современники, даже такой, как Н. П. Полевой, о его быте совершенно не писали. Что было делать бедному автору? Бедный автор реконструировал этот быт (придумал, что ли?) на основании других памятников и свидетельств эпохи.

Я не мастер писать про царей и императоров, все-таки дитя советского мышления, я республиканец в душе. Библиотекариусы, кузнецы, купцы, типографщики, их дочери, жены, свояченицы — вот мои излюбленные герои. Я не сяду писать, пока досконально не вызнау все про реалии быта и психологию людей, изображаемых мною, и это готов защищать я, как некую диссертацию.

Теперь уже мои литературные произведения выходили много раз в нашей стране, переводились и за рубежом. Нелегкая история их печатания, как ни странно, продолжается. Например, тяжело давшийся мне «Флореаль» в 1968 году еле напечатали, поскольку, по мнению издательского руководства, у меня был явно беспартийный взгляд на Парижскую коммуны, а к столетию Коммуны мой роман был вообще вычеркнут из списков для переиздания. Комично то, что и теперь некоторые издатели в ужасе отшатываются от него — ты же там Коммуну воспеваешь!

Когда мне исполнилось сорок лет, я сделал трудный для себя выбор и не стал профессиональным писателем. Я работаю в Московском полиграфическом институте, я доктор исторических наук по специальности «Книговедение», а профессор я по специальности «Управление и экономика». Видите, какая разнообразная сфера интересов? Я заведовал кафедрами, был и заместителем декана, выше не поднимался. Преподавал я большей частью историю книги, написал и издал много научных публикаций, в том числе учебники.

У меня в студентах и аспирантах перебивало множество народа. Некоторые работают теперь в издательствах, другие в журналах, книготоргах, в букинистических магазинах, где угодно. Я получаю много писем, в том числе от моих бывших учеников, которые уверяют, что, когда читают какой-нибудь из моих романов, будто слышат мой голос на лекции. И я рад! Значит, прочная и живая протянулась к моему читателю сердечная нить.

*Александр ГОВОРОВ*

# АЛКАМЕН- ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК

Историческая повесть



В учебнике Ф. П. Коровкина «История древнего мира» (учебник для 6-го класса средней школы, издание 5-е, М., 1992) историческая повесть А. А. Говорова «Алкамен — театральный мальчик» рекомендована в списке литературы для внеклассного чтения.

## ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО МНОЙ

Меня зовут Алкамён, мне тринадцать лет. Я родился в Афинах, в славном городе, который поэты называют «пышновенчанным» и «белоколонным».

Однако, если я иду по улице, я низко опускаю голову и вижу только ноги прохожих. Ведь я раб, сын рабыни и не смею поднимать глаза на свободных. Вот я и хожу по улицам, не видя красоты белокаменных портиков и величавых кипарисов, которые воткнули свои верхушки в ослепительное небо.

По вечерам, когда зной сменяется прохладой, рабы возвращаются с поля или из мастерской. Они еле волочат ноги, их ужин (кусок хлеба и горсть маслин) остается несъеденным до утра: усталые, они валяются спать. Тогда из темных сараев и мрачных подвалов сквозь стрекот цикад и крики сов доносится невнятное бормотание. Это рабы во сне проклинают Афины. Они желают этому городу, чтобы храмы его рухнули и задавили под развалинами его жен и дочерей, чтобы огонь пожрал его масличные рощи, чтобы чума, мор и запустение пришли в его предместья и села...

На разных языках они осыпают проклятьями его, великий город, за то, что заковал их ноги в цепи, забил шею в колодки, изнурил непосильной работой, отнял молодость и счастье.

Мне же старик Мнесило́х (я вам позднее расскажу о нем) говорит:

— Ты еще молод, не испытал еще рабского горя, ты любишь наш город и совсем не похож на раба.

Да, я люблю Афины! Когда вечереет, я забираюсь по козьей тропе на рыжие скалы Акрóполя и наблюдаю, как Феб-Солнце осторожно низводит свою раскаленную колесницу в пучины океана. Становится сразу темно, и по



рошам пробегает легкая дрожь — вечерний ветерок. Вероятно, Феб вспоминает вдруг, что забыл попрощаться с грешными жителями темной земли. Его пунцовая глава еще раз прорывает пелену далеких туч и словно бы кивает на прощанье смертным: «Не печальтесь, ложитесь спать, утром я приду снова».

Нужно обязательно спросить Мнесилоха, почему, когда огненная колесница Феба касается холодных волн, нет ни пара, ни шипения, как это бывает у нашего кузнеца, когда он раскаленную добела подкову швыряет в чан с водой.

Пока ночь не скрыла очертания города, я поворачиваюсь в другую сторону и вижу округлые склоны Гиметских гор. Там низкорослый лес чередуется с полями виноградников и горы похожи на плохо остриженного барана — один бок кудрявый, другой с проплешинками. Между гор вьется дорога в Марафón.

И тут я думаю о славе родного города, о его свободной силе, которая одержала там, в Марафоне, десять лет назад, победу над варварами.

Но если я повернусь в третью сторону, там, несмотря на то что тьма уже завладела пространством, видится побережье, чудятся реи и снасти судов, пришедших из далеких стран. Там по палубам разгуливают обожженные солнцем и просоленные морем матросы, отважные, как аргонавты.

И все это мне недоступно — ведь я раб!

Свою маму я помню плохо. Вижу как сквозь сон, будто мы с ней идем в сад, все кусты усыпаны пышными цветами и пахнет так приятно. Помню, как большие белые руки матери проворно срывали цветы, она пела и плела венки. Эти венки мама уносила в храм, для которого она их плела, а один венок, самый красивый, мы несли в священную рощу, что позади нашего храма. Там мать надевала венок на шею гермы Солóна, изображавшей приятного старца с длинной бородой.

Как и у всех детей, у меня на груди висит на витом шнурке амулет. Мой амулет — простой оловянный кружочек, на котором выбита одна буква. Мнесилох мне объяснил, что это буква «Е», с которой начинается слово «елевфэрия», что значит «свобода».

Я смутно помню, как мама шептала, укладывая меня спать:

— Храни амулет, не снимай, он принесет тебе счастье!

Когда мне минуло четыре года, меня начали посылать с другими детьми на виноградники ловить слизняков на листьях. Однажды, вернувшись, я не застал моей мамы. Я долго кричал и звал ее, но никто не утешил меня и не объяснил, куда она делась. И я стал сиротой.

Гермы — мраморные столбы с головами богов и героев — до сих пор, конечно, стоят в священной роще. Старик Мнесилох открыл мне, почему мама надевала венки именно на герму Солона. Солон, оказывается, велел освободить всех рабов-греков, родившихся в Афинах. Родители моей матери, свободные афиняне, были проданы некогда за долги в рабство в далекую Персию; законы Солона застали их там, и они не получили свободы. Мою мать еще девочкой купили и привезли сюда, на родину ее предков. Так мы и остались рабами.

— Впрочем, — добавлял при этом Мнесилох, — среди герм есть и изображение Клисфена, а Клисфен тоже освободил многих рабов и даже дал им землю. Так что ты, парень, не горюй. Кто-нибудь из вождей демократии даст тебе свободу, недаром же ты потомственный афинянин.

А пока в ожидании свободы я лазаю сюда, на скалы Акрополя, и смотрю на призраки кораблей в ночном маре море.

## ТЕПЕРЬ ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С МОИМ БОГОМ

Я не принадлежу какому-нибудь частному лицу, я — раб бога Диониса. Не его самого, конечно, потому что боги, я думаю, не нуждаются в рабах, я — раб его храма, который стоит на южном склоне Акрополя.

Мой хозяин, бог Дионис, сын бога Зевса и смертной женщины Семелы, так же, как и я, в раннем детстве лишился матери. Его воспитали веселые нимфы цветов. Прежде чем попасть на Олимп, ему пришлось испытать еще много тягостей: он блуждал по лесам и рощам с козлоногими сатирами и вакханками и даже был вынужден жениться на Ариадне, покинутой афинским царем Тесеем. Кончилось все тем, что титаны, мятежные братья богов, разорвали Диониса в клочья, и только тогда он вознесся

на Олимп и стал богом плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства.

В честь Диониса происходили состязания поэтов, театральные представления.

В долгие зимние вечера, бывало, когда стонут вихри и даже выпадает снег, рабы в сарае жмутся друг к другу, стараясь согреться: ведь из экономии нам не дают ни дров, ни угольев для жаровни. Тогда кто-нибудь из стариков рассказывает мифы. Особенно хорошо рассказывал о чудесных превращениях наш садовник Псой, необыкновенно костлявый человек, с глазами такими ясными, что их, казалось, можно было увидеть и в темноте сарая.

Он рассказывал про Диониса, а я, маленький, думал о том, что и мне суждено перенести всевозможные страдания, пока наконец я не сделаюсь свободным и счастливым. Меня особенно страшило, что, может быть, придется жениться или быть разорванным на части, но я готов перенести и это ради конечной свободы.

Теперь я достаточно взрослый и не верю старушечьим рассказам о чудесах. Почему так случилось? Потерпите, я сейчас вам все расскажу по порядку.

Внутри нашего храма между рядами стройных колонн, окутанный ароматным дымом, возвышается сам бог Дионис — не сам Дионис, правда, а его разукрашенная статуя. Впрочем, жрецы уверяют, что во время богослужения бог прилетает с Олимпа и незримо поселяется в статуе, вдыхает аромат курений и запахи жертв.

Маленький, я очень боялся этой статуи. Когда я в храме держал вместе с другими мальчиками шлейф священной мантии верховного жреца, у меня подгибались колени: мне казалось, что бог, которого скульптор изваял улыбающимся, иногда загадочно подмигивает сквозь дымную пелену курений и даже показывает мне свои острые, безжалостные зубы. Когда я получал назначение идти в храм прислуживать, я втихомолку плакал от страха, но просить об отмене приказа я не решился, потому что это прогневило бы всезнающего бога.

Однажды добрый садовник Псой принес слепого, жалкого котенка. Псой подобрал его на краю канавы, кто-то бессердечный хотел его утопить. Я посадил котенка себе за пазуху и так носил под хитоном. Пушистый забавно щекотал мне грудь влажным носиком, а когда повзрослел, стал и коготки пробовать о мою кожу. Я делил с ним свой хлеб и рыбу, а он ночью ложился мне на шею,

как меховой воротник, и мурлыкал о подлунной стране, где по остриям крыш ходят вольные кошки, задрав хвосты.

Вскоре он вырос и сделался кошечкой с египетскими глазами, огромными, как бронзовые пуговицы. Еще через некоторое время кошечка захотела принести мне котят.

И вдруг она исчезла! Я был уже достаточно большим, чтобы плакать, но не находил себе места: осаждал рабов расспросами о моей кошке и даже осмеливался спрашивать жрецов. Ночью я прислушивался, не идет ли моя мягонькая, моя ласковая, единственное мое существо...

— Когда кошка собирается принести котят,— утешали меня рабы,— она прячется подальше от глаз людей.

Наконец однажды Псой заметил:

— Уж не твоя ли кошка кричит где-то в храме? Прислушался я сегодня, вроде мяучит где-то, а где — не пойму.

Я тоже прислушивался во время богослужения, и действительно, сквозь пение гимнов и молитв мне слышалось тихое мяуканье. Что делать?

В полдень, когда в богослужении наступает перерыв, а разморенные жарой и обедом жрецы отдыхают под парусиновым навесом, я проскользнул в маленькую дверцу позади алтаря.

Как билось мое сердце, когда я вступил под сумрачные высоты огромного зала! Можно было каждое мгновение ожидать, что колонны рухнут, чтобы задавить меня, маленького святотатца.

Но нет, ничего. В храме — ни души. Каждый шаг рождает робкое эхо где-то на балконах, а с улицы доносится скрип колодезя и грустные крики осла.

Бог белой тенью высится в полутьме. Он как будто шагает — правая нога выставлена вперед. Руки у бога вытянуты по швам, как у воина в строю, а рот смеется: улыбка царит между выпуклыми щеками и острым подбородком. Страшно смотреть на эту улыбку!

А вот и мяуканье, отдаленное, как будто из глубин Аида. Где же она, моя кисонька?

Не может быть! Я остоленел от ужаса: мяуканье доносилось изнутри статуи. Ноги сами меня понесли вон из храма. У дверцы, однако, я задержался: неужели кошка действительно сидит в статуе? А как же бог?

Помедлив, я зашел за спину бога, куда жрецы посто-

ронных не пускают. В ножище статуи чернело отверстие. Я заглянул туда и отпрянул: навстречу мне высунулась усатая мордочка. Кошка прыгнула мне на плечо, ластилась, мурлыкала, и тут мы нагляделись друг на друга вдоволь. А внутри пищал разноголосый хор... Догадалась-таки хитрая зверюшка вывести котят внутри бога!

А он — ничего, даже не шевелится, все так же улыбается с недоступной высоты. Я сунул голову в отверстие: там было темно, но многочисленные дыры в статуе, незаметные снаружи, пропускали лучики света, и можно было разглядеть распорки, паутину и мусор внутри.

«Если правда, что бог Дионис прилетает с Олимпа, не станет он ютиться в такой пакости», — подумалось мне, и страх от меня отлетел.

Я вынул из-за пазухи кусочек сала и стал кормить голодную кошку.

Вдруг железные пальцы сдавили мое плечо. Я обернулся: младший жрец Килик, схватив мою кошечку за хвост, изо всей силы шмякнул ее головой о каменный парапет. Затем Килик сунул руку в отверстие и, пошарив, вытащил слепых котят, крошечных, как мыши. Дрожащих, несчастных, беззащитных, он утопил в бассейне с водой, куда фонтан бросал светлые струи, у подножия улыбающегося бога.

Маленьких, слабеньких — утопил! Бешенство затмило мои глаза — я ринулся и вцепился зубами в руку жреца. Килик схватил меня за шею и погрузил мою голову в бассейн. Я захлебывался, глотал холодную воду, в глазах расплывались радужные круги, я хотел кричать, в раскрытый рот входила вода, вода...

Но пальцы Килика разжались, кто-то меня вытащил и положил на пол. Я открыл глаза — надо мной старик комедиант Мнесилох отпихивал рассвирепевшего жреца.

Так в мою жизнь вошли они — Килик и Мнесилох, вошли вдвоем: один как злой, другой как добрый демоны. А бога Диониса я перестал замечать. С виду он такой неприступный и важный, как главный стражник на рынке, а внутри — труха и паутина. Не мог даже заступиться за бессловесного котенка, а что ему стоило хоть пальцем двинуть?

## ЖРЕЦ КИЛИК

В храм Диониса целый день идут и едут богомольцы. Тот просит исцеления от болезни, другой молит урожая, третья ждет ребенка, четвертый, наконец, явился так просто, от любопытства или от нечего делать. Все приносят в храм богатые дары: ковер за удачную торговлю, вазу за оправдание в суде, курицу за разгаданный сон. На каждом даре написано, за что именно подарен, а у курицы на шее — ярлычок с надписью.

Дары принимает младший жрец Килик. У него косое пузо, ручки и ножки, как щепки, и он напоминает круглую курильницу на проволочных ножках. Ковры, сосуды, треножники и прочую дареную утварь Килик переписывает и отправляет в сокровищницу, а телят, ягнят, кур, зайцев громко приказывает возложить на алтарь богов. Привычные рабы понимают, что это значит: разжигают на алтаре огонь и начинают палить шерсть и перо. Килик объявляет верующим, что бог милостиво принял жертву. Почувствовав запах паленого, жертвователи уходят, а рабы относят мясо на кухню.

Обман этот мне не нравится, но я молчу. Богу все равно ведь — не нужна ему человеческая еда, ну, а от зловерного Килика можно заработать веский подзатыльник.

Больше всего Килик не любит, когда жертвуют уже за-жаренное мясо или печеные плоды. Все это надо сразу же есть, чтобы не испортилось, и часто приходилось отдавать еду рабам, — вот рабы рады!

Зато вечером, когда богослужения, процессии и гадания кончаются и утомившиеся богомольцы расходятся на постоялые дворы спать, в дом Килика, что стоит позади храма, собираются гости: жрецы, торговцы и просто граждане из числа приятелей Килика. Они едят жертвенное мясо, запивают жертвенным вином, — пусть простодушные верующие думают, что это прозорливый Дионис съедает такие количества!

Понятно, что с Киликом у меня вражда. Я досаждаю ему где только могу. Однажды в праздник Великих Дионисий меня поставили позади девочек-хористок, чтобы я держал над ними страусовое опахало. От скуки я взял бечевку и незаметно связал косички маленьких певиц. Девчонки старательно разевали рты и ничего, конечно, не почувствовали. По знаку Килика они должны были под музыку красиво разойтись по храму. Вместо этого дев-

чонки завизжали и схватились за волосы: бечевка помешала им отойти друг от друга.

Килик получил выговор от верховного жреца, но никому слова не сказал. А вечером он отщелкал меня палкой по затылку.

Когда он пирует с друзьями, мы все нагружены работой. Готовим столы, тазы, пряники, подушки, венки, маковые булki, коврижки, лепешки, благовония, сладости и музыкальные инструменты, а потом прислуживаем за столом.

Как-то раз пирующий Лисия, перекупщик зерна, чье худое лицо всегда напряжено от злобы, а глаза словно ищут, кого бы избить, приказал девушке-флейтистке поправить на нем венок из роз. Девушка стала расправлять лепестки цветов, и в этот момент ее белые руки напомнили мне далекий сон: руки мамы, плетущие венки. То ли девушка устала, то ли пьяный перекупщик пошатнулся, ветка слегка стегнула его глаз. Лисия поднялся на локте... Жилистая рука отвесила девушке пощечину. Флейтистка, плача, уползла на четвереньках, потому что хмельные гости стали с хохотом и визгом кидать в нее кубки, кувшины, серебряные блюда. А пир продолжался: бренчали бубны-тамбурины, протяжно пели хористы, звенели чаши.

— Эй, мальчик! — хрипло кричал мне Лисия. — Поддай новый кубок, мой укатился под стол.

Он уже не отличал белого от черного. Я подал ему медную чашу с уксусом, в который пирующие макали мясо. Лисия, зажмурив глаза, схватил и жадно выпил. О, если бы вы видели, что случилось! Он замяукал, как пантера, и подпрыгнул над столом; повалив высокие светильники, он стал кататься по ломам. Одежда его затлелась, и все кинулись гасить.

Никто не заметил, что именно я подал ему уксус, но на всякий случай я исчез. А наутро Килик отстегал меня плетью.

Так мы с ним, с Киликом, и живем: проказы за тумаки, тумаки за проказы.

## МНЕСИЛОХ-ПРИХЛЕБАТЕЛЬ

Весной во время пахоты бог Дионис покидает храм и идет в поля, согретые ласковым солнцем. Идет он, конечно, не собственными ногами, а в образе статуи движе-

тся на носилках, на плечах рабов. Впереди идут музыканты: ударяют в бубны, играют на флейтах, некоторые звенят струнами цитр. Жрицы, изображающие вакханок, кружатся на ходу, черпают из горшков лепестки роз, осыпают ими встречных. Ведут ручную пантеру, по кличке Милашка, шествуют жрецы, а за жрецами уж идем мы — мальчики. Страдая от жары, мы тащим священные принадлежности: кубки для возлияний, серебряные чаши, кадила, курильницы. Килик в пышных одеждах семенит на кривых ножках, следит за всем недремлющим оком.

На мою долю досталась тяжеленная амфора. Я нес ее на плече, потом на спине, тащил в охалке — весь измаялся. Дай-ка, думаю, погляжу, что внутри. Открыл незаметно, а там шарики пахучего снадобья — ладана; эти шарики кидают на уголья жертвенника, чтобы дым становился благоуханным. Я стал потихоньку выкидывать эти шарики в пыль дороги, и амфора становилась все легче и легче. Внезапно Килик заметил мою хитрость, выхватил амфору, хотел надавать мне затрещин, но я ловко защищался ладонями. За нами шли толпы верующих. Килику не хотелось затевать скандал на людях, и он только прошипел:

— Погоди-ка ты у меня!.. А ну, выйди из шествия!

И я пошел по обочине дороги, в тени каштанов, по прохладе. Как будто бог Дионис сам по себе, а я — сам по себе.

Шествие вышло из Афин через двубашенные ворота и повернуло в город Ахárны. Ахарняне — народ суровый, кряжистый, недаром зовут их «вояки марафонские» за то, что в битве при Марафоне они одни не дрогнули, не побежали под натиском персов. Ахарняне плетут корзины, жгут уголь, сеют хлеб. Хороши у них виноградники — виноград крупный, как янтарные слезы, или удлиненный, как пальчики богини!

Мы проходили через предместье Колон, мимо дома богача Ксантиппа. Музыканты перестали играть, жрецы повернули головы, с любопытством прислушиваясь. Из дома Ксантиппа слышались крики, ругань. Там здоровенные рабы волокли на улицу однорукого старика в нарядном хитоне голубого, модного, цвета.

— Берегись каждого, кому ты сделал добро! — кричал старик. — Вот посмотрите-ка, люди, как меня Ксантипп на улицу выгоняет! Ксантипп, которому я — благодетель!

Тут из окошка верхнего этажа высунулся сам Ксан-





тип, худой, черномазый, со всклокоченной бородежкой, и закричал, сверкая белками глаз:

— Ишь какой благодетель! Есть да пить на мой счет — вот благодетель! Хитон ему новый подарил, люди добрые, так он хозяина злым словом поносит!

— Кончил бить в барабан и палочки забросил! — жаловался старик. — Не нужен ему теперь веселый Мнесилох, на улицу выкидывает!

Ба! Да ведь это тот самый старик комедиант, который вырвал меня однажды из рук разъяренного Килика.

— Эй, рабы! — неистовствовал в верхнем этаже Ксантип. — Хватайте этого шута, раз, два, три!

Рабы выбросили Мнесилоха в канаву, и он остался там лежать, умоляя помочь подняться на ноги. Люди, посмеиваясь, проходили мимо: Мнесилох был известный проказник — всем казалось, что он и на этот раз играет очередную шутку.

— Кошка разбила горшок, и наказали собаку! — стонал Мнесилох. — Доблестные граждане, помогите инвалиду, который сражался за вас при Марафоне.

Я подал ему руку. Мнесилох уцепился, выбрался наверх.

— Тебе помочь? — спросил я. — Тебя больно побили?

— Ха! — засмеялся Мнесилох. — Боги осла знали: не дали ему рогов, так он больно не забодает!

Подбежал один из рабов Ксанטיפа, вручил сверток — там была старая одежда Мнесилоха.

— Он думает, что я сниму дареный плащ, надену ломотья! — воскликнул старик. — Э, не таков Мнесилох: что ему в руку попало, то и приклеилось.

— Проваливай! Проваливай! — закричал из окна Ксантип. — Эй, рабы, выпустите на него собаку!

Услышав про собаку, я предложил:

— Давай я тебя отведу. Где ты живешь?

— Где я живу? — усмехнулся старик, стряхивая пыль с нового хитона. — Крыша мне — небо, звезды в ней — дырки, вместо дождя серебро в них льется. Серебра так много, что и кушать не на что.

Пока я поддерживал старика под локоть, выводя на ровную дорогу, он всматривался в мое лицо.

— Эге-ге! — вскричал он. — Это ты, маленький раб Диониса? Ну как, твой Килик больше не устраивает тебе купанья в храмовом водоеме?

Мне было неловко вспоминать о том случае, и я про-

молчал. Мнесилох ковылял, вздыхая, громко жалуясь богам. Так дошли мы до поворота дороги. Хвост шествия в честь Диониса уже скрылся за пальмовой рощей.

— За что тебя Ксантип? — осведомился я. Мне было нестерпимо жаль бездомного старика: ведь все над ним только потешались.

— А я его обличаю, малыш, — ответил Мнесилох. — Богат он — я напоминаю, что монеты пахнут слезами. Счастлив — рассказываю об Эдипе, который все растерял — царство и детей, блуждал слепым нищим. Буйствует — кротостью укоряю. Только этого героя не проймешь — неукротим, считает себя вторым Гераклом.

— Почему?

— А вот подрастешь, узнаешь, как честолюбие иногда правит человеком, заставляет всем жертвовать — и собой, и близкими... — Мнесилох вздохнул и погладил меня по голове. — А ты беги, беги, догоняй свое шествие, попадет ведь тебе от Килика. Я отсюда и сам дойду.

Тут настиг его раб, передал деньги от Ксанטיפа.

— Раскаялся? — вскричал Мнесилох. — Разжалобить хочет? Ну нет, Мнесилох хитон взял, потому что нечем прикрыть рубцы ранений. А деньги Мнесилоху — тьфу!

И он кинул их в пыль — большие деньги, целую пригоршню монет! У меня дух занялся.

С этого дня мы сделались друзьями. Мнесилох жил прихлебателем у богатых людей; поживет у одного, забавляет словечками и выходками, потом надоеет — ему дают подарок и выпроваживают без стеснения. Мнесилох перебирается к другому; там повторяется та же история.

В комедии он был самым забавным, в народном собрании — самым горластым. Ни одного происшествия в городе не обходилось без участия Мнесилоха, ни одного праздника, ни одной церемонии.

## МЫШИ, ТОРГОВКИ И ЛЕПЕШКИ

У Диониса, моего бога, много имен. Когда он, весной, называется Эвантом — цветущим, люди веселятся, плетут венки из мяты или сирени, поют задушевные песни. В разгар жаркого лета он бывает Бессареем — неистовым. Осенью, когда кончается жатва, его называют Иакхом. Ночью с факелами в торжественном шествии народ несет

статую бога в Элевсйн, где царствуют богини земли — Демётра и Персефона.

Но один раз в году, в весенний улыбчивый день, Дионис, по имени Элевфэрий, делает всех рабов свободными, на один только этот особенно солнечный день! Хмурые господа стараются сидеть дома, а рабы на лугах водят свои хороводы, украшают друг друга розовым шиповником и синим барвинком, ходят друг к другу в гости.

В этот день я спросил у мальчишек, рабов нашего храма:

— Хотите есть, мелюзга?

— Хотим! — без запинки отвечали мальчишки.

Еще бы! Килик лучше сгноит припасы, чем даст лишний кусок рабам.

— Тогда ловите мышей, зверята!

— Зачем мышей? — слышались недоуменные голоса.

— После узнаете.

И мальчишки принялись за дело. Стянули у повара кусочки сала, использовали их как приманку. Мышей в кладовых храма было видимо-невидимо; они ели ту самую снесь, которую накапливал Килик. Мы караулили и хватали мышей ловчее, чем заправские кошки, и уже через час корзинка с крышкой была набита мышами.

Мальчишки дружно двинулись за мной. Килик проводил нашу ораву подозрительным взглядом. Но что он мог сказать? Этот день был наш!

Афинский рынок — самое многолюдное место на земле. Кого тут только не встретишь! Киммерйец продает меха, сириец — ковры. Печальный перс с испуганными глазами свистит в дудочку, и над корзиной покачиваются головы ядовитых змей. Глазастые марафонцы продают пахучие дыни, клянутся, бьют себя в ребристую грудь и врут безбожно. Горшечники из Керáмика равнодушно дремлют у пирамид своих расписных сосудов.

Прогуливаются важные стражники-скифы, курносые и белобрысые, держат за спиной красные палки, которыми они расчищают путь телегам и всадникам, а иной раз дубасят дебошира и пьяницу.

Мы опасливо обошли ряд, где продавали рабов (кто же из нас не обойдет это место с замиранием сердца?), и пришли к обжорному ряду, где едят и пьют, кто сидя на земле, кто прямо верхом на осле, а кто взобравшись на

повозку и колесницу. Шум стоит невыносимый — гул голосов, ржанье лошадей, вопли ослов, скрип телег.

А торговки, торговки!

Они мне представляются в виде свирепых Эвменид — богинь мщения. Все они черные, носатые и ужасно худые или, наоборот, распухшие от жира. Все, как одна, горластые, они любят махать перед носом покупателя цепкими руками. Когда покупатель входит на рынок, они улецают его ласковыми словами, называют красавчиком, сулят в жены дочь персидского царя. Если же покупатель проходит мимо, они позорят его прабабушек и прадедушек, пытаются ухватить за край плаща, словно хотят растерзать.

У них продаются лепешки — сдобные и мягкие, у них — камбала, прозрачная, как сон, у них — вареная трбуха, при одном взгляде на которую урчит в желудке.

План действий у нас разработан по дороге. Я вынимаю двух мышат, взбираюсь на штабель корзин и ближайшей торговке запускаю одного за шиворот. Торговка визжит, протирая руки. Остальные в недоумении обращаются к ней. Тогда, пользуясь замешательством, я кладу второго мышонка за шиворот другой торговке.

— Мыши! Мыши! — орет она, а мои мальчишки швыряют мышей пригоршнями прямо на головы торговок.

Здесь начинается что-то похожее на землетрясение или на битву богов с титанами. Женщины кричат, вытряхивают мышей из платьев, некоторые катаются по земле; мужчины ничего не могут понять, их тоже сбивают с ног — получается куча мала. Подносы с лепешками, корзины с сыром, лотки с жареной рыбой опрокидываются — еда рассыпается по земле.

— Хватай, ребята!

Мы набиваем пазухи, кладем во рты, зажимаем в кулаках, вертимся, выворачиваемся, расталкиваем, пролезаем...

— Воришки! Держите! — слышится вслед нам пронзительный вопль.

Стопилось много народу, стражники с красными палками были начеку, и нас поймали. И повели нас, с расквашенными носами, руки назад, точно пойманных морских разбойников. Рыночная толпа ревела — готова была нас съесть живьем.

Мнесилох оказался рядом, он шел, стараясь рукой оградить меня от щелчков и зуботычин. По другую сторону спешила торговка, которой я первый запустил за хитон

мышонка; она крутила мое бедное ухо и кричала на все Афины:

— Я Мíртия, я — дочь благородных Сострáты и Анкимиóна. Кто меня не знает от Олимпии до священного Делóса?

— Я тебя не знаю, — возражал Мнесилох; глаза его были прищурены (может быть, он обдумывает, как бы нас выручить?). — Но теперь я узнал, что ты ехидна, как змея, и безобразна, как Горго́на.

— Ах ты, старый шут! — Старуха остановилась и уперла руки в бока. Народ сейчас же образовал круг в предвкушении интересного зрелища. — Ты заодно с воришками, бездельник!

— А что они у тебя украли? — спросил Мнесилох.

— Как — что? Лепешек на десять обóлов, и калачей на четыре, да привесок в полтора фунта...

— Ну, — возразил Мнесилох, — на такие деньги можно целую фалангу воинов прокормить, не то что этих тощих мальчишек. Может быть, это у тебя кто-нибудь взрослый поел. Я заметил, у тебя под прилавком прятался какой-то бородач и все жевал, жевал...

Старуха кричала и кричала. Я опасался, что она тут же помрет от разрыва сердца. Она и заклинала хохочущую публику, и плевалась в сторону Мнесилоха.

— Делайте свое дело, — строго сказал Мнесилох стражникам, а нам подмигнул: не бойтесь, мол, идите с ними. — Доставьте мальчишек к судьям-притáнам, пусть они поступят по закону!

И стражники повели нас дальше, с трудом выбравшись из толпы. Никто не последовал за нами, все остались смотреть на спектакль, который разыгрывал Мнесилох с торговками.

У ограды Пританéя нас ожидал Килик, стоял, расставив ножки-лучинки. Какой-то благодетель его уже предупредил — вызвал. На нас Килик даже взгляда не бросил.

— Благороднейшие господа! — обратился он к скифам. — Отпустите этих мальчишек, они мои рабы. Я сам накажу их.

— Как отпустить-то? — сказал один из стражников. — Начальник ругать будет, большой убыток бедным скифам...

По-видимому, Килик уже побывал и в Пританее, потому что оттуда из окна кто-то повелительно махнул рукой. Килик роздал стражникам по монете и каждому пожал

руку. Скифы удалились, голгоча по-своему, а мы поплелись униженные, опустив головы; шли гуськом по каменистой тропинке, а Килик сзади шипел:

— Ославили на весь город... Кто теперь в Афинах не скажет, что Килик не кормит рабов, не бережет скотину бога Диониса?..

## СКУПЩИКИ ДЕТЕЙ

Через несколько дней во дворе храма появились двое: один — лидиец, такой заросший, что казалось, его бороде тесно на лице и она растет и под мышками, и на груди, и на ногах. Другой — египтянин, в длинной полосатой юбке, с высокомерной головой, выбритой, как блестящий шар.

Они сидели в полутемной комнате у Килика, обмахивались веерами. Туда по очереди водили наших мальчишек. Килик и чужеземцы что-то обсуждали, спорили, иногда даже кричали.

Вечером рабыни, придя с работы и услышав о странных гостях Килика, встревожились, собрались у дверей его дома, молча ждали. Килик вышел к ним и, против обыкновения, не угрожал, не ругался.

— Что вы, девушки? — лебезил он. — Кто вам сказал, что я затеял что-то против ваших сыновей? Эти чужеземцы — врачи. Я хочу всех рабов подвергнуть осмотру: ведь я пекусь о вашем здоровье...

На другой день вызвали и меня.

Килик снял с меня всю одежду, и я стоял перед чужеземцами голый, поеживаясь от стыда и еще оттого, что с моря дул свежий ветер и моя кожа покрылась гусиными пупырышками.

— Стой ты, не ворошись! — приказал Килик. — Подними-ка руку. Посмотрите, какой он юный, а какие уже мышцы!

Черноволосый лидиец цокал языком:

— Ах, хорош мальчик!

Скуластое лицо египтянина было бесстрастно.

— Красивый мальчик, ведь правда? — продолжал расхваливать Килик. — Аполлón свидетель, другого такого кудрявого и глазастого не сыщете в целой Аттике. А если б вы видели, какой красавицей была его мать! Больших денег стоила женщина!

Лидиец предлагал цену — Килик несговорчиво качал головой.

— Плох мальчик, — прервал их египтянин. — Цена дорога. Совсем маленький, а сколько хочешь? Клянусь Сераписом, его еще откармливать надо... Пять лет откармливать — какие расходы, какие убытки!

Мне даже стало досадно, что он так меня охаял, а Килик замахал руками:

— И! Совсем не надо откармливать! Гляди, какой сильный. Тут же перепродашь за хорошие деньги.

Видя, что лидиец и египтянин больше не щупают мне колени и лопатки, он приказал:

— Одевайся, иди!.. — И продолжал уговаривать чужеземцев: — Я и сам хотел сначала дать ему подрасти, потом отвезти на Делос — продать. Но вы же знаете мои обстоятельства...

Во дворе у колодца, опершись на клюку, пил воду Мнесилох. Он улыбался впалым ртом сквозь плешивую бороденку; ветер трепал складки его многочисленных одежд. Рабыня подавала ему ковшик и что-то рассказывала.

Чужеземцы покинули Килика и выходили в ворота. Мнесилох спросил меня, кивая на них:

— Эти люди и тебя осматривали?

У Мнесилоха под глазом синела опухоль. Я поморщился от сострадания. Мнесилох захохотал:

— Без тумака, без шишки не поешь и пышки! Наши торговки передали моему глазу поклон от твоих мышей. Вот теперь можно отгадывать загадку: что на спине бывает красным, а под глазом синим?

Он поднялся к Килику, постукивая посохом, а меня позвал садовник Псой — носить ему воду на грядки. Я таскал лейки и останавливался передохнуть у крыльца дома Килика.

— Ты слышишь, жрец? — доносился оттуда голос Мнесилоха, и в этом голосе звучала медь угрозы. — Ты хорошо понял?

Они меня не замечали, а я мог видеть лицо Килика. Килик растерян — вот как?

— Ну ладно, — терпеливо сказал Мнесилох. — Если ты, жрец, запомнил, я тебе повторю всю эту историю. Итак, при Марафоне наша конница захватила царскую палатку с сокровищами — там были и посуда, и бриллианты, и серебро. Помнишь, жрец?



Килик молчал.

— Чудесно,— продолжал Мнесилох.— Рядом была яма — вражеский окоп. В яму сложили соковища, застелили досками временно, чтобы уберечь от перипетий битвы. На доски навалили убитых; попал туда и я. У меня была отрублена рука. Вскоре битва переместилась в другой конец поля, а к яме подкрались неизвестные, сбросили трупы... Я как раз очнулся и все видел, всех запомнил... До сих пор архонты и жрецы ищут похитителей... И знаешь, почему не найдут? Потому что сказано: ищи вора в своей норе!

Килик бормотал что-то невнятное и машинально отковыривал штукатурку... Это он-то, хозяйственный Килик!

— Молчал я!— горестно вздохнул Мнесилох.— Молчал все годы, потому что жил из милости при сильных, при тех, кто разбогател на краденых соковищах! А что мне стоит, Килик, а? Завтра пойти в народное собрание и объявить имена похитителей? А ведь среди них был один младший жрец, и звали его...

— Алкамен, Алкамен!— кричал с огорода Псой.— Куда ты пропал? Неси же скорей воду!

Вечером Килик за какую-то мелочь выдрал меня за ухо. Но я привык к неожиданным наказаниям и не плакал по пустякам.

Утром, когда распределяют работу на день, Килик велел женщинам идти на самый дальний виноградник. Как всегда, и дети собрались вместе с мамами. Однако на этот раз Килик отпустил на виноградник только девочек, а всем мальчикам приказал остаться. Женщины тревожно распрощались с сынишками, ушли.

Меня внезапно служители храма схватили и заперли в чулан, который служил иногда домашней тюрьмой. Сквозь решетку маленького окна до меня весь день доносились чужие гортанные голоса и громкий детский плач. Потом все смолкло, и меня выпустили.

Пыльный двор, нагретый солнцем добела, на котором всегда бегали, скакали, носились взапуски мальчишки, был пуст. Килик продал всех мальчиков, кроме меня! Чему я обязан своим спасением от лап работорговцев? Заступничеству Мнесилоха или каким-то замыслам Килика?

После заката возвратились с работы женщины. Их сердца чуяли недоброе. Еще не доходя до храма, они по-

бежали и, запыхавшись, кинулись в сарай, где жили рабы, искать детей.

Как они кричали, как рыдали! Ветер носил по двору клочья волос, вырванных ими в отчаянии. Одна пыталась покончить с собой — ее вынули из петли. Всю ночь никто не спал — матери звали сыновей, другие их утешали. И все почему-то проклинали меня: мол, из-за моих проделок детей продали, а сам я уцелел.

Очень пустынно и гадко было у меня на душе.

Килик ходил в сопровождении надсмотрщиков с палками — боялся женщин. А мне сказал:

— Надоел ты мне, видеть тебя не могу. Ступай в театр — прислуживай там.

## ТЕАТР

Итак, я — мальчик при театре Диониса. Старик Мнесилох рассказывает, что, когда он был маленьким, театров не было. Ходили бродячие актеры, наряжались в бородатые маски сатиров, к ногам привязывали копыта и пели хором. Запевалой у них был кто-нибудь из жрецов Диониса, и пели они про скитания этого веселого бога, пели козлиными голосами, из-за чего народ и прозвал их представления «трагедией», что значит «песня козлов». Аэды, которые ходят с арфой по рынкам и по усадьбам аристократов, воспевая царей и героев, не любили «козлоногих» артистов, поэтому аристократы по их наущению гнали и преследовали бедных служителей Диониса.

Потом Писистрат, тот самый, который хотя и был тираном, но защищал простой народ, учредил праздник — Великие Дионисии. А во время этого праздника — представления трагедий в специально отведенном месте — театре. Театр был воздвигнут возле храма Диониса. В этом театре я и служу.

Моя обязанность — вместе со взрослыми рабами вытирать скамьи, которые полукругом поднимаются по склонам Акрополя, выщипывать траву, если она лезет между скамей и каменных плит, убирать помещения для актеров и жрецов. Все это очень скучно и утомительно, тем более что за работу дают скудный паек; его съедаешь еще утром, а вечером ложишься спать голодным. Назавтра опять то же самое. Так и идет день за днем.

Вечером, после захода солнца, рабов собирают, строят

в шеренгу, пересчитывают и уводят ночевать. Я же остаюсь в каморке под сценой — мне доверяют: я маленький, никуда не убегу, а сторожить театр кому-то надо.

Там я и ночую, среди пыльных масок и пропахших клеєм декораций, не обращая внимания на шмыганье крыс и шорох летучих мышей.

Надвигаются праздники, и в нашем унылом театре все преображается. Первым является веселый живописец Полигнот. Он заново расписывает маски, обновляет их так, что они сияют, словно облизанные. Полигнот работает и поет приятным баритоном; сквозь отверстие в потолке на него падает яркий луч, и кудрявая золотистая шевелюра художника светится, словно ореол бога Солнца. А когда он разжигает жаровню, чтобы разогреть свои восковые краски, по всем помещениям пахнет сладким медом. Он богатый человек, этот Полигнот; он трудится у нас бесплатно, ради почтения к богу Дионису. Вместе с его приходом и все приободряются, оживают; все обмениваются с ним улыбками, а он беззаботно шутит, даже с рабами.

В полдень к нему приходит его невеста, Эльпиника, девушка из знаменитой семьи, дочь Мильтиада, победителя при Марафоне. Отец оставил им одни долги, поэтому у нее нет рабынь и она сама приносит обед жениху в корзиночке, красиво прикрытой виноградными листьями. Непременно или кисть винограда, или кусок сладкой булки достаются мне, а Эльпиника при этом гладит меня по голове своей полной и легкой рукой. Вот бывают же и среди аристократов сердечные люди.

Затем являются поэты: высокий медлительный Эсхил, с голубыми, неподвижными глазами, всегда изящно одетый и старательно обутый; его соперник Фриних — маленький, суетливый, забывчивый, неряшливый. Всегда он какой-то несчастный, и всегда за ним волочится по земле развязанный шнурок от сандалии. Фриних говорит, говорит без умолку, а Эсхил редко роняет слова, наверное, ум его занят обдумыванием стихов высокого смысла. Это внушает мне почтение и любопытство, а Фриниха я и птицей не считаю, могу даже ему на шнурок наступить, чтобы он споткнулся.

За поэтами приходят хорэги — богатые и знатные граждане, которые в силу жребия или просто ради чести на свой счет устраивают театральные представления. Хорэги приводят за собой певцов и музыкантов; за ними толпятся

комедианты, чтобы развлекать зрителей в перерывах; торговцы, чтобы продавать пирожки и прохладительные напитки; гадатели, чтобы дурачить простодушных крестьян и чужеземцев; жулики, чтобы выворачивать чужие кошельки. Последним является знаменитый артист, как полководец, в окружении свиты учеников и поклонников.

И вот настает день представления. Каждая фила, каждая община размещаются точно на предназначенных местах; если кто заблудился, старейшины перегоняют его в другой конец театра.

Вот все утихает. Появляется царственный старец, архонт-эпоним, в окружении других архонтов, стратегов и жрецов; он усаживается в почетное кресло, дает знак, и представление начинается.

Во время представления у меня множество дел: по знаку Килика (он и в театре распоряжается) я вместе с другими рабами должен бегом нести на сцену декорации и тут же расставлять их. Если по ходу действия полагается лес — мы ставим дерево, если дворец — ставим колонну или дверь. Если ночь — я дергаю шнур, и над оркестрой — местом, где играют актеры и движется хор, — опускается финикийское, дивной работы, покрывало, непроглядно черное, а на нем нашиты серебряные звезды.

Но это еще не все. В мою каморку поочередно забегают то первый, то второй актеры и требуют переодеться: тот — царицей, другой — пастухом. Не успеем мы перевести дух, как они прибегают вновь и приказывают, чтобы их переодели богами, и так далее.

В мгновение ока мы надеваем им на ноги высокие котурны, меняем маски, а пока меняем, вытираем вспотевшие лица и даем прохладной воды. Затем накидываем подходящие к роли цветастые хламиды или расшитые парчой платья и выпроваживаем на оркестру, где тем временем действует хор, изображающий то старцев, то толпу девиц, то бурю, а то и гнев богов.

Несладко нам приходится, но не слаще и актерам. Ведь их всего двое, а действующих лиц в трагедии множество. Вот и приспособляйся, меняй маску, меняй голоса — то женский, то старческий, то певучий, то брюзгливый, то нежный.

Да и то спасибо голубоглазому Эсхилу — ведь это он ввел, говорят, второго актера, а до него был только один. Вот, наверное, бедняга маялся!

И все же, если бы я не хотел быть матросом, я бы

стал актером. Они поистине как боги. Могут перевоплощаться в любого человека по желанию поэта и по умению самого актера.

## НОЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Иногда ночью, когда созвездие Медведицы укатится за острые пики кипарисов, в театр заходит Мнесилох: ему у богатых людей не спится.

Я боюсь проспать его появление, поэтому мои глаза сами открываются, заслышав постукивание его палки. Я разлепляю глаза, таращу их в небо. Сквозь прорезь в потолке я вижу крупные звезды, которые переливаются, как россыпь углей, припудренная лунной пылью.

А Мнесилох постукивает, негромко кашляет, вздыхает, воплодоса призывает милость богов. Я знаю, что он неторопливо пробирается между скамей, спускается к самому почетному первому ряду. Там он садится в высокое каменное кресло жреца Диониса и ждет, не проснусь ли я.

Но я непременно проснусь! Бегу босиком по шершавым, еще теплым от дневного солнца плитам, забираюсь на резную ручку кресла. Мнесилох накрывает меня полой своего плаща, чтобы мне не повредила предутренняя сырость. Он приносит мне от стола богачей пироги, засахаренные маслины, печенье — целое пиршество! Он припадает мне также самые свежие новости:

— Мидяне, или персы, как их иначе называют, уже перешли Геллеспонт. Сегодня один моряк рассказывал: волны разрушили гигантский мост, построенный по приказу персидского царя. Царь разгневался, велел заковать море в цепи и высечь его плетьюми. И вот кинули в море кандалы, а волны секли плеткой во исполнение царского приказа.

Мне стало смешно — великое, могучее, безбрежное море заковать в кандалы! Стремительные, мощные, пенящиеся волны стегать плеткой! Разве эти волны — рабы, такие же бессильные, как мы?

Мнесилох, однако, не улыбнулся. Он завернул в тряпицу остатки ужина, сказал задумчиво:

— Боги гnevаются на светлый город Паллады. Новый царь мидян Ксеркс поклялся, говорят, город наш испепелить. Сна лишился — Марафон ему как шпилька в перине.

Сколько раз по моей просьбе Мнесилох повторял рассказ о Марафоне! О том, как после разгрома сухопутного войска мидян их флот повернул на юг, надеясь быстро обогнуть мыс Сүний и врасплох захватить незащищенные Афины. Тогда афиняне покинули марафонское поле и, построившись по филам и фратриям, бегом пустились на защиту родного города.

Мнесилох во время рассказа возбуждался, вскакивал, размахивал единственной рукой, описывая, как гоплиты с тяжелым топотом пробегали через поселки, сопровождаемые лаем собак и воплями женщин; как девушки бежали за ними с кувшинами в руках, предлагая на бегу утолить жажду; как в лица воинам плескали холодной водой, чтобы хоть как-нибудь облегчить тяжесть бега в доспехах по жаре.

Мнесилох со вздохом добавлял, что лично он этого не видел, потому что метался в горячке у врачей. Но все же, заканчивая рассказ, описывал, как наутро персидский флот подошел к афинскому берегу и как мидяне увидели лес копий и стены щитов.

Ах, зачем я не свободный! Я сейчас ушел бы в войско, попросился бы хоть лошадей чистить, хоть носить чей-нибудь тяжелый щит.

А Мнесилох тем временем ворчит:

— Хуже всего, что нет единогласия: один туда, другой сюда, третий совсем никуда. Легкомыслие какое-то... Слышал, какую песенку распевают в харчевнях и винных подвальчиках? «Будем пить и веселиться и не думать о войне с мидянами...» А там по мосту через Геллеспонт день и ночь идут полчища персидского царя!

Он горестно качал головой, а мне становилось жутко и весело. Там, далеко, в варварском краю, по деревянным настилам вышагивают, важно колыхаясь, мохнатые верблюды, катятся боевые колесницы, проносится легкокрылая аравийская конница. Скоро война придвинется и к стенам Афин. Мне представится случай совершить подвиг, и я непременно стану свободным.

А Мнесилоха все гнетут мрачные мысли. Днем ему приходится ломать свои комедии, а ночью он со мной отводит душу: я слушатель бессловесный.

— Главное — единства нет. Спартанцы воду мутят. Правда, они и при Марафоне нам не помогли, всё медлили с помощью, выжидали кто кого. Тогда зато афинский народ был един, и единый вождь был — Мильтиад. Те-

перь и вождей много, и раздоров хватает. Мнения единого нет: Фемистокл, а с ним диакрии, бедные жители гор и паралии, моряки и торговцы требуют создать сильный флот. Аристид и педиэи — землевладельцы — кричат: вооружить всех от мала до велика, драться за каждый клочок пашни, за каждый поворот дороги. Фемистокл возражает: вот, говорит, вас и растерзают на этих клочках, количеством задавят. А народное собрание заседает без перерыва: делит сено между львами и ждет, когда на лопухе дыня вырастет!

Чтобы отвлечь старика от грустных мыслей, я устраиваю ему спектакль. Ведь я присутствую при всех репетициях и представлениях и отлично запоминаю слова, реплики, куплеты, мелодии.

Звонким голосом (хотя и не очень громко, чтобы не услышал кто чужой) я нараспев декламирую пролог и выхожу на оркестру. Брезжит далекая заря, и Мнесилох может видеть, как я копирую важную походку и плавные телодвижения актеров. Мнесилох смеется. Тогда я один за целый хор пою парод — выходную песню хора. За актера я произношу монологи — эпизодии и сам вместо хора отвечаю стасимами — стихотворными куплетами.

— Эй, эй, погоди! Здесь ты неправильно делаешь. Вот так надо, вот так! — Мнесилох вылезает на оркестру и, прихрамывая, показывает мне позы и походку трагических актеров.

Наконец я торжественно пою эксод — заключительные строфы трагедии, и Мнесилох мне подпевает дребезжащим голоском.

— Актер, ты настоящий актер! — восторгается он. — Гляди-ка, теленок вырос и может слопать льва!

Я кричу ему в ответ, что не хочу быть актером, хочу быть моряком или воином.

Однажды наше бурное веселье разбудило жреца Килика. Взяв посох и поеживаясь от утреннего холодка, он вышел к театру, чтобы посмотреть, что за шум.

— Ах ты, сын греха, раб собачий! — накинулся он на меня. — Да пожрут тебя гарпии, проклятый! Что ты расхаживаешь как бойцовый петух, как ты смеешь осквернять театр ночными криками и безобразием?!

Он уже замахнулся на меня, но Мнесилох подоспел и отвел его посох.

— Не тронь мальчика, жрец. Ребенок ли, звереныш ли, сын ли раба — всё дети.

Килик спрятал посох за спину, спрятал руки под плащом, спрятал глаза в приятной улыбке. Спасибо Мнесилоху, знает он волшебное слово на этого дракона!

## ЕЩЕ ОДИН ВРАГ

Ксантипп, богатый кораблевладелец, однажды попал в бурю. Валы обломали мачты, захлестнули трюмы и вот-вот готовы были перевернуть корабль. Однако, как рассказывает Ксантипп, он стал молиться Дионису — покровителю путешественников. И — о чудо! — буря улеглась, спокойные волны принесли корабль к зеленому острову, где можно было и судно починить, и людям передохнуть. Благодарный Ксантипп выделил храму Диониса богатую часть из спасенного груза — слоновую кость, аравийские благовония, черных рабынь. А в придачу — раба-скифа, только что выловленного в степях у далекой северной реки.

Когда новичка ввели во двор храма, все сбежались посмотреть на это диво. Огромный, полуголый, несчастный, он жадно ел все, что подкладывал ему повар.

— Смотрите, он уже свиную ногу доедает! — хохотали рабы. — Вот утроба! Хорошо, что тот же Ксантипп отвалил богам целую гору жертвенного мяса. Иначе пришлось бы этому скифу довольствоваться луком да репой. Ничего, браток, еще поголодаешь на нашей пище!

— Какие мощные ноги, прямо столбы! — изумлялись рабы. — А шерсть рыжая растет и на груди и на ногах.

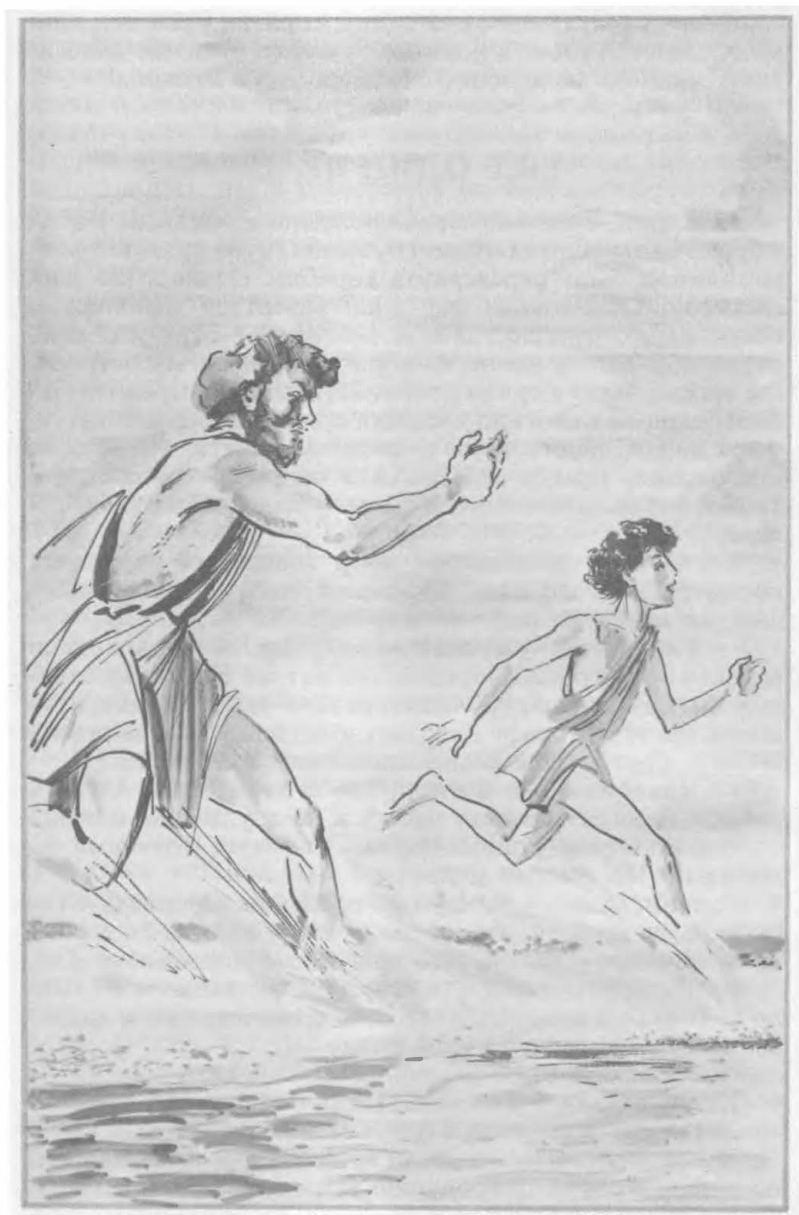
Вышел Килик, подивился, как скиф жует могучими челюстями. Настоящий медведь!

Так и осталось за новичком прозвище «Медведь». Рабы ведь не носят имен, их зовут для удобства по названиям их инструментов. Кто работает в поле, зовут. «Эй, Лопата!», кто трудится в мастерской, окликают «Эй, Шило!». Только я ношу эллинское имя, потому что я прирожденный грек, да вот теперь этому варвару дали зверское имя — Медведь.

Килик велел его напоить. Повар подал скифу кувшинчик. Медведь воду выдул одним глотком.

Все смеялись и показывали на него пальцами; он же не понимал ни слова, добродушно ухмылялся, ковырял в зубах веточкой и загибал за плечо руку, чтобы почесать спину, тоже обросшую рыжей шерстью.





Я смотрел разинув рот — ну и сила! Он взглянул на меня, вдруг взял за руку и притянул к себе. Двумя слоновьими пальцами он защемил мой нос и притянул к себе. Быть может, в Скифии это и ласка — Медведь ухмылялся во все зубы и гладил мою спину шершавой ладонью, но все, кто тут был — и жрецы, и рабы, — грохнули хохотом:

— О-ох, Алкамен, хо-хо-хо!

— Вот это сморкач — ха-ха-ха!

И долго еще издевались надо мной языкастые афиняне. Увидят, бывало, издали и кричат:

— Эй, мальчик, как твой нос, цел? Медведь его тебе не вывинтил?

Какой позор! Я возненавидел скифа, его медвежью фигуру, добрую улыбку, приятный запах пота.

Килик определил его в театр, и во время представления Медведь ворочал рычаги, приводя в движение площадку сцены, или поднимал на особой машине актеров, изображавших богов.

Однажды мы отпросились к берегу искупаться. Медведь очень напугался при виде моря. Наверное, блистающие волны, которые стелются одна на другую, напомнили скифу черные дни, когда его изловили и по такому же ласковому морю увезли на чужбину. Он сел на песок в десяти шагах от прибоя, а в море не пошел. Его стали дразнить и кидаться камушками. Особенно, конечно, издевался я. На меня какое-то бешенство напало. Я прыгал, выпячивал челюсть, передразнивая, как Медведь жует, изображал разлапистую его походку.

Люди смеялись и хлопали в ладоши. Неподвижный Медведь сутулился, а я не замечал, что в его глазах копится гнев. Неожиданно он распрямился, как пружина, и бросился за мной. Началась погоня по песку, по кромке прибоя под крик и улюлюканье зрителей. Я уже чувствовал на затылке сопенье скифа, уже его лапа дважды соскальзывала с моего плеча, — мне ничего не оставалось, как кинуться в море. Пока мы бежали, шумя водой по мелководью, он не отставал от меня, но, когда я поплыл, Медведь стал барахтаться, закричал от неожиданности и пошел на дно. Он не умел плавать, этот житель безводных степей! Я осмелел, принялся плескаться вокруг него, а он стоял на дне, высунув ладони, как бы умоляя вытащить.

Наконец ему удалось ступить на мелкое место. Я не успел увернуться — он схватил меня и высоко поднял над головой, занес над прибрежными камнями, между кото-

рыми струилась утекающая пена. Шмякнул бы он меня — и душа бы из меня отлетела.

Я зажмурил глаза — что же? Он прав. В этом мире всегда победитель убивает побежденного.

Но Медведь мягко опустил меня на песок, взъерошил мои волосы и ушел, смеясь, отплеывая соленую воду: рыжая шерсть его светлела, высыхая. А я поплелся униженный — не Медведь, а я!

С тех пор мне показалось, что Медведь — мой враг, враг хуже, чем Килик. Я строил скифу каверзы — сыпал землю ему в кашу, а он ел, скрипя песком на зубах, потому что никогда не наедался досыта. Раз я перерезал ему ремни сандалии — он запутался и упал; все смеялись, а Килик велел скифа высечь за испорченную обувь. Я понимаю, он имел полное право надавать мне подзатыльников или вывернуть ухо (вы знаете, какая у него ручища? Как у циклопа!). Но он не считал меня равным противником, при встрече даже приветливо махал мне рукой. Вот это-то и выводило меня из себя!

Он быстро научился греческому языку, хотя и говорил, коверкая слова, как будто у него во рту был не язык, а обрубок. Взрослые рабы стали относиться к нему с некоторым почтением, потому что он усмирлял драки, мирил ссорившихся, даже разбирали тяжбы, которые рабы не хотели выносить на суд хозяев.

Как-то Килик на вечерней поверке пригрозил ему, что сошлет в рудники, если он не перестанет собирать вокруг себя рабов и шептаться с ними.

Я злорадно подумал: «Хоть бы сослали, вот бы он по-растрял свою геракловскую мощь в мрачной и сырой шахте!»

## РОЖДЕНИЕ «БЕЛЛЕРОФОНТА»

В народном собрании была буря. Аристократы штурмовали Фемистокла, вождя демократии, — он требовал средств на постройку кораблей. Крик афинян, как вал многошумного моря, хлестал в крутые скалы Пникса. Фемистокл простирал руку и укрощал собрание, как, наверное, Посейдон усмиряет свирепый прибой океана. Но к обеду он натрудил горло, махнул рукой и отошел. Тогда Ксантип, тот самый, который когда-то прогонял Мнеси-

лоха, тот самый, который подарил храму скифа, Ксантипп ринулся ему на выручку!

— Не спасетесь вы от мидян! — кричал он. — Высокие стены и амбарные щеколды вам не помогут. А нам, мореходам, терять нечего — все наше на корабле. Даже если не отстоим город, пусть ветры потрудятся, раздувая щеки: поплывем искать новую родину!

Аристократы порывались стащить его с трибуны, замахивались посохами, а моряки и торговцы скандировали:

— Де-нег на флот! Де-нег на флот!

Вышел тихий Аристид и вкрадчиво сказал:

— Ты, Ксантипп, много кричишь, много шумишь. У тебя денег куры не клюют — построил бы корабль во славу Паллады.

Аристократы притихли от радости, думали, что Ксантипп ухватится за кошелек и спрячется в толпе. Но Ксантипп упрямо мотнул черными кудрями. Оратор он был плохой — говорил визгливым голосом, кривил рот, от волнения заикался. Но его ответ выслушали без обычных насмешек и свиста.

— И что ж, и построю. А когда построю, пусть каждый из толстопузых аристократов, червей земляных, тоже построит корабль. Кто пятьсот медимнов зерна собирает, пусть строит большую триеру; кто собирает триста, пусть хоть галеру построит.

И он, Ксантипп, построил трехпалубный, мощный, вооруженный острым тараном корабль. И назвал его «Беллерофонт», в честь легендарного героя, который летал на крылатом коне Пегасе.

Настал час, когда «Беллерофонт» спускали на воду, и в этот день Ксантипп снова не поспешил. На бронзовых пиках жарились целые туши быков, вино черпали прямо из чанов.

Из-под днища корабля выбили клинья — «Беллерофонт» пошатнулся. Дубовые ребра и сосновые мачты его закрипели, он медленно двинулся к воде по каткам.

— Уксусу, рабы, уксусу! — бесновался перед огромным кораблем маленький Ксантипп. — Поливайте катки, не видите, что ли, — они дымятся от трения!

И вот грузный корабль достиг моря и ринулся в волны резным носом, поплыл, закачался на морской зыби. Афиняне дружно закричали, и от их крика испуганные чайки

взлетели под самые облака. Тут начался пир! И тут была нам, рабам, задача: свежевали, потрошили, жарили, шпиговали. Колбасу кровяную поливали медом, резали круглый пирог с сырной начинкой, разносили. То и дело кто-нибудь требовал:

— Эй, мне чесночной похлебки с солью!

— А мне рыбки со сладкой подливкой!

Вскоре затянули нестройную песенку:

Попался барашек, попался в похлебку!..

Только под утро замолкли удары бубнов и барабанов, погасли огни пиршественных костров. Когда утренняя заря взбежала на небо, уже все разошлись; только отдельные гуляки брели, держась поближе к заборам. Килик приказал положить в храмовые носилки бесчувственного Ксантиппа, взгромоздился сам, и рабы их потащили, побряхтывая от тяжести.

Когда носилки достигли храма, Килик вылез и приказал:

— Отнесите Ксантиппа к нему домой!

А Ксантипп, высунув прыщеватый нос из-за занавесок, орошая песок слезами, усталым голосом сказал:

— Голубчик, Килик... Прекрасный ты человек! А ведь рассказывают, будто ты похитил персидские сокровища после битвы при Марафоне... Но я не верил, можешь залепить мне грязью в глаза. Хотя ты и аристократ, но ты добрейший...

Килик сжал губы и отступил от носилок.

— Что вы стоите! — заорал он на носильщиков. — Несите его, кому сказано! Развесили уши... А ты, Алкамен, а ты, Медведь... — он тыкал пальцем в первых подвернувшихся рабов, — вы пойдете его провожать. А не то, что скажут люди? Скажут, Килик отпустил такого уважаемого человека без подобающей свиты!

А утреннее солнце уже щедро ласкало кривые улочки предместий, зеленые своды аллей, мраморные храмы, многолюдные площади, роскошные бани. Забыв о ночной усталости, мы любовались этой ясностью и всюду вдыхали свежий воздух. Только один человек ничего этого не видел и не чувствовал. Он поминутно высовывался из носилок и бормотал в напряженные спины рабов:

— Что, собачьи дети, ждете прихода персов? Прежде раб своим был в доме человеком... раб моего деда, Памфил, три поколения господ нянчил... А вы думаете, мидя-

не принесут вам освобождение? Как бы не так: продадут на одном рынке вместе и вас и нас...

Медведь запихивал его за занавеску, чтобы прохожие не видели. А он высовывался и тыкал пальцем Медведю в грудь:

— Ты, рыжий... Я тебя знаю... Килик рассказывал... Ты что же, рабов подбиваешь к побегу?.. Ха-ха-ха! До твоей родины тысячи стадий — я знаю... Я старый мореход. Халкíда, Милét, Эфés, Визáнтий... — Он загибал непослушные пальцы. — Херсонес!.. Везде стражи и доносчики наготове, схватят вас, как чижиков. Что тогда? — Он пытался выпрыгнуть, высовывал ноги, хохотал. — Тогда что? Рогатки на шею — и в рудники, на медленную смерть, ха-ха-ха!

Впрочем, чувствуя, что мы приближаемся к дому, он стал приходить в себя. Слабым голосом попросил, чтобы его вынули, захотел идти по свежему воздуху и пошел, опираясь на мое плечо и на могучую шею Медведя.

## ДЕВОЧКА

Мы пересекли город, вышли из двубашенных ворот и свернули направо. Скоро там, где высятся пирамидальные тополя, могучие, как обелиски, показался белый Колон — тихое предместье Афин. Вот дом Ксантиппа, вот и канава, из которой я некогда вытащил Мнесилоха. Ксантипп приосанился и был похож на те отполированные ветром и солнцем фигурки, которые красуются на носах кораблей.

Домашние и рабы встретили его сочувственной толпой. Ксантипп прикрикнул на них и ушел в глубь дома. Все кинулись хлопотать о хозяине. Медведь велел носилкам возвращаться обратно, а сам, ощутив запах жареного, раздул широкие ноздри и удалился в направлении кухни. А я вышел в сад.

Как и все дома́ богатых афинян, дом Ксантиппа был построен в виде четырехугольника; посредине — áвла (внутренний дворик). Там под раскидистыми орехами и акациями журчали каскады фонтанов, воздух был пронизан водяной пылью и приятно прохладен. Я никогда еще не бывал в таком богатом доме и в таком красивом саду. Из-за кустарника, подстриженного в виде кубов

и шаров, раздался голоса — звонкий детский и нежный девичий. Мое сердце почему-то дрогнуло, как дрогнуло, наверное, сердце Одиссея, когда он услышал издали пение сирен. Странно, я прежде равнодушно слышал голоса девочек, ведь у нас в храме целый девичий хор.

Я сделал шаг за кусты, но оттуда на меня бросилась громадная собака, показывая клыки из-под складок кожи.

— Ого! — Я от неожиданности отпрянул.

На дорожку выбежал кудрявый мальчуган, а за ним — девочка моего возраста.

— Назад, Кефэй, назад! — Девочка прогнала пса, а мальчик кинул мне кожаный красный мяч.

Я отбросил мяч девочке, она ловко поймала, подпрыгнув.

И вся она была, как светлый мед, который пчелы  
Из солнца и пыльцы цветов создали...

Ведь так, кажется, сказал поэт?

В то мгновение я совсем забыл, что я — раб. По закону нестриженные космы должны были скрывать мои рабские глаза, но, так как я прислуживал в театре и в храме, искусный парикмахер делал мне прическу. Наверное, потому меня не сочли здесь рабом.

— Лови, Перикл! — крикнула девочка брату, бросая мяч.

— Кидай мне, вот так. А теперь я брошу тебе, мальчик. Как тебя зовут?

— Алкамен...

— Лови, Алкамен!

Она шутя бросила мяч так, что я не смог его поймать. Мяч ударился о капитель колонны и отскочил прямо мне в лоб.

Если бы вы слышали, как она смеялась!

Вот здесь я и перестал соображать, кто я и где нахожусь. Мне так захотелось чем-нибудь отличиться перед этой необыкновенной девочкой! Я кинул мяч в воздух «свечой» так высоко, что дети задрали подбородки, чтобы увидеть мяч в небе. Я же стоял горделиво, показывая, что совершенно не слежу за полетом мяча, а вот подхватчу его перед самой землей.

Но девочка кинулась, желая сама схватить мяч на лету. Мы столкнулись с ней; оба смутились и отвернулись.

— А где же мяч? Перикл, куда упал мяч?

Мяч упал в большой бассейн и мирно плавал там, покачиваясь. Мы подбежали к бассейну. Перикл, четырехлетний мальчик со странно вытянутой головой, говорил рассудительно:

— Вот, не надо было кидать мяч так высоко. Теперь нужно вызвать раба с шестом: пусть он достанет нам мяч, а то во что же мы будем играть?

Но как тут было не показать мою ловкость? Я подобрал полы хитона и прыгнул в бассейн — там было мелко. Девочка схватила меня за руку:

— Что ты делаешь, Алкамен? Скорее назад!

Я освободил руку, шагнул к мячу, схватил его и победно поднял над головой. Но девочка продолжала кричать, заламывая руки, а мальчик громко плакал, глядя широко раскрытыми глазами куда-то сбоку от меня. Я перевел взгляд туда: ко мне приближалась огромная рыба, и хищная пасть ее была усеяна тысячью острых зубов. В сердце мне как будто холодная игла вонзилась... Я и сейчас еще, если закрою глаза, ясно вижу физиономию этой рабы, которая — о боги! — улыбалась!

Меня охватило оцепенение, а рыба подплыла совсем близко. Тут я не помня себя кинулся из воды и успел выскочить перед самой пастью рыбы. Девочка дрожала от пережитого страха, выжимала воду из полы моего хитона. Мальчик крепко обхватил мяч, будто хотел уберечь от рыбы и его.

— Откуда ты пришел? — лепетал он. — Ты, наверное, юный Геракл и укрощаешь львов, змей и других чудовищ?

— Этих рыб отец привез из Египта, — рассказывала девочка. — Здесь их кормят сырым мясом, а там, в Египте, говорят, их кормили живыми людьми.

Тогда, желая показать свое презрение к заморскому чудовищу, я сунул руку в воду и схватил рыбу за скользкий хвост. Рыба мгновенно извернулась, но руки моей схватить не успела — я выдернул ее раньше. Снова испугавшись, девочка обхватила меня и пыталась оттащить от бассейна.

Повелительный голос заставил нас обернуться:

— Мики, что это? Кого это ты обнимаешь?



## РАСПРАВА

На крыльце стоял Ксантипп, переодетый по-домашнему — в мягкую белую хламиду.

— Ты знаешь, кого ты обняла? Ведь это раб!

Нужно было бы вам увидеть, как девочка отпрянула от меня, как будто я сам был этой зубастой рыбой!

— Ты, презренный, — продолжал хозяин, — как ты сюда проник, на женскую половину? Как смеешь ты приближаться к дочери Ксанטיפпа? Свидетель Зевс, я спущу мясо с твоих костей!

Маленький Перикл бросился к отцу, оживленно рассказывая, как я не побоялся зубастых чудищ в бассейне. Но Ксантипп не стал слушать, хлопнул в ладоши и закрычал, сзывая рабов.

Вместе с его рабами вышел и Медведь, который успел, видимо, хорошо подкрепиться, тяжело дышал и ковырял щепочкой в зубах. Завидев его, Ксантипп даже обрадовался:

— А вот и второй разбойник, рыжий наглец! А ну-ка, принесите ему розгу, пусть он посечет своего дружка. А ты, малый, снимай хитон!

Я не шевельнулся. Медведь лениво отстранил поданную ему розгу и сказал на своем ломаном наречии:

— Я, хозяин, не могу розгу брать. Сечь не могу, такая моя работа.

Ксантипп рассвирепел:

— Да я тебя... Да я из тебя...

Но великан пожал плечами и отошел в тень крытой галереи, даже не глядя, как Ксантипп перед ним бесновался, словно назойливый комар. Все с уважением смотрели на мощные мышцы скифа. Боги! Почему я не такой силач?

— Эй, вы, чего глядите! — крикнул Ксантипп рабам. Все прыщики и бородавки на его морщинистом лице надулись от злости, стали багровыми. — Раздеть мальчишку, сечь его!

Я не сопротивлялся, когда рабы срывали с меня украшенный узорами театральный хитон. Я зажмурил глаза... Нет, не ожидание побоев меня испугало — терзал стыд: рядом, в трех шагах, стояла девочка Мика. Она хоть и закрыла лицо рукой, но мне казалось, что из-под ладони она с любопытством смотрит, как меня валят носом на дорожку, как толстый раб-домоправитель пробует на пальце крепость розги. Пока меня секли, все молчали и я мол-

чал, жевал скрипучий песок. Слышался только свист лозы да ветер равнодушно перебирал листву ореховых деревьев. Затем я ощутил, как со спины брызнули теплые капли — кровь. Длинноголовый мальчик перикл закричал, заплакал.

— Зачем, хозяин, портишь кожу? — послышался медлительный голос Медведя. — Раб принадлежит Дионису. Бог не любит, когда ломают его имущество. Потом, погляди, сын твой плачет, крови боится.

Ксантип прекратил наказание, призвал на нас проклятие ада и ушел. Няньки увели детей, а меня рабы вынесли на задний двор, где распряженные быки лениво жевали сено и пили воду из колоды. Меня бросили на кучу сухого навоза и оставили приходить в себя на самом солнцепеке.

Но ни пёкло, ни боль не причиняли мне столько страдания, сколько позор. Чудесная девочка Мика видела мое унижение! А скиф, скиф!..

Я представлял себе, как он поведет меня домой и будет скрипеть монотонным голосом: «Дружбы со свободными ищешь? Чистокровный афинянин ты? Мнесилох тебя милостыней кормит, и ты готов ему руки лизать. Красотка, невеста художника, тебя по головке гладит, и ты весь расцветаешь. А она свою собачку так же гладит и так же улыбается — вот заметь! А Ксантип? Ведь он демократ, друг Фемистокла. Мы все им вроде собак...»

Мне слышались ясно эти его обычные слова. Опровергнуть их было невозможно, но от этого я лишь больше ненавидел рыжего скифа. Слезы обиды помимо воли текли из зажмуренных глаз. Жарило солнце, спину как будто теркой скребли, все плыло в сознании.

Мне показалось, что кто-то сел на корточки рядом со мной.

— Скорее, Мика, — слышался голос мальчика. — Нас увидят, рабы скажут домоправителю — папа нас оставит без сладкого.

— Ах, какой ты рассудительный! — ответил милый голосок девочки. — Даже противно. Держи-ка вот этот пузырек: здесь целебное масло. Я выпросила его у мамы.

Девочка подсунула под меня руку и поднатужилась, чтобы перевернуть. Нежно, еле касаясь рукой, она мазала мою спину, и мне казалось, что боль утихает и блаженный сон разливается по всему телу. Мне даже снилось ее лицо: мокрое от жары, волнистые пряди прилипли ко лбу, на ко-

тором запечатлелась морщинка сострадания. Блестящая слеза на реснице вспыхнула, отражая солнце.

Как она была прекрасна! В тысячу раз прекраснее троянской Елены, о которой поют в театрах!

Мне захотелось сказать ей об этом... Я собрал всю свою волю и поднял голову. Рядом со мной не было никого! Только на песке лежала нелепая тень — Кефей, громадная собака, сидел, размякнув от жары, и смотрел на меня, склонив длинноухую голову. Но ведь не Кефей же мазал меня целебным маслом?

Явился Медведь. Он поднял меня на руки и понес, как ягненка, животом вниз. Пес сначала провожал нас, то и дело забегая за кусты и обнюхивая подворотни. Когда исчез за миртовой рощей белый Колон, отстал и Кефей. Мы остались вдвоем. Скиф не говорил ни слова, только учащенно дышал — ведь я все-таки тяжеловат, а путь не близок. Иногда он присаживался отдохнуть у водоема или под сенью дуплистой липы.

Боль утихла, и меня убаюкало. Мне грезилось, что я уже большой, что у меня густая борода, как у Фемистокла, и я, как он, — прославленный стратег.

Мне виделось, будто гоплиты привели ко мне в палатку связанного тощего Ксантиппа: он будто дезертировал с поля битвы, покинул строй. Я приказываю его сечь: воины срывают с него алый командирский плащ; он падает на колени и молит о пощаде. По его морщинам текут слезы; я вспоминаю слезу Мики и прощаю его...

## СОБЫТИЯ НАДВИГАЮТСЯ

Пока наши резвились и напевали: «Будем веселиться и не думать о мидянах», полчища Ксеркса стучались в дверь Эллады. Гонцы приносили одну весть хуже другой:

— Эвпатриды, владыки фессалийских городов, открыли царю ворота...

— Главнокомандующий союзной армией греков, спартанский царь Леонид, отступает без сражений...

На площадях сторонники демократии кричали:

— Если так дальше пойдет, враг без единого боя окажется у ворот! Берегитесь аристократов: они готовы Ксерксу дорогу коврами устлать!

В разгаре весны, когда, как говорят крестьяне, каждый

день год кормит, город обычно пустеет — все в поле или на винограднике. Но этой весной город Паллады кипел, как похлебка из всех круп и овощей. Многие крестьяне, перепуганные известиями, побросали свои пашни, целый день торчали в портиках и народных собраниях, ничего не понимающие, голодные, злые, и всех без разбора ругали — и мидян, и эвпатридов, и демократов. Беженцы с островов, которые разорял персидский флот, проклинали судьбу и с воплями просили пристанища и хлеба.

— Кому-то суждено все это расхлебать? — сокрушался Мнесилох.

С утра до ночи в народном собрании ораторы надевали венки и, опершись на традиционные посохи, произносили зажигательные речи. Когда страсти раскалялись, спорщики рвали венки друг у друга. Лепестки мирта и жасмина, кружась в воздухе, опускались на распаленные головы. Однако никаких мер ораторы не предлагали — каждый боялся брать на себя ответственность.

Послали депутацию к дельфийскому оракулу. Пифия изрекла:

— Спасение города за деревянными стенами богини...

Этот ответ никого не надоумил, никого не успокоил, а породил еще больше кривотолков. Уже давно все деревянные стены города были заменены кирпичными, а все храмы богини воздвигались из камня. Ареопэг вызвал к себе на гору всех жрецов и прорицателей, мнение каждого протоколировалось на восковых табличках, чтобы потом никто не слукавил, не отказался от своих слов. Однако объяснения словам Пифии никто не дал.

Появились самозванные пророки.

— Злополучные! — кричали они. — Чего вы ждете? Бросайте все и бегите на край земли! Нет преграды огню и ярости, нет защиты от плена и позора!

Пророков схватили, изобличили как шпионов и казнили. Тут разнесся слух, что в Ахарнах родился двуглавый теленок, на каждой голове по одному глазу. Малoverы и любопытные кинулись смотреть, и его предприимчивый хозяин нажил немалые деньги. Жрецы отняли теленка и принесли в жертву Аиду, богу подземных сил.

И это не погасило народных страстей. Благоразумные закапывали сокровища в землю, богатые увозили семьи в Пелопоннес или за море, на далекие острова.

А те, кому нечего было закапывать и у кого не было денег на корабль, собирались на рынках и зывали:



— О Фемистокл! Что ты молчишь, Фемистокл?

Одна весть всех поразила: спартанцы потребовали, чтобы главнокомандующий союзным флотом был спартанец.

— Несправедливо! — возмущались афиняне. — Сухопутной армией командует уже спартанец Леонид, ну пусть его! А флотом афинянин должен командовать — ведь афинских кораблей большинство! Пусть Фемистокл флотом командует!

Но Фемистокл сам предложил кандидатуру спартанца Эврибиада и настоял на его избрании. Все были озадачены — как же это? Фемистокл отказывается от высшей власти?

Спесивый Эврибиад въехал в Афины, как завоеватель, на белом коне. Афиняне не свистели вслед, не улюлюкали, но встретили его многозначительным молчанием. Сам Фемистокл пригласил Эврибиада выступить в народном собрании.

— Эвакуируйтесь в Спарту, — предложил новый главнокомандующий. — Если Леонид в теснине Фермопйл не сможет остановить царя, Афины обречены. Отступим на перешеек и возле Коринфа будем оборонять Пелопоннес!

На сей раз (исключительный случай!) и демократы и аристократы были заодно:

— Оставить дома на сожжение и разграбление? — кричали крестьяне и ремесленники. — Подумай, спартанец, что ты говоришь!

— Вы, спартанцы, только и ждете, когда наши поместья будут разорены, — вторили им эвпатриды. — В них вся сила Афин, в наших имениях!

— Не пойдем к спартанцам, не будем жить из милости при кухне! — надрывался Мнесилох, размахивая костылем. — Лучше быть рабом у персов, чем приживалкой у своего брата эллина!

Выступил Аристид, прозванный «Справедливым», и предложил не отступать, а обороняться до последних сил. Взрыв всеобщего восторга был ему ответом.

Безбровое, чистенькое лицо Аристида казалось небесно-мудрым, его тихие, логичные речи — необычайно убедительными. На нем была простая одежда, с аккуратно подштопанными заплатами на видных местах. Посмотрев на эти заплаты, любой гражданин мог сказать про Аристида: да, он знатен, но скромнен; он богат, но бережлив.

Аристид предложил: собрать все наличные деньги, все сокровища храмов и общин, нанять, вооружить и обучить войско, не уступающее по численности персидскому. Всем умереть, и тогда уже пусть царь берет пустой город!

Фемистокл не просил слова, даже не надевал венка, вырвался на трибуну, отодвинул благообразного Аристида.

— Афиняне, братья! Куда он толкает вас? Его устами говорят педиэи, землевладельцы,— вот они, в первых рядах, толстобрюхие! Вашей кровью они надеются отстоять свои имения!

Аристократы заорали: «Долой! Долой! — замахали посохами. Полетели камни и черепки. В задних рядах матросы горланили:

— Пусть говорит, пусть говорит!

— Деревянные стены богини—это флот! — убеждал Фемистокл.— Сохраним флот — сохраним жизнь и свободу. Сохраним жизнь и свободу — из пепла поднимем родной край, еще краше прежнего. Умереть нетрудно, надо жить. Жить, чтобы победить!

Но его никто не слушал. Толпа единым вздохом повторяла:

— Сражаться так сражаться! Умереть так умереть! Таковы мы, дети Паллады!

Я с другими мальчишками, конечно, восседал на высокой ограде соседнего храма. В самых острых местах спора мы оглашали скалы оглушительным свистом.

Внизу под оградой остановился Фемистокл. Ксантипп подавал ему платок, чтобы он вытер обильный пот. Мой кумир — огненный Фемистокл, и мой враг — жестокий Ксантипп... Как могла связать их непонятная дружба?

— Аристиду удалось околдовать граждан,— сквозь зубы процедил Фемистокл.— О, демагог!

— Ты заметил? — отвечал Ксантипп.— Все деревенские богатеи сегодня были. А обычно их в собрание и кренделем не заманишь.

— Для достижения народного блага все средства хороши,— твердо сказал Фемистокл.— Дадим последний бой! И, если не удастся повернуть волю народа, придется Аристида...

— Убрать? — подсказал Ксантипп.

— Удалить,— ответил вождь.

## ОСТРАКИЗМ

Ночью на Сунийском мысе моряки зажгли огромный костер. Увидев огонь, корабельщики на ближайшем острове тоже зажигали костры на высотах. С острова на остров неслась эта огненная весть, и везде афинские мореходы знали — Фемистокл их зовет.

День и ночь ехали на скрипучих возах виноградари и пчеловоды из горных долин, брели рыбаки из бедных поселков, шли в обнимку корабельные плотники из Фалёрна.

Никогда еще на Пниксе не собиралось такое множество граждан. В этот день каждый мог воочию убедиться, как многолюдны и разнообразны великие Афины!

Долгое время какой-то оратор распространялся о необходимости средств, чтобы нанять врачей для войска. Его нетерпеливо выслушали и выделили деньги. Сегодня даже медлительные крестьяне не жевали, как обычно, сыр и лепешки. Толпа напряженно гудела, как улей перед роением.

Затем венюк надел дородный эвпатрид Агасий из Ахарн и просил принять решение о том, чтобы всех рабов, частных и общественных, заковать в кандалы и заключить в безопасное место. Они-де перестали слушаться и смотрят волками, даже женщины и старики. Поэтому он, Агасий из Ахарн, боится за свою жизнь и имущество и требует принять чрезвычайные меры.

Передние ряды захопали одобрительно, а из задних рядов послышался насмешливый голос Мнесилоха:

— Несли курицу в суп, а она кричал: не побейте яйца! Как же ты умирать будешь с Аристидом, если ты смерти боишься?

Раздался шум, свистки. Кого-то стукнули в пылу спора, кого-то сопротивляющегося потащили вон.

Но вот на каменный куб трибуны вышел Фемистокл. Его толстое медвежье лицо было бледным от бессонной ночи, хотя он не зубрит ночами своих речей, не бубнит их, блуждая по улицам, не читает потом по записке. Он говорит смело, кулаком рубит воздух, тут же находит самые нужные слова и самые зажигательные выражения. А его мощный голос разве удавалось перекричать хотя бы одному оратору?

Фемистокл начал без обычного обращения к милостивым олимпийцам.



— В страшные дни,— сказал он,— в городе должен быть один хозяин, одна голова у государства. «Нехорошо многовластье, единый да будет властитель!»— еще старик Гомер советовал это... Горшечники из Керамика, друзья свободы! Я призываю вспомнить ваш древний обычай!

Никто не мог понять, куда он клонит, все молчали. Из-за спины ему подали глиняный горшок. Отставив посох, Фемистокл разломил горшок о колено и показал народу черепки.

— На этих черепках пусть народ запишет имя гражданина, которого он считает сегодня опасным для отечества. Тот, чье имя соберет больше всего черепков, пусть удалится в изгнание. Все! Выбирайте, Фемистокл или Аристид!

— Уходи, чернобородый!— завопили сторонники Аристида.

Гнилая груша полетела Фемистоклу в лицо, но он отстранился, и груша размазалась об алтарь богов.

Народ кричал:

— Остракизм, остракизм! Эй, горшечники, тащите ваши черепки! Народ-владыка сам решит!

Пока готовили черепки, пока проверяли по спискам имеющих право голоса, Аристид попросил слова.

— Нет!— блеснул глазами Фемистокл.— Мое законное время не истекло, я буду говорить. Эй, судьи, переверните песочные часы!— И он принялся обличать Аристида:— Взгляните на его заплатки на плаще! Это должно обозначать бедность, простоту. Он уж так беден, так беден, этот справедливый Аристид, что даже дочерям просит приданое за казенный счет... А у кого, спрашивается, самые плодородные виноградники, самые тучные быки, как не у Аристида? А куда, скажи мне, Аристид, делись персидские сокровища, взятые при Марафоне? Они были спрятаны в яме. Яма оказалась пустой, а ты ведь был начальник охраны сокровищ! Где же они?

Мощный голос Фемистокла перекрывал все возражения. А когда хотел говорить в свое оправдание Аристид, демократы крутили трещотки, стучали колотушками, оглушительно визжали. Мы, мальчишки на ограде, свистели не в четыре, а в четыреста сорок четыре пальца!

А голос Фемистокла крепчал, как ветер перед бурей.

— Крестьяне, вспомните тиранов Гиппея и Гиппарха! Они хотели отнять ваши клочки земли! Что? Вам не по вкусу тирания? Аристид и эвпатриды наймут по чужим городам воинов на ваши денежки якобы для защиты от персов да вас же и скрутят по рукам, по ногам!

И Фемистокл, протянул руку к Аристиду, произносил стихи:

О, человек! Домогаяся власти великой,  
Ты государство погубишь, катится в бездну оно!

Все умолкли. Это уже было обвинение в покушении на захват власти. Из толпы высунулся злобный перекупщик зерна Лисия и крикнул Фемистоклу:

— Ты сам, ты сам метишь в тираны, ублюдок чужеземки!

Раздался взрыв народного гнева. Я с удовольствием увидел, что по лысой яйцевидной голове Лисии замолотила чья-то палка.

— Неправда, неправда! — кричали вокруг. — Фемистокл отказался от верховного командования!

А Фемистокл с улыбкой развел руками, как бы говоря: «Ведь я теперь просто частное лицо!»

Раздали черепки. Фемистокл и Аристид отошли вглубь, чтобы не влиять на результаты голосования. Мне хорошо был слышен их тихий разговор:

— О Фемистокл, Фемистокл, ведь мы вместе сражались при Марафоне, при Эгине... Мы были друзьями, зачем же ты меня так?

— Не будет мне другом тот, кто встал поперек пути народа.

— О Зевс, хранитель истины! Аристид, которого народ зовет Справедливым, — и вдруг поперек пути народа!

— А как же ты, — ответил Фемистокл, — ты, который претендует на роль мудреца, как же ты не понял, что дело тут не в личности Фемистокла или Аристида? Тут выбор таков: либо войско, набранное из чужаков, которое может оказаться страшнее любого врага, либо флот — кровное детище афинян, который даст им и свободу, и победу, и добычу! Народ умнее, чем ты думаешь. Он сам на этих черепках выберет себе дорогу.

— Почему же ты думаешь, что именно та дорога правильна, по которой ты ведешь народ?

— Потому что это дорога не только для богатых, но и для бедняков, для неимущих.

«И для рабов, и для рабов!» — хотелось мне крикнуть

с моей верхотуры, но я не крикнул, а Фемистокл не добавил: «Для рабов!»

— И ты, Фемистокл, так уверен, что ты прав?

— Да, и готов, если придется, доказать правоту своей смертью.

— В таком случае,— усмехнулся Аристид,— мне мою правоту остается доказать моим изгнанием.

— Это будет лучше всего,— жестоко ответил Фемистокл.

Между тем голосование шло вовсю. Советовались, спорили, кричали, поминали обиды, даже вцеплялись друг другу в бороды.

Важные пританы — городские судьи — обходили граждан с мешками и собирали черепки. Многие царапали имена на черепках, закрываясь полой плаща, чтобы соседи не подсмотрели; другие срывали эти плащи, чтобы их разоблачить. Шум стоял невообразимый.

Кто-то дернул меня за полу хитона. Внизу стоял жилистый старик с мешком за плечами, в дорожной шляпе. Наверное, крестьянин, пришедший на голосование откуда-нибудь из далекой Декелэи.

— Сынок,— просил он,— я неграмотный. Нацарапай мне, пожалуйста, на этом черепке...

— Но я ведь тоже неграмотный и не могу помочь!

Тогда старик подошел с просьбой к ближайшему — им оказался Аристид.

— Чье имя ты хочешь, чтобы я написал, добрый человек? — спросил тот.

— Аристида.

Если бы у Аристида были брови, они бы взлетели вверх: еще бы, декелейцы всегда были его опорой!

— А что худого сделал тебе Аристид?

— Мне ничего, я даже с ним не знаком, но уж слишком много о нем кричат: «Справедливый, справедливый!» Тут что-то есть.

Фемистокл улыбнулся. Аристид пожал плечами, нацарапал кинжалом свое имя на черепке, вернул его крестьянину. Тот удалился, бормоча:

— А нам некогда. Нам надо бороться да сеять, хотя как еще боги судят, придется ли и собирать этот урожай? Если не пожгут враги, вытопчут свои...

Через полчаса пританы разложили черепки по кучкам и сосчитали их. В мертвой тишине глашатай объявил, что изгоняется Аристид, сын Лисимаха, из филы Леонтиды.

Аристид сжал тонкие губы и, медленно завернувшись в плащ, поднял ладони к небу:

— О родной город, да не допустят боги, чтобы ты когда-нибудь в роковой час вынужден был вновь призвать Аристида!

— Гляньте на него, гляньте! — из гущи народа донеслась усмешка Мнесилоха. — Руки воздевает, прямо как Клитемнэстра в трагедии!

— Народ обойдется без тебя, Аристид, и без твоих эпатридов! — раздавались пламенные реплики Фемистокла. — Спи себе спокойно, никогда тебя не призовут спасти отечество. Народ спасет себя сам!

Аристид медленно спускался по лестнице, опираясь на плечи знатных юношей. За ними потянулись все аристократы — провожать в изгнание любимого вождя. Вслед им мальчишки швыряли огрызки, ветки, даже камни, а я достал моченую сливу, которую мне удалось стянуть утром из бочки с квашеной капустой. Эту сливу я запустил вслед Аристиду, и так ловко, что она шлепнулась прямо ему в затылок и разлетелась брызгами. Аристид не обернулся, только плечи его вздрогнули.

Чья-то жесткая рука стащила меня с забора.

— Что ты делаешь, скверный мальчишка? — Это был Фемистокл; угольные глаза его пылали.

— Долой благородных, долой ползучих черепах! Да здравствуют морские орлы! — крикнул я в лицо своему идолу те лозунги, которые сегодня провозглашал народ.

Улыбка раздвинула бороду Фемистокла.

— Ах ты, маленький демократ! Запомни, однако, надо быть снисходительным к побежденному противнику. Кто знает? Может быть, завтра нас с тобой ожидает его участь!

Я с таким восторгом смотрел, закинув голову, в его мужественное лицо, что он засмеялся и спросил:

— Как зовут тебя, мальчик?

— Алкамен, господин.

— Чей ты сын?

— Сын рабыни, господин.

Лицо вождя сразу сделалось скучным и озабоченным, он отодвинул меня и стал спускаться по лестнице к своим приспешникам.

Сын рабыни! А он, наверное, думал, что я свободный!

## БОРЬБА ПЕРЕНОСИТСЯ В ТЕАТР

Фемистокл крепко взялся за руль: повелел жрецам строить корабли за счет богов, малоимущим объединяться в корабельные товарищества. Уточнил списки богатейших граждан, и многим пришлось скрепя сердце выставить всадников, обувь, одеть их, вооружить за свой счет.

— Эй, чернобородый! — кричали Фемистоклу. — На своих корабельщиков небось налог не накладываешь. Всё мы, землепашцы, отдуваемся.

— У корабельщиков много забот на корабле, — отвечал стратег. — А вы отдавайте многое, если не хотите потерять все.

Некоторые открыто жалели об Аристиде. Вспоминали, что Аристид любил сравнивать себя с титаном Прометеем, который принес людям огонь. Аристиду нравилось изображать из себя страдальца за общее дело.

Пронеслись слухи, что Эсхил, трагический поэт, сочинил трилогию о Прометее и собирается ставить ее во время праздников Великих Дионисий. Эсхил был эвпатрид, богач и большой друг Аристида.

Когда, опираясь на посох, он шествовал по афинской мостовой, прохожие расступались и смотрели ему вслед. Можно было подумать, что это воскресший герой из «Илиады» и «Одиссеи» — величавая поступь, гордая голова, длинная борода, седая, несмотря на то что ему было всего только сорок пять лет. И глаза, отрешенные от всего будничного, как будто там, над головами людей, он видит что-то недоступное для смертных.

В народном собрании выступил старичок драматург Фриних.

— Граждане демократы! Знатные собираются дать вам бой в театре. Эсхил в новой трагедии хочет прославить изгнанного Аристида. Богатые люди: Лисия — перекупщик зерна, и Агасий из Ахарн — взяли на свой счет постановку, заказали костюмы, не поскупились, только бы досадить Фемистоклу. Демократы, разве мы уступим плешивым лягушкам, ублюдкам богов?

— Нет! — рычал народ и потрясал посохами.

— Славнейшие граждане! — продолжал Фриних, вытаскивая из-за пазухи помятый свиток папируса. — Есть у меня новая трагедия — «Ясón»: В ней рассказывается, как герои под руководством богини Паллады строят корабль...

— Поставим трагедию Фриниха! — отвечали ему мореходы. — Долой сухопутных крыс-педизев!

Все взоры обратились к Фемистоклу. Вождь молчал, не высказывая своего одобрения.

— Время ли теперь, — наконец промолвил он, — когда враг у ворот, время ли предаваться трагедиям? Мы рабочие люди, мы воины и матросы. Оставим театр жрецам, а праздные удовольствия — бездельникам-аристократам.

Но народ не согласился с вождем.

— Мы хорошо трудимся, мы готовы и умереть во славу Афин! Но пусть будет представление на праздниках! Прославим в театре нашу богиню и нашу демократию!

— Но, граждане, казна пуста, каждая драхма на счету. Где возьмем средства на постановку?

Тогда на трибуну взобрался Ксантипп. Заикаясь от волнения, покраснев, он предложил поставить спектакль на свой счет.

Спектакль всегда ставили богатые хореги за свой счет, по очереди. До Ксантиппа было еще далеко, но ему не терпелось отличиться. Народ хлопал в ладоши, кричал, хвалил Ксантиппа.

— Но, слушай, ты же недавно построил на свой счет «Беллерофонт», самый мощный корабль в Афинах?

— У меня найдутся еще деньги.

— Но ведь твои корабли с товаром перехвачены врагом, и ты говорил на рынке, что ты разорен.

— Возьму деньги у ростовщиков, заложу самого себя, но поставлю трагедию не хуже, чем эвпатриды!

Итак, решено, ставится «Ясон», трилогия Фриниха; хорегом утвержден Ксантипп.

На репетициях Фриних и Ксантипп, оба щупленькие, оба суетливые, указывали, укоряли, ссорились, сами пробовали играть и за актера и за хор. Дело спорилось.

Однако и эвпатриды не теряли времени даром. Ксантипп побывал у них на репетиции и потом говорил Фриниху, горестно крутя свою плешивую бородку:

— Посмотри, отец, у Эсхила — два актера, как здорово у них идет действие! А ты сочиняешь по старинке: у тебя выходит один актер и битый час препирается с хором. Народ у нас разбежится со скуки.

Но Фриних пускался в воспоминания о том, как после разрушения персами восставшего Милета он поставил

трагедию, где изобразил страдания милетцев. Зрители плакали от сочувствия, и Ареопаг, опасаясь за их душевное спокойствие, запретил дальнейшие представления.

— И все это было сочинено именно так, как повелось исстари, а не как у этого нечестивца Эсхила, да поразят его Мбйры! Так повелось уже с древней поры — один актер и один хор. Ксантип все-таки сомневался. И знаете, на этот раз я был с ним согласен: достаточно было послушать, как живо в трагедии Эсхила разговаривают два актера.

— И, ничего! — махал сморщенной ручкой Фриних. — Публике что надо? Сделаем котурны повыше и костюмы попестрее. Найдем в хор лучших певцов — вот народ и будет доволен.

Он задирает полу хламиды, озабоченно сморкался в нее и бежал далее — хлопатать.

Я, Алкамен, конечно, сторонник демократов. Фемистокла я обожествляю. Но честно должен сказать: стихи Эсхила мне нравятся больше. Ночью смотрю в мигающее звездами небо и шепчу, засыпая, его строки, услышанные во время репетиций:

Землерожденный Аргус, враг лукавый,  
Сверкает тысячью глаз, которым нет покоя...

## ПРАЗДНИКИ

Проспал, проспал! Я не увижу ни парада, ни шествий, ни гимнастических состязаний! Да вдобавок Килик накажет за то, что я не занял установленного мне места в храме!

Издали слышатся трубы оркестров и волнующее пение девичьего хора — это знатные афинянки в позолоченных корзинках несут дары Дионису.

Вскочить, умыться, натянуть новенький, хрустящий хитон (скаредный Килик пожаловал ради праздника) — все это дело одного мгновения.

И вот я прыгаю, как по лестнице, по длинным теням кипарисов. Солнце только вошло, еще прохватывает холодок, спешат ярко одетые люди — праздник! Я обогнал наших храмовых девочек-рабынь. В длинных платьях, с венками на головах они спешат к священной процессии.

Уж очень взрослые они, эти девочки, — красятся, мажутся, задирают носы. Обычно мы с ними не разговариваем, но сейчас, увидев меня, они закричали:

— Ой, Алкамен, какой ты хорошенький! Какой на тебе расшитый хитон!

Подумаешь, лягушачьи нежности! Я побежал по тропинке, чтобы сократить путь к храму. Что мне эти певички, когда живет на свете Мика — «пышнокудрявая», как говорят поэты, единственная в мире!

На священной дороге земля гудит от топота копыт. Сверкая медью, сквозь пыль проходит конница. Народ приветствует ее дружным кличем, называет имена знатнейших:

— Видишь, на вороном коне? Это Кимон, сын Мильтиада. У него, знаете, сестра красавица, беленькая такая.

— А вот Лисимах, сын Аристида. Бедняга небось тоскует по изгнанному отцу.

Прошли, размеренно ступая, молчаливые гоплиты со скучными крестьянскими лицами, за ними — юноши-эфебы, вооруженные дротиками.

А вот звуки труб и бряцание бубнов — идут моряки, покорители свирепых морей, открыватели диких земель. Везут на колесах священный корабль; шествуют командиры экипажей, среди них и Ксантипп, командир «Беллерофонта». Идут невозмутимые сквозь радостный вопль толпы; идут суровые, плотно сомкнув рты, словно окаменев от осознания торжества.

Я в толпе мальчишек побежал за войском. Военная музыка будоражила сердце, хотелось сорваться с места и лететь, лететь не зная куда.

Так начался праздник. Три дня на площадях не пустовали столы с угощением для всех; три дня продолжались танцы и гулянья, дымили жертвенники всех храмов. Соревновались народные хоры, состязались актеры в декламации, а поэты — в чтении стихов. Но вот настал день и для театральных представлений. Архонт бросил жребий. Первому довелось выступить Эсхилу, за ним — Фриниху.

— После Эскила, — мрачно предрекал Ксантипп, — будут ли слушать нашего старичка?

Люди пришли в театр до рассвета. Приехали крестьяне из далеких деревень; перед театром торчал целый лес оглобель. Раскупоривали амфоры с вином, мешали золо-



тистое фалёрнское и густое хибское с водой из фонтана и пили, прославляя богов.

Жрецы Диониса принесли установленные обычаем жертвы, и представление началось.

Предание рассказывает, что жили два брата-титана. Одного звали Эпиметей, другого — Прометей. Бог Зевс сотворил животных и людей и поручил братьям оделить их разнообразными качествами.

«Это сделаю я, — предложил Эпиметей. — А ты, братец, отдохни, потом проверишь, хорошо ли я сделал».

Одним животным дал он быстроту, но не дал силы. Другим, наоборот, дал силу, но не дал быстроты. Маленьким он дал крылья или прыткие ноги, большим — рога или клыки. Всех он одарил, всех оделил, всякому дал защиту по мере его способностей.

А людям ничего не осталось: голые, беспомощные, блуждали они во тьме:

...Словно тени снов

Туманных, смутных, долгую и темную  
Влачили жизнь... Врывшись в землю, в плесени  
Ютились. Ни примет зимы остуженной  
Не знали, ни весны, цветами пахнувшей,  
Ни лета плодоносного...

Даже разума не дал им опрометчивый титан!

Взглянул на землю другой брат, Прометей, и сердце его затрепетало от жалости к людям. Он похитил из очага богов огонь, спрятал его в сердцевине тростника и принес на землю. Он научил людей читать, дал им быков и показал, как пахать и сеять хлеб. Он дал им знание и ремесло, научил, как не бояться сил природы.

И люди стали счастливее богов. И боги, разгневавшись на Прометея, решили казнить его ужасной смертью.

Обо всем этом рассказывалось в первой трагедии Эсхила — «Похищение огня». Люди переговаривались, жевали завтраки, опоздавшие рассаживались по местам. Юные эвпатриды в нижних креслах вели светские разговоры и громко смеялись. На них шикали, ругались.

Перерыв. А с первых же слов второй трагедии — «Скованный Прометей» — все боялись пропустить хотя бы одно слово на сцене.

## «СКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ»

Власть и Сила — подручные Зевса, владыки богов, влекут через всю оркестру Прометея. Гефэст, бог-кузнец, жалует его. Но что поделаешь? Воля Зевса необорима, и Гефест, плача, пробивает гвоздем грудь бессмертного титана, а вот уже и руки Прометея прикованы к черной скале Кавказа...

Обречен я! Страдать мне века и века,  
Мириады веков! —

воскликает в горести страдалец.

Шум крыльев за сценой — Океаниды, его двоюродные сестры, прилетают к нему, увещевают покориться воле Зевса. Наконец Гермес, посланец богов, приносит ему предложение Зевса о перемирии. Но гордый Прометей непреклонен:

Напрасно! Медовых речей болтовня  
Не растопит мне сердце! Угроз похвальба  
Не сломает!

Мнесилох где-то в верхних рядах кашлянул на весь театр и провозгласил в тишине:

— Это у них, кажется, намек на Аристиду?

Молодые аристократы внизу демонстративно засмеялись.

— Чума на ваши головы! — шипели зрители. — Молчите, ради муз-усладительниц!

Тем временем актер на сцене декламировал звонкие фразы, вложенные поэтом в уста титану:

Всегда жестоки властелины новые!

Ну, это уж прямой намек на Фемистокла! Демократы зароптали; их противники стали торжествующе подталкивать друг друга локтями. А Прометей все пророчествует:

...Видел я, как два тирана пали в пыль,  
Увижу, как и третий, ныне правящий,  
Падет паденьем скорым и постыднейшим!

Аристократы подняли ликование. Вновь послышался гулкий протест Мнесилоха:

— Чего осклабился, стриженная жаба? Ты ему, Феми-стоклу, недостойн и ноги омыть, а туда же с критикой, крысиный ты хвост!

В верхних рядах началось яростное движение. Потом стражники потащили Мнесилоха из театра. Так как у него не было своей крыши и гардероба, он все подаренные одежды напяливал на себя и был похож на капусту. Когда стражники его тащили, а он цеплялся, каждая из его одежд оставалась на каком-нибудь ряду.

— Ой, миленькие, ой, курносенькие! Ой, скифчики! — причитал Мнесилох. — Ой, родные, желтая хламида зацепилась, а она ведь подарок от Аристиды. На ней даже две заплатки есть! Ой, родимые, теперь безрукавку козлиную потерял. Ее мне сделала Агасиева жена.

Все оборачивались и улыбались. Поднялись жрецы, чтобы прекратить это нарушение священнодействия трагедии. Мнесилох угомонился, и все успокоились.

И все погрузились в поэзию стихов Эсхила. Каждый думал о том, что это он, как Прометей, жестокой жизнью прикован к скале нужды и нет ему пощады...

Зачем же жить? Не лучше ль сразу броситься  
Вниз головой со скал, чтобы, ударившись  
О землю, обрести освобождение  
От бед? Однажды умереть не лучше ли,  
Чем день за днем изнемогать и мучиться?

Мне, Алкамену, тоже пронзили сердце эти слова. Поэт словно подслушал мои молитвы на твердом ложе после жестокой порки, угадал меня, маленького, беззащитного раба!

Слушали затаив дыхание пастухи, виноградари, землепашцы, матросы с огрубевшими лицами, с ладонями, роговыми от мозолей. В страдающем Прометее они увидели не Аристиды, изгнанного аристократа в нарочито заплатадном плаще, а страдальца и бунтаря, непримиримого, как и они сами.

Люди привстали со скамей, холодели от ужаса, слыша кощунственные речи титана:

Скажу открыто — ненавижу всех богов!

А по круглой орхестре метался хор, изображавший девушек-океанид в длиннополых цветастых одеяниях. Тенора, спрятав бороды под женскими масками, голосисто пели:

Рокочет и ропщет моря прибой набегающий  
И падает в бездну, и стонет.  
Гудят в ответ

Земли потаенные щели,  
Аида бездна,  
Струи прозрачных потоков плачут...

Моряки на верхних скамьях, наверное, вспомнили волну прозрачно-зеленого, самого нежного цвета, которая вдруг непомерно растет, свирепеет и, как разъяренный тигр, бросается на корабль, грозя пробить ему бока.

Ярость стихий, гнев богов! Ничто не заставит смириться гордый разум титана!

Сердца трепетали от напряжения; где-то за мирными холмами слышится скрип тысяч телег, ржут дикие кони, трубят боевые слоны и вопят верблюды... Орды надвигаются, чтобы захватить, разорить, уничтожить этот светлый город.

Сдаться? Покориться воле богов? Нет, трижды три раза нет! И все повторяют вслед за Прометеем непреклонные слова поэта:

Пусть в мысли не взбрдет тебе...  
Что буду плакать пред врагом чудовищным  
И руки, словно женщина, заламывать,  
Чтоб только цепи снял он. Не бывать тому!

Тогда Зевс обрек Прометея на новые мучения. По знаку хорега рыжий скиф Медведь за сценой стал крутить рукоятку. Заскрипели блоки, пришла в движение машина, и Прометей с воплем под пение охваченного ужасом хора провалился в Тартар...

Никто не хлопал, никто не кричал, как обычно.

Медленно расходились на перерыв афиняне, подавленные или возбужденные. Каждый думал о своем, но всех угнетала одна мысль — надвигающийся гнев богов.

## ЗАГОВОРЩИКИ

В третьей части трилогии — «Освобожденный Прометей» — титан все-таки смирялся с судьбой и подчинялся Зевсу. Афиняне были так потрясены предыдущим, что уж и не слушали, молча жевали свои пирожки, отмахивались от мошкары, которая вечером налетает с окрестных болот.

— Алкамен, исчадие дракона, куда ты провалился?

Живот не мешал Килику носиться за сценой с ловкостью белки. К вечеру, утомившись, он, как здесь, набрасывался и на актеров, и на хористов, и на рабов.

— Алкамен, где позолоченный орел, которого должен держать Зевс во время апофеоза — заключительной сцены?

Кладовка под сценой была заставлена декорациями и завалена реквизитом: деревянными мечами, рогожными мантиями, жестяными коронами. Это единственное спокойное место во всем театре; иногда актеры, а то и хорегги забирались сюда, чтобы перевести дух и отдохнуть от суеты.

В кладовке возле тряпья и ветхих декораций стоял Эсхил, беседуя с Агасием, который сосал сочную грушу и вздыхал от наслаждения. Я замер... Я всегда стремился что-нибудь услышать от Эсхила, хоть словечко: ведь этот чародей редко дарил людей возвышенным словом — говорил о самых обыденных вещах: о погоде, о ценах, о найме кораблей. Вот и сейчас он сокрушался:

— Я собрал в своих элевсинских поместях большой урожай. Куда везти, кому продавать? Никто запасов не делает, не надеется и до осени дожиться...

Агасий доедал грушу и согласно мигал круглыми глазами.

— Я насыпал отборным зерном триста больших амфор, — продолжал Эсхил, — отгрузил их Лисии, перекупщику зерна, он обещал выручить за них большие деньги. Пока ни зерна, ни денег.

Дионис-покровитель! Когда же он перестанет говорить о зерне и скажет что-нибудь гениальное? Неужели именно он, этот расчетливый владелец угодий, сочиняет такие строки, от которых трепещут сердца?

— А вот как раз и Лисия! Уморился, а? Нелегка должность хорегга? Это тебе не муку молоть.

Тощий Лисия был взволнован, спотыкался, тер затылок.

— Да, да... Все ли собрались, друзья? Эсхил, Агасий — вы здесь? Ого, сколько народу! А где же Килик?

Я и не заметил, что кладовка наполнилась людьми, и всё эвпатриды из самых знатных семей. Вот и Килик спускается по лестнице, устало дыша. Увидел меня, но не ругается, не дерется; подозвал, положил руку мне на голову и запустил пальцы между кудряшек.

— А кто сторожит наверху? — беспокоился Лисия. — Подозрительного ничего нет? Можно начинать? Я решил срочно собрать вас здесь, потому что есть чрезвычайные новости и требуется немедленное решение... Но сначала,

как подобает потомкам богов и благочестивым гражданам, помолимся бессмертным.

— Да не тяни ты, Лисия, рассказывай! К тебе, говорят, гонец прибежал, запыленный, оборванный. Не от Аристида ли? Где он, Аристид, в какой стране?

— Нет, нет, друзья, гонец не от Аристида, но Аристид знает обо всем, и я говорю как бы от его имени...

Лисия сделал передышку. Сверху доносился гам и разноголосица последней трагедии.

— Эй, там, у двери! Посторонних нет?

Лисия понизил голос:

— Гонец был от персидского царя.

Стало тихо так, что слышалась возня крыс в старых декорациях. Словно весь многотысячный театр там, наверху, прислушался к словам перекупщика зерна.

Лисия продолжал шепотом:

— Этот гонец только на один день пути опередил вестника царя Леонида. Завтра все узнают о роковых событиях: фиванцы перешли на сторону мидян, Леонид с войском осажден в теснине Фермопил, персидский флот готовится высадить стотысячный десант.

— Ох, времечко! — со слезой в голосе произнес толстый Агасий.

— Рано плакать! — оборвал его Лисия. — Царь прислал гонца, предлагает помиловать афинян... Не всех, конечно, только самую золотую головку. А мы должны ему помочь: Фемистокла изловить или убить (в театре это легче всего сделать), ворота царю открыть по примеру фиванцев. Тогда уцелеем, а демократов, всех этих матросиков и горшечников, всех горлопанов и бездельников любимец богов Ксеркс выведет на невольничьи рынки...

— А храмы и деревни предаст огню... — задумчиво произнес Эсхил. — Детей осиротит...

— Ну и что же? — запальчиво ответил Лисия. — А свои афинские гоплиты разве не опустошают сады, разве не объедают виноград, как лисицы?

— То свои...

— Да уж лучше ярмо любого царя, чем разгул демократии, будь она проклята богами, будь она проглочена Аидом!

— Истинно, истинно... — залепетал Агасий. — Того и жди, либо демократы сокровища отберут, либо собственные рабы в постели удушат!

Тягостное молчание всех сковало.

И тогда стал говорить Эсхил. Его слова падали в тишину, словно капли в бронзовый таз.

— Я не демократ,— сказал поэт.— И да пожрут гарпии Фемистокла и всех его нищих! Но к персидскому царю я в услужение не пойду: ведь родина благословенная дороже всего — и жизни и богатства!

Эвпатриды заволновались.

— Слушайте, слушайте! — призывал к спокойствию Килик и так сдвинул мою голову, точно это была ручка кресла.

— И не поверю я, что твоими устами вещает Аристид,— продолжал Эсхил.— Он мой друг, и я его знаю. Недаром его прозвали Справедливым, и родины он не предаст. Зато я теперь знаю, куда девались мои триста амфор зерна. Ты персидской армии готовишь запасы, изменник, царский шпион!

Лисия замахал длинными руками, яйцевидная лысина его побагровела. Он закричал, указывая на Эсхила:

— Вы слышите его, благородные? Сегодня он соблазнительными стихами призывал к свержению богов, завтра призовет толпу делить ваше имущество, а рабов — разбивать кандалы! И как это мы, слепцы, дуралеи, выпустили на сцену его стряпню?

Эсхил молча смотрел на него в упор младенческими глазами. Потом повернулся и стал величаво подниматься по лестнице. Мне показалось, что Лисия вот-вот ударит его снизу кинжалом. О, я бы успел выскочить и повиснуть на руке негодяя!

Но Эсхил поднимался, ступеньки скрипели под его грузными шагами, а перекупщик зерна беспомощно спрашивал у всех:

— А он не предаст, а он не пройдет к Фемистоклу?

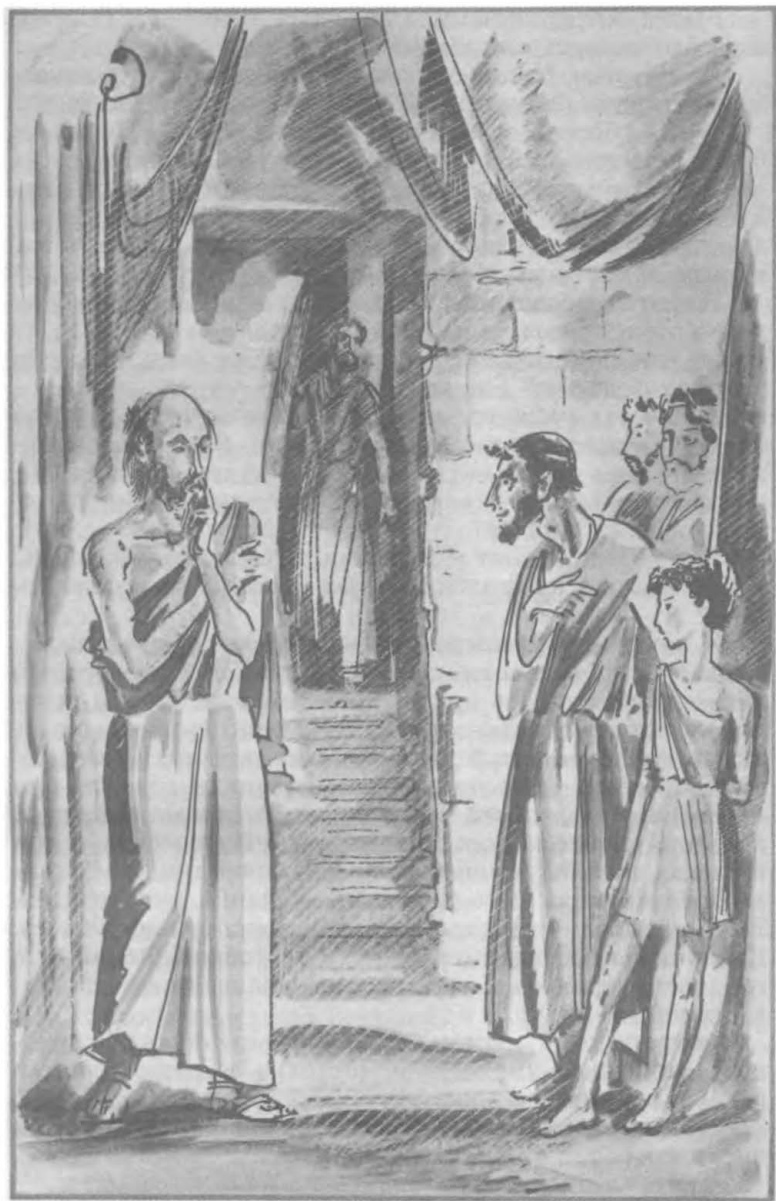
Дверь за Эсхилом захлопнулась.

Тогда Килик удрученно вздохнул и сказал:

— Успокойся, этот бородатый ребенок такого не придумает. Он проклянет тебя в стихах или постарается надуть при очередной продаже зерна. А к Фемистоклу он не пойдет.

— А мальчишка? — трясся Лисия.— Этот театральный прислужник, он не выдаст?

— Он глуп, как поросенок, ему бы только проказить,— усмехнулся Килик.— Да к тому же он знает, что рука Килика тверда, а палка не знает жалости. Не так ли, сын лягушки?





Килик потрепал меня за волосы и оттолкнул. О жрец, если бы ты знал, как ты ошибаешься!

— Ну, а ты, Килик, ты сам хочешь нам помочь в свержении тирана Фемистокла? Чей ты — наш или не наш?

— Я — бóгов, — уклончиво ответил жрец. — Персы ли будут править, демократы ли, эвпатриды — боги при всех властях будут требовать жертв. А где жертвы, там и жрецы.

— Понятно, — зловеще заключил Лисия. — Ну что же, идемте, благородные!

Никто не последовал за ним. Все молча слушали, как причитал и трясся Агасий из Ахарн:

— Аполлон, провидец, вразуми! Как быть, в какую сторону податься? Где спастись?

А наверху рабы гремели листами железа, изображая грозу, хор ревел басами, подражая буре. Раздался восторженный шум толпы — трагедия окончилась. Бежать бы, предупредить бы Фемистокла, но как удрать из-под бдительного ока Килика?

Вот и Эсхил стоит у парапета, глубоко задумавшись. Какие молнии пронесутся сейчас в этой царственной голове?

К поэту приближается Фемистокл, вот поравнялись... Сейчас Эсхил остановит его, все расскажет о заговоре! Но нет, они обменялись приветствиями; глаза Эсхила потухли, веки безразлично опустились. Значит, только мне суждено предупредить о заговорщиках, но как, но когда?

А на сцене в заключение представляли коротенькую драму сатиров, также сочиненную Эсхилом: Мнесилох в бородатой маске, похожей на лицо Фемистокла, и хор в масках, подобных лицам вождей демократии, изображали бога Диониса и его спутниц — вакханок. Они танцевали с нелепыми ужимками, а народ добродушно смеялся. Кажется, больше всех хохотал сам настоящий Фемистокл: он даже утирал слезы и показывал пальцем на удалого Мнесилоха.

Затем по ходу действия демократы-вакханки рассердились на своего Диониса-Фемистокла и разорвали его в клочья. Одна утащила ногу, другая оторвала голову, третья унесла туловище. Драма окончилась. Мнесилох вновь выскочил из-за кулис, чтобы зрители могли убедиться, что он цел и невредим.

Я приготовился улизнуть, но меня остановил Ксантипп:

— Эй, как тебя? Театральный мальчик. Прибыл знаменитый хор Феогида, завтра ведь моя очередь быть хорегом. Ты не забыл? Размести хористов, дай им поесть, пусть отдохнут как следует, наутро им предстоит работенка!

Ксантиппу — вот кому рассказать! Сердце подсказывало: «Иди скажи, пока не поздно!» А ноги не шли к этому истязателю, этому кентавру!

Как назло, Килик затеял пир в честь успеха трилогии Эсхила. Вот я и метался — от Ксантиппа к пирующим, от хористов к Килику. Наконец, на мое счастье, Килик пригласил к себе и хористов; они радостно возлегли за пиришественный стол, и началось у них разливанное море! Я обежал глазами пирующих: Эшил здесь, здесь и дородный Агасий, а Лисии нет, нет и других эвпатридов...

Сердце мое заледенело: наверх, точат ножи, крадутся во тьме ночной; стража, подкупленная, спит...

Килик отпустил меня, когда уже запели петухи.

## БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

— Медведь, ну что ты будишь меня, ведь солнце еще не взошло!

Наконец спросонок я сообразил, в чем дело, и сердце мое зашло от ужаса: вчера я только склонил голову отдохнуть, а вот поди-ка — проспал. Проспал, негодяй, всю ночь! И снилось мне, как аристократы с рожами, страшными, будто маски сатиров, бегут в объятия к людоедам-мидянам. Что же теперь делать: ведь я не предупредил Фемистокла?!

А Медведь теребит меня за плечо:

— Иди, иди, там тебя хорег ищет!

Хорег Ксантипп был вне себя от ярости: к нему подступали давние страшные мои знакомые: лидиец, как мохом, обросший черной бородой, и с ним бритоголовый египтянин.

— Ну что вы ко мне пристали? — отбивался от них Ксантипп. — Нету у меня при себе денег. Сказал, отдам, так, значит, отдам! — И обращался ко мне: — Эй ты, проказник, отвечай, где хористы?

Я представления не имел, где хористы. А чужеземцы осаждали Ксантиппа:

— Срок платежа истек, верни нам деньги! Нам неког-

да ждать, мы отплываем. Кругом война — мы боимся. Отдай деньги, а то мы позовем пританов и отберем театральные костюмы и музыкальные инструменты... Ведь ты хорег, ведь это на твой счет изготовлено? А мы имеем право все забрать!

— О Посейдон, укротитель зла! А как же представление?

— Нам какое дело — представление! Нам денежки давай! Потом с тебя и не получишь.

— Театральный мальчик, где же хор, о боги милостивые!

Воздух прохладного утра освежил мою память: как же я забыл? Ведь хористов пригласил вчера Килик. Там они и пируют сейчас или спят под столами.

Мое сообщение не обрадовало Ксанטיפпа. Он с тоской смотрел на своих кредиторов, как вдруг его осенило:

— Послушай, ведь ты, кажется, был у меня дома? Проводи этих чужестранцев... Вот на этой табличке я начертал письмо жене. Она вам, господа ростовщики, выплатит все сполна. Я при себе не держу кошелька. А может быть, вы все-таки подождете до завтра?

— Зачем ждать? Завтра этот театральный хлам никому не будет нужен... Мы возьмем деньги сегодня, и еще до начала представления!

— Ну, в таком случае, торопитесь! А ты, мальчик, веди их бережно, тихо, не беги бегом, веди по хорошей дороге, чтобы господа ножки не поранили. Даже если придется сделать крюк — делай крюк.

Заупрямиться? Не пойти? Не забыл еще твои я розги, хорег Ксантип! Но я увижу Мику, увижу Мику!

По небу разливалась нежная заря, а мы спустились в переулки, в лиловую мглу. Ростовщики запыхались, поспевая за мной, да они и сами спешили.

— Если он нас обманул, — говорил лидиец, размахивая волосатыми руками, — надо успеть вернуться до начала представления, а то жрецы не разрешат нам прервать священнодействие, остановить трагедию. И не получим мы наших денег. Денежек наших!..

— Да, — кратко ответил египтянин. — Так советовал Килик.

Килик? Ах, так это каверза Килика? Недаром он вчера грозился: сорву, мол, демократам спектакль, так или иначе — сорву!

И я повел ростовщиков самой дальней дорогой. Солн-

це уже поднялось, когда мы пришли в Колон. Чужеземцы утомились, вспотели, обмахивались шляпами. На наш стук из дома Ксантиппа не вышел привратник, не залаяла собака. Тишина. Только из соседнего двора слышится мерное поскрипывание: наверное, слепой осел вращает колесо колодца.

— Озирис свидетель, — произнес египтянин, — этот дом чума посетила. Смотри, даже драпировка на входной двери содрана!

Ростовщики посоветовались и вошли в дом, а я за ними. Когда глаза привыкли к сумраку, мы увидели, что покои пустынные, вместо мебели — темные пятна у стен, где она стояла годами. Повсюду мусор, клочки рогожи, доски от ящиков. И полное безлюдье.

— Я так и знал! — воскликнул лидиец. — Этот клятвопреступник нас обманул!

Египтянин присел на корточки и стал рыться в куче мусора, как будто в ней можно было найти оброненный бриллиант.

Я оставил их и побрел через пустынную столовую и мрачный кабинет, где с потолка свисали высохшие гирлянды кипарисовой хвои. Где же люди? Куда делось семейство Ксантиппа?

Я вышел в сад. Там все так же, как тогда, — ореховые деревья, кусты в виде шаров и кубов, журчанье струй в каскаде. На колоннах дворика углем начертаны буквы вкривь и вкось, валяются глиняные солдатки, кукла с оторванной ногой... Как будто Перикл и Мика только что убежали отсюда. Вот на этой дорожке, посыпанной розовым песком, я когда-то лежал под розгами и грыз песок, чтобы не закричать. А здесь стояла Мика, закрыв ладонями пылающее лицо. Я снова ощутил стыд того дня... Нет! Недолго мне терпеть! Я докажу, я докажу!..

Вот памятный бассейн. Струится зеленоватая вода, змеятся водоросли, но рыб не видно. Где же зубастые чудища? Мне даже хочется увидеть их, как старых знакомых, но и их нет.

А эта дверь завешена драпировкой. Здесь, кажется, живут, слышится настороженное рычание собаки. Я отогнул край занавески — там на ковре лежал Кефей, добродушная собака, а на нем, как на подушке, мирно спал длинноголовый мальчик Перикл. Вот они где! Чужая собака наострила уши и рычала, но осторожно, чтобы не разбудить мальчика.

— Господин, господин, что тебе?

Это старая нянька; она придерживает драпировку узловой рукой.

— У меня, бабушка, поручение от благородного Ксантиппа к его жене.

— К жене? О боги! О горемычная госпожа!

Нянька заохала, запричитала.

Из-за ее спины появилась Мика. Она как-то выросла, похудела, стала похожа на остроносого мальчика. А я, как увидел ее, снова стал вспоминать слова, которые поэты заставляют звучать на сценах театров: «Истинно, вечным богиням она красотой подобна!»

— Что тебе, мальчик?

— Письмо к госпоже. Должен передать...

— Давай сюда.

Мика раскрыла восковые таблички, на которых Ксантипп запечатлел свое послание. Лицо девочки стало горестным; слеза капнула на письмо — одна, другая. Девочка швырнула таблички, и они разлетелись вдребезги.

— Деньги! Что же он просит деньги? Денег нет!

Я как зачарованный смотрел в ее золотые глаза, вспухшие от слез. Она нахмурилась, и я отвернулся.

— Как — нет денег? — в один голос сказали оба ростовщика. Оказывается, они тоже пришли сюда и стояли за моей спиной. — Подайте нам деньги!

— Нет, ничего нет! — Мика развела руками, показывая на ободранные стены.

— А там, в комнате, что-то есть? — заявил лидиец. — Стул есть? Возьмем стул. Кровать? Возьмем кровать!

— Возьмем ее! — крикнул египтянин. — Закон разрешает взять дочь, если отец долга не платит.

И он схватил ее плечо цепкой рукой. Я ударил наглеца в бок. Этот удар скорее удивил его, чем испугал.

— Мать Изиды! Ты дерешься, мальчишка?

— Убирайтесь вон! — крикнул я. Голос сорвался и дал осечку, но я готов был принять любое сражение.

Лидиец захохотал, тряхнул черными волосами и принялся засучивать рукава.

— Кефей, Кефей! — закричала Мика.

Звонкое эхо разнеслось по пустым помещениям.

Кефей появился. Опустив хвост, как толстую палку, он даже и не рычал, а только скалил клыки, но ростовщики опасливо попятились.

Пес оскалился было и на меня, но Мика обхватила мои плечи и сказала собаке:

— Это друг, друг, понимаешь? Друг!

Кефей медленно наступал на чужеземцев, и они бежали. Лидиец бормотал заклинания, а египтянин расточал угрозы.

Меня никто не приглашал остаться, и я вышел вслед за ними. Нянька семенила за мной и скороговоркой шептала:

— Хозяйка плоха, уж так плоха! И врача не на что позвать... Мика, бедная девочка, прямо сбилась с ног. А наш Ксантип, да простят ему боги, все продал, все заложил. Мебель вывез, рабов продал, только меня, старуху, никто не купил: говорят, околевать пора... А ты увидишь его в театре, скажи, пусть идет скорее. Ведь в доме ни куска... И хозяйка уж больно плоха. А Мика прямо с ног сбилась, бедная девочка. Уж ты скажи ему — прямо с ног сбилась!

## ПАЛКИ В КОЛЕСА

— Теперь скорее в театр! — Лидиец взмахнул волосатой рукой. — Веди нас, мальчик, покороче да побыстрее — получишь два обола. Вот она, монетка. Купишь сластей...

— Поспеть бы к началу, — сказал египтянин.

Как бы не так! Сорвать спектакль демократов? Как бы не так.

Я вел их по самым кривым переулочкам, по самым запутанным трущобам. На площади Эвфория в огромную морскую раковину собиралась подземная вода. Здесь кончался Керамик — глинобитный квартал гончаров — и начинались портики каменного города. Я сделал вид, что мне плохо от жары, долго пил, мочил край хитона, прикладывал ко лбу.

— Скверный мальчик, что ты медлишь? — закричал лидиец, изнемогая от злости. — Мы опоздаем!

Но я продолжал охать, пил воду маленькими глотками. Я умел быть хитрым — рабская жизнь всему научит. Ростовщики накинулись на меня с бранью, египтянин замахнулся палкой.

Я отскочил в сторону, спрятался за кривой ствол шелковицы и показал им фигу. Улицы были пустынно — все

ушли в театр, и некому было помочь им наказать строптивного раба.

— Укажи нам хотя бы дорожку покорооче, — взмолились чужеземцы. — Мы сами пойдем!

Вершина Акрополя, у подножия которого стоит наш театр, отсюда не видна — ее скрывают двухэтажные бани и купы каштанов. Я указал им на другую гору, ту самую, на которой заседает священный Ареопаг.

— Если господин — мешок обманов, то слуга — сосуд лжи! — воскликнул лидиец, но все-таки побежал за египтянином туда, куда я указал.

Я ликовал, еще бы! Проданные мальчики отомщены, спектакль демократии спасен, Мика в безопасности, даже Ксантиппу помог вывернуться, хотя ему-то помогать совсем не стоило!

Но Фемистокл, Фемистокл!.. Не свершилось ли уже непоправимое, потому что я не успел сообщить о заговоре! Да нет, пожалуй... Если бы такое произошло, город бы кипел! Во всяком случае, скорее в театр, спектакль, наверное, давно уже начался.

Что такое? Театр полон, народ топает ногами, оглушительно требует начинать. Вот и голова Фемистокла чернеет над седидами архонтов и стратегов. Что же случилось?

В помещении за сценой знаменитый актер Полидор, развалившись в кресле, тянул из куба мед с яичными желтками — лучшее средство для голоса. Время от времени он брал ноту:

— И-до-до! Эу-э! И-до-до!

Завидев меня, он помахал опустевшим кубком:

— О Алкамен, театральный мальчик! Где ты пропадаешь? Я уж думал, что тебя продали на Делос за шалости. Ты не подскажешь мне сегодня, если я опять забуду текст? О музы, мне бы твою память!

— Непременно, господин, я подскажу. Но где же все? Почему не начинают?

— И, наверное, совсем не начнут! — Полидор махнул изящной рукой и налил себе еще меда. — Кто-то ночью напоил хористов, и они языками не владеют. Уж их и водой обливали. Хотели пригласить хор, который вчера пел у Эсхила, да ведь это пустое дело: им все заново зубрить надо. Ксантипп рвет остатки бороды.

Распахнулся полог — вошел Ксантипп (легок на помине!), за ним — Фриних, Мнесилох, другие демократы.

— Вот он! — вскричал Ксантипп, указывая на меня пальцем.

У меня сердце упало — в чем я еще провинился?

— Мальчик! — подбежал драматург Фриних. — Говорят, ты все слова наизусть знаешь... И поешь хорошо... Будь корифеем, поведи хор!

Все меня обступили, уговаривали наперебой, даже не давая сказать «нет» или «да». Полидор встал во весь свой могучий рост и заглушил всех бронзовым басом:

— Мальчик знает все и умеет все! Одевайте его! Клянусь Аполлоном и девятью музами, он споет вам лучше, чем настоящий корифей!

Сполоснул горло новым глотком меда и запел вновь:

— И-до-до! Эи-а-а! И-до-до-о!

Старческие руки Мнесилоха дрожали, когда он меня одевал и подбадривал:

— Не бойся, Алкамен, главное — смелее. Спой так, как, бывало, пел мне по ночам, и все помрут от зависти. Правда, рост у тебя небольшой, ну не беда: в первой трагедии ты изображаешь смертную женщину, а ко второй, где ты играешь богиню, я разыщу тебе самые высокие кофурны.

Помогал меня одевать и Ксантипп. Передо мной маячило его вспотевшее бородавчатое лицо. Как оно безобразно и как много в нем общего с лицом Мики, хотя лицо девочки прекрасно! Оно свежее и чистенькое, как яичко. Что же он ни слова не спросил меня: что дома, где ростовщицы, как я от них отделался? Вспомнились жалобы няньки: «Мика, бедная девочка, с ног сбилась совсем...»

А Ксантипп неожиданно улыбнулся, и лицо его стало добрым и даже симпатичным. Он встал с колен и хлопнул меня по спине:

— Готов! Теперь оденемся мы — и можно начинать.

Сердце замерло, как перед прыжком в бездну. Мне что-то шептали, но я уже ничего не понимал. В руку всунули мне прялку...

## НЕОЖИДАННЫЙ ДЕБЮТ

Миф повествует: юноша Ясон вышел однажды к бурной реке. Там стояла старушка и молила переправить ее на другой берег. Юноша перенес старушку и потерял одну сандалию в быстрой воде. Старушка оказалась переде-



той богиней. Она просто хотела испытать, великодушен ли Ясон, способен ли на подвиги ради людей.

Ясон отправился дальше и достиг царского дворца. Увидев Ясона, царь пришел в ужас: однажды оракул предсказал ему, что его убьет тот, кто придет к нему обутый в одну сандалию. И царь приказал Ясону: построй корабль, плыви на край света, в Колхиду. Добудь золотое руно, которое стережет огнедышащий дракон.

И Ясон начал строить корабль, и назвал его «Арго», и кликнул клич героям, чтобы плыть вместе. И народ их назвал «аргонавты» — плывущие на «Арго».

Так начинается трагедия. Полидор, изображающий Ясона, ходит с топориком в руке и декламирует звучные стихи.

Я играю мать Ясона, хор — мои прислужницы. Мы идем, чтобы умолить, упросить Ясона не покидать стариков родителей, не слушаться приказов злого царя. Первый стих мне надо произнести, вступая на оркестру, а я молчу — язык словно присох! Я знаю, знаю все слова, знаю наизубок, но все вылетело из головы! Она пуста и звенит, как медная кастрюля!

Пронзительно звучат многоствольные флейты-сиринги, арфы уже второй раз рокочут мелодию запева, а я молчу. Холодный пот течет по спине. Сейчас я запутаюсь в этой длиннющей мантии, слетит моя нелепая маска... Что же делать? Я все-таки двигаюсь, как заведенный, за мной вереницей следуют, покачиваясь, хористы — ждут моего запева. Театр молчит, насторожась. Кое-где слышны ехидные смешки.

Вдруг Полидор понял и шагнул мне навстречу, оставив топорик.

Мой сын, мой сын, болит и стонет сердце...—

услышал я его хриплый шепот.

Мой сын, мой сын...—

бодро запел я, и сразу улетучились страхи и прошло оцепенение,—

...болит и стонет сердце!  
Покидаешь нас, слабых,  
На чужбину бег корабля направив!..

Спасибо Полидору! Всегда я ему подсказывал, теперь он выручил меня.

А голос мой крепнет и набирает силу. Движения становятся плавными. Я веду за собой хор. «Прислужницы» описывают вокруг меня круги, плавно взмахивая рукавами. Теперь я пою и танцую беззаботно, как танцевал, бывало, на этой сцене по ночам, развлекая Мнесилоха.

Он и сам идет за мной в этом импровизированном хоре, в котором пришлось участвовать и Фриниху, и Ксантиппу, и другим демократам. Публика под масками не различает, кто исполнители. Только знатоки, наверное, недоумевают, почему вместо прославленных теноров из-под масок звучат какие-то доморощенные голоса.

Горе нам, горе нам...—

поет хор.

Едва обросши пухом,  
Едва оперившись, птенцы гнезда покидают.  
В далекое море, в страны севера,  
Где нет родной речи  
И шелеста деревьев родимых,  
А ветер,  
Холодный упругий ветер,  
Жестокий ветер чужбины...

Слушаю их, и мне невольно становится горько, и слезы мешают петь, как будто я действительно мать и мое кровное дитя улетает на чужбину. В памяти всплыла яркая картина: белые руки мамы рвут цветы и плетут венки. Непрошенные слезы покатались у меня под маской, а голос дрогнул, когда я запел, собрав все силы:

Горе мне душу гложет,  
Тоска вселилась, как змея-ехидна...  
О пожалуй, пожалей:  
Ты ведь последняя искра в черной ночи моей жизни!

И я чувствую, что народ замер и ловит каждое мое слово, каждое движение.

Но вот мы уходим, уступаем оркестру другой половине хора, представляющей аргонатов — Геракла, Тезея, Орфея, Кастора, Полидевка.

За сцену мы просто ворвались. Теперь-то я понимаю, почему актеры всегда так нервничают и ругают нас, прислужников, за медлительность: каждое мгновение им дорого.

Поспешно сбросили маски. Уф! Как свеж и прохладен воздух снаружи! Но мы торопимся, надеваем другие костюмы, меняем маски к следующему выходу.

Теперь я—богиня Афина. Во главе других божеств Паллада идет ободрить Ясона, помочь ему. Я стараюсь представить себе статую богини, которая стоит на Акрополе с огромным медным щитом, с совой на плече, со змеей. Я пытаюсь изобразить величавую поступь богини, стараюсь, чтобы мой голос приобрел царственную звучность. И, наверное, мне это удастся, потому что народ в театре встречает оживлением каждое мое движение, каждую фразу, а когда я заканчиваю, театр рукоплещет и кажется, что это в огромной чаше, высеченной в горе, переливается море ладоней.

Но вот конец первой трагедии. Ясон уплывает, с ним аргонавты, а мы, изображающие женщин, оплакиваем их отъезд, словно внезапную смерть.

Прощай, прощай! Возьми мое сердце  
К себе на корабль.  
Теперь на этом корабле—все, что я имею,  
И все, на что надеюсь.  
Теперь корабль—моя судьба.  
И море—моя судьба!

Если бы вы слышали, как нам хлопали, как кричали! Старый театр Диониса еще никогда не видел такой бури на своих скамьях.

Если бы Мика могла быть тут и слышать это ликование! Но женщин у нас в театре не пускают.

## УСПЕХ, УСПЕХ!

— Чтобы доказать, что ты плаваешь, надо броситься в реку!— вскричал Мнесилох, обхватив меня единственной рукой.

Был перерыв. Мнесилох обтирал мне лицо влажной губкой, давал пить, расчесывал мои волосы.

— Не у каждого яйца два желтка!— гордился он перед Полидором.— И говорят, что хорошую яблоню узнают по цветкам. Молодец, Алкамен, ветер попутный, поднимай паруса! Молодец, сынок!

И это «сынок», сказанное им впервые, было мне дороже всех похвал сегодняшнего дня.

— Ты, Полидор,— продолжал Мнесилох,— вовремя подсказал ему, помог. Вот что называется товарищеская помощь!

Полидор засмеялся и процитировал:



Зависть питает гончар к гончару, к плотнику — плотник,  
К нищему — нищий. Певцу же певец соревнует усердно.

А Мнесилох отгонял желающих посмотреть на меня:  
— Уходите, уходите, человек уморился. Чего вы столпились? Ну ты, носатый, что уставился? Разве ты верблюд, который увидел в луже, что у него горб?

Люди дивились:

— Как? Это мальчик? А мы думали, что это новый певец из Коринфа!

— Ну и мальчик! Какая игра, какой голос! Льется, как трель Филомелы, звенит, как бронза щита!

Мне даже стало совестно от этого хора похвал.

А вот и Фемистокл:

— Здравствуй, юный корифей! Кто ты? Я тебя не знаю.

Выразительные брови вождя нахмурились и снова поднялись в ясной улыбке:

— А, помню, помню! Непримирымый враг Аристиды, Алкамен — сын рабыни? Я ведь не ошибся?

Первый подарок преподнес Мнесилох, сказав мне «сын-нок», второй — Фемистокл, вспомнив мое имя. Как бы рассказать ему о заговоре? Сколько народа, какая толчея!

Мимо прошел Килик, поджав губы. Он словно бы и не замечал, что я играю, да как играю!

Я стал готовиться к следующей трагедии. Мнесилох помогал мне завязывать тугие ремешки на высоких котурнах. Когда я распрямил затекшую спину, передо мной стоял Эсхил; поглаживал бороду, смотрел на меня безмятежным взором.

— Это действительно ты пел корифея?

— Я...

— Ты давно играешь женские роли?

— Сегодня первый раз.

Эсхил недоверчиво отстранился. Мнесилох принялся расписывать мои достоинства, рассказывать, как я стремлюсь повторять, воспроизводить все увиденное и услышанное в театре.

— Талант — не заслуга человека, — строго заметил Эсхил. — Талант — милость богов. Хвали богов, юноша!

Эсхил взял мою голову между ладоней и наклонился, чтобы поцеловать меня в лоб.

— В тебе уживается сразу много людей, — сказал он. — Сегодня я увидел в тебе и коварную Клитемнестру, и нежную Электру, и неистовую Эриннию. Поэт ведь дол-

жен создавать, имея перед глазами образы живых людей. А ты населил мою голову целым миром образов. Спасибо тебе, мальчик! — И он меня поцеловал. А потом спросил: — Как тебя зовут, чей ты сын?

— Алкамен я, сын рабыни...

Эсхил прищурил глаза, посмотрел на меня отчужденно:

— М-да... — И обратился к подошедшему Ксантиппу: — Что, говорят, отправляются корабли в Лакедемон? Любезный Ксантипп, устрой мне доставить корзины маковых зерен, тысячу тюков льна! Могу предложить по драхме за перевоз корзины, по полторы — за перевоз тюка...

О Эсхил, Эсхил! Твоя отчужденность стала мне сегодня каплей дегтя, которая испортила горшок меда!

## КАТАСТРОФА

Вторая трагедия повествовала об аргонавтах в Колхиде. Настоящие хористы наконец пришли в себя и заняли место в хоре, а корифея Феогнида Ксантипп прогнал, обещав вывесить его для просушки на рее «Беллерофонта». Корифеем велено было оставаться мне.

Итак, пока Ясон и аргонавты рыскали по сцене, изображавшей поляну в девственном лесу, я с другой половиной хора ожидал сигнала к выходу. На плечи мы взяли кувшины: ведь мы изображали царевну с подругами и прислужницами.

Вдруг ветер отдул пологи входа, захлопали двери, посыпались стремительные шаги. Прошел Фемистокл, надевая позолоченный шлем стратега. Он на ходу говорил еле поспешавшему зал ним Килику:

— Скажи верховному жрецу... Я знаю, что это грех, но я принесу искупительные жертвы.

Следом за ним эфебы под руки вели спотыкающегося человека в пыльной хламиде, с окровавленными шпорами на сапогах. Вот он, вестник царя Леонида, о котором вчера предупреждал Лисия.

Фемистокл властным жестом велел хористам замолчать. Такой тишины не запомнят ласточки в небе над театром Диониса. За целый век никто не осмеливался прервать священнодействие трагедии.

Эфебы вывели вестника на оркестру. Верхние ряды встали, чтобы лучше разглядеть и услышать. Но вестник

разлепил изнеможенные веки и хрипло выкрикнул всего одну фразу:

— Братья, мидяне идут! Мидяне близко!

И упал к ногам эфебов.

Словно небо громом раскололось над театром — такой поднялся шум и гвалт. Некоторые хотели бежать, другие их удерживали, третьи старались перелезть через каменную ограду, четвертые в ужасе заламывали руки. Старейшины и пританы тщетно пытались навести порядок.

Однако этот хаос продолжался недолго. Фемистокл, который стоял молча, скрестив руки, неожиданно оперся о плечо стоявшего рядом эфеба и вскочил на каменный парапет:

— Афиняне вы или стадо коз? — Его громовый голос перекрыл всю панику.

«Ему бы в театре исполнять роль Громовержца!» — подумал я.

— Начальники фил и фратрий, объявите о местах сбора отрядов! — командовал Фемистокл. — Моряки — в гавань, к своим экипажам. Бегство из города воспрещается. Страже у ворот дан приказ убивать всякого, кто попытается выйти без пропуска. Начальники, командиры, после захода солнца военный совет в моем доме!

Шум прекратился. Все повернулись к вождю, слушали его приказания. Сразу запели сигнальные рожки, послышалась команда. Гоплиты, всадники, лучники, эфебы, бывшие в театре, стали выходить на площадь строиться. Остальные сгрудились кучками вокруг своих предводителей. Из разных концов доносились крики глашатаев.

— Фила Энейды, собираемся у круглого здания суда!.. Копьеносцы филы Антиохиды, сбор на закате солнца у оружейных мастерских! Э-эй! Кто из филы Антиохиды, слышите?

Мы наскоро разоблачилились. Все выветрилось из головы — и неожиданный триумф, и похвалы великих людей, и упоение собственным успехом. Тяжкий камень тревоги залег на сердце. Ухо чутко слышало каждый шепот, а в теле ощущался зуд — бежать, пока не поздно, сообщить о заговоре. А потом туда, где юноши примеряют шлемы и латы, где всадники седлают коней, где медь звенит о железо.

Но, как нарочно, появился Килик и стал требовать, что-

бы мы собрали все корзины и всю утварь и уложили их в корзины. Время ли заботиться о тряпках!

И только когда тьма распростерла крылья над городом, мне удалось улизнуть. Я опрометью кинулся по улицам, на которые как будто ночь не приходила: везде горели факелы, сновали люди, обвешанные оружием; озабоченные рабы катили тачки с поклажей, гнали навьюченных мулов.

Возле дома стратегов, где жил Фамистокл, стояла толпа — зеваки из тех, что хлебом не корми, только дай первым узнать что-нибудь и потом разнести по городу. Много было и крестьян, приехавших на праздники из отдаленных деревень. Они распрягли лошадей и ослов, тут же лежали на мостовой, жевали хлеб, чистили рыбу, ругались и плакали. Сумрачные лица земледельцев выражали терпеливое ожидание: что скажут стратеги? Ехать ли поскорее по домам или, может быть, уже и ехать не стоит, может быть, там уже неприятель и надо позаботиться, куда бежать дальше?

Я протиснулся сквозь толпу, вошел в круг, ярко освещенный колеблющимся светом множества факелов.

— Ты куда, парень? — Часовой отодвинул меня древком копья.— Проходи, проходи, здесь не базар...

Как быть? Кому же сообщить о заговоре? Изменники, наверное, времени не теряют, стряпают свои делишки, а я...

И вдруг среди рассуждающих о событиях я заметил Мнесилоха. О, я глупец, глупец! Уж Мнесилох-то найдет способ предупредить о заговоре.

## ПРАВО УБЕЖИЩА

Выслушав мой рассказ, Мнесилох взял бороду и закусил ее зубами — признак волнения.

— Уже вторая ночь идет! Что же ты вчера молчал?

Что я мог ему ответить?

— Ну ладно,— сказал Мнесилох.— Стоит ли теперь разбирать, почему у осла уши длинные? Давай искать Фемистокла.

— А что его искать? Вот он, Фемистокл,— в доме стратега, да пойдя его возьми!

— Братец,— обратился Мнесилох к часовому,—



сослужи службу старику инвалиду. Доложи Фемистоклу или кому-нибудь из стратегов, что есть срочное дело...

Часовой оставался нем и бесстрастен.

— У,— проворчал Мнесилох,— если у тебя есть дело ко псу, называй его «братец».

Но и укоры не действовали на часового.

— Терей! — вдруг закричал Мнесилох.— Тереюшка, голубчик! — и зашептал мне обрадованно: — Вон в дверях, видишь? Начальник караула, он из деревни Лакиады. Я у него прожил месяц в прошлом году. Тереюшка, Терей!

К нам подошел щеголеватый десятник с подстриженной бородкой.

— А, старина, здравствуй! Ну что тебе?

— Терей, да вознаградит тебя Афродита, наклони-ка ухо!

Терей благосклонно кивал в ответ на шепот Мнесилоха, потом удалился. Через некоторое время он вновь появился и издали стал делать нам знаки.

— Пойдем,— заторопился Мнесилох.— Он приглашает нас зайти с черного хода.

У черного хода также стояли воины и горел факел, но зевак и просителей не было. На крыльце виднелась грузная фигура Фемистокла. Когда мы поднялись к нему, воины отступили на почтительное расстояние.

— Поздно спохватился, мальчик,— покачал головой Фемистокл, услышав мой рассказ.

— Птички могли упорхнуть,— вторил ему Мнесилох.

— Дом Лисии — в Ламитрах,— размышлял стратег.— Сейчас мы пошлем туда отряд, только едва ли он сидит дожидается...

— А Эхил, а Килик? — спросил Мнесилох.

— Старик, старик! — укоризненно произнес Фемистокл.— Хорошо ли ты выслушал рассказ мальчика? Повернулся ли у тебя язык обвинять Эхила?

— Да, да... — согласился Мнесилох.— Эхил исполняет завет старого поэта:

Хитрить, как лиса, человеку стыдно,  
Сумой переметной быть не следует...

— А Килик? — продолжал раздумывать Фемистокл.— Килик неприкосновенен как жрец. Возьмешь его — Ареопэг все равно велит освободить, а шуму лиш-

него будет много... Вот что скажите, друзья: а не замечали ли вы чего-нибудь еще подозрительного в жизни Килика?

Неожиданно я вспомнил: Килик дверь навесил! Новую дверь, свежеструганную, на бронзовых петлях!

Нужно сказать, что афиняне никогда не делают дверей при входах в жилые дома — вешают ковер или драпировку, и только.

— Ага,— кашлянул Фемистокл.— Все ясно. Быстроглазый ты, Алкамен, сын рабыни! Идите в театр и сидите там потихоньку, а мы сделаем остальное.

И он еще раз в знак одобрения потрепал кудряшки моих волос.

— Все тебя хвалят,— говорил Мнесилох, когда мы, спотыкаясь, брели в потемках к театру.— И меня бы хвалили, если бы я голову не прогулял. Ведь я в твои годы учился даже, зубрил «Илиаду», в хоре мальчиков пел гимны «Паллада — в бою нам защита» и «Клич громогласный». Родители ведь мои были люди знатные. Они нанимали мне учителя, твердили ему: «Учи его, пори его!» Я же вместо этого склонялся к другому учению; бывало, кричу поварам: «Вон птичка, весна пришла!» Повара: «Где, где?» А я пирог с вареньем цап — и был таков! — Мнесилох тяжело вздохнул и сильнее застучал палкой по булыжнику.— Вот, сынок... А потом настала другая школа: был я торговцем, был и разбойником морским, был рабом в Персии, потом бежал и воином был... А жизнь прошла. Голова стала белее крыльев лебединых. Теперь что надо старику? Крышу над головой, ячменный отвар, меховую накидку, мягонький плащ. Да чтоб кто-нибудь поясницу мне растирал, охал бы надо мной...

Фантазия моя заработала:

— Ничего, Мнесилох. Я непременно свершу что-нибудь великое, необыкновенное. Стану знатным, возьму тебя к себе, будет у нас дом — полная чаша, богатства будут, рабы...

Мнесилох засмеялся:

— Сам еще из рабов не вышел, а уж о рабах мечтаешь?

Я прикусил язычок. О, старый демократ Мнесилох!

Долго сидели мы в моей каморке. Ночь была непроглядна и беззвучна. Ни лязга металла, ни шороха шагов, ни шепота. Мы оба ужасно беспокоились, разговаривать ни о чем не могли. Наконец Мнесилох не выдержал:

— Пойдем, малыш, посмотрим, что там... Только держись подальше: заметит тебя Килик — снимет кожу.

Возле дома Килика был тот же мрак, далеко брехали собаки, чудились странные тени.

— Ш-ш-ш! — Мнесилох схватил меня за руку.

Послышалось чирканье кремня о железку, полетели искры, и вдруг ярко, с треском загорелся факел, а об него зажглись и другие, как будто взошло пурпурное, мерцающее солнце. Дом был окружен рядами воинов.

— Эй, Килик! — кричал десятник Терей, дубася в новую дверь. — Открой! Послание тебе от стратегов!

Дверь медленно открылась. Там, в двери, Килик поднимал руки, как бы призывая к молчанию и молитве. Медведь и другой раб вынесли из дома священную статую Диониса, увенчанную молитвенными венками. Воины в благоговении преклонили копыя. Терей начал пятиться назад.

Увидев Килика, я спрятался за Мнесилоха, а Мнесилох, в свою очередь, попытался укрыться за широкой спиной первого стратега, который, оказывается, стоял в тени.

— Что делает, подлец, что делает! — бормотал, сжав зубы, Фемистокл. — Ах, хитрец!..

И он шагнул из тьмы, чтобы отдать команду, как вдруг из двери дома Килика выпрыгнул длинный Лисия и, подскакивая, понесся во тьму.

— Улю-лю-лю! — закричали воины и бросились в погоню.

Мы поплелись за ними. Мнесилох страдал от одышки, а я — не мог же я его оставить и мчаться впереди!

Вот наконец и колоннада нашего храма. Воины стоят растерянные, опустив копыя, факелы трещат и коптят.

Килик расталкивал воинов, пробираясь к храму. «Виноват!» — кланялся он одному; другому улыбался, прося прощения, что потревожил.

Но, лишь только жрец поднялся на ступеньки храма, он словно бы увеличился в росте. Лицо его стало высокомерным — еще бы, здесь было его царство!

— Всякий, кто укрылся в храме, — провозгласил он, затворяя решетчатые двери, — не может быть убит или схвачен! О великий Дионис, податель вечной жизни, прости этих темных людей, нарушивших твой покой! Они не ведают, что творят.

Ветер раздул пламя факелов, и на мгновение показа-

лось, что за бронзовой решеткой дверей бог Дионис улыбается хитрой улыбкой.

А по небосводу уже разворачивалось шествие утренней зари. Слышалось пенье сигнальных флейт — войска готовились в поход.

«Прощай, пыльный двор! — думал я. — Хорошо было на твоих мусорных кучах играть в боевые корабли. Прощайте, ирисы и гиацинты, которые вырастил кроткий Псой. Прощайте, храм, священная роща, где на укромных дорожках дремлют мраморные гермы. Прощай, театр!»

Я прощался так потому, что хотел сегодня же убежать за войсками.

— Пойдем к тебе ночевать в каморку, — предложил Мнесилох. — Я вообще-то живу в доме главного судьи, но сегодня нет у меня охоты прихлебательствовать.

Вот как! Это мне помеха.

— Да мне и спать уже не хочется... Да и ночь прошла...

Но Мнесилох настоял на своем, и мы пошли; прикорнули на соломенных тюфяках, накрывшись изодранными мантиями театральными цариц.

— Один мальчик... — шептал Мнесилох, — решился бежать. Он думает, сейчас война, никто розыском беглых не занимается, а после войны, думает, вернусь с почетным венком, а победителей не судят...

Он вечно все знает, он вечно все провидит, этот добрый старик! Ну что ему ответить? Сделаю вид, что сплю.

— А мальчик не выполнил свой долг, — вкрадчиво продолжал Мнесилох. — Рассказал бы вовремя — не упустил бы перекупщика зерна! А теперь изменник сидит в храме, и там его не возьмешь. Но вечно бродить у алтаря надоест. Кто же подстережет его, когда он захочет прогуляться или совсем выйти из храма?!

## КОГДА РАБОМ БЫТЬ — УДОВОЛЬСТВИЕ

Войско ушло, флот уплыл, опустели Афины. По улицам блуждали бродячие собаки с репьями в хвостах, а стражники развлекались, гоняя их красными палками. Сквозь пыль и скуку доносилось пение разносчиков:

— Купите уксусу, уксусу! А вот угли, угли! Масло!  
В храме работа удвоилась и утроилась. Кто молился

за воинов, кто гадал о будущем, кто умилоствлял судьбу. Еле успевали принимать дарения и приносить жертвы.

Лисия по-прежнему сидел в храме. Вокруг была расставлена стража — стрелки-пельтасты, набравшиеся из самых бедняков, а потому и самые злые к аристократам. Фемистокл рассчитывал взять беглеца измором, и, когда Медведь, по приказу Килика, понес в храм корзину, пельтасты его остановили.

Но Килик ударил стрелка по руке:

— Это жертвенное мясо! — и показал на белеющего в сумраке Диониса. — Богу!

Пельтасты не посмели перечить, а Лисия питался за счет Диониса.

Когда же Фемистокл, Ксантипп и другие ушли с флотом, надзор вообще ослаб и можно было видеть, как Лисия сидит на полу возле порога и играет в кости с пельтастами, которые восседают снаружи. Ни он не переступает заветной черты, ни они не нарушают неприкосновенности храма, а в кости играют!

Зато я начеку, зато уж я стерегу каждый его шаг!

Только рынок остался шумен, как прежде. Те же торговки, те же купцы, те же ряды невольников. Туда ходят потолкаться, послушать новости из всех концов мира.

— В Египте родился новый бог в образе быка!

— В Скифии такие морозы, что младенцы на зиму замерзают, а весной оттаивают, как лягушки!

Простодушные граждане удивлялись — вот чудеса!

— Ну, а какие новости из армии, из флота?

— Царь Леонид крепко держит Фермопилы. Его не обойдут, а в лоб его не возьмешь! Флот собирается у мыса Артемисий, там будут отражать мидян. Прорыва не допустят. Спите спокойно, афинские граждане!

Кто это там проталкивается сквозь давку у овощных рядов? Да это же Мика! Она одета совсем как взрослая девушка: на ней длинный пеплос, подпоясанный под самую грудь, волосы убраны под золотую сетку. А в руке корзинка с покупками.

О великий город! Как же ты допустил, что дочь одного из лучших твоих военачальников не имеет возможности послать рабыню, сама ходит по рынку, толкается среди грязи и брани, приценивается, торгуется?

— Мика, здравствуй...

Сердцу тесно в груди, кажется, что оно прорвет плен грудной клетки и вылетит.

— А, это ты, Алкамен! Фу, как я устала, поддержи, пожалуйста, корзинку. Какая жарница, какая пыль!

— Хочешь, я помогу тебе донести твои покупки? Ведь тебе идти на другой конец города.

Килик велел мне купить горшочки для благовоний, но помнил ли я сейчас об этом?

И мы пошли. Мика чувствовала себя взрослой, шла, как знатная девушка, мелкими шажками, откинувшись слегка назад, подняв горделивый подбородок.

— Пускай все думают, что ты мой раб и несешь корзину госпожи... Ведь ты все равно раб, ведь правда? Почему бы тебе не быть моим рабом?

Сердце мое закололо от обиды... Что ж поделать? С этим рабством я бы, пожалуй, примирился.

— Впрочем,— продолжала болтать Мика,— я всегда к рабам снисходительна. Тот, кто разбогател только вчера, тот к рабам мелочен и жесток. Мы же от века владеем рабами. Мы происходим от богов. Мама из рода Алкмеонидов. И сама я знатная. Назвали меня не какой-нибудь Симефой или Кесирой, мое полное имя Аристомáха — «сражающаяся за лучшее». Но ты можешь звать просто Мика, как зовет меня брат.

Путь в Колон не легок, особенно по жаре, когда весь город замирает, когда закрываются лавки, мастерские и все прерывают работу. Но, разговаривая с такой девочкой, разве считаешь стадии, разве ждешь конца пути?

— Мама плоха,— жаловалась Мика,— не двигается, не говорит, только глаза такие живые! Нянька с братом, а я одна и одна, не с кем слова молвить. Отец, уезжая, сказал мне: «Ты,— говорит,— взрослая, ты поймешь. Я мог бы взять ссуду у государства, мне бы дали. Но мы горды... Правда,— говорит,— дочь, мы горды? Давай потерпим как-нибудь до победы, и будет у нас все — деньги и рабы. А не будет победы, и ничто нам уж не будет нужно». Ты же, Алкамен, смотри не болтай. Я не должна быть откровенна, но ты ведь раб, а рабы всегда знают тайны своих господ.

Кончиком сандалии Мика поддала валявшийся каштан: «Гони, Алкамен!» — но тут же спохватилась, что здесь город, что она дочь военачальника и должна держаться достойно.

— Что же? — продолжала она беспечно. — Разве я одна такая? Эльпиника, невеста живописца Полигнота, тоже на рынок ходит сама. А Мильтиад, ее отец, был ведь вла-

стелином Фракійского Херсонеса и оказал отчизне услугу при Марафоне. Сын его, Кимон...— Она замолчала и искоса взглянула на меня. (Что значит этот взгляд украдкой?)— Сын его, Кимон, до сих пор не может расплатиться с долгами отца.

Вот и Колон: знакомые рощи, глухие заборы, запущенные сады.

— Отцу сейчас в десять раз тяжелее,— сказала Мика.— И всем воинам. Ты ведь не любишь моего отца? Я знаю, ты не забыл ему это... А ты ведь сам виноват. Как мог ты, раб, подойти к внучке Алкмеонидов? А он, отец, он хороший, только вспылчивый ужасно. Ты знаешь, как мама ему говорила? «Ты,— говорит,— Ксантипп, если чем-нибудь увлекаешься, все прочее теряешь из головы. Когда-нибудь и нас выронишь из памяти ради корабля, ради театра или ради войны». Но я люблю его больше всех, даже больше мамы, даже сейчас, когда мама так страшно больна!

«Раз ты его любишь, Мика, значит, и мне придется его полюбить».

— Ну вот мы и пришли. Ты поди посиди там, в парке. Я выйду к тебе.

## САДЫ АКАДЕМИИ

Некто Академ купил эту местность, чтобы основать парк, устроить гимнасии, палестры. Кое-что уже делалось — стояли штабеля камней, кучи извести и песка. Война все прервала: лес, безлюдье, царство птиц — вот что называлось Академией в те времена.

Долго я из зарослей терновника следил за дверью дома Ксантиппа. Никто не показывался. Глаза мои слипались, наплывали видения: долговязый Лисия играет с воинами на пороге храма.

— Стой! Ни с места! — позади раздался звонкий голос.

Я вскочил. Это Мика прицеливалась в меня из игрушечного лука и смеялась. Она переделалась: рубашка, завязанная лишь на одном плече, голубая лента, обхватившая волосы.

— Пойдем, тут есть маленькая палестра. Я сказала маме, что иду пострелять из лука, и мама сделала глазами вот так — значит, разрешила.

Палестра — расчищенная площадка в прохладном лесу. Там лежат каменные ядра для толкания, разбитые бронзовые диски.

— А ну-ка, попробуй подними ядро! — скомандовала Мика.

Я не смог поднять.

— Теперь брось этот диск.

Диск вырвался из моей руки и больно ударил меня по колену.

— Э, да ты ничего не умеешь!

Как ей объяснить, что я всю жизнь в храме да в театре, что афиняне не любят, когда их рабы физически развиваются, и даже, говорят, некоторых опасных силачей из числа рабов казнили.

— Вот пойдем на берег моря, — оправдывался я, — там увидишь зато, как я плаваю!

— Ну, здесь до моря далеко, лучше посмотри, как я стреляю из лука.

Мика стреляла и сама бегала за стрелами, вертелась, как козленок; лес оглашался счастливым смехом.

— Духота какая! — заметила она, вытирая лоб. — Смотри, между деревьями марь, как туман. Наверное, гроза будет.

Мне было все равно — гроза, не гроза!

— Давай побегим наперегонки. Если уж ты меня не догонишь, ты, Алкамен, просто девчонка.

И мы пустились! Ноги у меня длинные. Я несся, продираясь сквозь кусты, перескакивая через корневища, а Мика мелькала впереди, лавируя между стволов. И я ее догнал — коснулся плеча рукой.

— Ну, погоди, — взмолилась Мика. — Ну, это случайно, давай еще раз.

И вновь я ее догнал. И опять бежали в сырые ложбины, в глухие чащобы, туда, где, наверное, гнездится сам Пан — владыка леса. И опять я настиг ее и схватил за плечи и чувствовал, как в нас бьются сразу два сердца: мое — рывками, а ее часто-часто.

— Ты прямо Аполлон, а я Дяфна, — переводя дыхание, прошептала она. — Знаешь миф? Хочешь, я в твоих руках превращусь в дерево? Покроюсь корой, обросту листьями...

Сели на траву отдохнуть; папоротники склонили над нами пышные опахала.

— Что же птиц не слышать? — заметила Мика. — Я бы



тебе указала по голосам суетливую сойку, важную кукушку, крикливого дрозда, глупого удода. Вот прислушайся: почему это все птицы замолкли?

И правда, птичий хор молчал, только низко над лесом проносились со свистом стрижи.

— К непогоде,— сказала Мика и вздрогнула: заворчал далекий гром.

— Бежим! — вскричала она. — Здесь должен быть у ручья путевой столб. Оттуда уж я дорогу найду!

Мы побежали, взявшись за руки, огибая заросли, карабкаясь на огромные корневища. В лесу темнело с необыкновенной быстротой, тишина и духота угнетали. Сквозь листву видно было, как по небу стремительно летят могучие тучи.

Гром разорвал небо, и тут же тишина сменилась вихрем: листва, ветки, клочья мха мчались в круговороте; целые кустики, выдранные с корнем, неслись сквозь чащу.

— Ой, ой, ой! — закричала Мика, придерживая подол рубашки. — Я улетаю!

Я схватил ее за пояс, и мы спрятались под древним бунком, на котором ветер рвал бороду мха. Ураган нарастал. Сделалось совсем темно, как ночью. Толстые стволы раскачивались, будто камыш.

— Сколько крыш снесет сегодня! — вырвалось у меня.

И я пожалел, что так сказал. Мика стала кричать, что она не может оставаться, что ей надо домой, потому что она — единственная взрослая в доме.

А ветер давил со страшной силой. Мы еле удерживались, обхватив корявый ствол дерева. Вдруг мы почувствовали, что и эта опора слабеет, что дерево начинает клониться. Едва успели мы отскочить, как старый бук рухнул, из-под земли поднялось корневище, простирая к небу узловатые корни. От падения старых деревьев почва гудела — настоящее землетрясение.

Но ветер стих. В настороженной тишине послышался нарастающий шум, словно по лесу катилось что-то громадное, шурша и шарахаясь в уцелевшей листве. Ливень!

Мы сели на корточки, прижавшись друг к другу. Непрестанно гремел гром, и вспышки молний высвечивали лес, подернутый пеленой ливня.

— Ой! — закричала Мика. — Смотри, кентавры!

— Где, где?

— Вот они несутся сквозь дождь, нагнув шеи. Копыта их стучат по поверженным стволам, а руками они отги-

бают встречные ветви. Ой, как их много! Как развеваются у них длинные гривы! И женщины скачут, и жеребята!..

Но я, как ни всматривался во мрак, не видел никаких лесных чудищ. Меня мучили ледяные потоки, затекающие за шиворот. Я своим телом стремился защитить Мику от ливня, но вскоре и она стала ежиться от холодных струй воды.

Тогда она выбежала из нашего укрытия и принялась скакать под дождем, кружиться, подставляя ладони небесной воде.

— А я ливня не боюсь, не боюсь, не боюсь! — весело кричала Мика. — Побегу сейчас за кентаврами, буду с ними жить в лесу, только к маме стану забегать! А тебя мы затащим в лес и напугаем, потому что нет в тебе ничуть-ничуть воображения, хоть ты и театральная девочка!

Впрочем, она быстро продрогла и кинулась ко мне, стараясь сжаться в комочек. Оловянный амулет, оставленный мамой, коснулся ее щеки.

— Что это? — Она потянула за шнурочек.

— Это материнское благословение...

— Вот как? — засмеялась она. — Разве у раба может быть материнское благословение?

Мне показалось, что ледяные струи теперь затекли мне прямо в душу. А она старалась согреться и возбужденно щелкала:

— Тебе не странно, что я скачу, как маленькая? Недолго осталось скакать, скоро я выйду замуж, стану важной хозяйкой, буду сидеть на женской половине...

— Ты выйдешь замуж?

— Да. А что же тут плохого?

— Но ведь тебе...

— Тринадцать лет, ты хочешь сказать? У знатных все дочери выходят в таком возрасте. Моя мама была на год старше, чем я теперь, когда у нее родился первый ребенок... Правда, ребенок вскоре умер.

Я не выдержал и стал делиться с ней своей мечтой — получить свободу, заслужить венки почета.

— Тогда я женюсь на тебе.

Мика помотала головой, задумчиво грызя травинку.

— Почему же нет?

— У меня уже есть жених.

— Кто?

Снова Мика смутилась, снова бросила на меня искося лукавый взгляд.

— Кимон, сын Мильтиада. Он бы давно женился на мне, но он очень беден и рассчитывал на мое приданое, а мое приданое тю-тю!

Кимон, брат златокудрой Эльпиники! Этот любимец эвпатридов, с волосами, рассыпанными по плечам! Из тех франтов, которые завиваются и ходят с перстеньками на пальцах, которые руки чистят пшеничным хлебом, а нос сморкают в заячьи хвосты!

— А я?

Ну зачем я сказал: «А я?»

— Ты? Ты — товарищ... Нет, товарищем ты не можешь быть, ты несвободный... Ну, значит, друг. Обязательно нужно назвать каким-то словом, да? Пойдем-ка лучше: в лесу посветлело и дождь кончается.

Мы выбрались на тропинку, где стоял столб с головой Гермеса — покровителя дорог.

— Войди в кусты и отвернись, — приказала Мика. — Я выжму рубашку. Холодно, зубы стучат.

По небу все еще неслись грозные тучи, громыхали далекие громы, где-то продолжал буйствовать ураган. Какое теперь там, в проливе, кораблям Фемистокла? Ветер их швыряет друг об друга, как скорлупки орехов. Сколько проклятий слышит небо, сколько молитв, сколько жизней поглощает ненасытное море!

Я и Мика не могли тогда знать, что именно в этот час далеко за горами, за равнинами, в узком ущелье гибнут последние герои Леонида, а у мыса Артемисий та же самая буря топит и рассеивает персидские корабли.

Мы бежали, шлепая по лужам. Мика несла сандалии, а я никогда обуви не имел, всегда обходился природными подошвами. Мика напевала, а мне было не до пения. Счастье — что оно? Может быть, оно вроде обуви: у кого ее нет — обходись собственными пятками и не зарься на чужие сандалии!

— Лук, лук! — спохватилась Мика. — Мы потеряли лук! Перикл будет плакать: ведь у него игрушек почти нет.

Я достал ножик, срезал две дудочки в тростнике, поваленном бурей. Прорезал отверстие. Если свистеть в обе дудочки сразу, получается грустная и нежная мелодия, от которой сердце плачет, а душа рвется из клетки печали.

— Как хорошо! — изумилась Мика. — Это мне? Дай-ка я поиграю.

Когда мы расставались, я спросил, набравшись храбрости:

— Скажи, Мика... А он тебя любит?

— Да я его почти и не видела. Как я родилась, меня сразу нарекли его невестой — таков обычай.

И, понимая, что я огорчен, сказала, засматривая мне в глаза:

— Приходи сюда еще... Ведь правда придешь? Мне будет очень скучно без тебя.

Все равно, Мика, ты раскрыла какую-то дверцу у меня в груди и поселила там змею, которая копошится, и гложет, и гложет.

Я возвращался поздно, даже не скрываясь от Килика: пусть бьет, пусть мучит — не все ли мне равно? Дай-ка подойду к храму, посмотрю, на местах ли стража, спит ли осажденный Лисия, завернувшись в храмовое покрывало?

Что такое? Пельтастов нет, храм заперт на висячий замок! Все как вымерло, и не у кого спросить.

Слава олимпийцам! Вот садовник Псой ковыряется впотьмах, поправляет разрушенные бурей клумбы, разглаживает нежные лепестки цветов.

— Псой, что случилось, где перекупщик зерна?

— Старому рабу какое дело до перекупщика зерна?

— Нет, скажи, милый Псой, это очень важно!

— Была буря, стража спряталась, а перекупщик зерна выскочил — и был таков. Пельтасты побежали было за ним в горы, да ночь помешала.

— Как же так сторожили? Сыны страха, лентяи!

— Бедному рабу какое дело? Старый Псой ничего не знает. Вот цветочки гибнут, что делать?

«Цветочки»! Эх, Алкамен, и здесь ты прозевал!

## АРЕОПАГ

Флот вернулся. Корабли обгоревшие, продырявленные, с обрубленными мачтами. Множество людей толпились в гавани и скорбно молчали, наблюдая это кладбище кораблей. Слышались вопли вдов — многие корабли совсем не вернулись.

Утешались только тем, что, по слухам, персидский флот потерял вдвое больше, чем афинский.

Горевать было некогда. Матросы полезли на мачты, застучали топорами корабельные плотники, рабы потащили бревна и доски. Стратеги, сойдя с кораблей и не за-

ходя даже домой, чтобы обнять жен и детей, поспешили в дом стратега на военный совет.

— Царь Леонид и триста гоплитов убиты,— передавалось из уст в уста.— Изменник-аристократ показал врагу обходную дорогу через горы...

Новость была так ужасна, что ее сообщали только шепотом.

— Семивратные Фивы вручили царю землю и воду — символ покорности. Вчера персидские разъезды показались у Платей, завтра они могут быть здесь!

К вечеру стало известно, что Ареопаг — совет старейшин — взял свою власть в свои руки. Народное собрание больше не будет заседать, да и заседать-то там некому — все граждане либо в войске, либо во флоте. Ареопаг собрался не на лысой вершине горы Арэя, где он собирался испокон веков, а в доме стратега, чтобы вместе с военачальниками обсудить положение. Говорили, что будут совещаться всю ночь напролет, пока не примут решений об обороне.

Когда я ночью вернулся в свою каморку, навстречу мне поднялся воин в черном плаще.

— Ты Алкамен, сын рабыни?

— Я, господин...

— Следуй за мной.

— Но куда же, зачем?

— Не говори ни слова, никого не окликай. Узнаешь.

Мой провожатый был немногословен, как спартанец. Он привел меня к дому стратега и там закрыл полой плаща, чтобы зеваки (среди них ведь могут оказаться и предатели и шпионы!) не увидели, кого именно ведут.

Двенадцать курильниц источали клубы душистого дыма возле статуй богов в зале, где собрался совет старейшин. Прозрачные струи вились между колонн и исчезали в потолочном отверстии, откуда в ярко освещенную залу гляделась ночь.

Суровые старцы — архонты, старейшины, члены Ареопага — восседали на скамьях, возложив на посохи жилистые бледные руки. Военачальники расположились прямо на шкурах, а Фемистокл, задумчивый, сидел на раскидном кресле. В глубине сновали жрецы; им было приказано непрерывно совершать обряды и молить о спасении Афин.

— О Зевс, защитник справедливости! — восклицал оратор, воин в блестящей всаднической каске. — Аристид был тысячу раз прав!

Ведь это же Кимон, сын Мильтиада! Юноша вырос и произносит свою первую речь в собрании, да как еще произносит! По всем правилам красноречия, округленные фразы сопровождая убедительными жестами.

— Ты, Фемистокл,— продолжал Кимон,— что ты задумал? Ты хочешь вывезти жителей на Саламин и другие острова, город бросить, а войско соединить со спартанской армией и защищаться на перешейке? Теперь мы понимаем, почему ты добровольно уступил командование Эврибиаду — спартанцу. Ты хотел, чтобы мы из уст спартанца услышали смертный приговор нашему городу, ты хотел спрятаться за спину Эврибиада! Это в то время, когда Аристид, невинный Аристид, отправился в изгнание!

Длинные волосы Кимона выбились из-под каски. Он покраснел от волнения и от влажности своей речи. Дионис свидетель, он был очень красив! И как ревниво я ни искал в нем недостатки — их не было!

— Сколько талантов серебра ты получил от спартанцев? — продолжал разгорячившийся Кимон. — Сколько тебе заплатили, чтобы отдать Афины врагу, а войску нашему отступить на защиту Спарты?

Это было уже слишком. Это было обвинение в измене. Военачальники возмутились, но члены Ареопага кричали:

— Не отдадим очагов и алтарей наших! Умрем, но не отдадим!

Фемистокл молчал, опустив голову. Поднялся шумный спор, все вскочили с мест.

— Да говори же, Фемистокл! — потребовал Ксантипп, который тяжело переживал нападки на своего друга. — Скажи хоть слово!

Фемистокл помедлил еще немного, затем поднялся, как зверь, который разминается, чуя запах дичи.

— Что же мне говорить? — произнес он. — Те, кто меня понимает, те, кто познал силу необходимости, те молчат... Аристиды нет, нет льва, который мог бы доказать недоказуемое, а кричат здесь мелкие шавки, либо юнцы, либо персидские шпионы...

Члены Ареопага энергично протестовали, махали руками; пламя светильников колебалось.

— До сих пор, — возвысил голос первый стратег, — не я получал от спартанцев деньги, а мне приходилось им платить, чтобы они не покидали нас перед сражением.

Фемистокл протянул руку к военачальникам, как бы

ища подтверждения, и те удрученно закивали головами: так, мол, верно.

— Послушайте меня,— почти умоляюще сказал стратег.— В последний раз послушайте! Я обращаюсь к тем, кто меня понимает, потому что к тем, кто не стремится понять и бубнит свое, к тем и нечего обращаться.

Присутствующие боялись шелохнуться.

— Царь Ксеркс ведет триста тысяч отборного войска, конницы и пехоты. Афинское ополчение, если даже мы вооружим всех, кроме рабов, составит не более тридцати тысяч. Каково же рассчитывать на союзников, вы знаете сами. Можем ли мы в таком положении помериться с врагами в открытом поле? Нет, нет, нет!— выкрикнул он с силой.— Враг пройдет по нашим трупам и возьмет город, завладеет не только алтарем— женами нашими, стариками и детьми завладеет! Нам что! Мы будем мертвы, нам будет все равно, а каково им будет влачить ярмо рабства и позора? Не станут ли они нас проклинать за то, что мы предпочли умереть, но не спасли их от злого жребия рабства? Что скажешь ты, Кимон, мудрый юноша?..

Кимон носком сапога рисовал на полу невидимые узоры.

— Есть другой выход.— Фемистокл высвободил из-под плаща руку, а затем и совсем сбросил плащ, чтобы свободнее жестикулировать.— Флот наш, хоть он и меньше, чем персидский, а в бою ему не уступает — это доказало сражение у мыса Артемисий...

Военачальники опять согласно закивали головами.

— Вывезем граждан на острова, войско посадим на корабли, потеряем Афины, зато спасем народ и войско.

Это была правда. Но настал час, когда правда пугает. Легко было весной рассуждать, где именно деревянные стены Паллады, которым суждено спасти город, а вот каково теперь обречь родину на гибель?

Тяжкие думы владели каждым. Мне тоже представилось, как варвары тащат в плен Мику, и мучат ее, и терзают юное тело...

— Боги, боги!— выкрикнул кто-то.— Неужели они не помогут?

Фемистокл усмехнулся и потупил глаза:

— Я надеюсь, что и боги нам помогут.

Каким он может быть разным и неожиданным! То глаза его мечут стрелы гнева, а руки вздымаются к небу, призывая олимпийцев в свидетели, а то, не успеет песок в ча-

сах пересыпаться, он становится спокойным, как летний ветерок, и только в словах его слышится колкая ирония.

— Прокормить триста тысяч варваров в нашей крошечной Аттике невозможно без подвоза с моря. Флот как раз и пригодится, чтобы лишить врага подвоза. К зиме они успеют сожрать и вытоптать все, а снова пахать и сеять некому, потому что у захватчиков всегда все господа. Вот тогда-то они и повернут конец назад и пойдут себе, побредут по разоренной ими же, голодной стране. А мы будем нападать, убивать, разить без пощады! — Рука Фемистокла, сжимая воображаемый меч, убивала и разила в воздухе. — Тем временем мы разрушим мосты на Геллеспонте, и ни один из этих трехсот тысяч не вернется домой! — торжествующе закончил он.

Все сокрушенно молчали; слышалось только потрескивание фитилей в светильниках.

— Оракулов надо спросить, оракулов! — жалобно сказал архонт-басилевс, ветхий старец, закутанный в теплую медвежью шкуру.

Все оживились — да, надо спросить оракулов. Все вздохнули облегченно — явилась возможность переложить ответственность на плечи богов.

— Ну, как хотите! — Фемистокл блеснул глазами. — Призывайте назад Аристида, принимайте его план. Сражайтесь, гибните под стенами, но знайте: тогда погибнет уже все и ничего нельзя будет спасти и вернуть назад... Да и войска вам все равно не хватит, — прибавил он, чувствуя колебание среди старцев. — Придется вам всех рабов отпустить на свободу, вооружить и поставить среди гоплитов — больше выхода нет.

Сердце мое екнуло: вот оно, начинается! Недаром, значит, меня сюда пригласили, хотя я еще и не знаю для чего.

А в зале все зашумели, заорали, замахали руками. Архонт-басилевс приставил к уху ладонь трубкой и переспрашивал:

— Что он сказал? А, миленькие, что он сказал?

Ксантипп вскочил, подбежал к Фемистоклу:

— Только не рабов, только не рабов, ведь это всему конец!

Фемистокл усмехнулся:

— Давайте тогда созовем народное собрание, быть может, оно сумеет выбрать путь...

Вновь послышался скрипучий голос архонта-басилевса. Старец говорил как бы сам с собой, размы-



шляя, а все прислушивались к его речам. Еще бы — ведь ему более ста лет и юность его прошла при мудром Солоне.

— Ареопак сама богиня Афина основала. И что ты сказал здесь о народном собрании, молодой человек? Здесь собрались самые богатые и знатные, потомки богов. Им и решать судьбы города, а не каким-то горлопанам, которым нечего терять и нечего беречь.

Фемистокл, одинокий, стоял посредине. Его военачальники, даже верный Ксантипп, молчали, потупив глаза. Все напряженно ждали, пока почтенный архонт соберется с мыслями и изречет приговор.

— Ну, положим, что мы покинем город, увезем статуи и алтари. А святыни? Во дворе храма Эрехфея на Акрополе живет священная змея, и есть прорицание, что удача не покинет афинян, пока с ними будет эта змея. Прикоснуться к ней нельзя, и сажать в ящик тоже нельзя. Как ее увезти? Неужели покинуть?

— Не покинем священной змеи! — закричали старейшины.

Было решено спросить оракулов, а заседание перенести на завтра.

Мне вспомнилась любимая присказка Мнесилоха: «В Афинах речи говорят мудрецы, а дела решают олухи...»

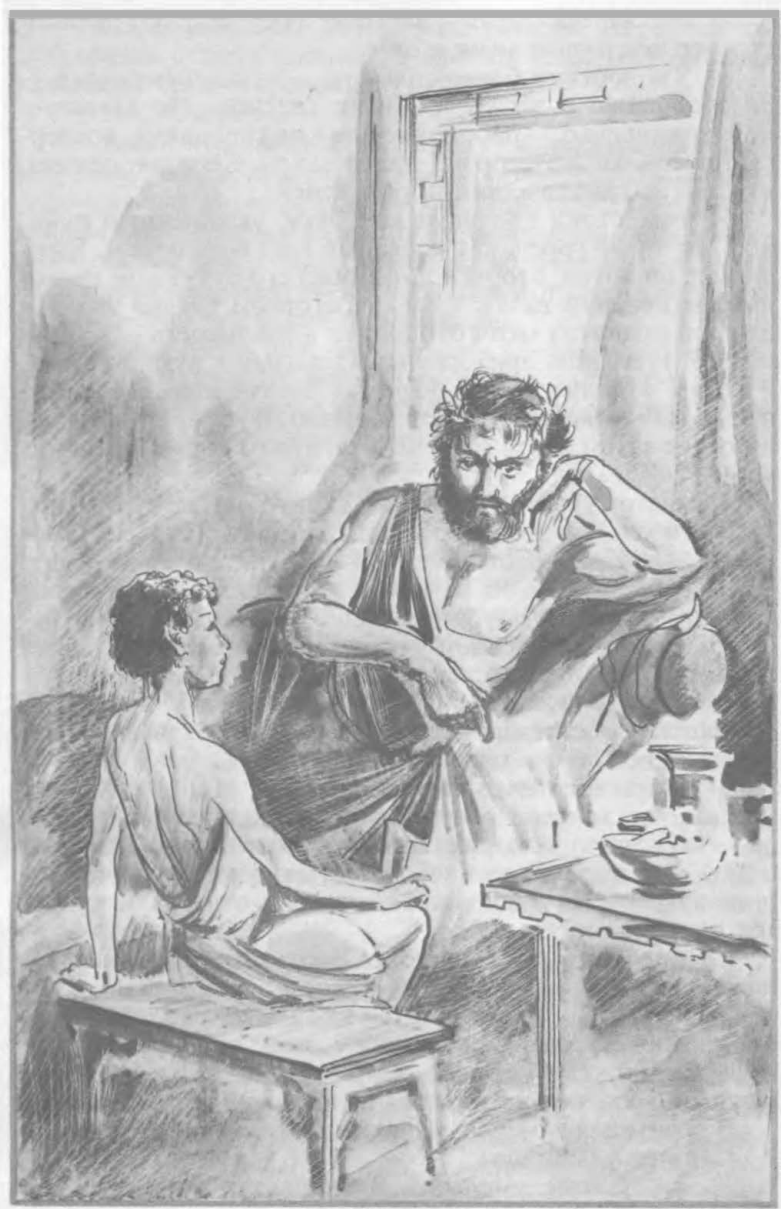
— Ох уж этот Ареопак! — сквозь зубы говорил Фемистокл. — Враг видит нас с гор Пелиона, а им — змея! Каждое промедление — лишняя кровь и лишние слезы... — И удержал выходящего из зала Кимона: — А ты, доблестный сын славного полководца, ты тоже не покинешь священную змею? Твой отец не упирался в обычай и предрассудки, он умел быть свободным и находчивым.

— Не знаю, — ответил Кимон, вежливо отстраняясь от руки стратега. — Как решат старшие, так и я. Скажут: на корабль — пойду на корабль. Все равно.

Светильники догорали и плевались искрами: звезды катились к закату — кончалась ночь.

## СВЯЩЕННАЯ ЗМЕЯ

Рабы гасили светильники. Оставшись один, Фемистокл опустился на ложе, покрытое волчьей шкурой. Лицо его сморщилось, потеряло резкость, стало утомленным; чаша с напитком дрожала в руке.



А что же про меня — забыли? Нет, нет, вот первый стратег подзывает меня к себе.

— Ты достоин благодарности, — начал Фемистокл. — За сообщение о заговоре Лисии спасибо. Но помни, — добавил он сухо, — раб, доносящий на господина, подвергается ссылке в рудники — таков закон. Сегодня, однако, каждый патриотический порыв ценен.

И Фемистокл тротянул мне руку, украшенную рубином, который горел, как кровавый глаз бога войны. Быть может, он хотел, чтобы я поцеловал его руку? Еще несколько мгновений назад я бы с восторгом сделал это. Но слова о рудниках меня отбросили в реальность — я только раб! И я лишь прикоснулся пальцами к руке стратега.

Мне подали сласти: варенье, засахаренные финики, изюм, мед. Мне ничто в рот не лезло. Я горел от нетерпения — не затем же он меня позвал, чтобы кормить сладями?

Фемистокл между тем встал, скинул одежду; рабы стали растирать его могучую грудь, заросшую курчавым волосом. Он взял небольшие гири и сделал упражнения.

— Ленивым — сон, а нам — гимнастика, — засмеялся стратег, и усталость улетучилась с его лица, уступив место обычной царственной улыбке. — Теперь, рабы, удалитесь! А ты, мальчик, присядь ближе. Вот эта скамеечка — придвинь ее к моему ложу.

Тишина обступила нас, полумрак. Погасли все огни, кроме одной лампадки, а утро еще не наступало.

— Один человек мне рассказывал, что ты любишь Афины, что хочешь совершить подвиг для родного города, — вкрадчиво говорил вождь, подвигая мне тарелки с едой. — Я нарочно дал тебе выслушать все, что происходило в Ареопаге. Я ведь заранее знал, что дело у них упрется в какую-нибудь змею.

Сердце мое билось: вот оно! Наступает время свершения подвига!

— Каждый час промедления и колебаний, — продолжал Фемистокл, — грозит нам годами рабства и несчастий. Необходимо идти на тяжчайшие жертвы. Слушай, мальчик, на тебя вся надежда... Ты веришь мне?

Я схватил его большую руку и крепко прижал к груди.

Стратег улыбнулся:

— Ты ловкий, смелый... Я наблюдал тебя в театре. Пробрись в храм Эреффея и унеси священную змею.

— Сейчас?!

— Да, сейчас, пока не наступил рассвет. Перед восходом солнца стража дремлет, а жрецам не до того: они закапывают свои сокровища.

— Но, позволь...

— Знаю, что ты хочешь сказать. Я хорошо обдумал все. Если тебя поймут, нам всем несдобровать и наше дело погибло. Но если удастся, боги нам простят: ведь мы крадем змею не ради корыстного интереса — ради спасения отчизны! Змею мы возьмем на корабль, и она будет нам приносить удачу в бою. Ну как, согласен? В случае успеха — свобода, слово Фемистокла!

Сердце у меня леденело от ужаса — украсть священную змею богини! Но ведь это подвиг, а подвиг без риска не бывает! Геракл тоже укротил лернейскую гидру, а она была порождением бога Посейдона!

Стратег щелкнул пальцами. Вошел дежурный. Фемистокл вполголоса отдал ему приказания.

Нам подали черные глухие плащи. Мы закутались и выскользнули через боковую дверь в переулок. За нами следовали четыре пельтаста. Фемистокл сунул мне в руку маленький кинжальчик в черепаховых ножнах. Я под поллой чуть выдернул лезвие — пощупал: острый, как бритва!

Козьи тропинки на склонах Акрополя, которые начинаются на задворках храма Диониса, известны мне до последнего камушка: ведь там прошло мое детство. Пельтасты остались внизу, а мы с вождем стали карабкаться по склону. Я лез быстро, несмотря на темноту безлунной ночи, а грузный стратег поминутно оступался, царапался о колючки кустарника, ругался шепотом.

Но вот мы наверху, где свистит ветер и откуда небо видится как огромный купол, усеянный мигающими точками звезд.

— Я здесь останусь, — прохрипел, задыхаясь, Фемистокл. — Ты знаешь дорогу? Не заблудишься?

— Нет... Здесь все... все знаю.

— Ну иди. Да хранят тебя боги! И помни, что змея безвредна, она не кусается, не жалит. Ведь это даже и не змея — это безобидный уж.

Я быстро обогнул угол стоколонного храма Афины-девы. На пустынной площади часовые дремали, подстелив плащи и составив копья в козлы. Низко пригнувшись, почти на четвереньках, я пересек площадь. В задней половине храма Эрехфея слышались голоса, двигали ящики,

ругались — жрецы упаковывали храмовые богатства. Но их я не боялся.

Калитка во дворик храма была приоткрыта. Я проскользнул и стал нащупывать мраморную загородку, внутри которой змея обычно греется на солнце. Вдруг я наткнулся на что-то холодное и острое. Страшное лицо, физиономия чудища смотрела мне прямо в лицо выпуклыми глазами. Я похолодел, руки и ноги мои отнялись — вот оно, возмездие богов! Сколько я наслушался рассказов от суеверных рабов и умудренных жрецов о карах, которым боги подвергают осквернителей храмов!

Я медленно приходил в себя, а чудовище оставалось неподвижным и устрашающим.

Ба! Да ведь это Кекро́п змееногий — раскрашенная статуя покровителя Афин! Сколько раз днем я видел эту статую!.. Она, правда, вселяла страх — так была она ужасна, но ведь это всего только статуя!

Собравшись с духом, стараясь избавиться от противной дрожи, я подполз к мраморной низкой ограде и стал шарить рукой по песку, надеясь ухватить змею, но змеи там не было.

Ухнул филин, и я опять от неожиданности вздрогнул. Становилось жутко, боги решили пугать меня чем только можно. Вдруг на крыше храма ветер засвистел, точно жаловалась душа покойника.

В голову лезли гимны и молитвы. Я стал читать их, чтобы умиловить богов на всякий случай:

— Царица священной страны, Паллада, владычица города... Нет, сбился!.. Победу даруй непременно... и ныне, богиня, даруй!.. О боги.

Зажмурив глаза, я продолжал искать змею.

Змеи нет. Рука моя только хватает и пересыпает сухой песок. Статуи богов кажутся чудовищами, которые таращат на меня глаза и тянут щупальца из крошечной тьмы.

Нет змеи! Я не выдержал и побежал назад — скажу Фемистоклу, что змеи нет и в темноте ее не сыскать. Обратное я бежал даже не пригибаясь, и мне казалось, что эринии — богини мщения — мчатся за мной и завывают на все лады.

Тень Фемистокла маячила на краю стены Акрополя. Подбегая, я поднял руки и растопырил пальцы, чтобы показать стратегу, что я не несу змею. Но, когда я добежал, оказалось, что Фемистокла уже нет на условленном месте. Небо посветлело — приближалась заря, и силуэты пред-

метов были отчетливо видны. Значит, Фемистокл понял, что я струсил, и ушел, не дожидаясь меня. Нет мне оправдания!

Я отдышался, пришел в себя. Вот и не удался мой первый подвиг. Недаром есть пословица: «Человек предполагает, а боги делают по-своему». Вдруг неожиданное воспоминание озарило меня: жрецы ведь рассказывают верующим, что змея на ночь уползает под ступени храма. Назад, назад!

Я сразу решил на все и храбро пустился к храму.

Мне показалось, что массивная тень мелькнула возле храма Эрехфея и исчезла. Что за притча — уж не тень ли это Фемистокла? Какая теперь разница — вперед, вперед!

И вот я снова во дворике. Бледный свет уже озарил высокие слоистые облака, развиднелось. Вот мраморная ограда, вокруг которой я ползал. Вот раскрашенный Кекроп, которого я испугался, а вот и крыльцо храма. Я опустился на колени и засунул руку под ступени. Долго я шарил, но и там змеи не было. Рассвет уже царил в небе. Надо было, не мешкая, уходить.

Когда я поднимался, отряхивая песок с колен, разочарованный, — мне в глаза бросился возле лестницы свежий отпечаток громадной пятерни на песке, такой же громадной, как та, которую я сегодня так пылко сжимал в доме стратега! Кто-то опередил меня, кто-то запустил бестрепетную руку под ступени и унес змею!

## ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ГОРОДА

Меня разбудил Килик ударом костыля:

— Эй, за работу! Ночью шляешься невесть где, а днем дрыхнешь?

Молния меня пронзила: сегодня ночью я доказал, что недостоин свободы, трус я, хуже собаки, навеки раб!

Ноги зудят, и во всем теле противное беспокойство — бежать бы, кричать бы, драться, только бы не сидеть на месте. Но Килик нагружает работой: подай, подержи, упакуй!

— Килик, эй, слышишь? — кричит ему храмовый повар, вернувшийся с базара. — В городе паника, все кричат: змея исчезла из храма Эрехфея, боги отвернулись, конец пришел городу... Люди собираются покидать очаги.

— Я не собираюсь покидать, — ворчит Килик. — А

змею надо было охранять покрепче. Я предполагаю, чье это дело, только не богов... Боги здесь ни при чем... Эй, постреленок! — кричит он мне. — Беги скорей в храм Асклепия, спроси, готовы ли мулы для вывоза корзин. Пришел указ от нечестивца Фемистокла, чтобы сокровища богов не зарывали в землю, а перевозили на Саламин, к его кошельку ближе!

О улицы города! Куда делось ваше спокойствие в полуденные часы, когда под сплетенными сводами шелковиц и акаций царствует зеленый, тенистый, влажный и пахучий мир! Куда делась безмятежность харчевен, где в котлах варится рыба кефаль, а на вертелах жарятся бараньи почки, где толпы бездельников, бывало, потягивая напиток, обменивались городскими сплетнями?!

Теперь по улицам с плачем, ревом, бранью, грохотом неся поток беженцев... Катились повозки, нагруженные скорбом; кивая головами, шли ослы, навьюченные чем попало. Крестьянские женщины тащили полуголых орущих ребятишек и в отчаянии заламывали костлявые руки. Скорбные старики брели, покорно опираясь на посох, слезились выцветшие глаза, выдавшие все на свете.

Телега, запряженная сильными мулами, везла семейство какого-нибудь эпатрида, — над бортами покачивались головы женщин, укутанные покрывалами, евнух с морщинистым личиком опекал старших детей, младшие прикорнули возле кормилицы. За телегой шли хмурые рабы, на всякий случай закованные в кандалы, несли на плечах сундучки, узлы, коробки.

Возница пытался обогнать крестьянских ослов, но упрямые животные не хотели посторониться, и тяжело нагруженная телега, медленно накрываясь, сползла колесом в канаву, повернувшись, загрозила улице.

Если бы вы слышали, какой крик поднялся тут! Женщины в телеге вскочили и стали бранить крестьян; те начали толкать телегу, чтобы освободить проход. Безучастные рабы положили ношу на землю и наблюдали, как вся улица оскорбляет и поносит их господ.

Послышался острый посвист флейты и мерный гул шагов.

— Дорогу войску филы Эантіды! — донеслись крики глашатаев. — Дорогу славному ополчению!

Городские стражники кинулись в свалку посреди улицы, замелькали красные палки.

— Курносый варвар! — голосили женщины на теле-

ге.— Как ты посмел ударить меня, благородную афинянку?

Но скифы выпрягли мулов и, окончательно опрокинув телегу, сбросили ее с дорожной колеи. Улица освободилась, и по ней прошли флейтисты, раздувая щеки, высившаяся веселую походную мелодию. Я вспомнил проходившие войск на празднике. С каким упоением все тогда приветствовали марширующих воинов и как тяжело прощаться с ними сейчас! Мальчишки не бежали, как обычно, за гоплитами; собаки не кусали за пятки шагающих, как будто и они чувствовали горечь утраты.

— Смотрите, смотрите, вместе с гоплитами идут и всадники из знатных! Вот Кимон, сын Мильтиада, вот Лисимах, сын Аристида, а вот живописец Полигнот. Почему они в пехоте?

— Разве ты не знаешь? Сегодня утром они повесили свои всаднические щиты и сбрую в храме Афины в знак того, что уходят сражаться на море.

— Вот как! — насмешливо заметил прохожий, бывший моряк. — У нас, у афинян, конница только для красоты — позолоченные латы, страусиные перья. Потому-то аристократия и служит в коннице — там безопасней всего. Ну, Посейдон — владыка моря теперь наломает им ребра!

— Ах! — вздохнула старушка беженка. — В такие дни везде опасно служить. У меня восемь сыновей, все вчера взяли оружие.

Живописец Полигнот шагал последним в колонне. За строем шли удрученные родственники, несли узелки с едой, оплетенные фляжки, чтобы вручить их воинам перед прощанием. Шла и Эльпиника, невеста Полигнота. Ее красивое лицо словно окаменело; золотистые волосы уложены тщательно, как всегда; платье кокетливо застегнуто на плече резной пряжкой. Казалось, она и не расстроена разлукой.

— Иди, Эльпиника, иди, жаворонок мой, — не оборачиваясь, говорил Полигнот. — Встретимся еще, приноси жертвы Афродите.

Возле храма Арея, бога войны, — море голов. Там идут торжественные жертвоприношения. Бормочут гулкие барабаны, свистит одинокая флейта, нагие юноши в хвостатых шлемах исполняют военную пляску, молча движутся по кругу, ударяют щит об щит, меч об меч. Все громче грохочут барабаны, все быстрее кружатся смуглые юноши, сверкая медью. А народ не радуется их удали, народ



плачет. Все плачут, не стыдясь, и по бесстрастному лицу Эльпиники катятся слезы, как хрустальные горошины.

Уже давно слабый женский голос окликал сзади:

— Господин, господин...

— Тебя зовут, парень! — дернул меня за хитон отставной моряк и улыбнулся насмешливо: — «Господин»!

Это старая нянька Мики. Она плачет, сморкается в подол, и я долго не могу добиться от нее ни слова.

— Наш хозяин, Ксантипп... — лепечет она. — Да хранит его Посейдон, конеборец...

— Ну, в чем дело? Ксантипп, ты говоришь? Да ну же, перестань плакать!

— Ах, молодой господин!..

— Да не господин я, такой же раб, как и ты.

— Не господин? А я думала, ты защитишь нас, да будет над тобой милость бессмертных!

— Будет, будет милость, бабка. Ну говори, в чем дело?

— Хозяйка совсем плоха, уж и глаз не открывает. Ксантипп так и не пришел... Прислал матроса, передал кошель с деньгами. А на что они теперь — деньги? Разве что-нибудь сейчас купишь, кого-нибудь наймешь?

Старуха охала, звенела амулетами на худых руках.

— Мика посылает: иди, старая, отыщи отца, скажи ему... Я — в дом стратега, туда не пускают, говорят — он в гавани; я к морю — и там его нет. О милосердные боги! А мне еще врача искать... Все бегут, все едут. Кто же нам, несчастным, даст телегу, кто увезет нас от мидийской напасти?

Чувство решимости меня переполнило. Ладно, уж если не пришлось совершить подвиг ради отчизны, сделаю все для Мики. Как говорит Ахиллес в «Илиаде»?

Пусть бы я умер сейчас за то, что другу в несчастье  
Помощь подать я не мог, и погиб он вдали от отчизны,  
Тщетно меня призывая, защитника в бедствии грозном!

— Ступай, бабка. Ищи врача, а я разыщу Ксантиппа. Он пошлет за вами, и вас увезут на Саламин.

Вот и Мнесилох. Напялил на себя все свои одежды — и новые, и ветхие, бороду расчесал, как в большой праздник. Помахал мне рукой из-за толпы с той стороны улицы.

Отряд всадников цепочкой пробивался навстречу бурному потоку войск и беженцев.

— Где враг? — нагибаясь с коня, спрашивал бегущих бородатый командир.

— В Декелее! — кричали одни.

— В Ахарнах, в Алопеке! — указывали другие.

— В Керамике он, в предместье Афин! — завопил какой-то горшечник, который нес завернутый в холст гончарный круг — свое единственное богатство.

— У страха глаза велики, — заметил Мнесилох, который, запыхавшись, перебежал на мою сторону. — Кто откуда бежит, тому и кажется, что враг именно там. Эти парни на конях, наверное, посланы в разведку. Эх, Алкамен, вот бы мне перед смертью еще разок душу потешить!.. Да ведь это Эсхил, поэт! — вскричал он, когда командир всадников обернулся, кому-то угрожая плетью.

Мнесилох тут же подбежал к Эсхилу, ухватил его за стремя:

— Разве я инвалид? Я стар — ну и что же? У старого козла шлифованные рога! Мы с тобой плечом к плечу стояли на Марафонском поле. Для разведки лучше меня не сыщешь: знаю язык персов, могу нюхать, как ищейка!

Но Эсхил поднял пустой рукав его хитона и отрицательно покачал головой. Курносые стражники беспощадными палками расчистили дорогу, послышалась короткая команда, и всадники исчезли за поворотом — только облако пыли рассеивалось по улице.

— Если с голоду, то можно подышать, — жаловался Мнесилох. — А как умереть за отчизну, так не дают!

## ОТЩЕПЕНЕЦ

Но тут меня сцапал Килик. На людях побоялся бить, схватил за ухо и повел под насмешки толпы, приговаривая:

— Вот я тебе покажу, как ротозейничать, змееныш!

Он пришел меня в кладовую храма. Рабов почему-то не было, и Килик сам, охая и надсаживаясь, навьючивал корзины, а другие жрецы погоняли ослов в горы, где, наверное, прятали имущество в какой-нибудь пещере.

«Все равно, как начнут переправляться, — упрямо подумал я, — улизну, разыщу Ксантиппа, потом переправлюсь сам».

Как бы не так! Килик объявил, что не собирается уходить на Саламин: ведь священный огонь в храме должен и при мидянах гореть, а он, Килик, будет его поддерживать. Меня же он оставляет прислуживать: я маленький, варвары меня не отнимут.

— Оставляю с собой! — назидательно повторил жрец. — Хотя ты и лодырь, и грубиян, и задираешь нос.

Но желание отыскать Ксанטיפпа жгло меня, не давало покоя. Я стал потихоньку прятаться за колонны, надеясь выйти в сад и перелезть через ограду. Килик заметил это, настиг меня и молча отстегал ослиной упряжью. Я тоже молчал, только вихлялся всем телом, уклоняясь от ударов. Мы оба запыхались. Он меня отпустил — я повалился на траву. Тогда Килик подозвал другого жреца, и они привязали меня к дереву той же упряжью.

— Я бы его давно утопил! — задыхаясь, прошипел Килик. — Да способности есть. В другой час хорошие деньги за него можно взять!

Ах так! Жажда действий меня охватила. Одна рука у меня была прикручена возле пояса, где я прятал кинжал Фемистокла. Когда жрецы отошли, я напряг скрученные пальцы с такой силой, что даже похолодел от боли. И все-таки я извернулся и вытянул кинжал. Несколько движений лезвием — и я свободен! Порезанные пальцы и ноющие кости не в счет!

Я уже не соображал, что делаю. Напустив беззаботный вид, я обогнул колоннаду и показался Килику и жрецам. Те сначала рты разинули, потом пустились за мной с криками:

— Держи его! Ах бунтовщик, ах хитрец!

Но я уже перевалил за бронзовую решетку — и был таков!

Сел передохнуть в безопасном местечке. По мере того как утихало биение сердца, ужас охватывал меня. Ведь я теперь беглый раб! До сих пор я мог сколько угодно проказничать, отлынивать, шалопайничать — за все расплачивалась моя спина. Но теперь я перерезал пути, которыми меня связал господин, он кричал мне: «Стой!» — а я убежал да еще дразнил его. Теперь каждый афинянин и чужеземец не только имел право, но даже был обязан убить меня на месте как отщепенца!

Постой, постой, Алкамен, хорошенько обдумай. Может быть, пока не поздно, вернуться, приползти, претер-

петь побои Килика, и все останется по-прежнему? Да разве Килик станет теперь бить? Он уж сразу утопит.

Так что вперед, навстречу судьбе! Верю: мой подвиг еще впереди.

Хоронясь за зеленую оград, прячась в вереницах беженцев, я побежал к дому стратега: там теперь весь узел жизни. У дома стратега воины еле сдерживали толпу. Там и Мнесилох просился к Фемистоклу, рвал на себе одежды, умолял. На всякий случай я стал в тень, а вдруг прозорливый Мнесилох взглянет на меня и догадается, что я теперь беглый раб?

Неожиданно из дома вышел Фемистокл. Он быстро спустился к крытым носилкам, на ходу застегивал перевязь меча и отдавал приказания адъютантам. Я рванулся к нему — упросить, умолить, объяснить, хотя бы стоя на коленях! Куда там! Целая орда просителей ринулась: кто протягивал свиток с заявлением, кто плакал, кто бесцеремонно хватал за плащ. Фемистокл, не обращая внимания, готов был сесть в носилки, как вдруг заметил Мнесилоха:

— А тебе что, боевой товарищ?

— Поставь меня в войско, никто не хочет меня брать. Когда был молод — конем именовали, стал стар — клячей обзывают. Пусть у меня нет руки, но у меня опыт и бесстрашие. Я буду вдохновлять мужей и учить юношей.

— Иди-ка, старик, на пристань. Вот восковая табличка, предъяви ее, и тебя без очереди перевезут на Саламин.

— Что ты меня гонишь! — завопил бедный комедиант. — Подари мне право умереть за родину!

— Умереть — не шутка, — усмехнулся Фемистокл. — Надо победить.

— Дай мне дело, чтобы и я участвовал в общей победе!

Тут из дома выбежала полная болезненная женщина.

— Жена Фемистокла! — неуверенно шепнул кто-то.

Ее мало знали в лицо, потому что, подобно другим знатым, Фемистокл держал жену взаперти.

— Как же нам быть? — тревожилась женщина. — Все уложено, мулы готовы, а ты не велишь нам отправляться?

Лицо Фемистокла выразило скрытое страдание, но тут же он, словно актер в театре, надел обычную маску насмешливости:

— Разве необходимо спешить? Разве нет более неотложных дел?

— Но как же быть? Алкмеониды бегут, Эвмолпиды бегут — все бегут!

Фемистокл выпрямился. Лицо его было жестко.

— А мы не побежим, мы переправимся тогда, когда это будет необходимо. Знай, женщина, — ведь ты сама вынесла этот спор за порог, так говорю при людях, — знай: мы не побежим!

— Но дети, дети! Ты не думаешь о своих детях!

— Кроме своих, вот у меня дети! — Он обвел рукой ряды воинов, которые взирали на него, как на новоявленного олимпийца. — Афиняне, знайте и вы: Фемистокл не подвержен панике. Жена и дети его останутся здесь, пока самый последний афинянин не будет перевезен на Саламин!

В наступившей тишине было слышно, как всхлипывает женщина.

— Мне страшно... — лепетала она, и всем стало ее жалко. — Я все время одна и одна!

— Мнесилох! — позвал стратег. — Вот тебе дело, которое ты искал. Заботиться о семье полководца — это значит охранять спокойствие его самого, другими словами — обеспечивать победу!

Он ласково потрепал плачущую жену за волосы и сел в носилки. Носилки тронулись в сопровождении конного конвоя в гривастых шлемах.

— Стойте! — вдруг повелел Фемистокл и протянул из носилок свой прадедовский меч с богатой перевязью. Резьба на мече изображала Калидонскую охоту: скачут обнаженные всадники, травят мохнатого вепря. — На, Мнесилох, это тебе как символ твоего дела. В бой я возьму меч гоплита, а этим мечом ты охраняй род Фреарриев, семью Фемистокла!

Мнесилох заковылял по лестнице вслед за женой стратега. А что же предпринять мне?

— ...Ксантипп сейчас в Мунихии в военной гавани, — донесся до меня обрывок разговора. — Проверяет готовность флота.

Я помчался в гавань.

## В ГАВАНИ

Вечерело. Моря не было видно из-за причаленных кораблей. Люди сновали по настилу пристани: одни волокли корзины, другие укладывали паруса, третьи затягивали снасти. Корабельщики бегом пронесли на плечах два длиннейших весла, рабы под хлопанье бичей тащили погрузку, корабли отчаливали и выходили в пролив, где собралась их целая эскадра.

Ксантиппа здесь не было, никто о нем ничего не говорил, а может быть, просто не хотели говорить? Я толкался, надеясь что-нибудь разузнать.

На горизонте виднелись плоские вершины Саламина. Туда направлялись многочисленные лодки, барки, плоты, перегруженные людьми. Это было драматическое зрелище — все стремились попасть в лодку непременно первыми, как будто неприятель уже насадет. Здоровенные мужчины, по неизвестной причине не попавшие в войско, кидали в лодку мешки, лезли, отталкивая женщин, сбрасывая чужие корзины, опасно накрывая лодку. Невозмутимые корабельщики отпихивали буянов, сажали в лодки женщин и стариков, давали сигнал к отплытию. Когда лодка отваливала, обязательно кто-нибудь из нетерпеливых кидался в нее с пристани, срывался в воду; его дружно вытаскивали и вылавливали его пожитки.

— Ты что не пускаешь? Ты что не пускаешь, да поглотит тебя Эрб! — кричал бородатый холеный афинянин, вырываясь из рук корабельщика.

— Гребцы падают от изнеможения, — вразумительно отвечал тот. — Сколько концов им сегодня пришлось сделать? А нам легко? Я вот тебя усаживаю в лодку, а сам не знаю, где мои родичи, успели ли уйти из деревни...

— Говорят, там морской бой идет, — сказал подошедший беженец.

— Где, где? — Все головы сразу обернулись к нему.

— Возле мыса Суний. Сегодня утром царь велел блокировать афинские гавани, чтобы помешать переправе на Саламин. Фемистокл послал навстречу Ксантиппа. Рыбаки пришли, говорят, бой идет вовсю.

— Это который Ксантипп? — спросили из темноты. — Тот, кто был хорегом на последнем представлении?

В голосе звучала озабоченность: сумеет ли этот человек исполнить свой долг?

— Ксантипп — бывалый моряк, — заверил дежурный корабельщик. — И его навархи не колуном строганы. А у персов во флоте кто? Наши изменники греки да презренные финикийцы. Собственных ведь кораблей у персов нету.

Я подумал: раз Ксантипп с кораблями у мыса Суний, значит, мне здесь делать нечего. Теперь можно понять, почему он забыл о семье. Вот мой долг: позаботиться о его жене и детях. Что сказал Фемистокл Мнесилоху? «Заботиться о семье полководца — обеспечивать победу!» Надо бежать в Колон!

Но мне не удалось сразу бежать в Колон.

По пристани медленно двигалась колонна полуодетых людей, закованных в цепи. Громадные костры разгоняли наступившую темноту, озаряли оранжевым светом крутые бока кораблей. Волны выносили из путин багровые блики.

Люди, звеня цепями, переговаривались на чужих языках. Всё это были мужчины, здоровые, мускулистые.

Я притаился за пирамидой корзин — догадка меня ужаснула. Ну да, ну конечно, так и есть — вот и наши храмовые. Вот Псой, садовник, вот Зубило, Жернов, неуклюжий Лопата, а вот и Медведь, рыжий скиф.

Я так обрадовался своим, будто родных встретил. Даже Медведю кинулся бы на шею, забыв про старую распрю.

Послышалась команда. Конвоиры опустили копья, которыми они подкалывали отстающих. Звякнуло железо, и все в изнеможении опустились на камни пристани кто где стоял. Я высунулся из-за корзин, чтобы наши меня заметили.

— Алкамен, ты здесь? — удивились храмовые. — Беги скорей, а то и тебя к нам прикуют.

— Почему вы здесь? И в цепях? Куда вас гонят?

— Это все твой Фемистокл! — прорычал Медведь. — Этот демократ велел собрать здоровых рабов со всего города, заковать в цепи, на корабли гребцами посадить. Остальных в цепях же отправили на Саламин, чтобы не перебежали к врагу.

— Беги, Алкамен, беги, голубчик! — торопил жалостливый Псой. — Беги, пока можешь. Сейчас война, паника, никто не заметит твоего бегства. Беги на Саламин, на Эгину, дальше — на Крит: критяне, говорят, не выдают беглых рабов греческим городам.

— Что ему бежать? — насмешливо сказал Медведь. — Он, наверное, мечтает сражаться и получить гражданский венок!

Скиф поднял руки, скованные наручниками, и в ярости потрясал ими.

— Лучше сдохнуть! — гремел он. — Лучше сгнить живьем, чем умереть за такую демократию, где одним всё — и венки, и театры, а другим ничего — только труд, голод, кандалы! Проклятье!

— Эй ты, рыжий! — крикнули конвойные. — Заткнись!

— Ладно, ладно! Уж мы сядем на корабли! — продолжал Медведь. Он встал посреди сидящих рабов во весь рост, отблески костров плясали на его страшном лице. — Сядем за весла! Но цепи наши недолговечны — слышите, братья? Будьте готовы взять судьбу в свои руки!

Товарищи дергали его за руки, тянули за пояс, но разве можно было справиться с таким великаном? Только когда конвойные нацелили в него копья, он смирился и сел; блеснул огненным глазом и махнул мне рукой.

Прощайте, храмовые! Мика зовет меня незримо. Будущее неясно, но жить без надежды на будущее я не могу.

Я кинулся в город. Беженцы шли навстречу, переговаривались:

— Ты слышал? Царь выслал конницу, и она грабит окрестности. Говорят, уже на улицы прорывались.

— Да-да... Мне говорили, что варвары уже в Академии...

В Академии? Ведь это же рядом с домом Мики! И чего я, дурак, зря околачивался, искал Ксантиппа?

В Колон, в Колон!

## ГОРОД ВЫМЕР

Когда-то (еще сегодня днем!) здесь кипела разногласная толпа. В колоннадах нищие просили милостыню, философы учили мудрости, парикмахеры, посадив на табурет, ровняли прически, завивали бороды.

Теперь Млечный Путь — серебристая пыль — еле позволяет разглядеть причудливые громады. Редкие прохо-



жие, как тени Аида, за глинобитными стенами — ни огонька, ни вдоха. Далекий собачий лай, и все.

— Эй, кто идет? — окликнула стража.

Я хотел скрыться, но меня догнали.

— Э, да ведь это Алкамен из театра, — узнали меня воины-пельтасты. — Тот, что весной был корифеем. Куда идешь, малыш? Давай мы тебя переправим на Саламин.

От воинов, которые еще вчера были кузнецами или сапожниками, пахло кожей, дымом, овчиной, чем-то домашним. Я взял да и рассказал, что иду выручать семью Ксанטיפпа.

— Выручать? — засмеялись пельтасты. — Как же ты один, маленький, выручишь? Там нужна тележка, чтобы вывезти необходимое, нужны мулы, чтобы ехали господа...

Я стал доказывать, что, во-первых, я не маленький, а во-вторых, уведу семью Ксанטיפпа пешком — имущества все равно у них нет.

— Как же этот Ксанטיפп, — возмущались воины, — семью не вывез, оставил без помощи?.. Вот вам и знатный!

— Ксанטיפп — в море, — сказал седой командир пельтастов. — А за его семьей послан конный отряд Эсхила. Они только что проходили здесь. Эсхил сказал, что как разведает, где неприятель, так тут же вернется к дому Ксанטיפпа. Так что тебе, мальчик, нечего там делать. Отправляйся-ка на Саламин.

Я просил меня отпустить, готов был пасть на землю, молить.

— Ну ладно, ступай, — сжалился командир. — Позаботься о них, если они одни. Заботливость иной раз лучше лекарства.

Я помчался как ветер. Как бы не опоздать — увезут Мику воины Эсхила, так и не увижу ее.

Вот и Колон. То же безлюдье, те же громады деревьев, в темноте похожие на мифические чудища. Кто-то стоит возле дома Ксанטיפпа — не видно, кто, но чувствуется, что стоит. Я на всякий случай бегу по-кошачьи — на одних пальцах ног.

— Это кто? — услышал я голос, знакомый, как щебет ласточки. — Ты пришел?

— Да, я пришел.

В горле першило от волнения.



— Мама наша умерла. Мне очень страшно. Никого нет кругом, куда все делись?

Чувствовалось, что она еле удерживает слезы.

— Кругом война... — ответил я. — Все бегут на Саламин. Я пришел за вами, идем скорей!

— А как же мама? Как мы увезем ее с собой?

Вот это загвоздка. Можно увести девочку и ее брата, но как унести мертвую?

А Мика повторяла:

— Я от мамы никуда... Пусть она неживая, но я с ней...

Она взяла меня за руку и повела в дом. В дальней комнате на раскладной кровати лежало тело, накрытое простыней. По стенам волновались огромные тени от лампы. Мальчик безмятежно спал, положив голову собаке на мягкое брюхо. Пес, почуяв меня, тихо зарычал. Поднялась нянька, лежавшая в ногах у мертвой госпожи, цыкнула на собаку.

Мика села у кровати, откинула простыню и, положив подбородок на грудь матери, уставилась в ее спокойное лицо.

Что делать? Бежать за помощью? Но кругом ни души. А кто и притаился за глухими заборами, не отзовется, хоть горло надорви! И где же, в конце концов, этот отряд Эсхила, о котором говорил начальник пельтастов?!

— Нянька, — сказала Мика, — лампада совсем гаснет, добавь масла...

— Милая госпожа, — зашептала старуха, — масла ни капли, тебе же известно. Давай уйдем, оставим тело — ну кто тронет мертвую? Потом вернемся или пришлем за ней.

Но девочка покачала головой, и нам стало ясно, что она не уйдет ни за что.

Вдруг мне почудилось треньканье бронзы на улице: так звенит только уздечка у боевой лошади. И действительно, тут же послышался приглушенный храп коня. Собака приподняла голову, насторожила уши.

Вот он, наверное, отряд Эсхила!

Я выбежал навстречу и увидел силуэты всадников на усыпанном звездами небе.

Оглушительный удар сбил меня с ног.

## НОЧНОЙ БОЙ И ПОГОНЯ

Ловкие руки больно связывали меня веревкой; лопотали незнакомые голоса, звенело оружие. Как поднять тревогу? Я закричал, как будто с меня сдирали кожу. Та же жестокая рука всунула мне в рот отвратительный клок овечьей шкуры.

Медовый голос (такой знакомый!) пропел:

— О доблестный начальник! Вот это тот дом, о котором мы тебе говорили... Да ты понимаешь ли погречески? Или повторить?

— Мы понимаем... — ответил невидимый в темноте варвар, коверкая слова. — Где красивый девчонка, как твоя обещал?

— Там, там она, в доме!

Неведомые люди, топая и бранясь, вваливались в дом. Вот оно что! Это ростовщики — лидиец и египтянин — привели с собой варваров! Теперь несдобровать ни мне, ни семье Ксантиппа.

Дюжий варвар поднял меня, спутанного, и повесил на седло головой вниз. В таком положении у меня глаза готовы были лопнуть, от запаха овчины тошнило; я чуть было не потерял сознание.

Раздался отчаянный лай — наверное, Кефей набросился на врагов. Конь, на седле которого я висел, шарахнулся и сбросил меня в канаву. Я ударился очень больно, слезы лились, и в носу свербило; зато одна из веревок порвалась, и я быстро распутался.

Яростный брех собаки и гортанные крики раздавались по всей улице; один из варваров закричал жалобно, как ягненок под жертвенным ножом, — значит, Кефей его покусал.

Из-за деревьев взошла величественная луна. В ее равнодушном сиянии я увидел, как всадник заарканил Кефея и волочил в пыли его обвисшее тело.

Пример бесстрашной собаки меня воодушевил. Из дома вынесли барахтающегося мальчика и за волосы выволокли Мику. Девочка кричала, а варвары, смеясь, отрывали от притолоки ее цепляющиеся пальцы.

Я нащупал в поясе кинжал Фемистокла. Слепой от ярости, я выскочил из канавы и ударил того, который волочил Мику.

— Ай-ай-яй! — закричал варвар; кровь потекла черной струйкой из его бока.

— Ай-ай-яй! — удивились его товарищи и накинулись на меня.

Я не помню, как защищался; удары сыпались мне на плечи, на голову, острие копья вонзилось в плечо. Я вывернулся — острие поддело и разорвало кожу. Мне удалось полоснуть кинжалом носителя копья — он вывалился из ряда нападающих.

Удар обрушился на меня сзади. Я обернулся — Мика подняла обломок копья и, зажмурив глаза, крушила по чему попало. Рослый варвар выбил у нее копье, и вот она опять закричала, схваченная за волосы.

Полная луна все так же бесстрастно взирала на мечущиеся тени. Изредка ее свет вспыхивал серебром на кольчугах и уздечках.

Наконец варвары поняли, что имеют дело всего-навсего с одним обезумевшим мальчишкой. Я был тут же сбит с ног; глотая пыль, успел разглядеть колеблющийся свет факелов, который приближался как бы с неба. Голос лидийца перекричал весь гам и плач сражения:

— Афиняне идут, спасайтесь, доблестные!

Мучители бросили меня и вскочили на коней. Ростовщики, подобрав полы длинных одежд, спасались в кустах. Все утихло; только пронзительно плакал Перикл и слышался удалявшийся топот.

Бородатое, спокойное, «свое» лицо Эсхила склонилось надо мной.

— Силен мальчишка! — донесся до меня голос какого-то воина. — Один двоих прирезал.

Я убил двух человек! Я лишил жизни двух взрослых людей! Я все время мечтал о войне, которая принесет мне перемены, но почему-то никогда не думал, как ужасна чужая смерть. Подняв голову, я со страхом вглядывался в лица трупов.

— А где же дочь Ксантиппа?

Я вскочил на ноги. Воины обыскали весь дом, успокоили Перикла, привели в чувство няньку. Даже собака, когда разрезали петлю аркана, встала, пошатываясь, подошла к мальчику и лизнула его в щечку.

— Где же девушка?

Тогда послышался подобострастный голос. Говорил волосатый лидиец, которого вытащили из кустов и поставили на колени:

— Увезли ее варвары, негодяи, бросили в седло и ускакали, милостивый господин...

— По коням! — скомандовал Эсхил.

Мой старый знакомый, десятник Терей, который когда-то водил нас с Мнесилохом к Фемистоклу, посадил меня на круп своего коня. Конь был рослый, и мне было видно далеко, как с крыши какого-нибудь сарая. Мне приказали смотреть в оба, чтобы распознать врагов. Няньку, Перикла и пленных пока оставили под охраной.

Я не мог не оглянуться на тела убитых мною варваров. Эсхил заметил это и ободрил меня:

— Ужасна смерть, невыносима кровь! Но правда владела твоей рукой. Не печалься, мальчик.

А Терей добавил, натягивая поводья:

— Не ты бы их, так они бы тебя!

Мы неслись стремглав, припадая к седлам от бешенства встречного ветра. В лабиринте переулков, тупиков, садов, огородов мы бы никогда не достигли варваров, если бы боги не были к нам благосклонны. Варвары сами заблудились и, услышав топот конницы, поскакали навстречу, принимая нас за своих.

Предводитель персов что-то крикнул нам по-своему. Ему ответил афинянин, который знал их язык.

Можно было уже разглядеть, как они движутся неторопливой рысцой, а один перекинул через седло чье-то тело, завернутое в плащ. Афиняне неслись на них, как хищные птицы, и при свете раздуваемых факелов по заборам и деревьям мчались крылатые тени.

Мы сшиблись с криком торжества, сверкнули клинки, послышались проклятья варваров. Десятник Терей ударил копьем переднего варвара, но тот успел подставить щит — копье скользнуло, а мы от удара чуть не вылетели из седла. Тогда Терей перегнулся через коня и обеими руками схватил врага за горло. Кони заплясали в чудовищном танце, захрипели, закосились, и на песок закапала кровавая пена.

Я держался, еле вцепившись в медный пояс Терей. Еще рывок — и вот я вылетел, катаюсь по песку, уворачиваюсь из-под неистовых копыт. Но схватка переместилась. Я перевел дух и заметил на песке завернутое тело, которое выронил варвар. Я подполз, развернул — Мика! Ее лицо было бледно и спокойно; ресницы бросали дрожащие от факелов тени.

Я прижался ухом к ее груди: сердце молчало!

## РАССВЕТ

И вот я сижу на траве над ее телом так же, как час назад она сидела над телом матери. Варвар ткнул ее ножом, как только убедился, что добыча ускользает. Впрочем, Мика жива — сердце прослушивается еле-еле. Опытные воины хотели перевязать, но нянька не допустила: прикладывала какой-то амулет, шептала, и вот теперь кровь не течет, хотя при каждом вздохе девочки что-то ужасно хрипит и булькает в ее груди.

К месту нашей схватки воины привезли Перикла и няньку, пригнали и ростовщиков. Сумрачный Эсхил не хотел допрашивать чужеземцев, махнул рукой, — воины потащили их в сторону. Лидиец повалился, елозил в пыли волосатой головой, умолял пощадить, предлагал выкуп, уверял, что у него шестеро детей в Лидии.

— Чужих детей ты зато не щадил, — выругался Терей, подгоняя его копьём.

Египтянин сбросил полу плаща, которой он окутывал бритую голову, протянул руки к Эсхилу:

— Господин, прежде всего справедливость! Пусть нас судит закон... Мы защищали этих детей, уговаривали варваров. Спросите хоть мальчика. — Он указал на меня.

Все обратились ко мне. Какая постыдная ложь! Он думает, что я не видел, не слышал... Одно мое слово... Но умертвить еще двух человек! Как сказал Фемистокл: «Надо быть великодушным к побежденному...»

— Он правду говорит? — спросил меня Эсхил.

Ах, скорей бы тишина, скорей бы хоть краткий отдых! Я кивнул головой, не поднимая глаз. Ростовщиков отпустили. Те кинулись прочь, расточая благодарности.

Все тело мое болит, жжет содранная кожа, горят царапины. Но это все пустяки. А Мика, Мика!.. Гнев закипает во мне, я готов проклинать свое мягкосердечие, но теперь уж поздно.

Ах, Мика, неужели ничего не поправить?

Посланная разведка вернулась, сообщила — неприятеля нет поблизости. Эсхил расставил посты, велел отдыхать.

Стреножили коней, засыпали им в торбы ячменя — путь еще предстоит неблизкий. Воины ослабили ремешки

лат, сняли шлемы, повалились на траву, и вот уже некоторые храпят как ни в чем не бывало.

Небо светлеет, рассвет недалек. Я вглядываюсь в заострившееся лицо Мики — кажется, что она вот-вот вздохнет в последний раз и...

— Помни, Терей, — выговаривает Эсхил где-то около лошадей. — Подковы необходимо осматривать ежедневно. Некоторые видят — гвоздь ослаб, и машут рукой: а, мол, еще успеется, перекую! А лошадь хромает и портится.

— Да я осматривал, — оправдывается десятник. — А скачка какая была? С кого угодно подковы слетят!

— Теперь нужно бы рассолу, — продолжает Эсхил, — губкой обтереть бы копыто, полить козьим жиром в поврежденном месте.

И тут я не выдержал. И тут я осмелился поднять голос на великого поэта:

— Эсхил, Эсхил! Посмотри, она умирает, а ты говоришь о лошадях, о подковах, о козьем жире! Что нам делать, Эсхил?

Командир подошел, опустился рядом со мной, тихонько дунул девочке в лицо. Ресницы ее при этом затрепетали и по лицу пронеслась слабая тень страдания.

— Видишь? — шепнул мне Эсхил. — Она жива. Жизнь борется в ней со смертью, и мы бессильны ей помочь или помешать. Но будем надеяться на помощь богов.

Он помолчал и продолжал, положив мне руку на плечо:

— Если мы не будем заботиться о копытах, пропадет конница. Пропадет конница — проиграем битву. Проиграем битву — пропадет все. Как видишь, от каждой мелочи зависит судьба великого. А впрочем, все пойдет так, какова будет милость богов.

— А в чем она, эта милость богов? В том, что один от рождения богат и счастлив, а он — изменник и трус. Другой же, может быть, и храбр и доблестен, а он — раб, и всякий может бить его палкой...

Эсхил поднялся, зевнул и сказал примирительно:

— Всякому своя судьба: господину — своя, рабу — своя. Так предначертал Зевс — властитель судеб.

И тогда я осмелился продекламировать ему сочиненные им же строки из «Прометея»:

И содрогнется в страхе Зевс. И будет знать,  
Что быть рабом не то, что быть властителем.



По совести сказать, любой афинянин на месте Эсхила угостил бы плеткой глупого раба за дерзость. А Эсхил смутился. Давно я слышал, что Эсхил только на сцене гремит дерзкими стихами, а в будничной жизни он терпелив, богобоязнен.

— Могут быть, конечно, рабы,— промолвил он,— которые заслуживали бы почетного места среди свободных...

Сердце мое возликовало: я, мальчишка, заставил смутиться и признать мою правоту — и кого? Самого Эсхила, к голосу которого прислушивается вся Эллада!

Теперь бы следовало и помолчать, тем более что Эсхил сделал шаг в сторону, намереваясь удалиться. Но Мика! Ее лицо худело прямо на глазах. Нестерпимая жалость вонзилась в грудь, и я воскликнул:

— Но она-то, она за что страдает? Что сделала она богам, чем повредила людям?

Эсхил погладил бороду. При свете побледневшего неба его глаза стали похожими на два прозрачных кусочка стекла. Он сказал нараспев, как будто декламировал стихи:

— Таков вечный закон: пролитая кровь требует новой крови, зовет мщение, кличет смерть, убийство за убийство.

— Но девочка, девочка,— чем она виновата? Объясни мне, Эсхил, снизойди ко мне, душа моя бродит в потемках лабиринта и за каждым поворотом встречает чудовище.

— А преступления предков? Миф говорит, что древний царь Атрэй по ошибке съел человеческого мяса, за это боги карали и детей его, и внуков, и правнуков...

— Но Мика...

— Подожди. Супруга Ксантиппа, мать этой девочки,— племянница Клисфена, любимца черни. Они из рода Алкмеонидов. Сто лет назад Алкмеониды убили в храме одного эвпатрида. С тех пор боги прокляли их род.

— Но я слышал, что этот эвпатрид сам совершал преступления?

— Неважно, убийство в храме — тяжкий грех. Боги его не прощают.

— Но неужели девочка повинна в том, что творили ее прадеды? Неужели они сами не расплатились своей кровью?

— Капля крови зовет за собой десять капель.

— Но если таков закон богов, то боги твои не боги, а убийцы и негодяи!

Эсхил поднял в ужасе руки; полы его длинного плаща раздулись от предрассветного ветра, — он стал похож на пророка или на громадную летящую птицу.

— Закрой уста, нечестивец! Помни, что рок кует каждому разящий меч его судьбы! Помни, что Зевс не прощает святотатства!

— Ну, если так, — я тоже от волнения вскочил на ноги, — я повторю тебе, Эсхил, слова твоего Прометея: «Скажу открыто — ненавижу всех богов!»

— Прометей сам был бог и восставал против бога. Мы же смертные и должны терпеть ярмо судьбы.

Голос Эсхила смягчился — поэт сочувствовал моему горю; он сказал примирительно:

— А вспомни, может быть, она сама в чем-нибудь провинилась? Хотя бы и в малом... Боги за малое карают великим.

Отец ее необуздан и жесток — может быть, за это страдает дочь? Да и она сама: меня ведь секли на ее глазах, а она и словом меня не защитила, хотя я страдал, в сущности, за нее...

Но нет! Наказывать смертью за это слишком жестоко!

— А все-таки, а все-таки!.. — упрямо повторял я.

Эсхил посмотрел на меня с недоумением и отошел.

Заря зарождалась в зените неба, выступали отчетливые тени. Вот на холме силуэт бессонного Эсхила. Он стоит, опершись на копьё, слегка покачиваясь. Вот он, вот он — божественный миг, вот оно — вдохновение! В его голове, вероятно, как эта заря из тьмы, из хаоса рождаются строфы:

О доля смертных! С линиями легкими  
Рисунка схоже счастье: лишь явись беда —  
Оно исчезнет, как под влажной губкою...

Послышался скрип колес, и на поляну, где мы расположились, выехала колесница, взятая, очевидно, в каком-то богатом доме, — она была украшена резьбой и позолотой.

Одновременно прибыл гонец от Фемистокла с приказом разведать, почему враг медлит вступать в опустевшие Афины, что за передвижения совершают персы на Элевсинской равнине? Воины поглядывали с тревогой на леси-

стые вершины Гиметта, которые им предстояло преодолеть и за которыми их ждали свирепые орды врага.

— Десятник Терей! — распорядился Эсхил. — Отвези детей Ксантиппа к переправе на Саламин. Через город не ездите, скрывайтесь в окрестных рощах. Вот тебе в помощь Иолай — он будет возницей. А больше дать не могу, каждый на счету. Да, у тебя есть отличный помощник. — Эсхил положил руку мне на плечо. — Рабы не цари, — усмехнулся он. — И богам не за что их карать. Пусть счастье сына рабов спасет гонимую внучку Алкмеонидов.

Осторожно перенесли девочку в колесницу, положили на седельные подушки. Сонный Перикл сел рядом с возницей, уткнулся ему в бок и тут же заснул. Воины повскакали на лошадей, прощались с нами, потрясая копьями.

Эсхил порылся за поясом, достал бисерный кисет, вытряс на ладонь монеты. Выбрал одну, на которой совсем стерся знак совы, подал мне.

Ветер развевал его бороду, он неожиданно ласково улыбнулся. Добрый Эсхил!

— Прости меня, господин... — сказал я голосом, хриплым от чувства неловкости.

— Ты сам не знаешь, малыш, что ты здесь говорил... В твоих речах я услышал отзвуки грядущих безумий!

## ТЯЖКАЯ ДОРОГА

Колесница, Терей на коне, мы с нянькой пешком, за нами собака двинулись навстречу утру. Длинные тени быстро укорачивались, в долинах струился пар от высыхающей росы. Колесница без толчков катилась по мягкой дороге; мерно поблескивали спицы ее высоких колес. Мы надеялись пересечь сады и оливковые рощи и обогнуть город с юга. В густых кронах роились осы и пчелы, чувствовался пьяный запах винограда. Мать-осень, радость и изобилие!

И все это обречено мечу и разорению.

Проехали опустевшую деревню, где брошенный тележок мычал на скотном дворе. Солнце начало припекать. Тело мое ныло, голова кружилась, ноги подкашивались.

— Садись позади, — наклонился ко мне Терей со своего гигантского коня.

Но я указал ему на старушку няньку, которая не пада-

ла только потому, что брела, держась за борт колесницы. Терей сделал вид, что не понял, ускакал вперед.

— Вот они каковы! — воскликнул возница Иолай. — Правду говорят, что сердце богатого глухо. Садись на мое место, горемычная, держи голову своего питомца. Ишь как спит! А я пройдусь рядом, держа вожжи.

— Что это ты тут проповедуешь? — строго спросил Терей, подъезжая. — На войне все равны — богатые, бедные...

— Нет, не все, свидетель Зевс, не все! У каждой головы своя боль. Они вот, — он показал на няньку и на меня, — ничего от войны не выиграют, ничего не потеряют. Были рабами у афинян, станут рабами у персов. Ты тоже ничего не потеряешь — рабов своих угнал на Саламин, деньги закопал. Победят афиняне — хорошо! Получишь долю из трофея, разбогатеешь пуще прежнего. Победят мидяне (да не допустят боги!) — вернешься в свою усадьбу, выкопаешь имущество. Царю ведь тоже нужны земледельцы. Иначе кто ему будет платить подати?

— А ты, Иолай, разве ты не такой же пахарь, как я?

— Такой, да не такой... Рабов у меня нет, денег зарывать не пришлось. Война вытопчет мой виноградник, сожжет мою жижину. Если еще горб свой надломаю — наверняка пойду милостыню просить у дверей храма.

Они расшумелись так, что Мика застонала и попыталась повернуться. Споры умолкли.

Мы увидели жертвенник Зевса — каменную башню на холме и порыжевшие луга на склонах. Там, за лесом, пролегала Священная дорога — путь к морю.

На вершинах холмов показались всадники на низеньких конях, в колпаках, с длинными пиками. Всадники покружились и исчезли, а вместо них появились другие и тоже ускакали. Наперерез нам бежали перепуганные, полуодетые люди, кричали:

— Куда вы, куда вы? Там мидяне, поворачивайте назад!

Это были беженцы, которые попали в плен к варварам. Те ограбили их, девушек и мальчиков забрали с собой, а стариков прогнали.

А это кто — трясущийся, потный, весь в кровоподтеках, в грязных лохмотьях? Боги! Да ведь это Агасий из Ахарн, тот самый, который предлагал рабов заковать, тот самый, который был хорегом вместе с Лисией! А! Он хотел перебежать к персам!

— Только по своей глупости, родимые... — стонал Агасий. — Боги меня наказали...

Куда же теперь? Назад пути тоже нет. В лес, в горы! Беженцы с плачем тоже повернули за нами, на всякий случай остерегаясь пса Кефея.

В лесу царил сырой полумрак. Столетние буки и лавры обросли клочьями мха, жесткий терновник явил голые ноги. Оси невыносимо визжали на поворотах; колесница подскакивала и сотрясалась на корневищах, низкие ветви хлестали по головам.

— Ой, какой дремучий лес! — закричал проснувшийся Перикл. — Надо ехать только по тропинке. В лесу живут дикие сатиры, у которых вместо ног копыта. Они нас могут заманить.

Бедный мальчик! Живые мидяне позади были нам страшнее мифических сатиров.

— Нянька, а мы увидим Пана? — Мальчишеский голос звенел в лесной тиши. — А нимф лесных увидим? Нянька, а почему мы подскакиваем? Смотрите! — вдруг закричал он. — Мика больше не спит!

Я наклонился. Мика блестящими глазами разглядывала лиственный потолок.

— Где мама? — беспокоилась она.

— Мама едет сзади, — солгал я.

Но Перикл меня выдал:

— А мама осталась дома! А с нами едет только нянька, и Кефей сзади бежит. Вставай, сестренка, мы сейчас живых сатиров увидим!

Тут Мика узнала меня и прошептала:

— А, это ты, Алкамен... Мальчик, которого высекли... А я все время думала о тебе...

За это тебе спасибо, Мика. Вот он, мой гражданский венок!

Мика забылась. А мы втаскивали колесницу на крутой подъем, руками вращали спицы колес, беженцы подталкивали сзади; Агасий, засучив рукава, бегал вокруг и подбадривал.

Мика вновь разлепила ресницы:

— Почему мы едем?.. Какая буря, какой ветер... Смодри, Алкамен, — кентавры, сколько их! И лошади скачут, и жеребята...

Нянька тихо причитала. Перикл испуганно замолк; возница Иолай погонял свою лошадку. Я наклонился к Мике.

— У тебя нет воображения, театральный мальчик... — шептала она в бреду и повторяла одним дуновением: — Блаженный покой... блаженный покой...

Мы выехали на перевал между вершинами гор. Открылся вид на дугу Элевсинского залива — сверкающая синева! И на лугах множество блестящих на солнце точек.

— Смотрите, смотрите! — закричали беженцы. — Это полчища мидян собираются на равнине! Смотрите, сколько их — до самого горизонта!

## К МОРЮ

Спуск оказался труднее, чем подъем. Тропинка петляла по кручам, мы оббили все ноги о камни подо мхом, цепкий граб исхлестал нам лица.

Вот и ручей Кефис струится по каменистому дну, скрывает свои извивы в сочной осоке. Изнеможенные, мы решили отдохнуть в этом тихом уголке.

Все тихо здесь, только ручей шумит на камнях и гудит шмель над цветами. Солнце пронизывает лиственную кровлю, и его лучи падают ослепительными иглами.

Лошадей пустили на травку. Иолай достал хлеба, разломил, подал мне, подал няньке, взял сам, мальчику дал связку копченых рыбок. Терей тоже вынул из вьюков свои запасы. Агасий засматривал ему в глаза, глотая слюну. Терей поделился с ним, считая этого эвпатрида равным себе.

Прочие беженцы отвернулись, чтобы не видеть, как мы едим. Тогда, под неумолимым взглядом возницы Иолая, Терей роздал маслины, лук, сыр, лепешки. Нянька зачерпнула холодной воды, каждому поднесла с поклоном.

Но Терей торопил — вот-вот и этот зеленый рай мог огласиться криками варваров.

— Добрые люди, — сказала нянька, — рана у девочки кровоточит. Так мы ее живую не доведем, мышку мою ненаглядную.

— Что же делать? — Терей в недоумении застегивал ремень шлема.

— Что делать? — засмеялся Иолай. — Э, Терей, здоровый ты, а недогадливый. Когда я был молодым, я нанимался воевать в горной Фокиде. Знаешь, как в горах возят раненых?

Иолай распряг свою лошадку; они с Тереем привязали

ее рядом с конем, а между ними соорудили из веток и ремней колыбель, куда и перенесли раненую.

Беженцы не стали ждать нас, разулись, перешли ручей и скрылись в лесу. Иолай стегнул лошадей, и колыбель двинулась, мерно покачиваясь. А мы за оглобли покатали колесницу — на равнине она нам еще пригодится.

Показались просветы — лес кончался. Запахло солью и гнилыми водорослями — море близко. Корневищ и кочек, однако, не уменьшилось. Лошадка Иолая никак не могла попасть в ногу с рослым конем Терея, и через сотню шагов колыбель растрепалась. Тогда воины сделали носилки из плаща и копий и понесли девочку на руках. А мне велели остаться, запрячь колесницу и догнать.

Как же запрягать? Я — дитя городское и лошадь вблизи видел только у нашего Псоя, когда он возил бочку с водой для полива цветов. Как он запрягал? Кажется, сначала надевал хомут, потом седло, затем застегивал вот эти ремешки... Нет, не эти — вот эти. Слава Посейдону — покровителю лошадей, кажется, запряг.

— Н-но!..

Я стегнул лошадку, и она преспокойно вышла из оглобель, унося на себе сбрую, а я остался сидеть на облучке. Какой позор!

Я догнал лошадь, повел ее обратно к колеснице. Вдруг конь Терея, щипавший травку, вскинулся на дыбы и бешено заржал. Веребочная петля туго охватила его шею и тянула в лес. Сейчас же, гикая и звеня оружием, на поляну выехали всадники с громадными колчанами, в шапках, отороченных мехом. Мидяне!

В последние дни я научился соображать быстро и безошибочно. Я мгновенно понял: побегу я в лес — и меня тут же выловят. Я подбежал к коню Терея, выхватил кинжал, перерезал петлю, вскочил в седло и, прижавшись к гриве, дал коню пинка пятками.

Мы неслись, не разбирая дороги, продираясь сквозь терновник, а степные кони варваров не решились скакать в лесу с такой бешеной скоростью. Умный конь описал большой круг по лесу и выскочил на опушку в том месте, где продвигались носилки с телом Мики.

— Скорей, скорей! — кричал я. — Мидяне сзади!

Воины пустились бегом. За носилками семенила нянька; Перикл и собака, играя, бежали вперегонки. Я же гарцевал вокруг, уцепившись за гриву коня, который все храпел и косил глазом.

— Мальчик, а где моя лошадка? — спросил Иолай, не оборачиваясь и не сбавляя шага. — Кинул мою лошадку персам?

— Ладно хныкать, беги быстрее! — понукал его Терей. — Победим — дадут тебе новую лошадку.

— Да-а! — всхлипывал Иолай. — Пропала моя кормилица... Твой-то конь небось уцелел, а он у тебя не один...

Вот и море... Катит приветливые волны. Там, за косыми парусами далеких галер, — Саламин, наше спасение. Но на песке только обломки лодок, гниющие водоросли, вещи, затоптанные в гальку, черепки... И ни души!

— Вперед! — закричал зоркий Терей. — Там, за мысом, какие-то люди и лодка.

Обогнув мысок, мы увидели многовесельную лодку, в которую усаживались какие-то женщины, поднимая подола богато расшитых платьев.

Однорукий старик поддерживал их, отдавал приказания, суетился.

Ба! Да ведь это Мнесилох, а женщина, которой он помогает сесть в лодку, — жена Фемистокла.

Терей приосанился, вынул черепаховый гребень, причесал подстриженную бороду и, придав себе солидность, пошел просить, чтобы и нас взяли в лодку.

— Ну как же не взять? — всполошился Мнесилох. — Свои ведь люди... Дети Ксантиппа, боевого товарища... Раненая дочь... Ах, какое несчастье!

Но жена Фемистокла недовольно качала пышной, усеянной жемчугами прической:

— Уж и не знаю как... Лодка перегружена. Конечно, детей мы возьмем, но рабы и собака...

Подскакал начальник конной охраны, сопровождавшей семью Фемистокла:

— Прошу побыстрее. Мидяне близко.

Все погрузились. На песке, кроме воинов, остались только мы — нянька, я и пес Кефей, уныло опустивший хвост и уши.

— Да поразит меня молния Зевса! — вскричал Мнесилох и неуклюже стал выкарабкиваться из лодки. — Ведь это Алкамен! Ну конечно, Алкамен! Иди, сынок, в лодку. Лучше останусь я.

Жена Фемистокла, испуганная тем, что защитник, оставленный ее мужем, ее покинет, заявила:

— Нет, нет, еще найдется место. Я велю своей рабыне подвинуться. Иди, мальчик.





Я послал вместо себя няньку, а сам остался, хотя мне очень хотелось плыть вместе с Микой. Старуху не хотели сажать, но Перикл поднял отчаянный крик, и ее пустили. Тогда Терей подхватил меня и посадил в лодку, которую уже отпихнули от берега. Вдвоем с Иолаем они уселись на коня и поскакали туда, где готовился к отплытию последний военный корабль.

## САЛАМИН

И правда, лодка погрузилась до самых краев. Перикл плакал и звал Кефея. Пес метался по берегу и уже не лаял — выл от отчаяния.

— Ну как же взять в лодку такую громадную собаку? — рассуждала жена Фемистокла. — Была бы как у меня...

Она достала из-под мышки и показала всем собачонку, которая сучила кривыми ножками и тарасила крысьи глазки.

На берег между тем выехали мидяне и пустили нам вдогонку стрелы, которые скользнули в волны за нашей кормой. Тогда пес решил — кинулся в море. Скоро он догнал нас, плыл рядом, перебирая лапами, отфыркивался.

— Бедная собака! — соболезновал Мнесилох. — Ты же не доплывешь — слишком далеко плыть!

Мы проплыли мимо черных бортов кораблей. Расплавленная солнцем смола капала в пузырящиеся волны. Из мрачных прорезей в бортах высовывались громадные весла, виднелись лохматые головы гребцов, прикованных к скамейкам, изредка сверкал чей-нибудь злобный глаз.

Воины с высоты палуб показывали на нас пальцами, зубоскалили.

— Гляньте, собака плывет! Посейдон свидетель, это настоящий морской волк! Эй, на лодке, вы что, наперегонки с собакой, что ли?

Бесконечно плыли. Наши гребцы изнемогали, их руки не могли удержать весла, и нас поминутно обдавало холодными брызгами. Кроме того, в заливе оказалась высокая волна; женщин укачало, они стонали, жалуясь на богов. Саламин же оставался по-прежнему туманным и недостижимым.

Маленький Перикл ничего не видел, кроме своего мох-

натого друга; пришлось его удерживать, чтобы мальчик не выпал из лодки.

— Ну Кефей, ну собаченька,— заклинал он,— плыви, пожалуйста, не тони...

А пес уже задыхался и понемногу отставал.

И только когда солнце готово было коснуться края моря, мы причалили к плоским скалам Саламина. Встречающие почтительно вывели из лодки жену первого стратега, вынесли детей. Мику взяли на носилки. Я в последний раз наклонился к ней, чтобы увидеть, как вздрагивают лепестки ресниц, но седовласый врач с серебряным обручем на голове отодвинул меня. Несмотря на это, на душе стало легче — все-таки врач!

А Перикл никак не давался няньке — бежал к прибою, звал Кефея. Далеко в золотой чешуе моря виднелась точка, которая медленно приближалась.

— Собака, собака! — кричал народ. — Смотрите, собака!

Кефей выбрался на берег, отряхнулся — брызги во все стороны, — шатаясь, направился к мальчику. И, взвизгнув, упал, нелепо вытянув в лапы. Перикл бросился к нему, его еле оттащили. Пес околел.

Спустя много лет, когда Перикл вырос, он повелел воздвигнуть здесь надгробный памятник своему другу.

А в тот вечер песчаные дюны, скалы, пологие холмы острова кишели людьми. Богатые разбили шатры, бедные подстелили плащи, закутались в одеяла. Семья теснилась к семье, община к общине, варили скудную похлебку, ели со слезами. Поймали вора, били и снова плакали от злости и отчаяния.

Мнесилох, сдав семейство стратега, освободился и забрался с другими любопытными на скалу. Полез туда и я — оттуда открывался вид, как с последнего яруса нашего театра Диониса.

Закатное солнце осветило оранжевым заревом покинутый город на том берегу. Хорошо были видны горб Акрополя и другие холмы. Там под лиственными сводами остались палестры и бани, глиняные переулки предместий, фонтаны. Там мы, мальчишки, бывало, вот в такую же чудесную осень ели вязкие ягоды шелковицы, сбивали каштаны, прятались в лопухи, чтобы поплакать от хозяйских пинков.

Далекая-далекая, безвозвратная жизнь!

— Боги не допустят, — рассуждали афиняне, — чтобы

погиб этот щедрый город, который выстроил столько храмов и приносил такие обильные жертвы!

А в городе поднимались один за другим столбы дыма.

— Наверное, мидяне уже там и жгут здания, — мрачно сказал бывалый воин.

Все повскакали, начали вглядываться в пожары на том берегу.

— Где это горит? Это, наверное, у нас в Коллитии. Какое пламя!

— Нет, это правее Акрополя, значит, в Лимнах.

— И в Коллитии все равно горит. Там склад пеньки. Он как запыляется!

Но разглядеть, где именно горит, из-за дальности было невозможно. Наступила ночь, но на смену закату пришло зарево пожара.

— Ишь как разгорается! — вздыхал Мнесилох. — Бывало, ругали трущобы и высмеивали грязные улицы, а теперь сердце пылает вместе с ними!

Мальчишка-оборвыш скакал на палочке и напевал:

— Афины горят, Афины горят!

Тут же получил затрещину и заревел.

И все плакали, воздевая руки. Какая-то женщина в черном хитоне, вероятно наемная плакальщица, рыдала (сегодня уже без платы), рвала на себе одежду, кулаками молотила по голове. Лохматая, страшная, она причитала, словно пела:

— Несу дары скорби к твоему пепелищу, о город! Вместилище счастья, не по тебе ли плачут вороны, о горькая земля! Ногти, царапайте белые щеки, вопли, раздирайте сердце в клочья! Печаль, о-о-о! Печаль!

Все вторили ей, и становилось легче при виде такой театральной и яркой скорби.

Какой-то жрец заколол козленка, которого он привез из Афин. Люди его обступили, вытягивали шеи, напрягли глаза, стараясь разглядеть, как жрец копается во внутренностях — гадают.

— Печень совсем не видна, селезенка синяя, вся в жилках. Плохое, люди, предзнаменование. Горе готовят нам боги!

— Боги готовят горе тем, кто плачет, как женщина, у кого меч вываливается из рук! — раздался мужественный голос.

Фемистокл, окруженный стратегами, шел посредине толпы; отблеск зарева светился у него в глазах.

— Воины, мужи! — восклицал он. — Завтра или умрем, или победим!

Как всегда, единым словом он умел рассеять страхи, вселить надежду.

Мнесилох сразу выдвинулся из толпы, чтобы быть заметным. Вождь улыбнулся ему, расправил свои нахмуренные брови. Мнесилох издали показал подаренный меч; он как бы хотел сказать: я не зря его носил. И Фемистокл понял и помахал ему рукой. Тогда и я поднял над головой кинжальчик Фемистокла, чтобы стратег увидел запекающуюся кровь врагов. Но лицо стратега погасло; он, нахмурясь, заговорил о чем-то с воинами.

Мы с Мнесилохом посетили тихий домик, где среди других раненых стонала Мика.

— Плоха, очень плоха... — жаловалась нянька.

Неужели и врач не поможет? Может быть, прав Эсхил, может быть, нужно безропотно уповать на милость богов? Жрецы учат: если хочешь, чтобы бессмертные были к тебе благосклонны, принеси им в жертву самое дорогое, что у тебя есть. А у меня нет ничего дорогого, да и вообще ничего нет.

Постой, как же! У меня ведь есть вещь, которая для меня бесценна: на шнурке висит оловянный кружочек с буквой «Е», что означает «елевферия» — свобода.

Я минуту поколебался — жаль было отдавать память о маме — и тут же осудил себя за колебание. Я подошел к одному из жертвенников, которые во множестве разжигали жрецы, и кинул в угли амулет. Олово размягчалось, буква «Е» оплывала, а я читал молитвы за Мику.

Нашли ночлег, стали укладываться. Мнесилох не утерпел, чтобы не похвастаться:

— Приходил воин, пригласил меня к Фемистоклу: перед рассветом, после третьей стражи.

— А я?

— А ты спи, ночь ведь маялся. Ишь, весь оцарапанный, избитый.

— Мнесилох, заклинаю тебя, возьми меня к Фемистоклу.

— Зачем?

— Увидеть Ксантиппа, рассказать ему о дочери.

— Ты думаешь, ему не рассказали?

— Нет, но Мика просила... Я все равно должен...

— Ну ладно, крепко спи, малыш. После третьей стражи я тебя разбуду.

## НОЧЬ ПЕРЕД БИТВОЙ

Ах, как зябко, так и клонит прилечь!

Во тьме мы долго спотыкались о канаты и весла, пока не нащупали сходни, которые вели на «Беллерофонт» — там на палубе был разбит шатер первого стратега.

— Кто идет? — послышался знакомый бас.

Да ведь это Терей! Наш Терей. Он променял сегодня коня на корабельную палубу. Терей приказал воинам осветить наши лица факелами. Мнесилоха пустил, а меня удержал за хитон.

— Э, нет, дружок. Тебя не звали.

— Но, Терей!..

— Не могу, нет приказа тебя впустить. Ты совсем продрог. Возьми-ка лучше эту шерстяную хламиду, завернись.

Кто-то окликнул его, сообщая, что причалила галера с острова Эгина. Терей отошел; другой воин преградил мне путь щитом. Я со злостью ударил в этот щит; воин выронил его и шарил в темноте, боясь, что щит упадет в воду. Я взбежал на палубу. С непривычки я три раза споткнулся о натянутые снасти и набил себе шишку. Воины искали меня среди связок каната и ящиков, а я забился под полог шатра, надеясь там отсидеться.

Когда я успокоился, то различил голоса внутри шатра. Рядом была щель, позволявшая мне все видеть.

На высоком кресле сидел спартанец Эврибиад — верховный главнокомандующий флотом. Спартанец произносил речь:

— Нельзя вступать в бой... Нас разобьют... У них две тысячи кораблей, у нас двести. Пока не наступил рассвет, сажайте народ на корабли — и в Спарту!... Там будем обороняться.

— А как же наш город? — выкрикнул Ксантипп. (Я его сразу и не заметил: он сидел сгорбившись у светильника, как нахохлившаяся птица.) — Так и отдать город без боя?

— Вы свое потеряли, поэтому теперь вы не можете нас понять. Мы хотим сохранить хоть что-то от Эллады, хоть Спарту...

Все раскричались. Что же, значит, Афины уже потеряны? Значит, уйти смирившись?

Эврибиад встал с кресла, брал за руки то одного, то другого, растолковывал спартанский план.

Фемистокл прервал его. Распахнувшийся плащ стратега чуть не погасил светильник.

— Помните, я призвал вас отступать на море, оставить Афины? Теперь довольно отступать! На суше мы были слабее их, на море мы сильнее! Пусть их флот многочисленнее, а наш сильнее!

Эврибиад покраснел, нервно вертел жезл главнокомандующего.

— В открытом море мы не будем нападать,— убеждал Фемистокл.— Заманим в пролив. Здесь персам не развернуться, будем их колотить поодиночке!

— Фемистокл, Фемистокл! — Жезл в руках Эврибиада вращался все быстрее.— На стадионе того, кто до свистка срывается с места, наказывают палками!

— Да, но и тому, кто медлит, наград не дают!

И Фемистокл указал пальцем, кому именно не достанется награда. Эврибиад вышел из себя и замахнулся жезлом на Фемистокла.

— Ого-го! — закричали стратеги, вскакивая.— Зазнался спартанец! Кто бы ты ни был, мы тебе не позволим!..

Но Фемистокл опустил глаза и смиренно приблизился к Эврибиаду:

— Ну, побей меня — твое право. Ты — начальник. Только дозвожь утром ударить на врага. Время упустим!

Эврибиад смутился, бормотал извинения, отдал жезл оруженосцу. А Фемистокл продолжал убеждать. Ладонь его сжималась и разжималась, как бы извлекая истины и бросая их в лица слушателям.

— Горит наш город, но мы ушли, чтобы не стать рабами. Уйдем ли мы теперь на чужбину, бросим ли пепелища? Это пламя над городом Паллады радуется не только врагов, радуется и некоторых союзников. Но рано им радоваться! У нас есть другой город — деревянный, крутобокий, длинновесельный. Пусть нас предадут! Мы сами отвоюем себе свободу!

Эврибиад напрасно пытался возражать: его голос тонул в крике афинян. Тогда он объявил, что на рассвете спартанские корабли покинут Саламин, а афиняне пусть как хотят. Тишину обрубил крик. Коринфяне, сикионцы по очереди заявили, что подчиняются приказу главнокомандующего, уходят на рассвете к берегам Пелопоннеса — там будут обороняться.

Военный совет окончился.

— Только бы напали, только бы напали...— сжав зубы, повторял Фемистокл, расхаживая по опустевшему шатру.

— Я здесь, Фемистокл! — напомнил о себе Мнесилох, приютившийся у входа.

Но стратег продолжал шагать и думать...

## АРИСТИД

Полог входа откинулся. Кто-то, закутанный в плащ, вошел и остановился. Фемистокл схватил светильник, поднес к лицу вошедшего.

— Аристид?

— Да, Аристид. Я нарушил закон и вернулся. Фемистокл! — страстно воскликнул он. — Накажи меня завтра, но сегодня дозволю сражаться!

Я впервые увидел Фемистокла растерянным. Он подвинул Аристиду скамью, блюдо с жареным мясом и фруктами, но вдруг, как бы спохватившись, откинул скамью ногой, выпрямился перед лицом Аристида.

— Зачем пришел? Ты был против флота, против морского боя, а теперь пришел? Хочешь и в этом случае просить справедливым?

Аристид сжал тонкие губы, но отвечал спокойно:

— Не время сводить счеты... Я бы не пришел — крестьяне, эвпатриды, даже многие моряки писали мне: сердце у Фемистокла большое, верим, что боги сделают его благосклонным.

Фемистокл молчал, неслышно ступая по ковру. Аристид продолжал:

— Помнишь, я призывал народ умереть под стенами богини? Вот я и явился умереть под деревянными стенами, которые ты воздвиг на море...

Замолчали. Корабль мелко покачивался на прибрежной зыби; меня ужасно клонило в сон, и я таращил глаза, чтобы не пропустить чего-нибудь интересного.

— Я на эгинской галере, — рассказывал Аристид, — проскользнул между кораблями мидян. Пролив заперт ими, судов видимо-невидимо. Если бы они первые напали, вот бы их колошматить в узком проливе!..

— Если я прощу, — заговорил Фемистокл, — то не ради тебя... не ради тебя... — И вдруг поднял голову, подошел вплотную к Аристиду: — Как ты говоришь? Кора-



блей видимо-невидимо? Пролив, говоришь, заперт? Вот это здóрово, ха-ха-ха! На рассвете спартанчики, коринфянчики, сикиончики и прочие не смогут улизнуть, и поневоле придется принимать бой. Только бы персы напали первые,— ты угадал мою мысль!.. Ладно, Аристид,— он протянул руку,— будем товарищами в бою. Я готов забыть и убийц, и перебежчиков, и заговорщиков...

— А я—голосование на черепках...—усмехнулся Аристид.

Они снова стояли друг против друга, как кулачные бойцы. Тогда Мнесилох встал, заговорил ворчливо:

— Дозволь мне уйти, Фемистокл. Зачем ты меня звал? Я стар и люблю пуховики на рассвете...

Аристид покосился на него и пожал плечами: перед битвой надо бы совещаться со старцами, с благочестивыми жрецами, а у первого стратега в шатре этот комедиант, базарный шут! О демократия!

Но Фемистокл воодушевился новой мыслью; косматые его брови разлетелись на вдохновенном лице.

— Садись, Аристид, долой старое! Послушай-ка, у меня есть один план, с утра о нем думаю. Скажи, Мнесилох, ты, говорят, был в персидском плену?

В шатер тихо вошел Терей. Он стучался головой о перекладины, крался неуклюже, как слон, которому вдруг захотелось ловить мышей.

— Десять лет,— вздохнув, ответил Мнесилох,— как одно дуновение, пролетели! Перед самым Марафоном вернулся, выкупили родичи.

— Ты не забыл персидский язык?

— Все, что выучивалось в молодости, отчетливо помнится в старости.

— Мог бы ты выдать себя за перса, много лет прожившего в рабстве в Афинах?

Как раз в этот момент Терей нагнулся, и его жилистая рука нашарила меня в складках шатра.

— Вот где ты прячешься, козленок!

Фемистокл привстал, чтобы посмотреть, кого там поймали, и весело захохотал, наблюдая, как меня выводили с позором.

И вот я опять на берегу. зуб на зуб не попадает, но я от обиды сбросил шерстяную хламиду, которой меня укутали воины; жду возвращения Мнесилоха. Спрашиваю о Ксантиппе, но стража, тоже обидевшаяся, не отвечает:

— Терей! — окликнули с палубы.— Где мальчик?

— Какой мальчик?— отозвался из темноты Терей, как будто здесь мог быть еще какой-нибудь мальчик, кроме меня.

— А вот который пришел со стариком.

— Здесь он, стоит на пристани.

— Давай его сюда, требуют!

И те же руки, которые меня выпроваживали, подняли вновь на палубу и втолкнули в шатер.

— Нет, нет!— говорил Мнесилох. Лицо его было растерянно, он двигал култышкой руки.— Он еще дитя... Дай мне лучше двух матросов.

— Посуди сам,— убеждал его Фемистокл,— кто поверит, что ты бежишь из рабства, если тебя будут сопровождать два здоровенных матроса? А тут вы бежите вдвоем: ты— раб и мальчишка— раб.

— Пожалей ребенка, стратег!— воскликнул старик.— Я готов на смерть, на пытки, а он?!

Меня как молнией осветило. Я все понял.

— И я готов на пытки, и я готов!— закричал я, бросаясь к Фемистоклу.

Тот поглядел на меня, как на незнакомого, усмехнулся:

— «Каждый горшечник бог своих горшков». Вот видишь, Мнесилох, и я умею говорить пословицы. Ну что ж— отправляйтесь!

Он ударил рукояткой меча в бронзовый щит, висевший над входом. Раздался мелодичный звон.

— Жреца!

Явился дежурный жрец, закутанный, как кокон, в белое; с ним вошли три девушки, в прически которых были вплетены крупные розы.

— Прости, стратег!— извинялся жрец, пока девушки раздавали нам молитвенные венки.— На этом скудном острове не нашлось миртового дерева; пришлось венки плести из ветвей маслины.

Жрец расставил двенадцать походных алтарей в честь олимпийцев и на каждый жертвенник кинул в пламя по зернышку фимиама. Одна девушка ему прислуживала, другая играла на флейте, третья перебирала струны фортинги— маленькой лиры.

Мы стояли, как полагается воинам, навтыжку, опустив увенчанные головы, и нам было грустно от этой тихой музыки, от негромких гимнов жреца, от того, что сейчас мы покинем уютный шатер и пойдем в непрогляд-

ную ночь, наполненную брызгами соленой пены, туда, где тетивы всех луков напряжены и все стрелы ждут своих жертв.

— Возвращайся, старик, живи сто лет! — Фемистокл обнял Мнесилоха, а мне взъерошил волосы на голове.

Аристид молча смотрел на эту сцену; тонкие губы его pokrивились усмешкой. Мне казалось, что я читаю его мысли: «Судьба Афин вручена городскому болтуну и ненадежному мальчишке».

Однако и он тепло простился с нами.

## ПЕРЕБЕЖЧИКИ

Зарево все ярче полыхало над Афинами. Плотные капли падали с весел и от пожара казались каплями крови. Я сидел на веслах; грести было тяжело — сносило течение. Задул рассветный ветер.

— Видишь, видишь? — указывал Мнесилох. — Да куда ты гладишь, смотри правее! Видишь корабли с косыми парусами? Это египетский отряд персидского флота. А вон финикийцы — вот эти неуклюжие посудины с загнутыми носами, с высокими башнями на корме. А плоские, низкие — это корабли изменников-греков, которые сражаются на стороне царя. Правь к финикийцам. Варваров легче надуть, чем нашего брата-грека.

Я и направился было к позолоченному чудовищному кораблю, украшенному башенками, перилами и балкончиками, с бортов которого свешивались персидские ковры. Однако небольшая ходкая галера, украшенная медными щитами, пересекла нам дорогу, и вот уже с ее бортов над нами свесились насмешливые рожи с клинообразными, типично греческими бородками.

— Эй, путешественники, куда правите?

— Мальчик, что за плешивую красавицу ты везешь? Вели ей, пусть спрячет свои ножки! — Это они намекали на то, что Мнесилох, боясь сырости, заткнул полы своей хламиды за пояс, обнажив кривые волосатые ноги.

Нас подняли на борт.

— Ну, теперь держись, Алкамен, — шепнул мне старик.

И он пустился кривляться, плакался на судьбу, говорил на чудовищной смеси греческого языка с варварским.

— Эй, однорукий, ты краснорожий, как Силен,— насмеялись враги.

Галера доставила нас в такое место, где корабли стояли тесно, борт к борту, и с палубы на палубу можно было переходить по перекинутым мосткам. Да, действительно велик был царский флот — даже дух захватывало!

Здесь нас окружили мидяне. Матросы, полуголые, повязанные красными платками или с тюрбанами на головах, отступили, и мы оказались среди бородатых, горбоносых мужей в расшитых золотом одеждах. Тяжелые плащи, затканые жемчугами и алмазами, колыхались на них, как на вешалках.

Важный вельможа восседал под опахалами на золоченом стуле. Его борода, выкрашенная в красный цвет, была тщательно завита в мелкие колечки и покоилась в специальной парчовой сетке.

— Это еще не царь,— шепнул Мнесилох.— Не бойся!

Откуда только у Мнесилоха взялись обильные слезы. Сморкаясь в полу хламиды, он кое-как рассказал, что бежал из афинского рабства, в котором провел сорок лет! Поведал, что его настоящее имя Сикинна, а этот мальчик (он ткнул в меня пальцем) тоже беглый раб, сирота.

Мнесилох повторил свой рассказ на каком-то скрипучем и шипящем, вероятно на персидском, языке; опять заговорил по-гречески.

— Отведите нас к царю! — требовал Мнесилох.— У нас есть что ему рассказать.

Однако краснобородый и бровью не повел. И все кругом оставались такими же непроницаемыми и важными. Мнесилох вконец извелся. Чего уж он им ни рассказывал, как ни врал — они смотрели на него бараньими глазами и, казалось, кого-то ждали.

Наконец гортанный голос что-то прокричал. Все мидяне, кроме краснобородого, повернули головы направо, и оттуда, стуча солдатскими сапогами, появился худой человек со злым, напряженным лицом.

Это был Лисия, бывший перекупщик зерна, бывший хорег, бывший афинянин, а теперь перебежчик и изменник!

— Ха! — закричал он.— Это Сикинна? Это беглый раб? Это шпион, лазутчик Фемистокла, и место ему в петле! Кто же в Афинах его не знает? Зовут его Мнесилох; и живет он объедками с богатых столов. В том числе и я кормил его у себя на кухне.

— Врешь, собака! — сказал Мнесилох. — Я на твой поганый двор шагу не ступал, хоть ты и богаче всех. Насо-сался крови людской!..

Лисия кинулся на него, хватаясь за меч, но персы-щитоносцы его удержали. Краснобородый что-то загово-рил, указывая то на меня, то на Мнесилоха, то на Лисию, потом указал пальцем вдаль. Переводчик объяснил, что по приказу царя царей всех перебежчиков велено достав-лять ему лично, что с нами вместе пусть отправится и Ли-сия как беспристрастный свидетель.

И та же быstroходная галера доставила нас на берег. Там завязали нам глаза и повели, подталкивая древками копий. Копилась злоба, таился противный страх, но что же делать? Мы молчали. Слышался звон оружия, ругань и восклицания на чужих языках, ржали кони, скрипели оси телег, плакали дети и визжали женщины. Видимо, вдоль всего берега расположилось войско мидян.

Вдруг я почувствовал, что Мнесилох сел на дорогу.

— Ох, — стонал он, — от дурной головы ноги кричат караул! Братцы мидяне, мидянчики-голубчики, не могу больше идти!

Конвоиры чужими голосами переругивались возле нас. Раздался пронзительный голос Лисии:

— Довольно сатира изображать, тут тебе не театр Диониса. Царь царей прикажет тебе поджарить пятки!

— Что ты орешь, будто с осла упал! — тихо сказал ему Мнесилох. — Лучше скажи, понимает ли тут кто-нибудь по-гречески, кроме тебя?

— Нет, никто, — опешил Лисия. — А что?

— Чудесно! — пробормотал Мнесилох, вставая на но-ги. — Это мне и нужно было знать.

И воскликнул, обращаясь к невидимому перекупщику:

— Лисия, будь эллином! Будь хоть чуточку греком, чтобы боги Эллады, когда настанет страшный час суда над предателями, могли бы бросить на твою чашу весов хоть крупицу милосердия!

— Что тебе от меня надо, старый хрыч? — недоумевал перекупщик зерна.

— Меня казни, меня предай, но мальчишку спаси. Чем виновато дитя, когда кругом все в огне, все рушится?

— Шагай, шагай! — усмехнулся Лисия. — Не пройдет и часа, как вы оба запоете новую песню в руках опытного палача. Ты, старик, будешь в роли Прометея, а твой ма-

лый — он уже однажды выдал меня, — он будет корифеем. Ха-ха-ха!

— А помнишь, Лисия, — вкрадчиво ответил Мнесилох, — как десять лет тому назад после Марафонской битвы неизвестные похитили из ямы сокровища, взятые у персидского царя? Один из похитителей, я помню, был потом перекупщиком зерна.

— Что это ты вдруг вспомнил? — Голос Лисии дрогнул. — И какое дело царю до сокровищ, украденных у афинян?

— Но афинянам-то они достались от персов! Неужели царю не захочется их вернуть? Вот он и начнет кое-кому поджаривать пятки: сознавайся, мол, куда ты девал мои сокровища?

— О злые демоны! — выругался Лисия.

Дорога под нашими ногами стала круто подниматься. Мы спотыкались на острых камнях.

## АРТЕМИСИЯ

Послышался женский голос, резкий, как звон металла, и все-таки женственный, приятный:

— Остановитесь! Куда вы ведете старика и мальчика?

— Не мешай нам, женщина, — раздраженно ответил Лисия. — Мы спешим предстать перед светлым ликом царя царей, и нам некогда вести пустые разговоры.

— Что ты, что ты! — зашептал ему кто-то по-гречески. — Не груби нашей госпоже. Ведь это Артемисия, правительница Галикарнасса. Сам царь Ксеркс слушается ее слова. Шевельни она пальцем — твоя голова слетит.

— Развяжите им глаза, — приказала правительница. — Какое зло могут причинить однорукий старик и слабый мальчик?

Перед нами оказалась коренастая женщина на крепких ногах. Лицо ее было густо забелено, губы и ресницы ярко раскрашены. Замысловатые серьги и подвески бренчали при каждом движении. И, несмотря на все эти женские ухищрения, в ее некрасивом лице чувствовалась мужская сила и властность.

Мнесилох, жалобно охая, повторил свою выдумку о том, что он — Сикинна, беглый раб. Я со страхом оглянулся на перекупщика. Лисия молчал, точно у него заклеился рот.

— А что хотел ты высказать царю? — спросила Артемисия.

Мнесилох помедлил, тоже посмотрел на перекупщика и ответил:

— Афиняне думают удрать из пролива, увести свой флот в Спарту. Пусть великий царь нападает, бьет их, режет, крушит! Я, страдавший в рабстве у афинян сорок лет, призываю царя — бей их, гони!

Лисия даже застонал, но не проронил ни слова. Артемисия заговорила с начальником конвоя по-персидски. Тот объяснял ей что-то, поминутно вставляя слово «Лисия».

— Что же ты, Лисия? — обратилась правительница. — Говорят, что ты обличал их как шпионов, а теперь молчишь? Или считаешь зазорным разговаривать с Артемисией, правительницей Галикарнасса?

— Я ошибся, — плачущим голосом сказал Лисия. — Я их знать не знаю да и не хочу знать. Пошли! — закричал он на конвоиров. — Чего расселись? Царь ждет!

Тайком от правительницы он злобно стукнул Мнесилоха в спину.

Артемисия заметила это:

— Ах во-от оно что!

— Пошли, пошли, — подбадривал Лисия. — Царь сам разберется. Он, Ахеменид, живой бог на земле, пусть-ка сам выудит правду.

Перед тем как нам вновь завязали глаза, я успел заметить, что правительница мимоходом отдала какие-то распоряжения одному из ее свиты.

И вот мы снова поднимаемся на головокружительную высоту; далеко внизу шумит море, волны разбиваются о крутые скалы. Слева от нас — спотыкающиеся шажки перекупщика, справа — тяжелые шаги Артемисии — туп, туп. Она и ходит-то как мужчина! Камешки и песок осыпаются под нашими ногами в пропасть.

— Лисия, эй, Лисия! — кто-то позвал сзади.

Шаги изменника замолкли, а мы продолжали двигаться вперед. Вдруг за нами послышался грохот осыпающихся камней и душераздирающий крик, потом все смолкло. Слышалось только, как ударяются внизу падающие камни и равнодушно шумит море.

— Что там случилось? — спросила Артемисия.

— Светлейшая правительница! — доложил запыхавшийся голос. — Случилось большое несчастье. Афинянин,

который шел с нами, неловко оступился и упал со скалы в море.

Я невольно потрогал рукой Мнесилоха: нет, старик по-прежнему ковыляет рядом.

— Да будет во всем воля богов! — набожно произнесла Артемисия.

И мы двинулись дальше.

— Старик, старик! — слышался над самым ухом шепот Артемисии. — Скажи, афиняне сильны?

— Сегодня увидишь, — кратко ответил Мнесилох.

— Старик, я не верю, что ты беглец... Кто бы ты ни был, Фемистокл, наверное, тебя очень ценит, если послал с такой целью... Ваш народ, наверное, отблагодарит того, кто поможет тебе?

— Да тебе-то какое дело? — сказал с горечью Мнесилох. — Ты подданная царя да и сама могучая правительница великого Галикарнасса. Что тебе наш народ, что тебе наш Фемистокл?

— Я гречанка, гречанка, — шептала Артемисия. — Во мне течет кровь троянских героев... О старик! Как тяжело быть гордой и унижаться, быть свободной и пресмыкаться!

Мы были на самом верху, где свистит в уши и мешает дышать упругий ветер.

— Берегись, старик, среди персов нет дураков, — вдруг с угрозой сказала правительница. — Ты гонишь их в битву, а кто не поймет, что в узком проливе персидскому флоту крышка?

Я вздрогнул и почувствовал, как рядом вздохнул Мнесилох. Пропал наш план! Все провалилось, зря мы погибнем!

— Вас подвергнут мучительной пытке, — продолжала Артемисия, — потом умертвят. Даже для рабства вам не оставят жизни. Готовы ли вы к смерти?

Мы шли по-прежнему быстро, несмотря на то что колени ослабели, хотелось даже броситься с кручи туда, где ласково шумит родное море.

Вот впереди слышался гул приглушенных голосов, как будто впереди был огромный улей. Слышалась команда. С нас сорвали повязки и так швырнули лицом вниз, что я ударился лбом об острый камень. Встать нам не позволили. Мы, лежа на животах, подняли глаза и увидели над собой невысокого черномазого мужчину, над головой которого реяло знамя в виде человекоорла, широко





распахнувшего золоченые крылья. Солнце вспыхивало искрами в бриллиантах, украшавших обильно плащи и мантии его свиты. А сам он был в простой одежде, белее мела.

Рядом с нами легла прямо лицом на камни и правительница Артемисия.

— Захочешь яичницы — поцелуешь сковородку, — пробурчал Мнесилох.

Человек в белом не шевелился, как восковой, а чей-то торжественный голос за его спиной произнес персидскую фразу, потом повторил по-гречески:

— Милость царя царей безгранична! Сын богов, воплощение солнца и огня, бессмертный Ахеменид повелевает вам встать и поведать, кто вы и что знаете.

Мы медленно поднялись, но отряхиваться от пыли было страшно; только Артемисия поправила свои звонкие подвески и мизинчиком подвела брови.

Мнесилох громко рассказал, что он — Сикинна, беглый раб, что ненавидит афинян, что флот эллинов хочет покинуть Саламин.

— Торопись, светлый царь! — воскликнул Мнесилох, закончив свой рассказ. — Солнце уже высоко. Пока ты медлишь, греческие корабли ускользают из пролива к берегам Пелопоннеса!

Он говорил по-персидски, но все, что он говорил, невидимый голос тут же повторял по-гречески, вероятно, для изменников-греков, которых здесь было много среди придворных, — их сразу можно было узнать по ионийским удлиненным шлемам.

Из рядов придворных выступил седоватый муж и повалился ниц на камни. Точно так же, как и нам, голос глашатая от имени царя царей повелел ему встать и говорить.

— Не слушай их, божественный! — Придворный энергичными жестами обращался то к царю, то к нам. — Не может наш флот войти в эту мышеловку. Со вчерашнего дня я пытаюсь убедить твоих полководцев, что затевать здесь сражение безумно.

В продолжение беседы и царь и придворные стояли совершенно неподвижно, ни один мускул на их лицах не дрогнул. У меня промелькнула озорная мысль: а что, если под одеждами их кусают блохи? Сколько терпения нужно, сколько выдержки, чтобы стоять как вкопанные!

Только голос невидимого глашатая казался един-

ственно живым в этом окаменении. Он неумоимо повторял слова говоривших то по-персидски, то по-гречески.

Говорила Артемисия:

— Тебе ли, царь, бояться? У тебя тысяча кораблей, они как орешки расщелкают двести афинских дырявых посудин. Подумай, какая добыча уходит! Уходит именно из мышеловки, как правильно назвал пролив твой благороднейший и мудрейший советник. Упустишь сейчас афинян — ищи потом ветра в поле! К тому же по твоему повелению на этой скале воздвигли золотой трон с тем, чтобы, как в театре, ты мог наблюдать великое побоище и позорище афинян.

Раззолоченные придворные одобрительно загудели.

Седовласый придворный протянул руку, хотел возразить, но медлительный голос глашатая объявил, что царь выслушал, царь примет решение.

Прежде чем нас увели, мы оглядели с площадки скалы открывшийся перед нами мир. Далеко внизу на палубах пели медные рожки, на мачты ползли хвостатые вымпелы — царские корабли сигналили друг другу. А там, на горизонте, — темный Саламин и скучившиеся возле него низкие серые афинские суда.

Прибежал богато одетый мидянин, распорядился. Нас отвели в обширную ложбину. Здесь было приготовлено множество кнутов, кандалов, канатов, веревочных жгутов — все это для афинян, которых в этот день персы собирались взять в плен. Суетились палачи, кузнецы, надсмотрщики.

Приковылял главный палач — одноглазый, сгорбленный, длиннорукий, как спрут. Он заботливо усадил Мнесилоха на колоду, надел ему на ноги веревочный жгут и, деловито пыхтя, принялся крутить. Выразившее терпение лицо Мнесилоха вдруг исказилось, и он заскрежетал зубами.

— Признавайся царю! — приказал Мнесилоху мидянин.

Мне хотелось крикнуть, что афиняне плюют на царей, но я понимал, что сейчас нужно молчать, молчать изо всех сил. И Мнесилох молчал и корчился от пытки.

Тогда я не вытерпел — задрожал от соболезнования, заорал, закричал что было силы.

— Эх, ты! — сказал мне со стоном Мнесилох.

А другой палач ударил меня кончиком кнута.

— Стойте! — Это явилась Артемисия. — Царь царей

приказал немедленно заключить этих перебежчиков в корабельную тюрьму. Освободите старика. Скорей!

Палачи отступили.

— А ты, царский слуга,— обратилась она к мидянину,— ступай доложи сыну богов, что, несмотря на пытки, перебежчики настаивают на своем.

Мидянин недоверчиво проворчал, помедлил, но отправился.

Нас окружили воины Артемисии в хвостатых греческих шлемах; ослабевшего Мнесилоха подхватили под руки и повели.

Но почему нас ведут крадучись, бегом, почему Артемисия торопит с тревогой: «Скорей, скорей!»?

## МЯТЕЖНИКИ

И вот мы заперты в камерке на корме корабля. Камерка медленно поднимается и опускается; пустой кувшин перекачивается из угла в угол. Скрипит, двигается, стонет деревянное чрево корабля. В зарешеченное окошко видно, как взлетает зеленая волна и плескается к нам в окошко, а у каждого из нас тошнота притаилась в горле и голова мутится.

Куда плывет корабль Артемисии, мы не знаем, чувствуем только, что идет полным ходом и что весь персидский флот к середине дня пришел в движение.

Слышны мерные постукивания молотка, которым отбивают такт гребцам, чтобы они равномерно двигали веслами; скрипят уключины, и рабы поют негромко и протяжно, не заглушая шорох волн о деревянные борта.

— Эй, лягушонок! — Мнесилох так и впился в зарешеченное окошечко.— У тебя глаза прыткие. Разглядика — мне против солнца не видать,— куда движутся вон те громоздкие корабли?

— Эти, с раскрашенными башенками и медными таранами?

— Да, да, эти.

— Налево. Они плывут налево.

— А что там налево? Смотри, Алкамен, смотри зорче, что там?

— Что там? А там пролив Саламина. Ясно вижу этот пролив. О Мнесилох, Мнесилох! Весь царский флот движется туда. Боги милостивые, как их много!

Мнесилох, услышав это, возвеселился:

— Слава тебе, Посейдон — повелитель волны! Как только все встанет на свои места, я принесу тебе хорошую жертву.

И, так как страх за афинян заставил меня горевать, Мнесилох ухватил мою голову, сунул себе под мышку и принялся гладить меня по плечам, — это означало у него ласку.

— Радуйся, Алкамен! Теперь, если даже и умрем, мы умрем недаром! А впрочем, зачем нам умирать? Море блистает, солнышко горячо. Стоит ли умирать? Раз уж нас не убили сразу, значит, мы еще нужны. Не кажется ли тебе подозрительным, что нас слишком поспешно увели от палача? И не кажется ли тебе подозрительным, что корабль Артемисии, на котором мы с тобой сидим, так быстро уходит, даже, вернее, удирает от царского флота? Не похоже ли все это на то, что у царя украли его пленников? А, Алкамен? Недаром эта — чуть было не сказал: разма-леванная старуха, нет, нет, достойнейшая правительница, — недаром она так выспрашивала, любит ли меня Фемистокл. Не хочет ли она сбересть нас как выкуп для себя: а вдруг да победят афиняне? Уж эти азиатские греки — знаю я их — хитры, как бестии. — И старик окинул взглядом каморку, ища, где бы приютиться всхрапнуть. — Если так, — беззаботно рассуждал он, — остается положить-ся на волю бессмертных. Ох уж эти галикарнасские скупердяи! Хоть бы тюфячок бросили, старые кости покоить. Ну что поделаешь: кто играет с кошкой, должен сносить царапины!

Мнесилох часть одежд подстелил, другими одеждами укрылся и сделался похож на нахохлившуюся наседку. Вздохнул, укутывая ноги.

— Залетел воробей в кувшин винца испить, там его и закупорили!

Лежит, смирился с тем, что везут неизвестно куда, может быть, в новое рабство, утешается пословицами! А у меня во всем теле зудит нетерпение — хоть как-нибудь выбраться из этой тюрьмы! Вот окошко. Конечно, взрослый не пролезет, но такой худенький мальчик, как я... К тому же и решетка качается. Э, да тут совсем ржавые гвозди!

— Мнесилох, давай я выпрыгну в это окошко! Поплыву к Фемистоклу, расскажу, что ты на корабле галикарнасцев, — он тебя освободит. Я плаваю, как головастик.

— Ложись и молчи. У Фемистокла много других забот. Да ты и не доплывешь — гляди, какая волна расходилась, а до берега далеко. Пристукнут тебя веслом по голове — и конец.

— Но, Мнесилох...

— Молчи! Я твой командир. Я приказываю: ложись и спи. Кто знает, что еще предстоит, а мы не спали ночь.

И правда, глаза набрякли сном, отяжелели, но нетерпение стало сильнее. Я всматривался за окно и вдруг увидел близкие корабли, услышал крики, хриплые и отчаянные. Там шло сражение! Прямо перед моими глазами афинский корабль проткнул тараном борт финикийского и оба накренились, черпая бортами воду. Затем вся картина скрылась от меня зеленой стеной волны.

А Мнесилох спит себе преспокойно, свист издает и храпы испускает. Ну как он может спать, когда кругом идет сражение?

Я стал дергать и крутить гвозди, державшие решетку окна. Два гвоздя вывалились легко из трухлявого дерева, с третьим пришлось повозиться, — я даже раскровенил себе палец. Зато четвертый не давался никак. Пришлось отгибать решетку, наваливаясь на нее всем телом. Нет, никак! Вдруг корабль провалился, будто в какую яму. Меня ударило теменем о балку, так что в глазах у меня померкло.

Но эта же волна сослужила мне службу — она сорвала решетку, висевшую на гвозде. Путь наружу свободен!

Донеслись хриплые вопли трубы, шум волны, влетели соленые брызги. Надо было торопиться, пока вода не натечет и не разбудит старика. Я пролез в окно, раздирая хитон, — и вот уже я за бортом.

С корабля не заметили, что я упал в воду. Я сначала погрузился, потом выплыл и еле-еле шевелил руками и ногами, экономя силы, стараясь только держаться. Корабль Артемисии, подставив паруса попутному ветру, ударяя веслами, удалялся, а на некотором расстоянии от него косым строем шли еще четыре галикарнасских корабля. Артемисия бежит с поля сражения!

Я повернулся в другую сторону. Прямо передо мной накренился, погрузив корму, подбитый афинский корабль. Команда покинула его, добралась на лодке до саламинского берега. Корабль медленно вращался в волнах и постепенно погружался. Слышались рев и проклятия:

прикованные гребцы не могли покинуть трюм, вода их заливала.

Я напряг усилия, чтобы отплыть как можно дальше,— при погружении корабля может затянуть и меня.

Но тут я услышал свое имя. Кто-то настойчиво звал меня:

— Алкамен, Алкамен!

Что это? Наваждение? Кто может звать меня в проливе?

— Алкамен! Да взгляни сюда, здесь мы, в этом разбитом корабле!

Да, да! Знакомый голос рыжего скифа Медведя доносился из черной пасти отверстия для весла.

— Здесь все наши, храмовые,— и Псой-садовник, и Зубило, и Жернов... Полезай на палубу, голубчик, может быть, они обронили ключи от замков, или подай нам топор, меч, кувалду— все, что угодно, только чтобы разбить цепи. Алкамен, неужели ты нас покинешь?

Ну конечно, я не покину! С борта свешивалась веревочная лестница, по которой спасся экипаж. Мгновение— и я уже наверху. Правда, палуба накренилась так, что по ней трудно взбегать. Но вот валяется и топор, а вот и мечей целых три. Я кидаю все это в люк трюма. Оттуда доносится восторженный вопль и лязг разбиваемых цепей. Вскоре рядом со мной на палубе и Медведь, и Зубило, и Псой, и все остальные.

Медведь показал громадный кулачище холмистому зеленому берегу Саламина.

— Галера, к нам идет галера!— закричали рабы.

Действительно, от Саламина приближалась небольшая галера, наверное, затем, чтобы взять накренившийся корабль на буксир.

— Все вниз!— заорал Медведь.— Всем спрятаться! Хватайте мечи, ножи, топоры, молотки— кто что найдет.

— Как?— спросил я с ужасом.— Ты хочешь напасть на своих, на афинян?

— Это тебе они свои,— захохотал великан, заставляя меня спрятаться за палубную надстройку,— а мне они вот где «свои».— Он показал мне руки, на которых были кровавые язвы от сбитых цепей.

Что мог я возразить?

Галера стукнулась о борт нашего корабля. На палубу вскарабкались двое корабельщиков, стали накручивать канат, закреплять буксир.

— А-ррр! — страшно закричал Медведь.

Наверное, так кричит в его родных лесах какое-нибудь чудовище.

Рабы выскочили из люков, выпрыгнули из отверстий для весел, посыпались в галеру, били и сталкивали в воду ошеломленных моряков. Вскоре галера была в руках мятежников. Они кричали, целовались от радости, и полуденное солнце жарко обнимало их голые плечи и торсы.

— На весла! Уж если мы напрягались в цепях, так приналяжем ради свободы!

Что делать? И я был с ними — не погибать же мне вместе с тонущим кораблем. Однако, когда мы огибали Саламин, чтобы выйти в открытое море, я твердо заявил, что покину их галеру и поплыву на остров.

Там, на Саламине, раненая Мика ждала, что я приведу к ней отца, оттуда нужно послать погоню, чтобы освободить Мнесилоха, там Фемистокл надеялся на мою верность и отвагу.

— Вы поглядите на этого афинянина! — издевался Медведь. — Там его ждут поместья, гражданский веночек и красавица невеста! Ты бывал когда-нибудь на кладбище возле Академии? На этом кладбище есть надгробная плита в честь рабов, которые в юности оказали услугу на войне, а в старости по постановлению народного собрания они получили надгробный памятник. Ты слышишь? На свободу их не отпустили — только памятник воздвигли!

— Оставь его, Медведь, — вмешался Псой. — Кому дорогá своя свобода, должен уважать свободу других.

— Прощай, внук ящерицы. — Медведь обнял меня и так прижал к рыжей груди, что у меня дыхание остановилось. — Прощай, да пошлют тебе счастье боги!

Рабы ласково мне улыбались, а многие утирали слезы.

Я выпрыгнул и поплыл к берегу. Видя, что плыть мне осталось недалеко, я обернулся. Галера быстро уходила, разрезая прозрачные волны и пенистые гребешки. Никто из афинян, занятых боем, не помчался за ней в погоню. Быть может, им и удастся добраться до острова Крит, где беглых рабов не выдают греческим городам.

В последний раз я оглянулся на дружеские лица, кивавшие мне из неразличимого далека.



## ОСТРОВ ПСИТТАЛИЯ

Как Фемистокл рассчитывал, так и случилось,— персы, опасаясь, что афиняне уклонятся от боя и ускользнут, с двух сторон двинулись в пролив, сжимая в тиски их корабли. Но биться широким фронтом персы не могли из-за узости пролива.

Расчет Фемистокла был верен: солнце слепило глаза нападающему врагу, лобовой ветер расстраивал ряды его кораблей.

Афиняне разбивали, брали на абордаж, жгли ряд за рядом, затем налетали новые ряды, и начиналось все сначала.

В воздухе стоял стон от ругательств, проклятий, слов команды, предсмертных криков. Море клокотало, в волнах болтались обломки, весла, бочки.

Мидяне высадили десант на песчаном островке Пситталии, энергично подвозили подкрепления, хотели оттуда рвануться дальше — на Саламин.

Аристид взошел на корабль, где на мостике сидел худосочный спартанец Эврибиад, надувшись, как жаба. Еще бы, ему против воли пришлось разрешить сражение!

— Дозволь, я высажусь на островке и выбью оттуда мидян.— Лицо Аристида было бледным, как никогда, а тонкие губы побелели от напряжения.

Эврибиад для вида помедлил, потом украдкой взглянул на Фемистокла, который стоял рядом, скрестив руки. Фемистокл еле заметно наклонил голову, и Эврибиад милостиво позволил Аристиду вступить в бой.

Аристид и триста гоплитов по мелководью перебежали на Пситталию и напали на ошеломленных мидян. Те яростно защищались. Развевающийся плащ Аристида со знаменитыми заплатками мелькал тут и там. Одно время всем показалось, что атака отбита, что шлем Аристида уже не виден в гуще сражающихся. Однако вот он появился на самом берегу. В руке его было древко с вражеским знаменем — позолоченный человекоорел с широко распахнутыми крыльями.

Радостно закричали афиняне, смотревшие на битву со скал Саламина; стали прыгать, кидать в воздух шапки.

Казалось, с неба донесся мощный глас богов, напоминающий звучную речь Эсхила:

Вперед, сыны Эллады!  
Спасайте родину, спасайте жен,

Детей своих, богов отцовских храмы,  
Гробницы предков: бой теперь за всё!

Между тем к Пситталии со стороны персов мчался тяжелый корабль с десантом. Ярко блестели на солнце золотые латы — это шли в бой «бессмертные» — личная гвардия царя. Афинская триера преградила кораблю персов путь — «Беллерофонт», флагманский корабль Ксанטיפпа. Персы не смогли остановить разогнавшийся тяжелый корабль, и он ударился бортом о борт «Беллерофонта». Гигантские весла ломались, как лучинки, с палуб от удара посыпались в воду люди.

На крутом носу «Беллерофонта» появился маленький, страшный, с растрепанной бородой Ксанטיפп. Глотка его была разверста — он не то командовал, не то изрыгал проклятия. Он метнул железный крюк и зацепил им борт вражеского судна. В тот же момент еще несколько крюков впились в деревянное тело корабля. Персы рубили мечами железо крюков, надеясь освободиться от этих страшных когтей, — не тут-то было!

Видя, что Ксанטיפп около Пситталии, зная, что Фемистокл тоже направляется туда, я кинулся вброд вслед за гоплитами, бежавшими в подкрепление. Вода мне здесь доходила до горла. Раза два, поскользнувшись на камнях, я принимался плыть. Навстречу толкали плоты с ранеными; на одном плоту сидел горбоносый врач с серебряным обручем на седоватых волосах, тот самый, что взялся лечить Мику. Я было кинулся к нему, как меня оттолкнули:

— Позволь, позволь!

Отряд гоплитов с напряженными лицами, буруня воду, бежал на Пситталию.

— Что, парень? — ехидно крикнул мне замыкающий строй гоплит. — Хвостом виляешь, бежишь обратно?

И я побежал на Пситталию.

Там Аристид и Ксанטיפп улыбались, пожимали друг другу руки; оруженосцы подали им полотенца, и стратеги утирали пот и грязь.

Воины собирали трофеи, стаскивали вражеские знамена, раскладывали походный алтарь Зевса — Носителя Побед, которому нужно было на скорую руку принести благодарственную жертву.

Ксанטיפп узнал меня издали, кивнул, шагнул ко мне, протягивая руки. Я остановился, удивленный этой приветливостью.

«Господин,— хотел я сказать,— твоя дочь Аристомаха... Мика...» Волнение сжало мне горло.

Ксантипп меня опередил:

— Мне рассказали все.— На лицо его набежала тень, как будто свет солнца для него померк.— А Мика умерла. Мне только что сообщили...

Теперь и для меня полуденное небо показалось черным, как тирский бархат.

Ксантипп наклонился, прижался к моему лицу всеми своими родинками и бородавками, и мы горевали вдвоем, на глазах у скорбных воинов.

Подвели пленных. Впереди шли, не смея поднять глаз, как нашкодившие ребята, двое молодых бородатых мидян в серебряных одеждах, затканых золотыми и красными цветами.

— Племянники самого царя!— шепнул грек-переводчик из числа пленных, который юлил возле Аристида и Ксантиппа, желая выслужиться перед новыми господами.

Аристид махнул рукой, приказывая, чтобы пленных увели, но Ксантипп удержал его руку. Глаза Ксантиппа горели, ноздри раздувались от гнева.

— Прости, Аристид, эти пленные принадлежат мне. Я взял их корабль в честном бою.

Аристид пожал плечами, как будто отвечая: мне-то что за дело! Все ждали от Ксантиппа необыкновенных действий.

Обернувшись, он простер руки к походному алтарю Зевса, где жрецы разжигали священное пламя.

— Эй, подайте мне жертвенный топор!

Старый жрец подал требуемое и разинул рот от изумления, угадав намерение Ксантиппа. Даже самые суровые воины застыли в ужасе: ведь человеческие жертвоприношения в Элладе не повторялись с баснословных времен!

Но уже столько крови пролилось в тот день, что никто не стал перечить победителю. Только некоторые отошли в сторону или отвернулись.

Ксантипп, как того требовал обычай, замотал голову плащом, подбросил топор, как бы пробуя его вес, и схватил за курчавые волосы стоявшего впереди мидянина. Лицо Ксантиппа стало ужасным, как лик змееволосой Медузы, изображаемый на стенах храмов.

Тот, кого он схватил за волосы, выхватил из-за пазухи детскую погремушку на золотой цепочке, самую обыкно-

венную костяную погремушку, которая сто́ит два обола и которой забавляют своих детей и нищий и вельможа. Мидянин поцеловал эту погремушку, лопотал какие-то смешные слова, а другие, несмотря на свою солидность, закрыли глаза ладонями и заплакали тонкими голосами.

Ветер переменился. Хлопали паруса, слышалась громкая команда. Море стало с грохотом накатывать пенные валы и выбрасывать на берег обломки и утопленников. Там, на афинском берегу, высоко на скале сияла нестерпимым светом золотая точка: это царь Ахеменид, восседающий на троне, наблюдал за ходом морского сражения.

Если вы развернете свиток Эсхила, вы прочтете там волнующие строки, которые он написал спустя много лет после этого памятного дня.

Погибло много: камнями побитые  
С пращей ременных, стрелами пронзенные,  
Летящими со свистом с тетивы тугой.  
Но, наконец, одним отважным приступом  
Ворвались. Рубят... истребляют, бьют,  
Пока у всех дыханья не похитили.  
И застонал, увидев дно страданий, Ксеркс,  
На крутояре, над заливом, трон царя  
Стоял. Оттуда он глядел на войско все.  
Порвав одежды, Ксеркс вопил пронзительно,  
Отдал приказ поспешный войску пешему  
И в гиблом бегстве потерялся.

Солнце приближалось к закату и припекало ужасающе. Это был час, когда афиняне, привыкшие к лени, вкушают обеденный сон.

Воины угостили меня лепешками, рыбой, мочеными яблоками, дали глоток воды, как настоящему воину, и меня разморило. Бессилие парализовало мои руки и ноги. Еще бы — ведь я почти не спал последние три ночи, держался одним возбуждением.

И я лег среди поверженных знамен, среди разбросанного оружия, среди неубранных убитых, но заснуть не мог от душевного напряжения.

Гремели трубы, народ с радостными кликами бежал навстречу победителям. С корабля сошел Фемистокл, с ним вожди демократии. Медленно шли, разговаривая со встречными воинами, ободряя раненых беженцев. Надо бы встать, идти им навстречу, но сил нет встать. Вот они остановились надо мной, и из свиты стратега выдвинулся Мнесилох.

Как? И он жив и невредим? Да, да, вот он улыбается

и единственной рукой расправляет бороду, словно говоря: «Вертелся, крутился и к вам прикатился».

— Что это? — спрашивает Фемистокл. — Этот мальчик тоже убит?

— Нет, — отвечают воины. — Он не спал три ночи. Это очень храбрый мальчик.

Фемистокл, прищурившись, бросает на меня свой обычный иронический взгляд: «Да, да, мол, знаем, как он бежал с корабля, оставив товарища, нарушив воинскую дисциплину».

— Но он же не знал, — говорит мне в оправдание добрый Мнесилох, — что Артемисия решила перейти на сторону афинян.

А вот и сама Артемисия — шагает слегка враскачку, как ходят моряки; звенят ее многочисленные подвески, и дума прорезала морщиной ее крупное, мужское лицо.

Бронзовый рев труб становится все нестерпимей; колышется пурпурный дракон на мачте «Беллерофонта», слышится дружный крик афинян, которые преследуют разбегающийся флот царя царей.

## АФИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Через два года я вернулся с войны. Я очень важничал, раздумывал, не отпустить ли мне усы и бородку, чтобы быть похожим на Фемистокла или Ксантиппа.

Город лежал грудой развалин — на целые кварталы растянулись обгорелые остатки стен, поля щебня и бурьяна. Жители ютились в шалашах и палатках, но уже выселились строительные леса, дымились кучи извести; тысячи новых рабов из числа военнопленных трудились в каменоломнях, добывая материал для возведения беломраморных Афин.

Теперь я бестрепетно расхаживаю по рынку возле рядов, где торгуют рабами. Рабов так много, что для них устроили особый рынок, и там поминутно выводят на камень продажи то стыдливую персиянку, то мускулистого фракийца, то грустного ионийца-ремесленника. Рынок выплеснулся за ограду, шумел в улицах и переулках, казалось, что все в Афинах кинулись очертя голову торговать — менять, продавать, покупать, наживаться.

— Благородные и щедрые! — слышится елейный голос. — Мужики афиняне! Взгляните на этого раба. Ай-ай-яй,

какие мышцы, какая грудь! Вот истинный Геракл, клянусь богами! Ай-ай-яй!

И работорговец восторженно цокал языком. Меня даже бросило в жар: да ведь это мои старые знакомые — лидиец и египтянин! Судя по их благородным посохам и белой одежде, они приобрели себе почетные права и теперь торгуют безбоязненно на рынке.

Я постарался встретиться взглядом с египтянином. В его узких глазах, красноватых, как кремь, не отразилось ни удивления, ни страха. «Ты ступай своей дорогой, парень, — как бы говорили эти глаза, — у тебя своя дорога, у нас своя»:

Есть харчевня возле Акрополя, где поэтический Иллис струит голубоватые воды по плоским камням долины.

Я пригласил туда Мнесилоха, который совсем одряхлел и почти ослеп. Тонконогая девочка-найденыш, которую старик назвал Микой, водит его теперь в Пританей бесплатно обедать — единственная награда за участие в войне.

Мы возлегли на свежем воздухе, где тень платана похожа на черное вдовье кружево. Нам подали мелкую рыбу, зажаренную в сухарях, салат из маслин, медовую дыню. Маленькая Мика сосредоточенно лакомилась финиками.

— Пища богов! — вздыхал Мнесилох, обсасывая беззубым ртом ломтик дыни. Он стал дряхл, и никто уже не приглашает его попить, поразвлечь хозяев, переночевать...

— Пейте, ешьте! — потчевал я. — Алкамен теперь богат. Оказывается, боги есть. После стольких мытарств они наконец сделали Алкамена человеком.

— Ох, — шепелявил Мнесилох, — лучше иметь чистое сердце, чем полный кошелек.

— Не бубни, старик. После битвы при Микале сам лавровенчаный Ксантипп уделил мне долю из добычи, отнятой у персов.

— А Килик? Ведь Килик жив и верховодит храмом. А народное собрание приняло закон, чтобы всех рабов, разбежавшихся во время войны, возвращать прежним хозяевам.

— Но я же не просто сбежал, я воевал и имею награды. Что ты, Мнесилох, чепуху болтаешь? А помнишь, как ты укрощал Килика одним упоминанием о сокровищах,

похищенных при Марафоне? Нельзя ли как-нибудь выяснить дело с тем, чтобы Килика сразить окончательно?

— Кто же после Саламина, Платей и Микале помнит о Марафоне? Да и Мнесилох уже стар, не способен возвысить голос в народном собрании. А дряхлого льва и муха обидит. Впрочем, сынок, конечно, я помогу тебе всем, что будет в моих слабых силах. Лучшее ведь, что есть у человека,— это верный друг.

Э, Мнесилох, теперь утешай не утешай, а испортил настроение человеку. Я гладил по голове маленькую Мику; она укачивала первую в своей жизни куклу, которую я привез ей из Милета. А ведь правда, как я упустил из расчетов Килика?

— Что же ты теперь? — промолвил Мнесилох. — Торговлю откроешь или заведешь мастерскую? Или, быть может, останешься во флоте?

— Ну нет, я навоевался, хватит с меня! Торговля, мастерская — это тоже не по мне. У меня иные планы. Пока я о них умолчу; надеюсь, что Фемистокл, Ксантипп и другие демократы мне помогут.

Сгорбленный нищий, опираясь на костыль, просил милостыню. Слуга стал гнать его, размахивая салфеткой, но Мнесилох вынул медную монетку и дал нищему, а я кинул серебряную.

И вдруг я вспомнил: хитро прищуренные крестьянские глаза, лицо, выдубленное ветрами и солнцем под цвет каштана... Да ведь это Иолай, тот самый, который когда-то вез раненую Мику через Эгалейские пущи!

— Иолай, это ты? Ты меня не узнаешь? Что с тобой случилось, старый товарищ?

— Не узнаю, не узнаю... — бормотал Иолай, торопясь уйти; видимо, ему не нравилось, когда его узнавали старые знакомые.

— Да ведь это я, Алкамен. Помнишь, мальчик, который дрался с варварами в ночь перед Саламинской битвой. Помнишь, как ты вез в колеснице раненую девочку и потом конь твой пропал?

Лицо нищего замкнулось в сеть морщин. Казалось, он соображает, выгодно или невыгодно признавать.

— Да, да, отважный мальчик, бедная девочка. Трудно признать, конечно... Годы прошли... Такой красивый, видный юноша стал, настоящий господин...

— Ну хватит, старик, дурака валять, — прервал я. — Раб, налей чашу и подай этому человеку.

Слуга, не скрывая презрения, подал. Иолай не стал отказываться, выпил единым духом, высморкался, стал разговорчивым:

— Помнишь, я говорил тогда? Так и вышло: дом сожгли, виноградник вытоптали, лошадь пропала, семья разбрелась.

— Разве тебе город ничего не выделил из трофеев?

— Нет, ну как же, зачем гневить богов? Дали денег на постройку нового дома, дали даже раба из мидян, слава Фемистоклу! Но виноградник и сад не вырастишь за один год, а жить чем-то надо! Хорошо соседу моему Терею. Помнишь, здоровый такой был малый? Он и золото припрятал, и рабов сохранил, и новых пригнал. Взятся за торговлю, винодельню открыл. Занял я у него раз, занял два — запутался в долгах. Выгнал он меня из моего домика — даром что я ему родич и сосед... Вот и хожу.

Прикрываясь от солнца заскоруждой ладонью, Иолай жаловался на неурожай, на болезни, на засилье богачей, на питьевую воду, которая вдруг стала кислой, и на соль, которая стала пресной.

— А девочка та, помнишь? — разливался он. — Наверное, слава Артемиде, жива и здорова? Наверное, невестой твоей стала, зря ли ты о ней заботился?..

Что-то в его облике стало льстивое и противное. Это был новый тип городского прихлебателя — не такой, как прежний Мнесилох, насмешливый и независимый, а новый — жадный и заискивающий перед сильными.

— Ты бы, друг Алкамен, пожертвовал еще серебряную тетрадрахму — я бы за ваше счастье жертвы бы приносил, курения бы жег.

Я не слушал его. Тень печали пронеслась передо мной и на мгновение заслонила солнечно-синий, радостный день.

— Вызови носилки, — приказал я слуге харчевни.

Я хотел прокатить старика Мнесилоха. После войны появились у нас в Афинах дельцы, которые сдавали внаем носилки.

Мы уселись. Старик нарочито охал, когда мы его подсаживали. Уж очень хотелось ему показать всем присутствующим: вот, мол, как заботится о нем его приемный сын! Пока мы колыхались под плотным пологом в полумраке и прохладе, я смотрел на видневшуюся в прорези шею одного из рабов, несущих носилки. По ней катились крупные капли пота, мускулы вздулись и изнемогали от



напряжения. В этой же прорези виделся залитый светом, утопающий в зелени город, и мне было радостно оттого, что солнце, оттого, что звенят деньги, оттого, что впереди свобода и длинная интересная жизнь.

Вот некрóполь — город мертвых. За вереницей скорбных кипарисов — глухая стена, и там под навесом листвы — памятники, плиты, надгробия, урны.

Могила Мики видна издали — она стоит на холме. Это плита, на которой искусно изваяна девушка, примеряющая ожерелье.

— Мнесилох, останьтесь тут с девочкой. — Я стал подниматься, захватив с собой охапку цветов, чтобы рассыпать на могиле.

Огромные прозрачные листья кленов растопырили лягушачьи лапы; сквозь крону акаций проникали солнечные нити, играли на летучих паутинках. Здесь было безлюдно, как в те далекие годы, когда мы с Микой спасались от грозы где-то неподалеку. Щebetали птицы. Одна, певунья, беззаботно разливалась трелью, другая скромно посовистывала, наверное, трудилась, добывая себе корм.

Где теперь ты, Мика? У бессмертных ли во дворцах Олимпа, или в Аиде блуждаешь скорбной тенью, как повествует Гомер? Или ты в этой траве, в этих солнечных зайчиках, в пенье птиц?

Что такое? Там, в ограде могилы, голоса. Ага, там Эльпиника, невеста Полигнота, вот кто! Она принесла с собой левкой и гиацинты. С ней какой-то мужчина. Они возжигают огонь. Вьется голубой дымок — готовятся к жертвоприношению. Кто же этот мужчина?

Да ведь это брат Эльпиники, Кимон! Как всегда, статный, важный не по возрасту, с неподвижным взглядом суровых глаз — настоящий потомок богов, эвпатрид.

Стойте, ноги! Что мне идти туда? Живая Мика была только со мной, мертвую у меня отняли. Остался мне колченогий старик Мнесилох, беспомощный, беззубый, и с ним маленькая сиротка.

— Ты куда, Алкамен? — шамкает старик. — Пойдем с нами, проведем вместе сегодняшний вечер.

— Нет, я приглашен сегодня в дом Эсхила. Поэт будет читать нам новую трагедию.

## ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Театр Диониса перестраивался: вместо сгоревшего деревянного выросла каменная. Поэтому трагедию Эсхила «Персы» мы разучивали на зеленых лужайках нового парка Академии, где возвышаются памятники героям, где юноши-эфебы упражняются на палестрах, где блуждают философы с толпами восторженных учеников.

В новой трагедии персидская царица Атосса ждет вестей от Ксеркса. Прибывает вестник и рассказывает о трагической гибели флота при Саламине и позорном бегстве царя царей. Я играю царицу. На этот раз играю уже не так вдохновенно, как раньше.

Теперь под руководством Эсхила и старого актера Полидора я рассчитываю каждый шаг, десятикратно повторяю каждое движение. Царица должна быть красива? Я вспоминаю Мику и стараюсь подражать ее гордой походке. Царица страдает? Я стараюсь вспомнить, что пережил я, когда увидел, как из-под повязки на спине Мики сочится кровь.

Вот и день Великих Панафиней. Толпы праздничных граждан и гостей идут по улицам, несут пальмовые и миртовые ветви.

Я готовлюсь: надеваю парчовое платье, обуваю котурны на острых каблуках. С улыбкой вспоминаю нашу старую тесную каморку в сгоревшем театре.

— Алкамен, как — это ты?

Чей же это такой мучительно знакомый, скрипучий голос? Это старый жрец Килик, еще более косопузый и еще более оплывший, смотрит на меня глазами зачарованной жабы.

— Да, это я! — отвечаю я дерзко.

Килик кашлянул и удалился, потому что в театре теперь распоряжаются другие, и хоруги уже кличут актеров на сцену.

Представление началось. Хор, одетый в пеструю, раззолоченную и расшитую одежду персидских вельмож, возбуждает целый шквал свиста, крика, яблочных огрызков. Так зрители — виноградари, корабельщики, торговцы — выказывают свою ненависть к захватчикам. Зато, когда вестник рассказывает о гибели царского флота, в театре бушует восторг.

Царица плачет; рыдают, заламывают руки и все персиянки.

Я пою в полную силу, чувствую, что мой голос заставляет театр сидеть не шелохнувшись, а сам трепещу от безысходного горя.

Мы живы, мы дышим, над нами горячее солнце, а сколько убито, сколько утонуло, сколько погибло! Мика, которой хотелось заснуть навек, чтобы не мучиться; перс, который перед казнью целовал погремушку; даже тот неразумный варвар, которого я убил кинжалом Фемистокла,—были бы они живы, смеялись бы и пели, как мы!

Трагедия окончена. Я удаляюсь под оглушительный вопль толпы. Срываю маску, стягиваю громоздкие одежды—сегодня мне больше не играть. Теперь в театре много актеров. Они поочередно сменяют друг друга, и труд их стал менее изнурителен.

Ксантипп кидается ко мне, виски его блее серебра, но он по-прежнему пылок, и все его бородавки алеют от восторга.

— Отправил я шерсть на рынок в Сикионе.— Это Эсхил говорит бледному Аристиду.— Оттуда моих приказчиков спартанцы прогнали. Не ходите, говорят, со своими товарами в Пелопоннес: здесь, мол, мы сами хозяева.

Аристид сочувственно кивает головой, а окружающие раздражаются негодованием по поводу вероломных спартанцев.

— Эсхил! — зовет его Ксантипп.— Хватит тебе о шерсти и процентах. Иди сюда, скажи Алкамену хоть слово. Он у нас сегодня именинник!

Эсхил улыбается, глаза его на мгновение застывают, и вот он уже декламирует стихи:

Будь лучшим и не будь доволен тем,  
Что все, как наилучшего, чтут тебя вокруг.  
Снимай плоды с глубокой борозды в душе,  
В которой мысли благородные растут...

Из душного помещения мы вышли под портик храма Диониса в сень деревьев; беседовали, держа в руках кубки с прохладным напитком.

— Что это я вижу?— вновь послышался голос, похожий на скрип телеги. Старый Килик приближался, опираясь на грозный костыль, а за ним следовала дюжина храмовых рабов.— Граждане афинские, родные вы мои! Да ведь это беглый раб Алкамен! Дозвольте мне его схватить, как это полагается по закону!

Сердце мое заледенело.

— Постой! — преградил ему путь Ксантипп. — Что ты мелешь, старик? Он храбро сражался и заслужил свободу.

— Ничего не знаю, — ответил Килик. — Алкамен принадлежит храму, богу принадлежит. Он перерезал ремень и убежал. У меня имеются свидетели. Подвинься-ка, гражданин Ксантипп, не мешай исполнить законное право.

— Ух, ты! — замахнулся неистовый Ксантипп. — Да я тебя!..

Килик даже не изменился в лице, только слегка пригнулся и безжалостным пальцем указал своим рабам на меня.

— Постойте! — сказал Фемистокл, выдвигаясь. — Постойте, ты, Ксантипп, и ты, жрец. Давайте разберем все по закону. А закон гласит, что Алкамен, несмотря ни на что, остался рабом.

— Вот именно! — обрадовался Килик. — Вот я слышу слова мудреца. О Фемистокл! Ай да Фемистокл! Если мы будем нарушать законы, которые мы устанавливаем в назидание черни и рабам, кто же станет их соблюдать?

— Но вот тебе выкуп, — продолжал Фемистокл. — Я дам расписку, что к утру стоимость Алкамена будет тебе внесена сполна. Часть заплатит казна, часть Ксантипп, часть, может быть, захотят внести другие...

— И я, и я! — закричали мои друзья и поклонники.

А Эсхил, расчетливый Эсхил, предложил:

— Я дам в обмен здорового раба.

— А я в придачу рабыню! — вскричал Ксантипп.

Килик помахал ладонью:

— О нет, закон и обычай воспрепятствуют продавать, дарить или обменивать рабов, принадлежащих богам.

Я хотел крикнуть ему: лжец! Ты забыл, как ты продавал детей храмовых рабов? Хотел подбежать к нему и оскорбить, ударить, но ужас сковал мой язык и мои ноги.

— Храм достаточно богат, — посмеивался Килик, — и не нуждается в вашем серебре. Этот раб бежал и, следовательно, подлежит возвращению и наказанию.

— Ненасытная утроба! — вновь вскипел Ксантипп. — Мы обратимся к народному собранию. Оно его освободит.

— А вот и не освободит! — ответил Килик. — У каждого теперь есть рабы, много рабов. А что, если народное собрание захочет освободить и ваших рабов?

Килик торжествовал.

Фемистокл сказал: «М-да!» — запустил пальцы в бороду и ушел задумчивый. Вслед за ним растаяла и толпа.

Новые храмовые рабы (ни одного знакомого лица!), гогоча, переговариваясь по-персидски, срывали с меня мои модные одежды. Я не сопротивлялся. Я с ужасом видел, как пробирается вдоль ограды слепой Мнесилох, девочка Мика горько плачет от сострадания, а Мнесилох что-то лепечет о милосердии, о сокровищах, похищенных при Марафоне, но никто не хочет слушать его слабый голос.

Рабы отвели меня на священную землю храма Диониса. Там, перед свежеструганной дверью кладовой, было приготовлено позорное ложе, и здоровенный мидянин на локте пробовал крепость розги.

Новая дверь, по белизне которой катятся слезки смолы! Постой, постой, это ведь когда-то уже было!

В памяти отчетливо возник дымный свет факелов, дом Килика, пельтасты и длинноногий перекупщик зерна, спасающийся в храме...

Вот он, вот он где мой выход! Сердце, замри на минутку! Я растолкал рабов и, прежде чем они успели сообразить, в чем дело, вбежал в храм и упал к подножию статуи Диониса, обняв ноги бога, как молящий о защите.

Жрецы собрались вокруг и остановились, беспомощно опустив руки. Я в душе ликовал — все будет хорошо, только бы демократы от меня не отступились!

Храм опустел. Богомольцы поспешно разошлись, увидев, что у алтаря разыгрывается драма. Жрецы бесшумно вынесли блюда с жертвенным мясом, убрали покрывала, сосуды с питьем...

Настала тишина. Время по капле утекало из водяных часов. Подкралась ночь, в решетчатые двери вошла без шороха луна; темные углы отодвинулись в бесконечность. Дионис, как глухонемой, улыбался лунным лучам, а мне на холодном мраморе было неуютно и жутко.

В храме теперь все переменялось. Здесь раньше, кажется, был бассейн, где Килик утопил котят и хотел утопить меня. Теперь я остался один, совсем один. Гермы за храмом разрушены персами, исчез и Солон. Белые руки матери редко являются в моей памяти, а кружочек с буквой «Е», что значит «свобода», я сам отдал в жертву за Мику...



Ничего не осталось.

Почему же в ушах гремит зеленое море, а из глаз не хочет уходить яркая картина: галера, которая уносится сквозь горы воды, улыбающиеся лица Медведя, Псоя-садовника, Зубила, других? Путь к далекому Криту, который, говорят, не выдает беглых рабов...

Я, кажется, засыпаю, — это плохо. Из хитона я выдернул суровую нитку, которую полагается иметь с иглой каждому воину. Ниткой я привязал себя к алтарю: если я засну и руки опустятся, перестанут обнимать алтарь, эта нитка будет соединять меня со священным убежищем.

И в памяти перемежаются расплывчатые картины прошлого: оружие рты сражающихся, купец из освобожденного нами города, который хотел женить меня на дочери, зеленоглазой, как змейка... И совсем далекое: призрачные кентавры, скачущие через марево дождя.

Я очнулся от грубого прикосновения. Сразу много рук вцепилось в меня; колючая веревка туго обматывалась вокруг моих рук. Луна скрылась, была полная тьма...

Негодяи, ругаясь шепотом, спешили меня выволочь из храма; в зубы забили вонючую овчину, как это сделали некогда варвары.

На улице слабый свет лампы осветил склонившиеся лица, глаза которых блеснули от любопытства и алчности.

Боги! Это были все те же лидиец и египтянин!

— Не беспокойся, благочестивейший Килик, — шептал вкрадчивый голос, — мы его вывезем так, что и муха об этом не прожужжит. И продадим его на край света, в Тавриду или в Элам, откуда ему уже возврата не будет.

# ПОСЛЕДНИЕ КАРОЛИНГИ

Исторический роман





В учебнике Е. В. Агибаловой и Г. М. Донского «История средних веков» (учебник для 7-го класса средней школы, издание 26-е, М., 1992) исторический роман А. А. Говорова «Последние Каролинги» рекомендован в списке литературы для внеклассного чтения.

## Глава первая

# ДОЧЬ КОЛДУНА

### 1

В сердце старой Галлии, там, где низкие горы покрыты дремучим лесом, где земля то и дело вздрагивает от падения одряхлевших великанов и над павшими стволами прорастает молодняк, в сердце Галлии, где ручьи бегут либо на север — к Сене, либо на юг — к Лигеру, простиралась сумрачная страна, испокон веков носившая имя — Туронский край. Дерзнувший пуститься здесь в дорогу шел и шел бы, не встречая людского жилья. Лишь меланхолический шум листвы, приволье птиц да стада кабанов, резвящихся в россыпях желудей.

Однако в канун святого Аниана 885 года опушка Туронского леса, обращенная к обрывам и отмелям Лигера, огласилась воплем рожков и неистовым лаем собак. Одна за другой причаливали барки, высаживали отряды охотников, и в щедрых еще лучах сентябрьского солнца ярко блестели медь и серебро амуниции.

Королевские сеншалы бойко разбирались во всей этой ржущей, лающей, галдящей толпе, то и дело выкрикивая: «Достойнейший Генрих, герцог Суассонский!» Или: «Преподобнейший епископ Гундобальд!» И названный ими властитель, кичась богатством оружия и роскошью одежд, въезжал в строй, окруженный сворами гончих и клетками с кречетами. За ним с еще большей спесью следовали его знатные дружинники, за каждым из дружинников — оруженосцы, за каждым из оруженосцев — всевозможная челядь.

Знать Нейстрии давала парадную охоту в честь Карла III, более известного по прозвищу Толстый. Император этот царствовал в Италии и Германии, был коронован в Риме, а теперь избран и на западно-франкский престол и прибыл в свое новое королевство.

Император ехал вдоль строя, над ним колыхались

пурпурные знамена с изображением римских орлов. Герцогства и графства приветствовали его по-воински: «Аой!», склонялись парчовые хоругви дружин, а пухлое высокомерное лицо его ничего не выражало. Он передал свой цезарский жезл Гугону, канцлеру Западно-Франкского королевства, и тот взмахнул им, открывая охоту. Трубы взревели, заглушив шум леса. Псы затрепетали, ринулись, Псари побежали, на ходу разбирая сворки.

Первый же выводок вепрей, поднятый в чащах орешника, сразил сердца охотников. Каждый помчался, забыв о чинах соседей, видя перед собой лишь клок щетины на хребте кабана, куда надо было всадить копье. Глотки зашлись от безумного крика. Травоядные, пернатые, рогатые бежали в ужасе, спасаясь от ломающейся через лес толпы.

Когда солнце перевалило за полдень, а охота в бешеной гонке рассыпалась по дубравам, на поляну близ укромного ручья вынеслась всадница в развевающейся богатой одежде. Рыжий ее иноходец споткнулся о колоду и встал, раздувая потные бока. Наездница не удержалась и выпала, угодив, к счастью, на моховую кочку. Далеко к ручью откатилась ее золотая коронка.

— Боже мой! — вскричала она, приподнимаясь. — Не разбил ли он копыто? — И сама тут же повалилась со стоном, держась за ступню.

Конь обнюхал хозяйку и как ни в чем не бывало потянулся к молодой траве. Гам охоты стихал в дальних чащобах.

— Эй, кто-нибудь! — слабо позвала она.

На этот призыв лишь солнечный луч, любопытствуя, раздвинул листву и заискрился в алмазных серьгах охотницы.

Вдруг рыжий конь тряхнул уздечкой и фыркнул, обернувшись в сторону ручья. Оттуда бежали две лохматые борзые, за ними, по пути подцепив на острие копья коронку, подъезжал всадник. Увидев лежащую, он соскочил, удерживая собак.

Охотница встrepенулась, заслышав его шаги.

— Не приближайся! Тебя разрубят на части, если ты дерзнешь ко мне прикоснуться!

Незнакомец наклонил к ней копье, она сорвала свою коронку и сделала попытку встать, держась за куст. Но тут же, охнув, снова повалилась.

Тогда он подошел и, не обращая внимания на протесты, ощупал поврежденную ногу. Локтем надавил ей на колено, а другой рукой дернул за пятку так, что звенящий женский вопль метнулся меж стволов.

Через малое время она успокоилась и, когда оказалось — о чудо! — что боль в ступне прошла, изволила оглядеть незнакомца.

— Ну-ну, мой избавитель!

Беспечно расхохоталась и, взяв гребень, висевший у пояса на цепочке, принялась расчесывать золотистые пряди. Выпадавшие при этом заколки она совала в рот и, не разжимая губ, спрашивала:

— Назовись. Мы желаем знать, кто ты такой!

Незнакомец, по-прежнему наблюдавший ее с любопытством, засмеялся и передразнил ее:

— «Бы-бы-бы»!

Изумленная охотница выронила гребень, заколки посыпались изо рта. Запылав от обиды, она оглянулась, но вокруг был лишь равнодушно шумящий лес. Тогда она стала поспешно собирать свои вещи — греческий зонтик, пудреницу слоновой кости, пуховку.

— Если ты не понимаешь моей речи, незнакомец, — гневно заявила она, — то и я не знаю, на каком языке с тобой объясняться. Хоть и аламанка по рождению, я воспитывалась в Риме. Но, даже выучив латынь, как какая-нибудь церковная крыса, невозможно разобрать ваше романское бормотание, западные франки!

Поймав иноходца за узду и ощупав его копыто, она хотела вскочить в седло, но не смогла.

— Да ну же! — обернулась. — Что стоишь, как пень?

Незнакомец подошел, но не стал держать ей стремя, а просто поднял, как ребенка, и посадил в седло.

— Ты же Геркулес! — изумилась всадница и милостиво коснулась его плеча зонтиком. — Вот ты какой! Хоть бедно одет, но у тебя благородные повадки. И кольчуга у тебя норманнская, такую добыть можно только в опасном бою...

Между тем в лесу слышался нарастающий шум копыт. Кругом тревожно зывали охотничьи рога. Доезжачие аукали, кого-то ища.

— Спихватились! — усмехнулась она и зазвенела браслетами, прилаживая на голове коронку. — Чем тебя отблагодарить? Сейчас приедет мой казначей...

— Я не приму подаяния,— четко ответил незнакомец на чистейшем латинском языке.

Всадница поразилась еще более, чем когда он ее перездразнил.

— Ну, тогда,— предложила она как-то растерянно,— подними лицо, чтобы мне хоть тебя запомнить... Боже, какие у тебя дьявольские глаза!

— Государыня!— вскричало множество всадников, выезжая на поляну.— Это вы? Наконец-то! С вами ничего не случилось?

## 2

Всадница подскакала к императору, наехав рыжим иноходцем так, что императорский конь попятился.

— Мы желаем вознаградить одного человека.

Карл III схватился за повод и склонился к ее седлу:

— Ах что вы, моя драгоценная, стало зябко. Не пора ли повернуть? К тому же вы знаете, от долгой скачки мой желудок...

— Фу!— Она дернула узду, заставив рыжего отодвинуться.— Для этой цели зовите своего Бальдера, которому вы дали титул пфальцграфа за то, что он возит за вами ночной горшок. Что касается нас, мы тоже желаем раздавать титулы.

Но Карл III указал ей в сторону канцлера Гугона, а сам поспешил к едущему из обоза пфальцграфу. Канцлер низко склонился с седла своего благородного мула.

— Светлейшая Рикарда, моя повелительница, что угодно? Вся Нейстрия принадлежит вам, равно и Аквитания, и Австразия. Истинно, как говорится в писании, владеющий и тем и этим да владеет и прочим и окрестным.

— Ах, скажите!— прищурилась императрица.— И Нейстрия и Австразия! А не найдется ли, милейший канцлер, в этих столь знаменитых краях какого-нибудь пшеничного или виноградного поместья для одного человека, которого мы хотим отблагодарить?

Канцлер призвал в свидетели святого Мартина, первокрестителя франков, что страна поделена вдоль и поперек и перекроить ее может разве лишь гражданская война. Говорил о тесноте угодий, которые дробятся, как горох, делая владельцев их бедняками. И землешапец нищает, потому что неимущий сеньор крестьянские закрома чище обирает, чем богатый...

— Не обессудьте, ваше высокопреподобие,— нетерпеливо прервала его Рикарда.— Вчера краем уха я слышала, как вы советовали моему мужу вот этот самый дикий Туронский лес отдать в лен в чем-то провинившемуся графу Самурскому, чтобы его богатый Самур освободить для некоего епископа Гундобальда...

Канцлер со вздохом обратился к небесам:

— Гундобальд сирота, всемилостивейшая. Недавно потерял горячо любимую тетушку, увы!

— Увы, он ваш родственник, знаю все!— возразила Рикарда.— Вчера в приветственной речи вы не зря распинались о том, что если новые монархи будут покорно слушаться ваших, канцлера, верноподданных советов... Довольно! Мы избраны на западно-франкский престол не по вашим интригам. Мы короли здесь по праву рождения... Эй, кто там?

Евнухи из ее свиты торопливо подсаkali.

— Где тот клирик, которого я везу из Рима?

В свите поспешно слез с лошади и приблизился невзрачный монах в поношенной stole, с тонзурой, переходящей в лысину. Опустился на колени, весь какой-то узкий, извилистый, большеухий.

Рикарда указала на него зонтиком:

— Не признаете, дражайший канцлер? Это же Фульк, так, кажется, его зовут? Я случайно выручила его из тюрьмы, куда папская канцелярия уекла его— за что бы вы думали? За тайные сношения с вами, канцлер Гугон! Нате, берите его, пусть это будет мой подарок. Он ваш блестящий ученик, весь полон всяческих достоинств. Сам нищий— но желает распределять царства. Читает по складам, зато назубок знает все кляузы минувших времен. Фульк, покажи свои лапки! Такие не разят мечом или копьем, такие душат паутиной. Клянусь венцом Каролингов, милейший канцлер, разве такой дар не стоит лучшего бенефиция в королевстве?

Канцлер выждал, пока иссякнет сарказм повелительницы, и начал с выразительной кротостью:

— Всемилостивейшая! Вы меня неправильно поняли. Ведь разве я о себе пекусь? Взгляните в ту сторону. Видите у опушки старый платан, изломанный бурей? Там, в его тени,— толпа оборванных, безоружных, безлошадных. Это младшие дети сеньоров, и пришли они сюда, чтобы хоть издали полюбоваться на достаток других. И канц-

лер, ваш покорный слуга, обязан заботиться, чтобы каждому — хоть деревеньку.

Но Рикарда вновь его прервала:

— Кстати, наш верный канцлер... Среди тех ваших безлошадных под платаном, кто там стоит впереди всех? Он-то как раз на коне, на сером. У него две великолепные борзые, он их поднял в седло и ласкает — вон видите? Кто он?

Императрица даже привстала в седле, опираясь на парчовое плечо канцлера. А когда оглянулась на Гугона, не узнала его всегда пронизанного усмешкой свежего старческого лица.

— Это Эд, иначе Одон, — проскрипел Гугон, сжимая тонкие губы. — Сын покойного Роберта Сильного, герцога. Ба, да уж не для него ли вы желаете бенефиций?

Рикарда опустила в седло, раскрыла зонтик, покрывала им.

— Хм, вот уж ничуть. Просто хотелось обратить ваше внимание, какая у того всадника королевская осанка. А что это вас так взволновало? Вы бледны? Эй, кто там, позвать врача!

Но к канцлеру вернулось его вышколенное спокойствие.

— Не надо врача. Вы, как всегда, правы, мудрейшая! У того молодчика действительно в жилах течет струйка королевской крови, хотя он и бастард. Но фонтан крови разбойничьей, увы, ее заглушает!

— Так он бастард! — протянула императрица. — Незаконнорожденный... Однако что ж, из незаконнорожденных бывают и герцоги, и даже короли!

Но канцлер предпочел переменить тему разговора:

— Светлейшая! Вот как раз приближается и наш сирота, достопочтенный епископ Гундобальд. Осмелюсь ли надеяться, что вы не оставите его своею милостью?

Очень плотный и неповоротливый молодой человек, одетый отнюдь не по-епископски, трусил на низкорослой лошадке в сопровождении свиты клириков. На беду, ему встретился охромевший заяц, и епископ пожелал показать свою охотничью прыть. Хотел поддеть зайца на пику, но подпруга лопнула, и служитель божий грянулся оземь, задрал толстенные ножки.

Рикарда смеялась до слез. Евнухи подали ей тончайший платок, опрысканный духами, шептали что-то успокоительное, а она все смеялась. Канцлер Гугон изобразил

недовольную мину, и чем долее смеялась императрица, тем более мрачнел канцлер. Наконец он отвесил в ее сторону как можно более низкий поклон с седла, тронул мула и, сохраняя достоинство, двинулся прочь.

За ним, стараясь не глядеть на императрицу, следовали епископы и викарии. В лиловых рясах смиренно ехали аббаты и каноники. Тряслись на лошаденках высушенные от бдений диаконы и капелланы. Рикарда, умолкнув, проводжала взглядом его внушительное шествие галльской церкви.

Посреди поляны остался на коленях забытый всеми клирик Фульк, привезенный императрицей из Рима.

А впереди под платаном толпа младших сыновей сеньоров свистом и улюлюканьем встретила приближающееся во главе с канцлером церковное шествие.

— Это кто же к нам скачет на длинноухом муле? — Белобрысый шутник на мухортой лошадке радостно причитал на манер церковной просвирни. — И сидит-то по-бабьи, и зад, как у кухарки... Ой, господи, радость-то какая! Ведь это наш обожаемый канцлер, его скаредность Гугон, Гугоша, Гугнивый! А за ним-то попы, попы, попы!

— Ой-ой-ой! — подхватил другой, такой же белобрысый и до того похожий, что непременно должен был оказаться его близнецом. — А кто это едет за ними следом? Гляди, братец Симон, это уж и точно баба! Скачет на рыжем коньке, и сама рыжая, как валькирия, и крышку над собой на палочке везет.

— Между прочим, мальчишки, — заметил им возвышавшийся впереди Эд, сын герцога Роберта Сильного, — эта рыжая и есть императрица Рикарда. Видите, за нею скачут ее внухи, рожи черные, как у чертей? Эти любому язычок подрежут за неосторожные речи. Но красотка, — он цокнул от восхищения, — лучшей стати!

— Тебе бы такую! — подобострастно заметил один из близнецов.

— Ну! — усмехнулся Эд. — Возле такой всю жизнь повертишься на побегушках. А мне рано или поздно будет принадлежать красивейшая девушка во всем королевстве франков, клянусь мечом моего отца! — Он благоговейно коснулся рукой эфеса.

— Тьерри! — закричали все с хохотом, оборачиваясь назад. — Попробуй-ка тогда ты ей понравиться, недаром у тебя прозвище — Красавчик! Авось она тебе пожалует и землю и коня.



Тьерри был безлошадный воин с лицом голодным и измученным. Во рту у него недоставало зубов — вышиб один сеньор, в лесу которого Тьерри вздумалось поохотиться.

Видимо, Тьерри этот был доведен до грани отчаяния, потому что, когда поезд императрицы поравнялся с платаном, он действительно выбежал вперед и бросился к копытам рыжего иноходца.

— Чего он хочет? — спрашивала Рикарда рассеянно, потому что, воспользовавшись остановкой, она жадно рассматривала Эда, утопая в светлом плену его дерзких глаз. — Чего он просит? Переведите ему, пусть едет во дворец, нам нужны преданные слуги. Мы каждого примем, — выразительно сказала она, обращаясь, однако, не к Тьерри, а к Эду.

И, с трудом освободившись от его глаз, отъехала, а евнухи ревниво загородили ее взмахами павлиньих опахал.

Шутники напустились на Тьерри:

— Во дворец? На чем же ты поедешь? На палочке? Ха-ха-ха!

— Тихо! — властно остановил их Эд. — Слушайте!

Все замолчали, прислушиваясь. Кончавшаяся было охота вдруг возобновилась с прежней яростью. Рога трубили, собаки надрывались, будто из чащи на них вышел диковинный зверь.

Перемену в гоне уловил и канцлер Гугон. Остановив мула, он подождал, пока императрица поравняется с ним.

— Светлейшая! Не повернуть ли, пока не поздно? Зверь ведь не различает, кто помазанник божий, а кто черная кость.

Его слова заглушил дерзкий окрик и свист:

— Аой!

Мимо промчались, обдав всех пылью, бастард Эд на коне и длинными скачками его красавицы борзые. Неслись белобрысые близнецы, а следом всякий, у кого оказалась хоть худая лошаденка.

Порывом ветра у Рикарды унесло греческий зонтик. Гугон только и охнул: «Наглецы!» — как Эд, не сбавляя хода, ожег канцлерского мула хлыстом со свинчаткой. Бедное животное, обезумев, унесло Гугона в самое болото, а попы в отчаянии хватались за голову.

— Олень! Олень! — кричали вокруг.

Рикарда, позабыв о зонтике и о канцлере, настегивала

иноходца, пока не догнала императора, двигавшегося во главе охоты.

В излучине лесной реки золоторогий красавец олень огромного роста обгонял собак, не устаивая их взглядом, иногда лишь поворачивая голову в сторону всадников. Какие-то лучники из мелкопоместных, не зная чина, выскочили, прицелились. Пфальцграф Бальдер погрозил им тростью и подъехал к императору, спрашивая, кому брат оленя.

— Мне, мне, пресветлейший! — закричал, подняв руку, Конрад, граф Парижский, одетый в черное, без всяких украшений, за то и прозванный в народе Черный Конрад.

— Мне! — заорал, вытаращив глаза, усатый Генрих, герцог Суассонский, и захохотал от избытка чувств.

А Готфрид Кривой Локоть, граф Каталлаунский, на огромном вороном коне въехал в пространство между императором и придворными, отесняя всех остальных. Положил ладонь на гриву императорского коня:

— Мне, величайший!

Император замахал рукой — господь с вами, сами решайте. Но магнаты наседали, требуя, и Карл III оглядывался, ища Гугона.

Всеобщий крик все заглушил. Оленю надоели назойливые собаки, и он, словно играючи, отделился от них и исчез в чаще. За ним рванулся Эд, усьякая борзых и держа наготове дротик. Забыв о титулах и рангах, вслед кинулись остальные. Несся даже толстый Гундобальд, и бритая его шея посинела от азарта. Скакала императрица, придерживая на голове коронку, скакали евнухи, боясь вновь ее потерять. Августейший ее супруг хотел отстать, но его зажал между железными боками магнатов, и он тоже мчался, крестясь и не разбирая дороги.

А олень как бы забавлялся со сворой преследователей, то подпускал близко, то исчезал в терновнике. Казалось, лес расступается, поглощая его, и тут же смыкается перед людьми.

Охота сделала огромный круг, пока императору удалось повернуть, и он, одинокий, выбрался на поляну, где все еще стоял на коленях забытый клирик Фульк.

— Воды! — простонал Карл III.

Фульк вскочил и заметался. Сообразил, что колесо фортуны начало поворачиваться в его сторону, отыскал в кустах какого-то задремавшего оруженосца и, отобрав у него вяжку, преподнес императору.

— Кому нужны эти глупые охоты! — хрипел Карл III между двумя глотками. — Будто еды им не хватает, герцогам и графам! Кидались бы на норманнов с таким пылом, как на этого сатанинского оленя!

— Истинно сатанинского! — привстал на цыпочках клирик Фульк. — Даже позволительно будет сказать, это оборотень, который заводит в дебри всю охоту. Инкубус и суккубус!

— Гм! — перекрестился император, косясь на Фулька, который так и трепетал от желания угодить. — Но мы, однако, полагаем, что парадные охоты укрепляют блеск империи, внушают идею единства...

Фульк тотчас же подтвердил, что, конечно, укрепляют и внушают, но еще лучше это делает святая церковь, которая и есть опора и украшение империи...

— А ты хорошо поддакиваешь, — сказал император, возвращая опустошенную фляжку. — Вот если бы ты еще помог мне в одном глупом деле. Понимаешь, мой пфальцграф возит некую наинужнейшую вещь... Но его тоже черт унес за этим оленем...

Фульк догадливо помог Карлу III сойти с коня, просунул голову ему под локоть и, согнувшись под бременем государя, повел его в ближайшие кусты.

### 3

Впереди гона шел Эд. Распаленный охотой, он не видел ничего, кроме рогатой головы, мелькавшей среди кустов. Спиной чувствовал, что сзади насаждает усатый Генрих Суассонский, его собаки на бегу грызли собак Эда. Старалась не отстать и императрица Рикарда, но большинство гонщиков безнадежно запутались в непроходимой чаще.

Эд не замечал несущегося времени. Обостренное чутье охотника подсказывало, что зверь устает, что еще два-три круга — и, прижатый к реке, он остановится, покорно склонив великолепные рога. Но и борзые — Герда и Майда — выдохлись, напрягаются, чтобы не отстать.

— О-оп! — крикнул он собакам.

На ходу соскочил с коня, выученные псы вспрыгнули на хозяйское колено, затем в седло. Вскочил и Эд, гон продолжался. Позади Генрих Суассонский застонал от восхищения — вот это охотник!

Наконец сквозь ивы мелькнула водяная рябь —

излучина реки. Олень остановился, беспокойно шевеля ноздрями. Эд выбросил собак из седла — нате, хватайте, вот он!

Олень, однако, не признал себя побежденным. Подобравшись, словно пружина, он выбросил копыта — и хриплый крик горести вырвался у Эда. Его Герда покати-лась с раздробленным черепом, а Майда поползла в тра-ву, волоча перебитый зад. Олень и всадник стояли друг перед другом, настороженно дыша, и было слышно, как падают осенние листья.

Рикарда нервно закричала сзади:

— Бей же его, бей! Чего стоишь!

Эд, как бы нехотя, метнул дротик. Олень исчез.

Пробившись сквозь заросли, Эд выехал на берег. Зелена-я, вся в кувшинках река струилась под нависшими ива-ми, а олень, живой и невредимый, мчался уже по другой стороне. Тут была плотина, вода шумела в мельничном колесе. Эд отшвырнул поводья, выпрыгнул из седла на-земь, как упал. Обхватил корневища могучего дуба, коль-чуга на его спине вздымалась от рыданий.

Всадники выезжали из леса, сочувственно качали голо-вами. Выехал и император, всплеснул руками над изуве-ченной собакой. Рикарда сделала знак евнухам, те спешил-ись, склонились над лежащим Эдом, пытаясь поднести ему нюхательную соль.

— Что здесь за плотина? — вскричал герцог Суассон-ский, гневно раздувая усы. — Почему мельница? Кто здесь сюзерен?

— Да, да, — подтвердил император, — кто здесь сюзе-рен?

Из толпы духовных выехал на пегой кобыленке потер-тый попик:

— Ваша милость, лесная деревня здесь, без сеньора, свободные владельцы... Лес выжигают, распахивают.

— А ты кто таков?

— Я здешний аббат, церквушка у меня во имя святого Вааста. Милости просим, если отдохнуть, закусить... Но мельница не моя, клянусь бочкой мозельского... то есть, тьфу, мощами святого заступника клянусь! — завопил он, выставя ладони, потому что Генрих Суассонский угро-жающе занес хлыст.

— Слез с лошади, раб!

Аббат проворно покинул седло и распластался, елозя лбом перед конем императора.

— Всемиловейший, великолепнонейший, вечный! — выкрикивал он все титулы, которые пришли на ум. — Я ни при чем, всему виной безбожный мельник, злой колдун...

— Колдун? — Император округлил глаза, натягивая поводья.

— Колдун, колдун! — Аббат квакал, захлебываясь от усердия, и указывал на тот берег. — Это все он! Милостивцы! Вы бы разорили его бесовское гнездо! Сколько убытку от него святой церкви!

Услышав о колдуне, воители примолкли. Многие только сейчас узнали о том, что может быть такая мельница, которую крутит сила воды. Генрих Суассонский, поглядывая на шумящее колесо, трогал ладанку с мощами, висевшую на его груди.

Тогда в наступившей тишине послышался презрительный голос:

— И это франкские герои? И франки боятся колдунов? Эд поднялся от корневищ дуба, отстраняя евнухов.

— А ну, поп, — приказал он, вскакивая в седло, — показывай колдуна, я ему пропишу плотину!

И он поскакал к мельнице, за ним на иноходце Рикарда, а следом с гоном и звоном вся охота.

На том берегу навстречу им спешил седой старец в белой холщовой одежде. Трясущейся рукой застегивал на плече плащ, а сам выкрикивал что-то, видимо приветствия. Бастард не стал его слушать, ударил дротиком по голове с такой силой, что старик пал и затих.

— Так ему, так ему, безбожнику! — торжествовал деревенский аббат. — Он самый и есть здешний водяной. А вон в кустах, яснейшие сеньоры, его бесовское жильё!

Всадники окружили хижину, притаившуюся в листве бузины, топорами снесли дверь. Близнецы Райнер и Симон, отыскав две жердины, поддели ими крышу и своротили ее напроочь. Шарахнулись совы, слепые от лучей заходящего солнца.

Вдруг Рикарда вскрикнула испуганно, всадники попятнулись, наезжая друг на друга. Над разоренной хижинкой покачивался, поддетый дротиком Эда, человеческий скелет на проволочном каркасе. Теперь уж сомнения не было: мельник — слуга сатаны. Аббат затянул псалом: «Испепелю капища и разорю вертепы диавольские...»

Бастард — многие со страхом смотрели на его звереющее лицо — раскачивал скелет, чтобы одним махом разве-

сти его оземь. От реки раздавался стук топоров — там крушили плотину.

В это время поспешно появился канцлер Гугон: на расшитой жемчугом рясе его виднелись следы тины и болотного ила.

— Драгоценнейший! — обратился он к императору, который, оцепенев, смотрел на происходящее. — Вы же сами подписали эдикт о сохранении и умножении мельниц в королевстве. По вашему ли соизволению здесь распоряжаются не облеченные властью лица?

— Оставьте! — закричала Рикарда. — Не мешайте им творить их святое дело!

Охотники подожгли остатки хижины. Тлея, заворачивались в огне листы пергаментных книг.

Аббат объяснял пфальцграфу дорогу в деревню, где можно было устроить ночлег.

И тут бастард вытолкнул к ногам коня императрицы какое-то существо в домотканой рубахе до пят, закрывавшее голову широкими рукавами. Эд оплеухой сбил его с ног.

— Женщина! — ахнули все, видя, как рассыпались черные волосы.

— Не надо, не надо... — удрученно стонал Карл III, отворачиваясь.

— Хлыстом ее, — посоветовала императрица. — Пусть перевернется, лицо покажет.

Эд замахнулся, как вдруг от плотины раздался крик:

— Олень, олень! Смотрите, опять олень!

На далекой вершине холма в последнем луче солнца вновь показался золотой олень. Дразнил людей своей дикой красотой и свободой и, когда луч потух в густеющих сумерках, исчез навсегда. Охотники вздохнули и обратились к пойманной.

— А где же она?

У копыт рыжего иноходца была лишь примята трава.

— Отвела глаза и исчезла! — шептались охотники.

#### 4

Стемнело, и крыши хижин нельзя было отличить от стогов и ометов. Усталые всадники молча двигались по деревенской улице среди бляения, визга и кудахтанья — здесь уже хозяйничали высланные вперед оруженосцы.

Перед приземистой церковью полыхали костры, на ко-

торых жарились целые туши. В церкви шел пир, а на перти плакали местные жители, у которых со двора увели бычка или коровенку. Какой-то майордом им терпеливо объяснял, что погоня за проклятым оленем увела охоту далеко от запасов и от склада настрелянной дичи, но не могут же сеньоры лечь спать, не покушав. В конце концов, деревенские сами виноваты, что терпели у себя колдуна, который и наслал заколдованного оленя!

Высшие расположились в доме деревенского аббата, и Карл III, сославшись на нездоровье, сразу отправился почивать. Аббат из кожи лез вон, чтобы угодить гостям, сам потрошил кур, поворачивал вёртел в очаге, куда-то посылал за вином.

Было тесно, и едва удавалось соблюдать каролингский этикет — поднесение блюд с поклонами, с выговариванием полных титулов и отличий. Генрих Суассонский, поглядывая на пустующее кресло императора, смешил всех охотничьими рассказами. Сам густо хохотал, подкручивая усы, и Рикарда хлопнула его веером, чтоб на забывался.

— Как бы остроумны ни были ваши рассказы, — смеясь, заметила она, — а герой дня сегодня этот... Эд, бастард. Кстати, почему мы не видим его за нашим столом?

Канцлер Гугон, поджав губы, стал объяснять, кто может быть допущен за императорский стол. Кривой Локоть, граф Каталаунский, оторвался от еды и, пообеда всех рыбьими глазами, заявил:

— Я его не пушу. Терпеть не могу ублюдков!

Все захохотали. Черный Конрад, граф Парижский, который и за столом не снял с себя панциря из вороненых пластин, заметил:

— Теперь внебрачные дети в моде. Возьмите, например, Арнульф герцог Каринтийский, сын покойного императора Карломана. Видно, законных жен кто-то заколдовал, если властители предпочитают детей от рабынь.

Глаза пирующих невольно обратились в сторону Рикарды. Он вспыхнула и встала, отталкивая евнухов, которые обтирали с ее пальцев стекающий жир. Ушла за перегородку, где Карл III дремал, а пфальцграф Бальдер готовил ему грелку. Велев Бальдеру выйти, села на краешек ложа.

— Спите? — тронула мужа веером. — Покоитесь? На

кой черт я поехала за вами сюда из благословенной Италии!

— Что? Что? — поднял опухшее лицо Карл III.

— Ваши буйные магнаты забываются, оскорбляя меня намеками.

— Какими намеками?

— Все же знают, что мы хоть и десять лет в супружестве, но детей у нас нету. Однако у вас-то есть внебрачный мальчишка, и от кого — от грязной коровницы из Ингельгейма!

— Мы цари, — тихо ответил Карл III, — и должны быть выше страстей людских...

Рикарда молчала, постукивая веером. Было слышно, как за стеной в отсутствие единственной дамы разговор про бастардов пошел смелее, то и дело сыпались рискованные шутки.

— Ну, нашему Эду далеко до Арнульфа Каринтийского, — говорил Черный Конрад. — Тот хоть и бастард, но все-таки полководец, государственный муж. А кто наш Эд? Норманнский раб, гребец на галере, а ныне гроза дорог, непойманный разбойник.

— Кому же, как не вам, граф, — возразил с издевкой Кривой Локоть, — разбираться в бастардах? Кому не известно, что Эд ваш брат? Хоть разные отцы, но мама общая, ха-ха-ха!

«Подумать только! — удивилась императрица. — Уже не первый год нам служит Черный Конрад, а я и не знала, что у него есть брат!»

Между тем за стеной нарастала ссора. От ударов кулака по столу дребезжала посуда, катились опрокинутые кубки. Канцлер Гугон еле поддерживал порядок, говорил назидательно о том, что, бывало, во времена оны, когда Карл Великий кушал, ему прислуживали короли! Затем короли сами садились за трапезу, а герцоги и графы, в свою очередь, прислуживали им. И чтоб какие-нибудь раздоры в застолье — ни-ни!

Карл III проскрипел из душной темноты спальни:

— Неправедно живем... Капитулярии Каролингов запрещают верить в колдовство. И я думаю, думаю: был ли тот давешний мельник колдун, а?

Рикарда встала и, хлопнув дверь, вернулась к пирующим. Принесли новые бурдюки, вино выплескивалось в кубки, звучали веселые здравицы.

Однако мир продлился недолго. Вбежал оруженосец



и сообщил, что какие-то проказники натянули возле церкви канат и отряд каталаунской конницы впотьмах переломал лошадям ноги. Возгласы бражников затихли.

Гугон покачал головой:

— Едва ли это местные мужики. Для их скотского разума это слишком утонченный способ мести. Но правосудие этим займется.

— Что там правосудие! — вскочил Кривой Локоть. — Я могу указать виновника хоть сейчас. — Он ткнул пальцем в сторону Черного Конрада: — Пусть не скромничает здесь, за столом. Пусть расскажет без утайки, ради кого шалит по большим дорогам его братец!

Карл III за перегородкой услышал сильные вздохи дерущихся, тупые удары кулаков по лицам. Рикарда сначала хохотала, звеня украшениями, потом вдруг истошно завизжала. Опрокинулся стол со всей посудой, и кто-то завыл, как будто ему вспарывали живот. Затем послышалось словно шарканье об стены. Это деревенский аббат плескал из ковшика, надеясь погасить бегущие язычки пламени.

Император тихо плакал, представляя себе милый Ингельгейм, где опрятная, тихая женщина несет в погреб молоко, а за юбку ее держится веснушчатый парнишка.

## 5

— Дети! — позвала Альда с порога. — Деделла, Буксида, деточки! Вылезайте! Ушли злые сеньоры и собак своих увели.

Альда ступила в теплую, прокисшую тьму хижины, разгребла золу в очаге, нашла уголек, раздула пламя. «Где же они могут быть?» Наклонилась под одну лавку, под другую.

— А-а! — вдруг закричала она истошно и выбежала во двор.

— Матушка Альда, что с тобою? — спросили из-за плетня соседи.

— Там под лавкой... Там кто-то чужой!

Прибежали с молотьбы Альдин раб Евгерий и ее старший сын Винифрид. В хижине действительно под лавкой обнаружили человека и выгнали наружу. Это оказалась девушка в длинной холщовой рубаше, выпачканной в навозе. Черные спутанные волосы закрывали лицо.

— Ты кто? — спрашивали ее, а она из-за густых

прядей поблескивала зрочками, стараясь вывернуться из держащих ее рук.

Во двор Альды бежали любопытные. Отыскались и дети. «Мы, мамочка, ходили кости нашей буренки хоронить, которую вчера сеньоры скушали...» Явился деревенский десятник, бесцеремонно откинул волосы с лица девушки.

— Хо! Это же дочка Одвина, нашего мельника! Ее вчера собаками травили, вот она, наверное, от них и схоронилась.

— Разве у мельника была дочь? — усомнилась Альда.

— Была, была. Уж он ее прятал, от зла, что ли, мирского надеялся уберечь? Однако что же с ней делать? Вязать и — в город?

— Не надо вязать... — вдруг сказал сын Альды, Винифрид, рябоватый крепыш, державший молотильный цеп. — Чем она виновата?

— Как — чем виновата? Разве не по их ворожке олень спутал охоту и господ нагрянули к нам?

Но Винифрид, уставясь в землю, повторил:

— Не надо вязать!

Женщины разохались, расстонались. Деревня до сих пор жила себе в глуши, без господ и поборов. Бабка Хадда голосила:

— Внучку мою увели, проклятые, такую молоденькую!

— Обратись к Салическому праву, — посоветовал десятник. — За кражу свободной девицы следует большая пеня.

— К праву! — заголосили женщины. — В старину за грабеж и граф мог головы лишиться, а ныне кто знатен, тот и прав...

— В огонь ведьму! — ярилась Альда.

Сын пытался ее успокоить.

— Матушка! Да ведь у нас-то, кроме коровы, ничего не тронули... Да ты вспомни, матушка, ее отец, бывало, дешево нам молот и быстро. А у аббата на ручной зернотерке все втридорога...

— Так, значит, эта конская грива уж и тебя околдовала? Соседки, ну-ка! Разукрасим ей бесовскую рожу!

Десятник еле удерживал расходившихся женщин.

— Кто это, кто это с вас брал втридорога? — слышался квакающий голос. — Я тут за оградой постоял, послушал, как вы власть хулили.

Деревенский аббат в соломенной шляпе раздвинул толпу. Мужчины сдергивали колпаки, женщины ловили, целуя, его толстые пальцы.

Завидев дочь мельника, аббат обрадовался ей, будто старой знакомой. Попытался погладить ее по голому плечу, но девушка рванулась так, что ее еле удержали. Горячо что-то говорила на непонятном языке. Поняли лишь, что она указывает в сторону мельницы, повторяя: «Отец, отец!»

— Ишь ведьма и болтает-то по-чудному!

Аббат между тем достал свиток, поселяне с почтительным страхом увидели восковую печать на шнурке.

— «Именем всемилостивейшего державнейшего государя нашего Карла Третьего,—напыщенно читал аббат,—церкви святого Вааста, что в Туронской пустоши, наше пожалование. В благодарность за гостеприимство, а также в возмещение за сгоревший дом аббата, откуда мы чудесно спаслись от пожара, повелеваем всем мирянам в приходе заплатить святому Ваасту внеочередную десятину».

— Десятину! — ахнули женщины, а мужики заскребли в затылках.

— Что же нам теперь,—заплакала Альда,—по миру идти или детей на невольничий рынок?

— Ты бы,—сказал аббат,—прикусила, старая, язычок. Много себе позволяешь! Подумать только—свободная! Припишись-ка подобру-поздорову ко мне в крепостные, как повелевает капитулярий Карла Лысого: каждый да приищет себе господина. Честь своего рода бережешь? Скоро вы все будете моими рабами, я вас выучу!

Десятник, напустив на себя простоватый вид, заметил:

— А я вчера слышал у господских оруженосцев, что нас всех — и тебя, твое преподобие, — отдают в рабы сеньору из Самура...

— Заткнись, презренный! — Аббат топнул сандалией и, сорвав шляпу, вытер ладонью пот. — Уж мельницу-то я заберу себе, ее еще можно починить. Заплачу сколько надо сеньору, и молоты вы все равно будете у меня. А эту, — он кивнул на девушку, — вяжите — и в церковь. Я буду из нее изгонять беса.

— Изгонять беса, — перекрестился десятник, — это по твоей части.

По его знаку мужики достали дратву и принялись вязать бьющуюся пленницу. Винифрид сначала стоял

угрюмо, а потом вдруг замахнулся цепом на десятника, чуть не убил. Мать и раб Евгерий еле его оттащили.

Пленницу повели к церкви, дети шли следом, повторяя: «Ведьма, ведьма!» — а та кричала, в бессилии кусая губы.

На мостике через пересохший ручей их остановил повелительный оклик:

— Стойте!

Навстречу им вышел старый воин в железном шишаке, припадавший на деревянную ногу. Висячие усы и седые заплетенные косицы свидетельствовали, что давненько он не бывал в походах, потому что франки уже лет двадцать как бреют усы и стригут волосы. Воин приказал аббату предъявить грамоту, которую тот читал поселянам.

— Куда-то запропастилась... — ахал аббат, обшаривая рясу.

— Шарлатан ты, святой отец, — укорил его воин. — Все бы тебе простаков обманывать да ведьмами пугать. А ну-ка, развяжите эту несчастную!

— Она волшебница! — закричал хор детей.

Старый воин стукнул костылем оземь.

— Разрази меня гром! Перейдя мостик, вы вступили на землю, которая принадлежит еще мне!

Он прогнал обалдевших мужиков, достал нож и разрезал путы. Винифрид кинулся ему помогать, а аббат ушел, бормоча угрозы. Как только девушка почувствовала себя свободной, она пустилась наутек.

Винифрид растерянно теребил старого воина за рукав:

— Дядюшка Гермольд, ваша милость... Что же это она?

— Что она убежала? Ну и пусть себе на здоровье. Для чего же нам было ее освобождать? Впрочем, босиком по колючей стерне далеко не убежишь.

Он следил за далекой уже фигурой на желтом склоне холма. Небо сияло, кузнечики стрекотали совсем полетному, и, если бы не вопли в разграбленной деревне, можно было бы подумать, что на земле воистину мир, а в чело­веках благоволение.

— Смотри, она упала! — встревожился Гермольд. — Мчись-ка, сынок, а я поковыляю следом.

Девушка лежала на меже в густом ковре осенних маргариток. Рядом на межевом камне уселся Винифрид. Лицо ее, словно обсыпанное мелом, казалось еще бледней от



черноты сомкнутых ресниц. Старый Гермольд медленно поднялся на холм и остановился, опершись на костыль.

— Бедняжка! — воскликнул он, переведя дух. — Трудно будет ей жить на белом свете!

— Почему? — спросил Винифрид.

— Она дурнушка. Гляди, природа дала ей костистые плечи, жилистые ноги. Это бы хорошо для мужчины, но для женщины — увы!

— Но почему же, почему? — Винифрид все с тем же растерянным видом смотрел на замкнутое лицо беглянки.

— Э! — улыбнулся старик, покусывая висячий ус. — Она тебе представляется иной, потому что ты увидел ее сначала не внешним взором, а внутренним. Как сказали бы наши деревенские кликуши, она тебя околдовала прежде, чем ты узнал ее.

— Сеньор Гермольд, а правда... правда она ведьма?

Воин собирался ответить, но, взглянув на девушку, предостерегающе поднял палец.

Она открыла глаза и некоторое время с недоумением рассматривала небо и плывущие по небу облака. Затем, поняв, что возле нее люди, села, натянув рубаху на голые колени.

— Здравствуй, — сказал ей старик. — Я Гермольд из рода Эттингов. Он — Винифрид, тоже Эттинг. А как зовут тебя?

— Азарика, — без смущения ответила девушка.

— Какое звучное имя! — воскликнул воин, и Винифрид согласно заулыбался. — Знаешь, друг Азарика, — Гермольд протянул ей руку, чтобы помочь встать, — пойдем-ка скорей отсюда, потому что этот холм принадлежит святому Ваасту, а с добросердечностью его служителя ты имела возможность познакомиться. Продолжим наши беседы в моем... хм-хм... поместье.

Он сделал приглашающий жест, и все втроем они спустились с холма, пересекли заросли ивняка и подошли к старинному, посеревавшему от времени и дождей частоколу. Гермольд распахнул калитку:

— Добро пожаловать в мой родовой замок. Здесь вы не найдете каменной башни, чтобы выдержать осаду, или саженной топки, чтобы зажарить вепря целиком, зато вас ждет самое искреннее франкское гостеприимство. Дом этот построен пленными лангобардами добрых сто лет назад...

Их встретил слуга, древний, как и замок, да к тому же

без руки. Хозяин перед ним заискивал: не найдется ли перепела, чтобы закусить, и глотка мозельского, чтобы промочить горло? Также неплохо бы этой юной особе дать во что переодеться. Нельзя же ей вечно придерживать пальцами прорехи!

Слуга, пришепетывая из-за отсутствия зубов, разъяснил: перепела нет, так как сеньор с утра отправился осматривать силки, а вместо того вернулся с гостями; вина нет, потому что сеньор вчера вечером распорядился отослать последний бурдюк к столу императора, хотя сам туда приглашения не получил; платья же нет потому, что одежда покойной госпожи продана еще десять лет назад. Есть костюм покойного сына сеньора, но сеньор же его не разрешает трогать...

— Так дай же его скорее, дай! Пусть девочка наденет хоть его. Он был твоего роста, Азарика, такой смышленный, подвижный мальчик. Будь сейчас хоть кувшин какого-нибудь вина, мы бы подняли по стаканчику за упокой его детской души... Да ты, девочка, не стесняйся надевать мужское, так даже безопаснее в наш смутный век!

Слуга помог ему стянуть через голову кожаную рубашу, отстегнуть деревянную ногу. Принес вареной репы в деревянном блюде и даже плеснул вина в серебряный стакан.

— Чародей! — изумился Гермольд. — Вот уж кто истинный колдун, так это ты!

Пока он таким образом перебранивался со своим слугой, Винифрид, изнемогавший от любопытства, по простоте деревенской поднялся наверх, куда Гермольд отправил девушку переодеться. Однако тут же сбежал обратно, потирая шею.

— Вот это да! — захохотал Гермольд. — Знать, наша гостья воскресает, коль смогла отвесить этакий подзатыльник!

— Она там плачет, — сообщил смущенный Винифрид.

— И, сынок, оставь! Душа ее омоется в слезах и расцветет к жизни новой. Таково уж их, женщин, преимущество, а мы, мужи, воскресаем лишь в поте трудов и крови сражений. Однако иди во двор. Там под навесом ты найдешь заступ и несколько досок для гроба. Да не пугай пса Гектора, он по дряхлости примет тебя за вора. И если ты еще не очень торопишься к матушке Альде, мы, пока светло, пойдем с тобой к реке и предадим земле беднягу мельника.

Вечерело. Однорукий слуга подбросил в очаг хворосту, и пламя заплясало, освещая бревенчатые стены.

— Садись, Азарика, к огню,— пригласил девушку Гермольд.— Да прикрой ноги вот этой медвежьей шкурой. Она теперь совсем облезла, а ведь этого медведя я брал один на один, когда был ловок и быстр, совсем как наш добрый парень Винифрид, который побежал к матери, чтобы получить очередную порцию ругани и все равно вернуться к нам утром.

Он наклонился, грея ладони над головешками.

— Бр-р! На улице пронзительный ветер, надвигается дождь, горе бездомным... Да ты понимаешь ли, девочка, мою скудную латынь? А на каком отменном языке Цицерона и Августина говоришь ты! Я уж тридцать лет не слышал подобной речи, живу, слыша вокруг нечто среднее между хрюканьем и гоготаньем. А вы с отцом, значит, только и говорили, что на золотой латыни? Удивительно!

Знай, что давным-давно мы с твоим отцом учились в монастыре святого Эриберта. И стать бы нам попами, да не было у нас охоты махать кадиллом. И наш учитель, добрейший Рабан Мавр, нас к тому не принуждал. Хоть сам-то он ни одной молитовки не пропустил, но нас катехизисом не мучил, благоволил нашей любознательности. И благоволил до того, что у лучшего его ученика Одвина — твоего, значит, отца — нашли однажды халдейские книги, и бежал Одвин, чтобы спастись от костра. А вскоре и я раньше времени покидал врата учености, потому что был привержен игре на арфе. Но в отличие от псалмопевца я больше пел про соблазны мирские...

Был я в сражениях, но не язычников покорял, и не нашествия отражал. Нанимался в походы то к одному королю, то к другому. Короче говоря, помогал таких же простаков, как и я сам, истреблять. Однако приумножил состояние, женился на пленнице, доставшейся мне по жребию. Вернулся в этот самый бревенчатый чертог, и все бы хорошо, если бы не черная оспа, которая неизвестно зачем одного меня пощадила.

Но я хочу рассказать тебе о твоём отце. Однажды, когда все мои, ныне покинувшие меня, были еще живы, он прискакал сюда ночью на загнанном коне. На руках его были страшные ожоги, которые случаются лишь от бо-



жьего суда или допроса с пристрастием. В седельных суммах было все его имущество — книги, — а к груди какой-то благодетель привязал теплый и кричащий сверток. Это была ты! Хозяйка моя купила козу, чтобы тебя вскармливать, и дело пошло. Когда зажили ожоги, Одвин устроил на нашей реке мельницу. Люди съезжались посмотреть, как человек заставил на себя работать демонов воды.

И вскоре поссорились мы с твоим отцом. Вышел капитулярый Карла Лысого, по которому все бенефиции стали наследственными. Словно безумие напало на франков — каждый спешил побольше нахапать. Бедняги землепашцы, темные и убогие! Посулами, угрозами, а то и обманом, как давешний поп, кто только не старался их закабалить! Поддался и я на этот соблазн. Отец же твой мне прямо предрек: все, что нажито чужим горем и слезами, все обернется слезами и горем. Так оно впоследствии и вышло, а мы с той поры не перемолвились с ним и словом единым, ровно пятнадцать лет! Сегодня спел я над ним, грешным, «Requiem aeternam, dona eis, domine...», а кто споет это надо мной?

Жила ты себе в лесной избушке, отгороженная отцом от всего христианского света, и лучше бы тебе никогда не видеть этот мир, где правят корысть и злоба. Что противопоставим ему мы, слабые, старые или просто деликатные? Только силу знания, и притом знания такого, чтоб могло одолеть эту власть... Скажи, девочка... — Гермольд оглянулся и понизил голос. — Да ты меня не бойся. Говорил ли с тобой об этом отец? Обещал ли при помощи тайного знания власть над людьми?

— Он говорил... — Азарика поперхнулась слезой. — Потерпи еще чуть-чуть, и ты выйдешь отсюда царицей мира...

— Вот! — вскричал Гермольд, кусая ус. — Узнаю неистового Одвина! Но скажи, успел ли он посвятить тебя в чернокнижие, в тайны своих опытов?

Азарика грустно потупилась. Нет, он говорил ей: «Пусть я продал душу дьяволу, но ты-то у меня останешься ангельски чистой...»

— М-да... — Гермольд повертел серебряный стаканчик, в котором не осталось ни капли. — Что же нам, однако, с тобой делать? Здесь тебя оставлять нельзя, аббат святого Вааста уж небось изобретает козни. Хорошо бы тебе в монастырь, но и туда без знакомства не сунешься... Была бы ты мальчиком, я бы тебя отправил к святому

Эриберту, где мы учились с твоим отцом. О, это цитадель веры, врата учености! Старый Рабан Мавр, увы, давно погребен в земле чужой, но должны же блистать его ученики, наши однокашники,—Сервилий Луп или Фортунат!

Кстати, это мысль! Ты отправишься к святому Эриберту, а я напишу тебе рекомендательное письмо. Пусть вразумят, что делать, и рекомендуют какой-нибудь благочестивой настоятельнице. Пойми, я тебя не гоню, но какой же я защитник на своей деревяшке?

А ты иди в этой одежде. Конечно, она старомодна, теперь не носят холщовую тунику и белые штаны. Но в ней ты похожа на начинающего оруженосца из деревенских, видит бог! Я вот смотрю на тебя, и все мне мерещится, что я с сыном разговариваю, напутствую его...

Гермольд умолк и, чтобы скрыть набежавшую горечь, стал орудовать кочергой.

— Знаешь что?—Новая мысль его осенила.—А что, если я пойду вместе с тобой? Доковыляем как-нибудь, тут не так уж и далеко: выйти к Лигеру и все время берегом идти. Днем будем хорониться от недобрых людей, а ночью передвигаться—бог хранит смелых. Уж старина Фортунат обрадуется, вот это будет встреча!.. Эй, бездельник однорукий!—закричал он слуге.—Неси-ка свечу, не видишь, на дворе ночь? Да закрой ставни, дождь так и хлещет... Что это ты подступаешь ко мне с арфой? Хочешь, чтобы я что-нибудь сыграл? Старый ты чудак, любитель музыки! О, если б она мне, как Орфею, придавала силы укрощать зверей и двигать скалы!

Он спрашивал у Азарики, что сыграть.

— Наверное, что-нибудь про любовь? «Забытый в поле стебелек,—пропел он, подстраивая арфу.—Прибитый стужей стебелек! О ветер, вой, о ветер, пой в тиши ночной...» Нет, это не песня.—Гермольд положил ладонь на струны.—И без того тоска пилою режет. Споем что-нибудь повеселее. А ты, однорукий голубчик, сходи во двор, узнай, чего там наш Гектор так разлалялся. Итак, девочка, вот какую певал я в дни молодости песню:

Меня не сразили ни копья, ни стрелы,  
Ни пламя кровавых осад.  
Но ранил смертельно твой нежный и смелый,  
Твой ясный, как солнышко, взгляд.  
Я был гордецом, по сраженьям кочуя,  
Ко всем побежденным был лют.  
Теперь же, как раб, о пощаде прошу я,  
Улыбки единой молю!

— Сеньор Гермольд...— начала Азарика.— Позвольте мне спросить...

— Спрашивай, конечно, и не надо никакого позволения.

— Сеньор Гермольд, кто такой бастард?

— Бастард?— переспросил старик рассеянно, прислушиваясь к шуму во дворе, где Гектор уже не лаял, а визжал отчаянно.

Внезапно Гермольд вскочил, держась за кресло, потому что его отстегнутая нога сушилась на решетке.

— Эй, однорукий!— закричал он отчаянно.— Разрази тебя лихорадка! Ты что же, калитку забыл заложить, что ли? Боже правый, сюда идут, и много, слышишь, как топаят? Азарика, дитя мое, беги скорее наверх и не спускайся, что бы здесь ни случилось...

7

— Огня! Вина! Зерна для лошадей!— потребовал вошедший первым.

При одном взгляде на него можно было понять, насколько он грозен и силен. С его плаща дождевая вода лилась струями, спутники его отфыркивались и трясли руками.

У Гермольда сердце заныло от такой бесцеремонности. Но делать нечего— знаменитое франкское гостеприимство обязывало. Он поклонился со своего кресла и представился:

— Гермольд из рода Эттингов, свободный франк.

Предводитель вошедших обратил на него внимания не более чем на муху. А белобрысые парни, по всей видимости близнецы, покатались со смеху, указывая на висячие усы и заплетенные косы старого воина. Гермольд не успел даже рассердиться, как увидел, что за ними в мокрой рясе стоит не кто иной, как аббат святого Вааста!

Однорукий слуга внес еще свечку.

— Собачку-то нашу за что, ваша милость?— упрекнул он первого из вошедших. Нехорошо в гостях собак убивать.

— Тьерри!— позвал тот.— Заткни ему говорильник.

Выдвинулся тип, угрюмый и носатый, вытолкнул слугу вперед, а сам отступил на шаг. Меч его свистнул в воздухе, голова однорукого покаталась.

— Ловко! — вскричали близнецы. — Ай да Тьерри Красавчик!

Гермольд хотел закричать, прогнать, проклясть пришельцев, но непослушный язык прилип к гортани.

— Бастард, — спросил угрюмый Тьерри у предводителя, — куда прикажешь нести Майду?

Оруженосцы внесли борзую, забинтованную до самого хвоста и бережно положили на обеденный стол. Бастард снял шлем и склонился, глядя в страдальческие глаза собаки.

— Сеньор Эд, — обратился к нему аббат, — вы обещали поискать здесь колдунью.

— Все собаки мира, — сказал бастард, не отвечая, — ничто для меня по сравнению с этой одной. Я потерял Герду, неужели не удастся выходить Майду? А ну-ка, твое преподобие, полечи ее каким-нибудь священным средством.

— Что вы, ваша милость! — залебезил аббат. — Священнослужителю не приставало лечить собак.

Эд усмехнулся, а спутники его захохотали. Аббат же сказал:

— Вот найдите колдунью, она и полечит, если вы, конечно, предварительно ее пощекочете хорошенько.

Бастард приказал обыскать дом и двор. Симон пошел наверх, а Райнер спустился в погреб. Тьерри заявил, что будет искать во дворе, может быть, там, кстати, найдется и какая-нибудь заваливающая лошаденка.

— Ехать тебе во дворец на палочке! — издевались близнецы.

Эд сапогом отодвинул кресло с распростертым в нем Гермольдом и стал греть руки у очага. Огонь затухал, и вместо топлива бастард кинул туда арфу и деревянную ногу хозяина.

Аббат указал ему на кресло:

— Вот, ваша милость, это тот самый, кого вы ищете. Кроме него, здесь некому быть.

Эд наклонился над онемевшим Гермольдом.

— Отвечай, ты был на Бриссартском мосту, когда там погиб Роберт Сильный, герцог Нейстрии?

Гермольд только и смог, что кивнуть головой. Тут как раз вернулся Тьерри, сообщая, что во дворе нет ни ведьмы, ни лошади, а дождь, проклятый, так и хлещет. Спустился со второго этажа близнец Симон, обирая с себя паутину:

— Никакой колдуньи, только какой-то перепуганный мальчишка, вероятно второй слуга.

С веселыми криками ввалились из погреба Райнер и оруженосцы. Они тащили бурдюк черного андегавского, которое хранил бедный однорукий, и пробовали его на ходу.

Бастард влил вино в рот Гермольду, плеская как попало.

— Ну! — ухватив за косицу, Эд запрокинул лицо Гермольда. — Правда, ли, что с герцогом было сорок воинов, когда у моста на них напали норманны? Почему же тогда герцог сражался один и пал окруженный?

— Готфрид Кривой Локоть... — хрипел Гермольд, моргая белесыми старческими глазами, — который теперь граф Каталаунский... Он первый повернул коня...

— И вы все бежали?

— Нам казалось, герцог скачет за нами...

— Ногу ты... не на Бриссартском мосту потерял?

— Нет... Много позже.

Бастард хлестнул его по лицу перчаткой и отошел. В этот момент как раз Хурн, оруженосец близнецов, записывал в карман серебряный стакан Гермольда.

— Руку на стол! — зарычал Эд.

Не решаясь противиться, Хурн положил дрожащую руку на скатерть. Бастард кивнул Тьерри, и тот потащил меч из ножен. Близнецы умоляли о прощении на первый раз, и Эд, выругавшись, отменил казнь. Аббат святого Вааста ходил вокруг него на цыпочках, заглядывал в глаза.

— Ты как теперь этот дом — себе возьмешь?

— Эту крысиную нору? Можешь ее забирать хоть себе, церковная кочерыжка.

Аббат, успевший нахвататься из бурдюка, заплясал, напевая: «Мне, мне! Он подарил все это мне!» Близнецы же, указывая на него, смаковали его новое прозвище — Церковная Кочерыжка.

— А что ты подаришь нам? — спрашивали они Эда.

— Будете мне верно служить, подарю целый город.

— М-между прочим, — аббат начал уже заикаться от обильного питья, — в-ваша м-милость, т-та девка, которую мы ищем, она же об-боротень... Может и в оленя обернуться, и в летучую стригу, и в слугу-мальчишку...

— И в бурдюк с вином? — усмехнулся Эд.

— И в б-бурдюк, истина ваша!

Эд приказал засунуть горлышко бурдюка ему в рот. Аббат вертел круглой головой, глотал что есть мочи, глазищи его выпучились, как у жабы. Близнецы хохотали.

— Кругленькая у тебя ведьма, заставь-ка ее похудеть!

Тогда раздался надломленный голос Гермольда. Он сполз с кресла и у самых ног бастарда молил гостей уйти. Дом этот у него не бенефиций, не может перейти к другому владельцу. Это его аллод, наследственное владение, и имеются на это грамоты... Пусть гости уйдут, он готов даже золотом заплатить.

Сказал и тут же пожалел о сказанном. Тьерри и близнецы, по примеру своего вожака обращавшие на него внимание так же мало, как на какую-нибудь мокрицу, сразу обступили его.

— Где грамоты? Где золото? Показывай, куда прячешь!

Тьерри со рвением ударил его сапогом в зубы, тот отхаркивался кровью и молчал.

— Дозволь его подвесить! — просил Тьерри бастарда. Посеченное лицо его пылало. — Дозволь!

Бастард, повернувшись к ним спиной, меланхолично водил пальцами по толстым древним бревнам стены. Приняв его молчание за согласие, Тьерри и близнецы раздели старика догола и привязали к столбу. Разогнули кочегу и сунули ее в очаг накаляться.

— Бастард! — простонал калека. — Гляди, что делают с человеком твои мерзавцы!

Эд молча прошел вдоль стены, и, причудливо искажаясь на закруглениях, за ним ползла его тень.

— А что сделали со мной после того, как по вашей милости погиб мой отец? А я ведь был совсем ребенком!

Монах, который дремал под столом в обнимку с бурдюком, очнулся, вылез, встал, пошатываясь, на ноги.

— «Шел монах к своей милашке! — загорланил он. — Хи-ха-ха да хи-хо-хо! К полведерной своей фляжке с сатанинским молоком!»

Он приподнял краешек рясы и пустился в пляс, повизгивая. Тьерри пинком загнал его снова под стол.

— При живой матери, при коронованных дядьях и братьях, — продолжал Эд, ударив себя кулаком по ладони, — меня в рабство! За что? И до сих пор я все как изгой преступный... Ответь мне ты сначала: за что?

В очаге треснула головешка, бывшая некогда деревян-

ной ногой. Снаружи шумел ветер, который пришел на смену дождю.

— А меня за что? — высунулся из-под скатерти неугомонный аббат. — Домик мой сожгли напившиеся магнаты, имущества у меня нет, кроме кобылки, да и на ту зарится Красавчик Тьерри. Папа римский нам, духовным, даже жениться запретил. Хотя в писании сказано: коль не можешь не жениться, так женись, да поскорей!

— Вот я тебя сейчас ожено! — Тьерри выдернул из огня раскаленную кочергу и ткнул аббата пониже спины.

— Уй-уй-уй! — завопил священнослужитель, забив ногами.

Пылающей кочергой Тьерри махал перед лицом Гермольда, приглашая сознаться, где грамоты и золото.

— Приведите сверху мальчишку! — заорал аббат. — У хрыча сразу развяжется язык!

Гермольд напрягся на столбе и плюнул в перекошенную физиономию Красавчика.

— Будьте вы прокляты, разбойники ночные! Пусть не будет вам вовек ни счастья, ни удачи! Да издохнете вы без семьи, без очага, и ворон расклюет ваши гнилые трупы... Что ты гасишь свечку, гнусный Тьерри, тебе стыдно смотреть в глаза твоей жертвы?

В наступившей темноте послышалось шипение железа и слабый вскрик Гермольда.

— Зажгите огонь! — приказал бастард. — Кто смел погасить? Тьерри, брось кочергу. Симон, приведи сюда мальчишку.

И вдруг с улицы раздался истошный крик.

— Это десятник деревенский кричит, — определил аббат. — Что ему нужно?

Райнер распахнул дверь, и стало слышно, как десятник выкрикивает, колотя в медное било:

— Норманны идут, норманны! Спасайтесь, люди!

Эд вышел наружу и расспросил десятника. Оказалось, что под покровом дождя норманны высадились на приросты, вероятно надеясь самого императора захватить.

— А много их?

— Говорят, сотни три или четыре.

— Ого! — вскричали близнецы.

Все спешно переседывали лошадей. Тьерри схватил повод кобылки аббата, а тот его пытался отнять. Оруженосцы привязали раненую борзую к седлу Эда.

— Слезай, диавол! — суетился аббат, видя, что Тьерри уже в седле его кобыленки.

— Пошел прочь, поганая кочерыжка! — Тьерри отшвырнул его пинком.

Но Эд приказал кончать распри, и аббат, догнав выезжающего Тьерри, вскочил сзади него на круп лошади.

8

Когда стало светать, в разоренный дом Гермольда осторожно вошел Винифрид. Увидев привязанного к столбу Гермольда, отшатнулся, но затем обрезал путы, снял обвисшее тело. Молчал, сняв шапку.

Затем устремился к лестнице — посмотреть, что наверху. Споткнулся, из-под ноги что-то покатилося. Пригляделся и вздрогнул — это была голова безрукого слуги.

Сверху послышались шаги, и Винифрид на всякий случай спрятался за столб. Ему показалось, что белый призрак спускался, словно плыл по ступенькам. Потом понял — это же и есть Азарика, одетая в костюм сына Гермольда!

Девушка творила непонятное. Приникла к груди лежащего старика и затихла, будто умерла вместе с ним. Винифрид хотел было выйти из-за столба, но она внезапно поднялась, раскинув руки, как крылья белой птицы.

«Justitio! Veritas! Vindicatio!» — выкрикивала она.

Страшно было смотреть в ее дикие глаза, слышать голос, ставший похожим на свиный клекот. «Мать была права, — сжавшись, крестился Винифрид. — Бесов заклинает!»

А она вновь повторяла на своем латинском языке: «Справедливость! Правда! Мечь!» — и вырывала у себя клоки волос, чтобы болью телесной утолить душевную боль. И вдруг увидела голову однорукого, оскалившую зубы, запнулась и выбежала вон. Винифрид хотел за ней последовать, но жалобный стон его остановил. Старый Гермольд ожил и пытался встать. Винифрид от ужаса даже не мог креститься.

Молочный туман выполз из леса, растекаясь по лугам. Вершины холмов растворялись в предутренней мгле. Далеко в деревне монотонно отбивал колокол — ни голос человека, ни крик петуха не отвечали его одинокому зову.

Туман распался на клочья, которые плыли в долине реки, похожие на вереницы слепых. Колокол звонил



им вслед, глухой в пелене тумана и все же слышный на много миль окрест.

Азарика сделала шаг, и туман подхватил ее, словно на крылья. А колокол бил и бил далеко позади, провожал без радости и без печали.

## Глава вторая У ВРАТ УЧЕНОСТИ

### 1

— Приор Балдуин! Ты спишь, приор Балдуин?

Большой колокол Хиль грянул, и низкий его звук ударил в монастырские своды, замирая в толще камня. Приор Балдуин со стоном повернулся на жестком своем ложе, не в силах разлепить веки. Противный голос между тем продолжал не то напевать, не то нашептывать ниоткуда:

— Итак, ты спишь? Спи, благо тебе. Ведь ты не знаешь, что один из твоих учеников — женщина.

Балдуин мигом проснулся, сел, почесывая худые икры. Голос прекратился, но в ушах все отдавалось: «Один из твоих учеников — женщина».

Приор знает: это все ОН, это ЕГО проделки. После того как приор велел окропить кельи святой водой и обошел монастырь крестным ходом, ОН приутих. Проявлял себя лишь в мелких выходках — то задувал ночью дым в очагах, то толкал под локоть переписчиков, чтобы те портили дорогостоящий пергамент. Приору он стал являться не в апокалипсическом облике, а в виде *misere mus* — крохотной мышки, которая смешливым глазком поглядывала, будто гвоздь в душу втыкала. Приор поставил на нее мышеловку, но бес и тут схитрил. Мышеловка прихлопнула палец ноги самого Балдуина, и приор не мог стоять обедню.

Теперь же бес вот на какие пустился уловки! Приор покрутил головой, отгоняя наваждение. Явился цирюльник, повязал ему салфетку, намылил. Водил бритвой, выскабливая морщины. Балдуин стал думать о вывозке навоза, как вдруг лукавый явственно ухмыльнулся у самого уха: «А у тебя в обители женщина!»

— Преподобный отец! — всполошился цирюльник. — Вы изволили порезаться!..

Приор шел к ранней мессе внушительным шагом. Хоть и сухощав, но властен, представительен — миряне издали спешат поклониться. Монастырек невелик, не такая держава, как, скажем, в Туре или Реми, где находят себе покой короли. Но хозяйство Балдуина крепко, и даже после трех налетов бретонцев и двух — норманнов (ох, эта карающая десница господня), он кладет в закрома не менее ста возов пшеницы и пятисот ячменя. А пивоварни, а сыродельни, а кожевенные дубильни — не перечислишь. И тутешего голос, полный издевательства и соблазна: среди твоих учеников женщина!

А все каноник Фортунат, друг покойного Сервилия Лупа, хе-зе, блистательные лбы! За образованностью гонятся, за талантом, а кому он, этот талант, нужен в век, когда главное — нюх потоньше да клыки поострей?

Прошлой осенью каноник Фортунат принял нового ученика. Приору уже тогда все это показалось странным. Новенький, правда, был мальчишка как мальчишка — тощие плечи, резкие скулы, плохо стриженная грива черных волос. Но что-то Балдуин разглядел в нем неестественное — какую-то чисто женскую мягкость. И не просто понял — почувствовал: нельзя принимать.

Но тут каноник Фортунат проявил несвойственное ему упорство. Пригласил приора в книгописную палату, и там новый ученик исписал страницу текстом из жития. Преподобные отцы наблюдали, как рука его, играючи, летала по пергаменту, выписывая кокетливые строки. Монастырские писцы рты разинули — уж они-то работают спотыкаясь! Балдуин стал расспрашивать новичка — как его зовут, кто отец. Юноша на звучной латыни отвечал, что зовут его Озрик, что он из Туронского края, отец его, Гермольд, умер.

Хм! Приор знал Гермольда, кто ж его не знал в веселые времена Карла Лысого. Но, помнится, Гермольд хоть и бойко бряцал на арфе, но по-латыни и двух слов путно связать не мог. А сын его так чешет на языке Цицерона, будто вырос не в лесной глуши, а где-нибудь на берегах Тибра. И все же сомнительно было его брать.

Однако сказано: «Твоя нужда тебя же и погубит». В ту пору как раз проезжал клирик Фульк, новый наперсник канцлера Гугона. Хотел он заказать молитвенник в подарок Карлу, наследному принцу, но остался недоволен почерком его, Балдуиновых, писцов и заказал другому монастырю. А ведь новичок воистину каллиграф!

Ну, посмотрим. Приор утрет нечистому козлиный нос. Сегодня же прикажет новичка раздеть и посрамит адские козни.

2

— Достойнейший отец Фортунат, да пошлет вам бог все блага!

— Возлюбленный отец Балдуин, благословен ваш приход...

Произнеся «аминь», приор сел, а каноник остался стоять и, сложив руки, ожидал, чего изволит начальство. Выслушав сомнения приора по поводу новичка, он кротко заметил:

— Да ведь они ж все вместе моются в бане.

Приор чуть себя по лбу не хлопнул. Ба! Как же он это из виду упустил! Вот был бы срам, если б узнали, что приор раздевает учеников, ища меж ними женщину.. Даже перед Фортунатом стыдно, хотя этот апостол смирения и виду не подает.

В монастыре святого Эриберта, собственно говоря, две школы. Внутренняя— *schola interior*, и внешняя— *schola inferior*.

Во внутренней обучаются кое-каким молитвам и песнопениям, чтобы пополнить ряды сельского клира. Это всё народец забитый, покорный, и не они доставляют приору огорчения. Главный источник беспокойства— это школа внешняя. Там учатся сынки владетелей, которые отлично знают, что находятся в ней лишь в силу указа Карла Великого— «каждый да посылает сына своего в учение». Ждут с нетерпением, когда истекут положенные три года и они вернутся в свои поместья, где примутся махать мечами и преследовать хорошеньких поселянок. И уж до гробовой доски не понадобятся им не только семь свободных искусств, но даже простейшая грамота.

Не помнит приор Балдуин, как было во времена Карла Великого, но ныне сыновей в монастыри знать не отдает, учит дома или вообще не учит ничему, кроме фехтования и верховой езды. А в школу полезли незаконные отпрыски сеньоров и прочая шантрапа. Образование дает им право ехать ко двору, просить должностей и земель, а должности и земли все равно расхватаны ловкачами. Оттого-то все они буйные, эти ученики внешней школы, оттого-то процветает в них чертополох сомнения и непокорства.

— Сколько раз, преподобнейший Фортунат, я указывал— не забивать им головы Вергилием, Аристотелем и прочей языческой чепухой. И ни-ка-ких более театральных представлений, слышите?

— Но сказано у Алкуина: хоть источник нашей премудрости— писание, средства ее— у древних мудрецов. Об этом же и в посланиях апостольских: «Вноси в сокровищницу свою и новое и старое...»

Вот так всегда! Попробуй его уколоть, а он отпаривает ловко подобранной цитатой. А уж благоден, а уж невозмутим! Живой укор приору, который вечно в хлопотах и суете.

Приор встал.

— Хватит с них «Отче наш» и немного красноречия. А насчет женщины— думать об этом запрещаю. Разберись сам.

Закреть бы школу совсем! Но предусмотрительный Фортунат добился, чтобы к ним прислали на учение сводного брата самого графа Парижского. Черный Конрад шутить не любит, так что, пока этот барчук в монастыре, о закрытии школы нечего и мечтать.

Приор вздохнул и обернулся, уже взявшись за кольцо двери:

— Лучше позаботьтесь о Часослове для маркграфини Манской. Не позже троицы он должен быть переписан!

Миновав анфиладу коридоров, Балдуин очутился перед железной дверцей, из-за которой слышался гул голосов и взрывы смеха.

Приосанился, пригладил тонзуру и трижды стукнул в железную дверь.

Он знает, что делается там в этот момент. Спешно прячут игральные кости, раскрывают книги. Еретики нераскаянные! Сказав молитву, приор вошел. Великовозрастный тUTOR— староста— вытянулся возле двери с пучком роз на плече.

— У, лодырь!— Приор хлопнул его четками по лбу.— Рожа постная, будто все утро молился, а сам небось богоульства изрекал!

Кто знает этих недорослей? Пройдешься по нему розгой, а он, глядишь, годика через три станет могущественным сеньором!

Ученик Протей подскочил, стер с кафедры пыль, подвинул стульчик. Зря стараешься, неуч, ступай на свое ме-

сто в угол, коленями на горох, где ты обречен стоять всю неделю!

Первым делом вызвал Озрика, новичка. Нет, разве это женщина? Худ, плоск, каждая косточка торчит сквозь монастырский балахон. Ждет безбоязненно (лучший ученик!), во взгляде готовность исполнить любое приказание.

— Ступай, сын мой.— Приор и ласково говорил — как бранился.— Займись сегодня лучше Часословом для марграфини. Она нам целую пустошь отписала, черт побери!

Спохватился, что помянул нечистого. Мысленно отплюнулся и вызвал к кафедре Авеля.

Авель — это гора плоти, это чудовище, вечно жующее и вечно ухитряющееся дремать. Родители его где-то пропали в плену, имение растащили соседи, так что толстошекому одна дорога — в аббаты.

— Читай! Да перестань сопеть, боже правый! От Луки святое благовествование, стих шестый.

— *Assumpsit eum in sanctam civitatem,* — бойко начал Авель. — *Et statuit eunt super pinnaculum templi...*

Балдуин умиротворенно прикрыл глаза и закивал головой. Авель уткнулся в книжку и затараторил бойчее. И вдруг чуткое ухо приора уловило в аудитории смешок. Наверное, заметили какую-нибудь оплошность наставника и фыркают себе в рукава. Над Фортунатом небось не смеются!

Приор обратил проницающий взор в сторону Авеля и тотчас обнаружил причину смеха. Толстяк держал книгу открытой не на шестом стихе, а на семнадцатом! Этому лентяю легче выучить наизусть со слов товарищей, чем читать самому!

Школяры, видя, что хитрость Авеля разгадана, хохотали уже открыто. По знаку приора староста-тutor подскочил с розгой и задрал Авелю ряску. Обнаружилось розовое тело с висячими складками жира. Авель заревел, не стыдясь товарищей, а приора пронзила мысль: а что, если переодетая женщина это и есть Горнульд из Стампаниссы, прозванный в школе Авелем?

И только он это подумал, как из-под угла шаткой кафедры выбралась крохотная мышка, почистила усики и глянула на приора, будто гвоздик вонзила. Приор схватил свои книги, таблички и, уже не думая о солидности, кинулся вон.

Каноник Фортунат развернул пакет, и чистейший холст лег на стол, осветляя потолок кельи.

— Вот, сын мой Озрик, из этой ткани мы выкроим пеплум, в который у нас оденется Мудрость, хламиду, которую будет носить Риторика, плащ в форме призмы, который мы сошьем для Арифметики.

И он пропел, покачивая бородкой, стих, с которым выйдет на подмостки Арифметика:

С моею помощью ты тайны числ откроешь,  
Воздвигнешь стены и корабль построишь.  
Тебя не утратит и путь морской, опасный,  
Коль дружишь с Арифметикой прекрасной.

И пусть приор Балдуин сердится и запрещает,— продолжал каноник,— а мы его победим кротостью и терпением. Когда был я отроком вроде тебя, старый Рабан Мавр рассказывал нам об академии при дворе Карла Великого. Мудрейший Алкуин сам сочинял пьесы, ученики разыгрывали их, и император не только не гнушался их посещать, но, напротив, сердился, если выходила задержка.

Келья Фортуната таилась в лесу под сенью ясеней и кленов. Другие отшельники, боясь норманнов и бретонцев, давно покинули лесные убежища, перебрались под защиту монастырских твердынь. Фортунат же никак не мог растастать с уединенным приютом, где клен резными лапами лезет в окно, где можно увидеть синицу, гуляющую по столу. Как променять это на душные дормитории, где всюду дремлющее око приора Балдуина?

Хорошо здесь и Озрику среди тишины. Пришла весна, солнце растопило снег, сок побежал под корой деревьев. Оттаяло слабое сердечко, сбросило оковы страшной зимы. Былое ушло в невероятную глубину, как будто рассказано кем-то в мимолетной сказке. И мнится ей, что не каноник Фортунат, а старый мельник Одвин на кожаной табуретке рассказывает быль и небыль баснословных времен. И дочь его не костюмы шьет для школьного лицедейства, а штопает ему тунику или старый плащ.

— Клянусь святым Эрибертом! — восклицает добрейший Фортунат.— Ты, Озрик, владеешь иглой совсем как девочка. Правда, монах, подобно воину, иглою должен орудовать не хуже, чем мечом...

А в ту проклятую осень, когда ее привели в dormitorio, где ученики спали вповалку, натянув на себя тряпье! Сопящие, храпящие, кажущиеся зверообразными тела юношей, между которыми она должна отыскать себе место!

Всплывают дни, как кошмары. Вот подобный горе мяса Авель — самый нищий и самый бесправный из школьников. Он нашел наконец существо униженной себя и, схватив Азарику клешнеподобными ручищами, принялся тереть ей кожу от затылка против волос. Она извивалась и стонала, криком же боялась выдать себя. Под всеобщий смех Авель приказал новичку жить под нарами и счищать глину с его огромнейших сандалий. Он съедал ее порцию, оставляя лишь хрящи да огрызки. Словом, проделывал с ней все то, что раньше проделывали с ним самим. Притворщик Протей, хвостун перед товарищами и нытик перед учителями, всякий раз, будучи уличен в неблагоприятном поступке, делал невинные глаза и сообщал: «А это не я, это новичок!»

И неизвестно, как бы ей удалось дожить до весны, если бы не Роберт. Это был молчаливый юноша со светлыми волосами до плеч, нежный, как девушка, и сильный, словно молотобоец. Он долго гостил в Париже у матери, а вернувшись, сначала безразлично наблюдал, как издевались над новичком.

Латинская грамота давалась ему туго.

— «У», — расстроено дергал он себя за волосы. — Ну как ее в книге отличить от «О»?

Приор никогда его не ставил на колени и не унижал розгой. Но ругал последними словами, насмешливо при этом уверяя, что будущему графу знать ругань, конечно, полезней, чем грамоту.

— «У»? — однажды помогла Роберту Азарику. — Это же очень просто. Запомни: буква эта походит на острый книзу норманнский щит, а «О» похоже на круглый, франкский.

— Скорее на бургундский, овальный.

— Вот-вот! Придумай теперь сам, на что похожа каждая буква.

В тот же вечер в dormitorio Роберт дал Авелю такую трепку, что тот всплакнул и удалился на кухню в надежде облизать там какой-нибудь котел. Роберт же приказал Азарике:

— Под нарами больше не спи!

По праву знатности он занимал самое лучшее место — у печки. Теперь он отодвинулся, бесцеремонно отпихнув весь ряд лежащих за ним, и печка досталась новичку.

Никто уж не дерзал нападать на Азарику. После отбоя она рассказывала Роберту занимательные вещи: как Александр Двурогий завоевал весь мир и в колоколе спустился на дно морское; как на краю света обитает невероятный зверь — спереди львица, а сзади муравей. Даже пела ему шепотом сказания.

В темноте можно было угадать, как сияют глаза Роберта.

— Много дивного есть на свете, славный Озрик! Когда меня опояшут мечом, я непременно отправлюсь странствовать.

А пока надо было каждое утро открывать томик Деяний Карла Великого и зубрить с помощью Азарики: «*Quam vis enim melius sit bene facere quam nosse prius tamen sit nosse quam faceret*».

«Хотя более ценно действовать, чем знать,— повторил про себя Роберт,— необходимо знать, чтобы действовать...»

И впервые осознал, что буквы у него сложились в осмысленную фразу. Он схватил Азарику и закружил ее по дормиторию:

— Ты у нас умница, Озрик!

И пошла слава об Озрике, умеющем и помочь и растолковать, а где надо — и посочувствовать. Даже слабость нового товарища все восприняли как нечто в порядке вещей и не устраивали ему больше козу, то есть подножку с выворачиванием руки, когда все валятся в кучу, кусаясь и царапаясь. И вообще жить было можно с этими зверенышами, если бы... Если бы не баня!

До сих пор ей удавалось счастливо избегать этой повинности. Осенью, когда она еще жила под нарами, Авель приказал ей в баню не ходить, а чистить его замаранную рясу. Во второй раз она притворилась, что у нее лихорадка, но это было еще рискованнее, так как лечил заболевших сам приор Балдуин, а у того одно лекарство — клизма. Кановик тогда ее выручил — увел к себе, обещая исцелить травами. В третий раз она добровольно вызвалась таскать воду и топить печь, и это с восторгом было принято ленивыми дежурными. А уж после них она одна выкупалась властью — впервые за много недель!



Ударил большой Хиль, и его могучий звон вплеся в шум леса.

— *Angelus domini*...— забормотал Фортунат, собираясь к мессе.— Ты, дитя, помолись здесь и постарайся все дошить сегодня...

Когда стемнело, в дверь просунулась лисья мордочка Протея.

— Озрик, ты один? Фортунатус ушел?

Вслед за ним ввалилась и вся компания — Роберт, за ним тугор, толстый Авель, который приносивался, не пахнет ли съестным. Приятели с шуточками примерили шитые костюмы, а Протей спросил:

— Озрик, ты снадобье приготовил?

— А что, уже надо?

— Ты забыл? Сегодня сорок мучеников, гулянка у святой Колумбы. Ну, делай да приноси в дормиторий, а мы побежали...

Кроме всех достоинств, школяры открыли в Озрике способность лекаря. У кого заболит голова или заночует зуб, тому Озрик давал то настой чемерицы, то отвар шалфея. И это помогало избежать радикального лечения Балдуина.

Теперь проказники просили приготовить снотворное, так как собирались в полночь на танцы, а монастырский привратник, за свирепость имевший прозвище Вельзевул, страдал бессонницей.

Нюхая и перетирая головки мака и метелки белладонны, Азарика опять вспоминала отца. Так же как в келье Фортуната, у них с отцом под потолком сушились пахучие травы, каждый день кто-нибудь являлся за помощью и лекарством. Так же как отец, каноник Фортунат твердит: знание всесильно.

Ах, отец, отец, бедный мечтатель! В скрытом ларе у него таились халдейские фолианты. Там были магические формулы и приводящие в трепет имена князя тьмы... Что же не выкрикнул их он в тот страшный день охоты? Слетел бы со скакуна чванный император, как собачонка поползла бы рыжая императрица, а бастард...

Она не помнила его лица. Но есть в монастырской базилике икона Страшного суда, и там нарисован ТОТ, о котором даже думать страшно! У него клюв грифона, когти василиска, жало змеи. Он пожирает тела и губит души, как тот бастард в Туронском лесу...

Настанет час (она не знает еще когда), и она отыщет

средства (не знает еще какие). Настигнет злобного бастарда (не знает еще где) и высосет его адскую кровь. И насладится тем, как корчится он в унижении, как пресмыкается во прахе, как молит небо даровать ему смерть.

Хиль ударил, и девушка вздрогнула. Печальный звук колокола несся над полями, подернутыми вечерним туманом. Она перекрестилась по-ведьмовски, левой рукой, и с вызовом глянула на распятие. Христос был неподвижен в смиренном мерцании лампы.

#### 4

— Братья! — в спертой тьме дормитория раздался шепот Протея.— Храпит Вельзевул, разбойник!

Не зажигая огня, юноши собирались, толкаясь в спешке.

— Окорок не забудьте, окорок! Он за трубой, завернут в тряпицу!

— А где монохорд? Монохорд наш! Как же без музыки?

Роберт растолкал Азарику:

— Ну, братец Озрик, если уж ты и сегодня не пойдешь, то ты и впрямь баба.

Азарике смерть как не хотелось в сырость, в ночь. Но буйные школяры тянули за рукава. Прошмыгнули мимо спящих стражей. Протей извлек похищенный ключ, а петли ворот были заблаговременно смазаны салом под предлогом помощи уважаемому Вельзевулу.

В камышах у Протея имелась плоскодонка. Усаживались, ждали, когда догонит тUTOR, который отправился за приглашенными из внутренней школы. Высокомерные отпрыски сеньоров обычно с ними не общались, исключение делалось лишь для двоих. Один звался Фарисей — румяный весельчак, которого лишь по недоразумению занесло в монастырь. Другой звался Иов-на-гноище — отрок с мечтательно прорисованными бровями.

Вот наконец длинная тень тУтора, за ней две тени пониже. Ба, что еще за плотная тень стремится в лодку?

— Ой, братцы, откуда здесь взялся Авель? Куда ты, гиппопотам, тебя ведь не звали... Караул, он нас потопит!

ТUTOR отпустил ему по шее, но шуметь было опасно.

— Черт с ним, берите весла, ребята!

В ночной тишине грекотали лягушки, из разлива зву-

чали их свадебные хоры. Простонала выпь в лесу, где келья каноника Фортуната, а над головами пронеслась тень от летучих мышей. Весла тихо плескали, и казалось, что плоскодонка стоит в расплавленном дегте, под неподвижными звездами, только островки камыша уплывают назад.

Ударило полночь, и тут же отозвался какой-то монастырь за рекой. «У святого Маврикия...» — определил кто-то шепотом. Донеслись колокола совсем далеких церквей. Стало зябко и не по себе.

— Ко мне скоро брат приедет, — ни с того ни с сего прошептал Роберт Азарике, пригревшейся возле него. — От матушки были гонцы.

— Это кто же? — оживился Протей, слышавший эти слова. — Неужели сам их милость граф Конрад?

— Нет, не он. У меня ведь есть еще брат. И такой, — усмехнулся Роберт, — у которого ты, Протеище, протекции не попросишь.

Задул холодный ветер, и школяры стали клацать зубами. Приходилось также ладонями вычерпывать затекающую воду. Но тот же ветер погнал плоскодонку, и вот уж из кромешной тьмы выделился холм монастыря святой Колумбы. Там, словно из преисподней, забрезжила точка света. Она приближалась, и скоро стало ясно, что это высокое окошко, в котором горит свеча.

— Нас ждут, — объявил Протей.

Из окна прямо в воду спускалась веревочная лестница. Стали подниматься из готовой перевернуться лодки. Подавали бурдюк, монохорд, окорок, подпихивали Авеля.

Их ждали хозяйки, девочки-монахини, младшей из них было лет двенадцать, совсем еще крошка. Беседа не клеилась, хозяйки жалась к стенам, дичились. Да и гости не то чтоб оробели, а успели замерзнуть, наволноваться.

В дело вступил бойкий Протей:

— А ну, пташки, можно ли у вас столы сдвинуть? Авель, чурбан негодный, раз уж ты приперся, проявляй свою силу! А что, сестрицы, мать-настоятельница сюда, часом, не пожалует?

Великовозрастный тудор хохотал басом:

— А вот мы ее кадурцинским попотчуем!

Выскочила бойкая монахиня, у которой из-под огромного чепца только и виден был уютный носик и соломенные кудряшки. Принялась рассаживать гостей.

— Мы на кухне работаем.— Она выдвигала из-под кровати плоски с угощением.— У нас все есть.

Подражая дамам, она приседала и любезничала. Иовна-гноище достал из складок рясы флейту, наморщил переносицу и заиграл пронзительно и споро. Румяный Фарисей взял монохорд—круглый ящик с единственной струной. Надо было одной рукой вертеть колок, регулируя струну, а другой щипать что есть силы, и получалась весьма унылая музыка.

Осмелевшие хозяйки скинули безобразные чепцы. Белокурые и темные пряди рассыпались по плечам. Иовна-гноище, отложив флейту, тоже взялся за монохорд и с Фарисеем принялся отбивать задорный, хлесткий танец в четыре руки.

Девушки двинулись по кругу, пристукивая пятками. Ни у одной обуви не имелось—мать-настоятельница слыла скрягой. Поводили плечами—то налево, то направо, то совсем уж назад.

— Эйя!—выскочила в круг самая младшая и стала ходить ходуном, ручонками выписывая кренделя.

— Эйя!—в тон ей гикнул Фарисей, немилосердно тряся монохорд.

— Эйя, мальчики!—Протей и тугор ворвались в хоровод, хватая девушек за талии, за ними и остальные.

Блестели глаза, раскатывался беззаботный смех. За столом остался лишь Авель, который подьедал все, что видит, да Азарика, которая в задумчивости пробовала дуть во флейту Иова.

Музыка подмывала, танец окрылял. Азарике вообразился некий юноша—не Роберт, не Протей,—как он подходит, берет за талию... Она бы грациозней смогла подать ему в поклоне руку!

И усмехнулась, поглядев на заскорюзлые пятки, на дерюжные наряды пленниц святой Колумбы. «У нас хоть, кроме Балдуина, есть Фортунат с его лампадой знания!»

А пляска нарастала, полы балахонов и развившиеся косы слились в единый вихрь. Юноши притопывали—эйя, эйя!—подхватывали подруг и, покрутив, отпускали. Младшая монахиня—та просто бесилась.

— Уза, Уза!—говорили ей подруги.—Ведь тебя слышно и во дворе! Ты же обещала на лестнице посторожить.

— Сторожите сами!—отвечала малютка.

Рядом с Азарикой уселась, разгоряченная танцем, та самая кудрявая монахиня, которая была здесь заводилой.

— Это тебя зовут Озрик?—спросила она, обмахиваясь полой ряски.— Какой же ты худышка! Сеньор Роберт велел тебя развлекать. Давай выпьем, не хочешь? Прости меня, грешную, святая Колумба!.. Озрик, Озрик!—вдруг припала она к плечу Азарики.—Твой друг Роберт меня не любит... Куда мне до него? Он из Каролингов, ему быть графом, а может быть, и королем... А я кто? Монастырская сирота, дочь рабыни, меня скоро мужику в жены продадут!

Она тряхнула соломенными кудряшками и опорожнила кружку.

— Хоть бы похитил кто-нибудь... Похитить меня, Озрик, ну что тебе стоит? Ваш тунор уговаривает Гислу с ним бежать, обещает жениться. Врет, конечно, станет бароном и женится на принцессе. Ах, не все ли равно!

Азарике был противен запах ее жаркого тела, ее липкие руки. И жалко до боли. «Дурочка!—чуть не вырвалось у нее.— И я ведь такая, как ты!»

— Хочешь дружить?—вдруг предложила монахиня.— Ты хоть и тощий, но, видать, сердечный. А меня, между прочим, Эрменгарда зовут. Правда, красивое имя? У нас все с кем-нибудь дружат. Я укажу тебе место: у поворота на Лемовик, где родничок, под самым большим из камней есть углубление. Будем класть друг другу весточки и подарки.

Танцующие сели отдышаться. Надо было отдохнуть и славно потрудившемуся, хоть и однострунному монохорду.

— Фарисей!—попросил тунор.— Спой «Андегавского монаха».

Тот, как подобает любимцу публики, поломался немного, но наконец, еще более раззурмявившись, запел:

В Андегавах есть аббат прославленный,  
Имя носит средь людей он первое.  
Говорят, он славен винопитием  
Всех превыше андегавских жителей.

Слушатели подхватили, отбивая такт в ладоши:

Эйя, эйя, эйя, славу,  
Эйя, славу возгласим мы Бахусу!

Вдруг малютка Уза прислушалась и всплеснула руками:

— Кто-то топает по лестнице! Ох, пронеси господь!  
Она выскочила в дверь. Фарисей, увлеченный пением,  
продолжал:

Пить он любит, не смущаясь временем,  
Дни и ночи ни одной не минется,  
Чтоб, упившись влагой, не качался он,  
Аки древо, ветрами колеблемо...

Уза вбежала в неописуемом страхе:

— Настоятельница!

— Фарисей, хватай монохорд — и первым в лодку! —  
скомандовал нерастерявшийся Протей.

Девушки спешно запихивали под кровати посуду  
с едой.

Но прежде чем кто-нибудь успел что-то предпринять,  
Авель сорвался из-за стола, всех растолкал, как катя-  
щаяся бочка, и, первым подбежав к окну, втиснулся в  
него.

— Проклятый! — кричал тUTOR, толкая его в спину.

Не тут-то было. Авель с перепугу застрял, и дружные  
усилия всех юношей не могли его выпихнуть наружу.

Поняв, что все потеряно, Протей снял колпак и галант-  
но раскланялся перед открывающейся дверью:

— Пожалуйте, мать пречестная, милости просим.

Настоятельница стояла в двери в сорочке и ночном  
чепце. За ее спиной две старухи держали по свече.

— Боже, здесь мужчины! — вскричала настоятельница,  
торопясь загородиться руками.

## 5

Приор в гневе затворился, метался, точно маленький  
тощий лев в клетке. Фортунат терпеливо ждал его в при-  
хожей. Он слышал за дверью хлопанье четок по стенам —  
Балдуин гонял назойливых бесов. Выйдя к мессе, приор  
не стал слушать заступничества Фортуната, приказал:

— Согрешивших — на хлеб, на воду.

По преданию, монастырь святого Эриберта был осно-  
ван кровавой Фредегондой во времена Меровингов. В ска-  
ле, на которой он покоился, королева приказала выдол-  
бить четыре глухих колодца, четыре каменных мешка.  
В них годами томились ее соперницы и враги. Низкая кир-  
пичная башня над ними так и называлась — Забывайка.  
Туда-то и стали опускать ночных танцоров, доставленных  
от святой Колумбы.

Когда дошло до Озрика, приор заколебался, вспомнив, вероятно, о каллиграфических способностях новичка. А в подземелье сырость может искривить пальцы. Но Часослов для маркграфини был почти закончен, а настырный Протей во весь голос вопил, что ведь именно Озрик приготовил сторожам сонное питье. И еще — Фортунат просил за Озрика настойчивей, чем за других.

И приор во гневе топнул. Новичку, как и остальным, просунули под мышки веревку и опустили в ледяную тьму.

— Язычники! — кипел приор. — Радейте там своему Бахусу.

Роберту приор также сначала хотел назначить лишь сто поклонов по утрам, но юноша гордо пришел в Забывайку и сам поднял руки, чтобы проделали веревку и ему.

И вот он с Азарикой вдвоем теснится, спиной к спине. Хоть сбросили им соломки, и то хорошо. Сначала было весело вспоминать, как Авель застрял в окошке или какая мина была у настоятельницы. На вторые сутки Роберт загрузил и не отвечал на вопросы.

Понемногу они утеряли чувство времени. Молчали, согреваясь убывающим теплом друг друга. Свой ломоть, который изредка падал сверху, Роберт съедал сразу. Азарика же отщипывала по кусочку, долго жевала со слюной, сберегая полкраюшки. Она предлагала хлеб Роберту. Сначала он отказывался, а потом брал, горестно вздыхая. Юноша быстро ослабел, его сильное тело, способное и мечом разить, и камни ворочать, сдавало перед сумраком и тоской.

Глазам, отвыкшим от света, стали чудиться то радужные фигуры, то расплывчатые лица. Роберт уже почти не двигался, только шептал слова молитв. Азарика же не молилась — зачем, если в мире столько несправедливостей неумолимых?

Она вспомнила бастарда и содрогнулась от ненависти сильнее, чем от подвальной мглы.

Роберт начал ее пугать. Он перестал есть, руки его на ощупь казались не теплей окружающего камня. Тогда она принялась кричать, не боясь уже, как прежде, криком выдать, что она женщина.

Но хриплый, придушенный голос ее гас в глухом колодце. Тщетно она вслушивалась, ожидая в ответ хоть брани. Воистину Забывайка! Иногда ей казалось, что она слышит голоса узников — Авель басом просил кусочек

хлебца, Фарисей хулил бога, а Иов-на-гноище тоненько плакал.

Наконец почудился голос Фортуната, и она подумала: вот и бред. Но каноник наверху явственно упрашивал, убеждал, и в колодец упала внеочередная краюшка (на что она теперь!) и на веревке спустился глиняный кувшин, а в нем вино. Азарика отхлебнула терпкой, кислой, бодрящей жидкости и почувствовала, как оживает ее заочевеншее тело. Она поспешила влить дар Фортуната в полуракрытый рот Роберта, и тот встрепенулся.

— Проклятье!.. — хрипел он. — Если бы я был королем! Ты знаешь, сколько таких мышеловок в нашей бедной Нейстрии?

— Ну, истреблением мышеловок ты займешься, когда станешь королем, — сказала Азарика, — а пока давай кричать приора. Просись наверх! Зачем тебе страдать вместе с нами?

— Э, ты нас не знаешь! Мы ведь Робертины. Мой брат говорит... Да не Конрад, не этот вечно надутый Черный Конрад. У меня есть еще брат, постарше Конрада. Тут, знаешь, семейная история. Матушка ведь наша — дочь Людовика Благочестивого, вот кто мой дед! Но Каролинги терпеть нас не могут, в их представлении мы бастарды... Матушка сначала долго замуж не выходила, братец Карл Лысый ее взаперти держал. Тут наш отец... Он простой был воин, не боялся ни чоха, ни свиста, сам из саксонцев. Брат мой — нет, не граф Парижский, а старший, — говорят, вылитый отец. Он родился, а Каролинги выдали ее против воли за другого... Появился Конрад, не нашего отца, тут он, то есть его отец, погиб. Матушка вышла наконец за нашего отца, и вот я...

Азарика плохо понимала, кто на ком женился, кто от кого произошел. Да ей было и не до того, она спешила между глотками вина накормить юношу хлебом. А тот, постепенно возвращаясь в забытие, шептал:

— Ему все нипочем... О, если б он знал! Он по камешку бы разнес и Эриберт, и эту Забывайку... Сам Гугон его побаивается, канцлер. Он в сражении снимает шлем и идет в сечу, как на праздник... Враги бегут, лишь его завидят...

Азарика гладила его по щекам, а он еле шевелил губами:

— Ты кто? Человек так не может... Брат говорит —



человек хуже волка... Ты ангел с небес, ты эльф из фиалки...

А на нее сквозь гранитную толщю наплывало видение. Воин, сияющий, как сталь, поднял их из мглы. На могучем лице его улыбка раздвинула светлую бородку. А в глазах вспыхнул огонь такой, что сердце изныло, готовое гореть в нем до конца. И он положил к ее ногам голову адского грифона, блюющего яд...

Внезапно — а когда, Азарика представить себе не могла — наверху вспыхнул свет фонаря. Шурша и осыпая камешки, спустилась лестница.

— Сеньор Роберт! — донесся голос Вельзевула. — Ваша милость! Извольте подниматься.

Азарика крикнула, что Роберт без посторонней помощи не встанет. Вельзевул спустился сам и, грубо наступив на Азарика, обвязал Роберта петлей. Спустя малое время Роберт был уже наверху, слышно было, как сторожа предупреждали, чтобы он прикрыл глаза — на дворе солнце.

Так прошла вечность, медленное умирание, пока вдруг снова не вспыхнул фонарь и по стенке колодца, как шероховатая змея, стала спускаться лестница.

## 6

Зажмурив глаза, она выбралась на монастырский двор и услышала, как вокруг кипит, щелкает, перекликается многоголосый мир. Ветерок обвевал лицо, и, словно шелуха, облетели мразь и гнусность подземелья. Обессилев, она опустилась среди нищих напротив портала базилики.

Большой Хиль возвестил конец службы. «Где ты был, громогласный, — подумала Азарика, — когда в Забывайке так не хватало хоть весточки с воли?» Народ повалил из храма. Подбежали Фарисей и Иов-на-гноище. Их, оказывается, приор выпустил давно, чтобы они пели в хоре на троицу. Сердобольный Иов ронял слезы, гладил Азарика по волосам, которые у нее слиплись и торчали подобно иглам у ежа.

— Пойдем на кухню, — звал Фарисей, румянец которого не поблек и после Забывайки. — Там Авель отъедается с утра.

Но она спешила в келью Фортуната, где, она знала, найдется ей место привести себя в порядок. Школяры убежали, а она набрала в легкие вольного ветра, готовясь встать.

И в изумлении застыла, схватившись за траву. Рядом присел тот — сияющий воин из ее снов! Этаким светлым великан с непокрытой головой, выдавшая виды кольчуга вспучилась под напором мышц. Улыбка раздвинула бородку на обветренном лице.

— Скажи, братец, — обратился он к Азарике, — отец Фортунат не в храме?

Азарика только и нашла в себе силы покачать головой. Незнакомец оглядел ее с состраданием. (Боже, грязная, вонючая, да и одета в мешковину!) Встал, поднялся в базилику и через малое время вышел, обмакнув пальцы в чашу со святой водой.

Направился к воротам, видимо, в сторону кельи Фортуната. Безотчетная сила подняла Азарiku, заставила следовать издали, зачем-то прячась за каштаны. Отмечала подробности: воинская рубаха — сагум — поверх кольчуги, тесная, с чужого плеча. Обтрепалась, висит неподшитой бахромой... Ай-ай!

А незнакомец шел, улыбался — то ли своим мыслям, то ли солнечному дню. Сорвал травинку и жевал, как мальчишка. У Азарики же все напряглось, будто она парус, который распирает ураган.

Он прошагал через мостик под шелестящий кров рощи и скрылся в домике Фортуната. Азарика присела унять колотящееся сердце. Великолепный закат за рекой облекал себя в пурпурные ткани. Птаха над головой щелкала что было мочи.

Не в силах более сдерживаться, Азарика перебежала мостик и тоже вошла в келью. Там, заполнив собою тесноту, стоял на коленях могучий незнакомец. Фортунат сморщенной ручкой трепал его льянью челку.

— Ну как я тебе дам отпущение? — укоризненно говорил каноник. — Опять ты что-то натворил, на этот раз в Туронском лесу... Говорят, ты мельника убил. Мне стыдно, когда спрашивают: Эд, бастард, не мой ли духовный сын!

Азарика не сразу поняла, что произошло. «Не может быть!» — все завопило в ней, заскрежело. Словно тысячи омерзительных бесов в мгновение ока пронеслись сквозь бревенчатые стены мирной кельи. И все умолкло.

Бастард поднялся с колен, отстранив Фортуната.

— Убил, так недолго и покаяться, — зло усмехнулся он. — А не хочешь, не надо, бог простит и так. Но ко двору

просить бенефиций, как ты советуешь, не поеду. Что мне бенефиций? Мою ненависть и царством не утолишь.

Азарика схватилась за изразцовую печь, тьма заполнила вселенную.

— Озрик! — донесся из тьмы голос Роберта. Оказывается, он тоже тут. — Брат, гляди, вот это и есть мой Озрик!

Тогда приблизилось лицо, ясное, как в пролетевших снах. Улыбающееся человечно, только чуть тронутое горечью или обидой. И голос, звучный и резкий (тот, что в Туронском лесу!):

— Знай, мы, Робертины, вечно твои друзья!

Азарика вырвала руку, которую уже взял бастард, и выбежала из кельи, слыша успокоительные слова каноника:

— Оставьте мальчика, дети мои. Он ведь только что из сатанской дыры...

С размаху упала в заросль, но там оказалась стрекучая крапива. Села, дрожа, потирая голые локти. Соловей вкрадчиво пощелкал и, осмелев, пустился высвистывать трели. И этого было достаточно, чтобы слезы прорвали плотину оцепенения, и Азарика повалилась, уже не разбирая, где крапива.

## 7

Маркграфиня Манская пришла в восторг от Часослова и заказала теперь Псалтырь. Приор мигом вспомнил об Озрике и даже явился в dormitorio осмотреть его пальцы и смазать козьем жиром.

— На Забывайку не обижайся, — сказал он. — Конечно, там не райские кущи, но ведь и ты, юноша, хорош гусь. К девицам с песнями ездить! В мои времена знаешь как за это наказывали? Привяжут за ноги к балке и висишь, пока зенки лопаться не начнут.

Азарика сослалась на шум в книгописной палате, где недолго наделать ошибок. И ей было позволено писать у Фортуната.

Теперь по вечерам, сменив лучину на ровный свет свечи, которая выдавалась только для книгописания, они с каноником становились за аналои перьями скрипеть. За полночь, убедившись, что все вокруг спокойно, Фортунат запирает дверь и, отложив недописанный лист Псалтыри, вытаскивал из тайничка другую рукопись.



Это была Хроника, которую каноник вел по секрету от Балдуина, так как приор полагал, что толковать события может лишь он сам как начальник и безошибочный судья.

Раскрывая книгу, Фортунат вздыхал, кланялся распятую. Но едва лишь брался за перо, как уж не замечал ничего вокруг. Перечитывал написанное и чем ближе подходил к нынешним дням, тем становился грустней и задумчивей. Макал перо, стряхивал с него каплю и записывал очередную горестную повесть.

А затем приходил вновь в доброе расположение духа и запевал старинный канон Алкуина:

Белым светом сияй, лилия, в дальних полях.  
Славным венком укрась голову девушки чистой.

За оконцем, затянутым пленкой от бычьего пузыря, неспешно шествовала ночь. В лесу ухал филин, на реке кто-то не то тонул, не то бранился. А в келье уютно трещал сверчок, попахивало свечным воском.

— Ну-ка, Озрик, — учитель время от времени отходил от аналоя и присаживался отдохнуть, — давай-ка поупражняемся. Что есть жизнь?

— Радость для счастливых, печаль для несчастных, ожидание смерти.

Уж это-то она знала назубок — диалог Алкуина с Пипином, по которому когда-то учился и ее отец!

— А что есть смерть?

— Неизбежный исход, слезы для живых, похититель человека...

— Что есть человек?

— Раб смерти, мимолетный путник, гость в своем доме.

— Как поставлен человек?

— Как лампада на ветру...

Но вот зоркий Фортунат подметил отражение внутренних бурь на благонравном лице ученика и прервал размеренный ток диалога:

— Говори.

Ученик замкнулся, насупился, как всегда бывает, когда он не в себе. Затем вдруг выпалил:

— Ну, а если... если я лампада на ветру, если раб лишь смерти, зачем тогда жить?

Фортунат сгорбился, заложив пальцы в пальцы. Что ему ответить? Господь терпел и всем велел? Или что если каждому дать волю прекратить свою жизнь, то тут же

прекратится и весь мир? А ученик, поднаторевший в школьных силлогизмах, тут же и спросит: зачем же он вообще, ваш мир, в котором даже бог должен терпеть?

— А ты, сын мой, сам как думаешь — для чего жить?

— Чтобы мстить,— глухо сказала Азарика.

Каноник откинулся на спинку кресла, прикрыл руками глаза. Настало время созреть детской душе, а какие-то злые осы успели проникнуть во взращенный им пчельник!

Осторожно заговорил о том, что жизнь Озрика еще только началась, кому же мстить? Вот, например, Эд, именуемый бастардом...

И ученик, чего за ним никогда не водилось, осмелился прервать речь наставника...

— Вы... вы отпустили ему грехи?

«Так и знал, что это от Эда, от его безумных речей!» — подумал Фортунат.

— Понимаешь... как бы это тебе точнее объяснить... Он лют, потому что среди лютых живет. Нет, нет! — вскричал каноник, видя, что взбунтовавшийся ученик снова хочет возразить. — Выслушай меня! Ведь чтоб понять, надо узнать человека...

Он отпил глоток из склянки с бальзамом.

— Я был капелланом его отца. Тот был еще почище — Роберт по прозвищу Сильный. Из простых ратников, а дослужился до герцогского жезла. Но жесток был тот герцог, ах, жесток!

Фортунат перекрестился.

— И своеволен без удержу! Раз, в канун пасхи, явился ко мне на исповедь. А сам весь в крови, прямо с какой-то очередной резни. Я увещаю — поди, мол, сперва умойся! А он — весь в запале после боя — занес надо мной меч. Отпускай, говорит, грехи, не то изрублю!

Старик сокрушенно вздохнул:

— Что поделать! Но народ его уважал. При нем стало спокойнее, и норманны угомонились. Зато царствующие Каролинги платили ему злобой. Примером неустанного действия тот герцог мешал их ленивому житию.

Каноник перелистал Хронику, вчитываясь в некоторые места. Затем, видя, что ученик хоть и поглядывает, как волчонок, но слушает прилежно, продолжал:

— Каролинги подкупили сеньоров из числа тех, кому Роберт прищемлял хвосты, а сами послали тайного гонца к норманнам. На Бриссартском мосту норманны устроили засаду, и, когда Роберт столкнулся с ними, бойцы по-

кинули своего командира... Теперь его сын Эд, он же во святом крещении Эвдус, Одо или Одон, по-разному на разных наречиях, но еще имеет какое-то — не божеское, так хоть людское право мстить! Но знай — каждая месть рождает ответную, множатся случайные жертвы, распря нарастает, как кровавый ком... А не лучше ли в один прекрасный день всем все забыть и возлюбить друг друга?

И увидел, что ученик снова замкнулся. Скрипит себе пером, а что творится в его незрелой душонке?

Что-то в нем есть ранимое, давнее... Откуда вообще канонику знать, что было с его учеником до того дня, как он, изнеможенный, постучал в его келейку? И что ему тогда все эти школярские пустяки: «Что есть зима?» — «Изгнание лета». — «Что есть лето?» — «Краса природы...»

— Идите поживать, отец, — предложила Азарика.

Фортунат отказался и, приободрившись, снова взялся за перо. Однако вскоре клюнул носом, и перо, выпав, испачкало лист.

Тогда Азарика отвела его на приготовленную постель. Сама отправилась на ночлег в сени, где сушились на зиму дрова и вкусно пахло смолой. Во тьме скрипел сверчок, сон не шел, и хотелось куда-то лететь, врубая в воздух зудящее тело.

«Чтобы понять человека, — звучали слова учителя, — надо узнать его». Кто-то убил отца бастарда, потом бастард убил ее отца... Зло рождает зло, но значит ли это, что любовь рождает любовь?

Он тоже был нищим, он тоже был презренным, он и сейчас гоним и бесприютен... Быть может, надо просто взять его за руки, встретить его взгляд, который почему-то считают бешеным, и, сняв его сагум, сесть у очага с иглой...

И вскочила на своей поленице, ударив себя в лоб. Мерзавка, да как же ты могла! «Justitio! Veritas! Vindictio!» Забыла и отца, и доброго Гермольда, размякла перед улыбкой убийцы!

Долго пила из кадушки. Обнаружила, что старик забыл припрятать Хронику, ахнула. Высекла огонь, вздула лучину, нашла тайник. Прежде чем захлопнуть рукопись, пошла на недописанной странице:

«Мир непривычен людям так же, как в другие времена им непривычна война. Никто не дивится при слухах об убийстве, никто не горюет при вести о грабежах. Земледе-

лец не хочет пахать, говорит: «Зачем? Чтобы пришел кто-нибудь и урожай присвоил?» Мать не хочет рожать дочерей: «Зачем? Чтобы они достались супостату?» Нет короля, а есть королишка. Нет страны, а есть вертеп безначалия».

И на полях приписка старческой мелкой скорописью: «Боже, просвети мою скудную голову!»

## Глава третья ПИР МЕЧЕЙ

### 1

Канцлер Гугон поспешно прибыл в Андегавы с целым обозом своих клеветов. В удобных тележках катили премудрые канцеляристы, придворные крючки, всевозможные доки по части обходительных манер или роскошного стола.

Дивились: в цветении каштанов, в кипении лета город, славившийся весельем и многолюдьем, словно вымер. На окнах — ставни, на дверях — пудовые запоры. В тревожной тишине только и слышен заступ — горожане торопятся зарыть свое имущество.

Норманны высадились в устье Лигера! Их вождь Сигурд, обосновавшийся где-то в Дании и потому самочинно называвший себя королем данов, еще три года назад сорвал с франкского короля Карломана отступное — 12 тысяч золотых, обещав взамен не грабить нейстрийские берега. Теперь, узнав, что у франков новый король, он по какому-то варварскому праву потребовал повторения дани.

Еще на троицу андегавцы поймали норманнского лазутчика и сгоряча повесили, а теперь разбежались, страшась мести Сигурда.

Канцлер направил посольство к датскому королю и, не теряя времени, разослал гонцов к окрестным герцогам и графам, требуя войск. В ожидании результатов рассматривал дела, которые докладывал ему Фульк, новый нотарий.

С той осени, как императрица подарила его канцлеру, клирик Фульк приоделся, завел себе зрительное стеклы-



шко в золотой оправе и на золотой же цепочке. Взор стал начальственным, сытым и еще более неуловимым.

— Что ты тут понакорябал? — брюзжал канцлер, отталкивая приготовленную для подписи грамоту. — Не копайся в мелочах, начинай прямо с чего-нибудь ошеломляющего. Например, так: «Богом хранимая держава наша — лучший край среди других краев мира! Только в ней процветают совершеннейший порядок, полнейшая справедливость и истиннейшая гармония...» Записал? И все в самой превосходной степени: *superperfectissimo, plenissimo, plusquamveritando...* Запомни: народ — это большая скотина, и, если ему не напоминать ежедневно, что его свинарник — это самый лучший из свинарников мира, он завтра же потребует благоустроенный хлеб!

— Осмелюсь предложить, — изогнулся Фульк. — Не начать ли с восхвалений святой матери нашей церкви?

— Согласен! — Канцлер стукнул посохом. — Пусть свинарник сей она вызолотит хорошенько, пусть наполнит его ароматами своих курений, чтобы свиным дерьмом там даже и не пахло!

Он захохотал, колыхая чревом, а нотариус в тон ему похихикал, собрал документы и исчез. Канцлер отправился подышать свежим воздухом.

На старом, еще римском плацу, среди полыни и штабелей кирпича (лодыри андегавцы жалкую башню строят третий год!), шеренга новобранцев топталась, готовясь к стрельбе из лука.

Канцлер прошествовал вдоль строя, всматриваясь в ратников. Кривобокие, жалкие, лысые — господа, оскудела, что ли, франкская земля, из недр которой когда-то возникали могучие рати для королей? Из всей шеренги вот только этот, с левого края, отметил про себя канцлер, хоть и мешковат и вид простецкий, но мускулишки имеются.

Молодцеватый сотник в каске с петушиным гребнем мигом заметил, что внимание начальства обращено на крайнего в строю, и набросился на того:

— Как держишь лук? Почему колчан расстегнут?

Канцлер удержал его рвение и спросил, откуда новобранец.

— Из Туронского леса, ваша святость, — рапортовал сотник. — Олень суций, оружие ему вроде граблей. Зовут Винифрид.

Канцлер, передав свой посох сотнику, взял у Винифри-

да лук. Ратники молча косились на его роскошную столу. Гугон попробовал тетиву и убедился, что она поет: Затем, посплюнув палец, определил ветер и, выбрав стрелу, распрямил ее оперение. Поставил ступни на одну линию смишенью, и стрела запела, расщепляя лозу. Ратники разразились хвалебным криком.

Гугон пришел в хорошее настроение. Еще бы — в молодости он сам был стрелком у императора Людовика! Велел раздать всем по денарию и милостиво коснулся плеча Винифрида.

— У него горе, — пожаловались за Винифрида товарищи, — какой-то сеньор из Самура забрал всю их деревню в крепостные.

Канцлер промолчал. Вот он, корень зла! Сеньоры, мало того что правдами и неправдами расхватывают земли и людей, — они добиваются себе иммунитетных грамот, и тогда поди призови их людей! Кивнул сотнику на Винифрида:

— Пусть и он стрельнет.

Получив лук, Винифрид встрепнулся. Сдвинул со лба непослушную прядь. Целиться не стал, зато трижды дунул на стрелу, чтобы не помешали ведьмины чары. Выстрелил — лоза оказалась рассеченной. Ратники ахали.

— Подай прошение, — хмуро сказал канцлер. — Я награжу тебя землей.

Слуга доложил, что военачальники собрались в крипте. Прибыл и Гоццелин, архиепископ Парижский.

— Его святость архиепископ! — раздраженно поправил канцлер. — Учишь, учишь, а толку никакого!

Крипта — нижний этаж древнего дворца, в котором сводчатые столбы напоминали ладони, подпирающие массивную толщу. Своды гранитным одеялом глушили шаги и речь.

Нотарий Фульк зачитал ответы герцогов и графов. Тот не мог явиться — не убран урожай, другой женил сына, третий жаловался на болезнь. При этом все ссылались на королевские грамоты минувших времен, по которым они не больше двух раз в году обязаны являться с войском, а это уже третий вызов...

— Вот они, сильные, за которых ты ратуешь! — вспыхнул Гугон, трясая герцогскими письмами перед лицом архиепископа Парижского. — А если норманны и три, и пять, и десять раз нападут?

Архиепископ Гоццелин, старичок веселый и очень

дряхлый, молча жевал сласти, доставая их из парчового мешочка на груди.

Начальник ополчения доложил, что ратников собрано всего пятьсот человек. Прочих призвать не удалось — за них как за вассалов сеньоры предъявили иммунитет.

— Придумали словечко новое — вассал! — сердился канцлер. — И откуда взялось? «Вассал моего вассала, — передразнил он кого-то, кто говорит скрипучим, надменным голосом, — не есть мой вассал»!.. Все эти твои возлюбленные Конрады Черные и иже с ними, — набросился он на Гоццелина, — растаскивают государство!

Архиепископ Гоццелин в кресле разогнулся, насколько позволял ему горб, и ответил неожиданно бодрым и звучным голосом:

— Они тебя не слушаются, потому что ты для них поп, и только. Доверь командование кому-нибудь из них, и ты увидишь...

Канцлер в гневе замахал руками:

— Это кому же? Не Кривому ли Локтю, этому тайному разбойнику? А может быть, скажешь, Эду, бастарду, который разбойник явный?

— А хоть бы и Эду. — Гоццелин отправил в беззубый рот очередную порцию миндаля. — Старешь, Гугон, ей-богу, старешь!

Канцлер спохватился, что военный совет слышит много лишнего, и распустил всех до утра. Проводил архиепископа, которого вели два юных послушника — светловолосый, будто ангел, и черный, как вороненок.

Тогда в давящей тишине крипты зашелестел голос нотариуса Фулька. Он осмеливался вновь напомнить о том, что есть надежнейший цемент, связующее средство, — святая наша мать церковь. Дать только ей такую силу, такую власть, чтобы железом и огнем могла искоренять любое инакомыслие, любое своеумудрие... Нет власти над умами, и оттого такой развал.

— Я сам епископ, — высокомерно прервал его Гугон, — и знаю, что должна делать церковь, а что не должна. Двести лет назад Карл Мартелл, чтобы отразить сарацин, отнял у галльской церкви все ее угодья и раздал своим ратникам, свободным землепашцам!

— Зато половину сарацинских трофеев он отдал церкви.

— Да, но прежде чем думать о раздаче трофеев, надо как-то победить. А времени размышлять уже нету. Пока

мы сейчас заседали, вестник подал донесение прямо мне. Ты знаешь, я отправлял к Сигурду послов с согласием платить дань. А он велел им обрезать уши! Сказал: я, мол, грабежом у вас больше соберу.

Канцлер погрузился в глубокое раздумье, а Фульк уныло поигрывал золотой цепочкой от зрительного стекла.

— И, однако, ты, нотариус, прав,— очнулся от размышлений канцлер.— Нас спасет либо церковь, либо никто. Только не так, как ты, скудоумец, предполагаешь. Бери-ка перо! Повелеваю: во всех монастырях, епископствах, приходах ударить в набат... Боже, сколько там монахов, клириков, послушников, служек всяких! И какие все здоровяки!

День кончился, оставив все свои заботы тяжким грузом на сердце. Отошли с поклонами нотариусы, доместики унесли тазы, в которых омывалось тучное тело канцлера. Диаконы притушили свечи и удалились на цыпочках. Канцлер у одинокой лампы все молился о немыслимо грандиозной империи Карла Великого, которую предстояло сохранить.

А массивные своды давили, будто ладони столбов уже не выдерживали толщ. Игла вонзилась в сердце, отдавая болью, и Гугон закричал скорбно, как ягненок.

## 2

Колокола святого Эриберта надрывались. Звонари падали от усталости, их обливали водой, и они, повиснув на веревках, снова раскачивали медные языки.

В распахнутые ворота въезжали вереницы телег, стреноженные кони паслись на клумбах, ратники лежали у костров. Приор Балдуин в каске, которая сползала ему на нос, деловитый, как боевой петушок, раздавал приказания, распределял оружие и провиант. В базилике хор охрип и еле вторил заунывным мольбам органа.

В канун Иоанна Предтечи прискакал всадник с повелением выступить. Люди закричали, заржали лошади, завизжали поросята в обозных фурах. Заплакали, провожая, монахини и поселянки. Колокола умолкли, лишь большой Хиль скорбно отмеривал минуты расставания.

Азарика, запыхавшись, прибежала из леса, где по просьбе Фортуната закапывала их книги и утварь. Свирепый

Балдуин отпустил ей щелчок, и она принялась искать свою сотню.

У белой стены базилики грозно выстроился ряд всадников на добрых конях. Блестела чешуя их новенькой брони, развевались флажки на их пиках. Ликовали, предвкушая поход.

— Озрик, где же ты? Вот твой конь, твоё оружие — выступаем!

Роберт соскочил с коня, чтобы помочь другу. Ещё вчера, переругавшись с привратником Вельзевулом, который, как старый вояка, был им назначен в сотники, Роберт выбрал для Азарики броню — нетяжелую стеганку, обшитую надёжной стальной чешуей. Помог подогнать седло и укоротить ремни на стремянах.

— Да ты садился когда-нибудь на коня? Эх, Озрик, Озрик! К лошади надо подходить с головы, непременно справа. Этой рукой держи повод, а той берись за луку седла.

Азарика не без трепета подошла. Но конь почуял робость своего всадника и, повернув голову, коснулся её щеки доброй шершавой губой.

— Ну, мы с тобой поладим! — сказала Азарика и взобралась в седло.

— Комар на слоне! — приветствовали её появление вооруженные школяры. — Будешь падать — держись за хвост, ха-ха-ха!

Двинулись, под команду Вельзевула выравнивая ряд. Следом выполз обоз, плачущие женщины постепенно отстали. Школяры махали Гисле, которая никак не могла расстаться со своим тутором и шла за сотней до самого моста. Азарике подумалось, что, будь она женщиной, и ей бы вот оставаться там, у ворот, и ждать тревожно и бессильно... «Будь она женщиной!» Ей стало весело, и она засмеялась, заражая улыбкой едущего рядом Роберта.

Прибыли в Андегавы, где на забитой людьми и подводами площади у церкви яблоку негде было упасть. Солнце жарило напропалую, от людского пота и конского навоза стоял удушливый смрад.

Зачем-то стали ломать дома у церкви, взлетели клубы известки. В шеренгах передавали, будто канцлер обнаружил, что войску придется обходить церковь справа, а это недобрый знак!

Солнце палило, ожидание в седле делалось все мучительней. Азарике казалось: еще мгновение — и она упадет

под свист и хохот школяров. Вдруг все подтянулись, зашевелились. Вдоль строя рабы несли походное кресло, в котором полулежал роскошно одетый клирик с повелительным выражением лица. Роберт толкнул Азарику:

— Смотри, это и есть сам Гугон, прохвост! Говорят, его удар хватил, но ничего, змей, отлежался!

— Свободные франки! — донесся голос канцлера. — Церковные и иные люди! Бог лишил меня телесного здоровья, но укрепил и благословил душевную силу. Я сам поведу вас в бой, и пусть, как говорит апостол, *signum domini arma convincit* — то есть знамение божье даст нам победу!

Азарика не слышала ничего. Раскаленная каска давила, панцирный пояс впился, как десяток клешней. Дергался, тянулся за травкой проголодавшийся конь. А церемониям не было конца — вынос мощей, благословение оружия... Наконец к вечеру под оглушительный трезвон колоколов воинство двинулось по Лемовикской дороге.

На повороте у родника, где громоздились большие серые камни, Азарика поняла, что больше собой не владеет и медленно сползает вниз. Верный Роберт спешился и, не обращая внимания на брань Вельзевула, снял товарища с седла, положил на траву.

Послышался скрип осей, фырканье мулов. Это был походный реликварий — повозка с мощами святого Эриберта, которые, по замыслу Гугона, были тоже двинуты в бой. Каноник Фортунат возвышался на облучке, правил. Завидев лежащую Азарику, остановил мулов.

— Привяжи-ка его коня к реликварию, — велел он Роберту, — а сам догоняй свою сотню.

Азарика отлежалась, встала, умылась водой, от которой ломило пальцы. Обратила внимание на большие серые камни. Вспомнилось: «Давай дружить... Тайник на Лемовикской дороге... Будем обмениваться весточками...» Запустила руку под камень, там действительно был какой-то узелок.

— Едем! — торопил каноник. — Мощи должны идти впереди, а не тащиться в арьергарде!

Азарика взобралась рядом на облучок, и каноник чмокнул на мулов, как заправский кучер. А она с любопытством развязала тряпку, в которой оказалась щепка, криво испанная углем.

«Благодарному Озрику от смиренной Агаты привет, — с трудом читались размазанные буквы. — Меня настояте-

льница продала в Туронский край. Прощайте, благородный Озрик, больше не увидимся никогда, поцелуйте руку его милости Роберту. Только я не Эрменгарда, это я придумала для красоты, я простая Агата. Да хранит вас бог!»

И Азарику вновь охватила слабость.

— Что есть любовь?— вдруг спросила она Фортуната.

— А? Что?— встрепнулся каноник, убаюканный ровным бегом мулов.— Любовь? Ну как же— вершина жизни, утоление души, мужество расслабленных, кротость сильных... Доволен ли ты, хе-хе, своим седовласым учеником?

Долго ехали через лес, вершины которого шумели, предвещая непогоду. Задул пронзительный ветер. Каноник натянул на себя конскую попону и, нахохлившись, мурлыкал псалмы.

— Эй, духовное воинство!— раздался над ними голос, заставивший вздрогнуть.— Что это у вас, крестный ход, что ли?

Рядом ехал Эд вместе с улыбающимся Робертом. Близ дороги виднелась разбитая таверна, из которой слышались пьяные вопли.

— Что это у вас за повозка? Не иначе как осадное орудие необыкновенной силы! Так что же— катапульта, баллиста?

Фортунат не отвечал, и Эд спешился, пошел рядом с реликварием, держась за облучок.

— Воевать едешь, святой отец?

— Как видишь,— отвечал каноник из-под попонки.

— Что ж, у Гугона воинов, что ли, не хватает, если он погнал старцев да мальчишек?

Фортунат высунулся, щурясь на Эда.

— Раз уж могучие да сильные предпочитают отсиживаться в тылу, пойдем умирать мы— старцы да мальчишки.

— Красиво говоришь, старик! Но красиво умереть вам не удастся, потому что вашего Гугона расхлопают в первом же бою. Он и сам вас продаст за милую душу, и потащат вас, сырых, на чужбину.

— А ты на нас, сырых, будешь взирать откуда-нибудь с неприступного холма.

Эд хлестнул себя по сапогу плеткой. Некоторое время двигались молча. Азарика вдруг поймала себя на том, что вся так и подалась навстречу бастарду. И он в ответ

смягчил лицо и даже ей кивнул. Она отвернулась, а сердце стучало, как мельничный пест.

— Да,—вызывающе сказал Эд,—я не иду с вашим Гугоном. Не желаю служить глупцам.

Фортунат рассмеялся и погладил бородку.

— Э, сынок! Послушай-ка. Я родился в год кончины Карла Великого и начал службу при его сыне — Людовике Благочестивом. Затем тридцать лет у нас царствовал Карл Лысый, а после него короли менялись, как ярмарочные маски: Людовик, Карломан, еще Людовик, наконец, нынешний государь — Карл Толстый. И при всех были временщики, и каждый временщик слыл глупцом. Но всегда была жива родина и я ей служил!

— Родина! — проворчал Эд. — А что это такое?

— Вот этим-то ты и отличаешься от покойного отца. У тебя все я да я, а он все-таки за родину погиб на Бриссартском мосту!

Азарика с удивлением смотрела, как лицо у Эда становится печальным и беспомощным. Ей захотелось соскочить с реликвария и что-нибудь сделать, — например, подать ему напиток. И, видно, очень сильно ей это желалось, потому что он вдруг повернулся к ней и сказал с улыбкой:

— Споры спорами, а вам бы, пока не поздно, поворачивать назад к святому Эриберту, мы вас проводим. Дело ведь не шутка.

И глаза у него были безжалостные, точно у коршуна, а улыбка беззащитная, как у ребенка!

— Я пойду туда, куда обязывает меня совесть,— каноник подобрал вожжи,— а ты как знаешь, только запрещаю тебе брата делать дезертиром.

— Тогда вот что. Я буду за вами следовать поблизости. Как только норманнские мечи посекут ваши орари и кадилницы, я приду на помощь. Но не Гугону, а вам!

Из загаженной таверны с гоготом вывалилась компания бражников, повскакала на коней. Азарика с ужасом узнала белобрых близнецов — Симона и Райнера, их вороватых оруженосцев. А вот и мерзкий аббат — панцирная стеганка напялена на замусоленную рясу, на голове красуется соломенная шляпа с петушьим пером. Аббат горланил:

Шел монах к своей милашке,  
К полведерной своей фляжке!



— Молчи, церковная кочерыжка! — поддал ему Райнер.

— И это твоя армия? — грустно спросил каноник у Эда.

Азарика взглянула на Эда, и вдруг ей снова почудилась пасть грифона, извергающая ржавое пламя. В глазах все закружилось. «Justitio! Veritas! Vindicatio!» — отбивал молот в мозгу. Рука произвольно вытащила из ножен меч и бессильно разжалась. Лезвие звякнуло о придорожный камень.

Эд поднял меч Азарики и молча положил рядом с ней на облучок. Вырвал у Роберта повод, вскочил в седло и ускакал, не прощаясь, а за ним вся его кавалькада.

### 3

Войско канцлера Гугона, растянувшись на добрую милю, двигалось по берегу Лигера, общаривая овраги. Норманнов не было. По холодному небу неслись огромные тучи. Азарике вспоминались отцовские книги, где рассказывалось о древних сражениях, когда над битвой людей летали дерущиеся боги или дьяволы, как велит их называть приор Балдуин. Знать бы заклинания, прилетели бы они, разбили бы неуловимых норманнов!

Роберт подъезжал, привозил то холодной баранинки, то луку. Раздобыл где-то для каноника меховую безрукавку. Ободрял загрустившую Азарика:

— Ты конем пока займись. Корми, приучай к себе. Как ты его назвал? Никак? У воина конь должен носить гордое имя!

Азарика через силу улыбнулась.

— Как же назвать твоего скакуна? — размышлял Роберт. — По масти, что ли? Гнедой, как это полатыни — baius? Давай назовем Байон!

— Байон! Байон! — позвала Азарика.

Гнедой, привыкший за эти дни к ее ласковому голосу и вкусной кормежке, встрепенулся и заржал.

— Байон! — решили в восторге Роберт и Азарика.

А дождь полил, непрерывный, секущий. Превратил глинистые берега в вязкую топь. Каноник кашлял, ночью стонал, страдая от озноба и своей беспомощности. Пришлось Азарике отодвинуть ковчежец с мощами (ну-ка, святой Эриберт, потеснись!) и уложить каноника на дно

повозки. Отыскала сушеную мяту, но где приготовить отвар?

Роберт больше не подъезжал— Вельзевул запретил всякие отлучки,— и Азарике пришлось не сладко. Реликварий то и дело застревал в глине, и она, подпрягши к мулам Байона, изо всей силы упиралась в колесо, вытаскивая повозку.

Наконец канцлер остановил войско. На той стороне реки, на скалистом мысу, виднелись бревенчатые башни Самура. Под дождем обвисли вымпелы на флагштоках. Странно: ни лодок, ни встречающих, как было условлено с самурцами.

— Осмелюсь напомнить,— нотариий Фульк нагнулся к креслу канцлера,— нынешний сеньор Самура епископ Гундобальд...

— Я памяти не лишился,— прервал его канцлер.

Он приказал вестнику взять рыбацкий челн и переправиться в молчащий Самур, а войску, чтобы не томиться в бездействии, служить молебен. Встал и сам, ему подали алмазный крест. Дым от каминов стлался под мелким морозящим дождем.

Вдруг должны, что в кустах обнаружен норманнский дозор. Не прерывая мессы, Гугон надел на себя шлем. Врачи протестовали, но канцлер лихо взобрался на коня и в сопровождении бравого сотника и его лучников налетел из-за отдели. Супостаты, заметив опасность, поспешили столкнуть лодку в воду, но было поздно. Поникшие и жалкие враги встали на колени прямо в мелководье.

Гугон принялся их допрашивать, но, к величайшему удивлению, пленники завопили на чистейшем романском наречии. Объясняли, что они всего-навсего франкские мужики, что приспешники адского Сигурда силой заставили их себе служить...

— Как бы не так! — процедил Гугон.— Стали бы вы от меня спастись. Вам бы под предлогом норманнов своих сеньоров грабить!

И приказал их обезглавить.

Он пришел в хорошее расположение духа. «Победа! — льстиво шелестели придворные. — Первая победа!» Канцлер продиктовал Фульку реляцию для Карла III в превосходных степенях: «Victoria clarissima, gloriosissima, perpetua...»

Но тут вернулся от Самура челнок с вестником. Ему там даже и лестницы не подали, объявив со стены, что

епископ Гундобальд заключил с королем данов союз, потому что оный король Сигурд со всем своим воинством желает принять из его рук святое крещение.

Гугон снова лег в кресло. Фульк слышал, как он твердит сквозь зубы: «Жирная скотина, предатель! Возжаждал апостольского венца... Окаянный Сигурд таким манером уже раз шесть переходил в христианство!» Приказал трубить ночлег.

Но едва лишь пропели полночные петухи, войско было разбужено криками часовых. Азарика, оставив каноника, который бредил в жару, взбежала на холм, где уже стояли проснувшиеся воины. Ночь полыхала заревом далеких и близких пожаров. «Святой Матурин,—угадывала по направлению горящие селения.—А это святой Гиларий-в-лесу...» Горело как раз в тылу армии Гугона.

Некоторые сотни и просто кучки ратников стали спешно уходить назад, чтобы защитить родные места. Нотарий Фульк пытался уговорить их, даже угрожал, но получил лишь древком копья поперек спины, а какой-то наглец пытался сорвать его золотую цепочку.

— Надо поворачивать...—прохрипел Фульк, встав перед походным креслом канцлера.

Но тот спал безмятежно, укрытый затканной жемчужом мантией, и никто не решался его тревожить.

И войско двинулось назад прежней дорогой, по обочинам которой плыл едкий дым пожарищ.

Ночью Азарике удалось все-таки вскипятить на костре воды, она обложила старика грелками, напоила его бальзамом, и, когда двинулись обратно, он, закутанный в попону, сидел у нее бодро, прислонясь к реликварию.

Но на повороте в Манциак их окружила шайка дезертиров. Каноника обшарили, отобрали четки и наперсный крест, пытались секирами вскрыть реликвиарий. Отпрягли мулов и Байона увели, пригрозив Азарике. Никто из бредущих кругом ратников не пришел на помощь...

И остались они в лесу одни, на повозке, утонувшей в глине по ступицы, среди мрака и дождя. Вспомнились слова Эда: «Я приду на помощь...» Но где теперь Эд, где школяры?

На рассвете в лесу случилось что-то страшное. Донесся ускоренный топот множества ног. Не крик, а вой тысячи человеческих голосов плыл по темному лесу.

— Датчане, датчане! — кричали справа.

— Сигурд, Сигурд! — надрывались сзади.

— Где, где? — спрашивал кто-то, как ночная птица.

— И здесь, и там, и везде! Сам дьявол спускает их с небес!

Из тьмы на накренившуюся повозку налетел какой-то хромой, прося: «Малый, пить!» Фортунат пытался его расспросить, что происходит, но не добился ничего, кроме того, что норманны всех уводят в рабство. Выхватив у Азарики бурдючок, хромой умчался во тьму.

Стало светло, и они узнали среди бегущих приора Балдуина. Какой-то всадник гнал его, целясь копьём в тощую спину.

— Протей! — ахнула Азарика.

— Этому ли мы тебя учили, негодяй? — закричал Фортунат.

Но тут приор встал, как будто споткнулся. Протей взглянул вперед, вздрогнул и выронил копьё.

На опушке, ужаснее всякого норманна или лесного чудища, возвышался на коне бастард, и чугунный его взгляд заставлял бледнеть то одного, то другого.

— Где брат мой Роберт? — спрашивал он.

#### 4

В лесу, еще безумном от шороха бегущих ног, вдруг появился признак порядка.

Это был звук рога, призывавший: «Сюда! Сюда!»

Эд трубил в рог и перехватывал бегущих. Одних уговаривал опомниться, других бил по взмокшим спинам. Наклонясь, схватил за шиворот какого-то здоровяка:

— А, это ты, Вельзевул, сотник школяров! Ну-ка, отвечай, где мой брат?

Тот пробормотал, что Роберта увели даны, пытался вырваться. Эд парой оплеух привел его в рассудок.

— Башку бы с тебя долой, командир, бросивший бойцов! Теперь тебе единственный шанс на прощение — лови коня, их много бродит в лесу, становись в строй!

Близнецы привели прятавшегося в овраге знаменосца, и Эд развернул над собой знамя Нейстрии — синее полотнище с серебряной фигурой святого Мартина. И рог гудел: «Всем быстрее под знамя!», вселяя надежду в отчаявшиеся сердца.

— А вот и клевет канцлера. — Райнер подтолкнул тщедушного человечка, вымазанного в глине так, будто он марался нарочно, чтобы быть неузнанным среди других.

Клеврет пытался умолять по-норманнски и совал всем какую-то золотую цепочку, видимо решив уже, что попал в плен. Его отвели в повозку, где пришедшие в себя Фортунат и приор спорили по поводу ночной катастрофы.

Вокруг синего стяга и голосистого рога Эда собралось уже немало людей. Все-таки храбрых больше, чем трусов, думала Азарика, застегивая на себе панцирь.

— Кто здесь бастард? — спросил хрипло высокий, в лохмотьях командирского сагума.

Близнец Райнер хлестнул его плетью:

— Вот тебе бастард!

— Прости! — взмолился тот, закрываясь. — Сеньоры, я оговорился... Я сотник императорских лучников, возьмите меня!

Ему дали коня. К полудню набралось уже сотни две решительных, хорошо вооружившихся людей. Эд подъехал к реликварию проститься с Фортунатом. Каноник вместе с Балдуином и все еще немым от испуга Фульком возвращался в Андегавы. Азарика запрягала лошадей.

— Отпусти мальчика со мною, отец, — указал на нее Эд.

Фортунат в замешательстве взглянул на Азарику, потом опять на Эда и спросил еле слышно:

— А сам он хочет?

— Хочу! — вскричала Азарика, роняя хомут, и лицо ее вспыхнуло от чувства неловкости. Оправдывала себя: «Там же Роберт!»

Фортунат напутствовал Эда:

— Будь благоразумен, сын мой. Думай не только о брате. Помни: раз ты поднял знамя, ты не принадлежишь себе. А Озрик... Видно, настала пора ему мужать, бог с ним. Любишь меня — береги его.

Азарике на сей раз достался беспокойный караковый жеребец. Спина у него была крутая, словно крыша. «Где-то мой понятливый Байон?» — жалела Азарика. В строю она оказалась рядом с их бывшим деревенским аббатом, которого теперь все звали Кочерыжка. Азарика по-прежнему побаивалась его, натягивала каску себе на самый нос.

Выехали на холм, где был виден широко разлившийся Лигер. По спокойным водам, золотым от закатного солнца, плыли норманнские дракары — удлиненные большие лодки с загнутым носом в форме драконьей головы. Отту-

да доносился многоголосый плач — дракары увозили пленных, взятых в андегавской земле.

— Ночью они обычно не плывут, — сказал Эд. — Ночью они должны пристать где-нибудь к берегу. Будем следовать вдоль реки.

Но тут он обратил внимание на то, что дракары плывут не к морю, а в обратном направлении, к Самуру. Там в предвечерней дымке блестел шпиль собора, по воде разносился звон колоколов.

— Что за бесовскую свадьбу справляет там жирный прелат? Неужели и вправду собирается крестить Сигурда?

Надо было ждать ночи. Сотни Эда, обмотав травой копыта коней, стали спускаться к переправе. У реки навстречу Эду вышел вразвалочку человек в зеленом сагуме лучника.

— Эд, сын Роберта, можно ли к тебе обратиться? — степенно спросил он, пристально глядя в глаза нахмурившемуся Эду.

— А откуда ты знаешь, как меня зовут?

— Пришлось о тебе слышать.

Эд, не выносивший чьего-либо прямого взгляда, отрезал:

— Говори быстрее.

— Возьми с собой и меня.

— Как тебя зовут?

— Винифрид из рода Эттинггов.

— Эттинги, Эттинги... — Эд потер кулаком лоб. — А, гром меня ударь, не помню! Ну ладно, Винифрид, хвала тебе, что нынче ночью ты не потерял оружия. Да хорошо ли ты, Эттинг, стреляешь?

Сотник императорских лучников, оказавшийся поблизости, подтвердил, что Винифрид стреляет отменно. Эд что-то прикидывал в уме.

Когда совсем стемнело, начали переправу. Эд, наблюдавший с пригорка, заметил, что Азарика плохо ездит и караковый ее жеребец боится воды. Он велел ей пересечь к нему за спину и держаться крепче. Они благополучно переправились вдвоем.

Сквозь молодой березняк виднелись праздничные огни Самура. Воины разделись, крикали, выжимая одежду. Эд не замечал холода, задумчиво поглядывал то на силуэт замка, то на стелющуюся под луной гладь реки. Наконец спешился, велел сойти и Азарике.

— Там Роберт...— сказал он ей каким-то просительным тоном и указал на Самур.— И еще много других.

Азарика молчала, насторожась. Эд шагнул к ней, взяв за плечи.

— Надо, чтобы ты, Озрик, проник туда. Ты худенький, небольшой. Переоденешься нищим, а?

Он ждал ответа, а Азарикау сковал страх. Держась в седле за пояс Эда, она не боялась ничегошеньки на свете, ей даже хотелось петь. А каково опять идти одной во враждебный мир?

— Ну как?— спрашивал Эд, заглядывая в лунные тени ее глаз.— Ты решил, ты пойдешь?

— Да...— прошептала Азарика.

Эд наклонился и поцеловал ее в лоб.

## 5

Благовест звал, и в утренней мгле брели в Самур калеки, трясучие, увечные, уроды—такое сборище людских несчастий, что, казалось, сама мать-земля, исстрадавшись за прекрасных своих детей, истребляемых косой войны, решила теперь являть миру лишь эти химерические лица. Колокол в Самуре бил, и уроды тянулись по всем дорогам, зная, что где праздник, там и развлечение. А какое развлечение приятней, чем созерцание чужих, не своих, уродств?

Шла и Азарика, незаметно пристав к веренице нищих. Чем ярче разгорался день, тем тошнотворней подступал страх. Отец неспроста держал ее взаперти—уж он-то знал, что жизнь есть непрерывный ужас! Был момент—она чуть не свернула в кусты. Но мысль о том, что на нее надеется Эд, гнала вперед.

Отец рассказывал: лесные эльфы, если их задобрить хлебом или медовой сотой, могут указать свои тайные тропы. Иди по такой тропе, точно ступая, и ты будешь невидим... Хорошо бы стать невидимым, даже для жалких калек, бредущих возле, которые так и щупают ее паучьими глазами.

Самур стоит на скалистом островке, недалеко от берега. Пролив отгорожен решеткой, образуя внутреннюю гавань, и видно издали, что норманнская флотилия расположилась там. На деревянном мосту в город вавассоры—подчиненные сеньора—потешались, пропуская тех из уродов, которые казались им забавней других.





— Ты куда, бабка? — кричали они старухе, ковылявшей с помелом под мышкой. — Летела бы себе на Лысую гору. Мы не ведьм приглашали, а шутов.

— Боюсь, вам сегодня не одни шуты понадобятся, а и лекари, — сказала старуха загадочно. — Кое-кому и попы для панихиды.

Вавассоры стали креститься, а главный вавассор подал ей милостыню на всякий случай. Что касается уродов, они признавали старуху чем-то вроде начальницы, величали Заячьей Губой. У нее действительно верхнюю губу кто-то еще в младенчестве рассек мечом или ухватом. А сама она была не без кокетства — седые волосы забраны под золотую сетку, запавшие губы вымазаны кармином.

— Этого пропустите, — велела она вавассорам, проталкивая карлика без шеи и с висячим пупырчатым носом по имени Крокодав.

— Что он умеет делать? — спросили вавассоры.

По знаку Заячьей Губы карлик, который обычно говорил свистящим шепотом, надулся, точно багровый клоп, и издал басом такой гулкий звук, что вороны, переполошась, взлетели с самурской колокольни.

— Ого-го! — сказали вавассоры, хватаясь за уши. — А вон тот, худой, что делает? Тоже кричит?

— Это Нанус, мим. — Старуха подтолкнула похожего на щепку юношу, и он ловко прошелся на руках.

«А я? — подумала Азарика. — Что умею я?»

И только она успела это подумать, как главный вавассор схватил ее за воротник. Заячья Губа повертела вокруг нее носом:

— А ты, дурак, чем воняешь? Я тебя не знаю.

Азарика принялась дергать руками, сучить ногами и чувствовала, что это никого не убеждает. Вавассоры разглядывали ее зловеще. Тогда опять пришли на помощь отцовские тайные книги:

Ломай, ломай,  
Кусай, кусай  
Не хлеб, не белый каравай.  
Налево дунь,  
Направо плюнь,  
Два пальца между двух просунь.  
Гилульд, Гимульд,  
Гифульд, Гитульд,  
Все станьте в ряд,  
Все дуйте в лад,  
Как силы адовы велят...

— Э, да ты опасный дурак! — заметил главный вавассор. — Ты чародействовать умеешь.

И он хотел сбросить Азарику с моста прямо в ров, но Заячья Губа вступилась, сказав и тут загадочные слова: «Прилетела синичка от самого ястреба, как ее не распознать?», даже улыбнулась змеиной улыбкой. Вавассоры впихнули Азарику в калитку, и она побежала в Самур, ощущая на спине холодок от взгляда Заячьей Губы.

Так она оказалась в соборе, где заканчивались последние приготовления. Золоченая купель сияла в остром луче солнца, служки сновали, нагревая воду. Хор в кружевных стихарях пробовал голоса. Епископ в приделе репетировал, шепелявя:

— Словно новый Хлодвиг, храбрый воитель, ты прибегаешь к истиннейшей нашей церкви...

Пользуясь правом дурачка, Азарика пристроилась на цоколь колонны и видела, как, встреченный хвалебным хоралом, в церковь вступил Сигурд, грузный мужчина, щекастое лицо которого носило следы кутежей и стычек. На нем был блестящий стальной шлем со вделанными с боков турьими рогами, роскошный плащ, видимо переделанный из какой-то церковной пелены с крестами. К его поясу был привязан огромный меч с эфесом в виде черепа и не менее огромный охотничий рог. Два белокурых отрока несли его шлейф, а сзади, по четыре в ряд, выступали седые рубаки с висячими усами, за ними — богатыри в расцвете сил и совсем юнцы, с выражением превосходства на украшенных шрамами лицах.

Кто-то снизу дернул Азарику за балахон. Это был Нанус, из числа уродов, тощий мим. Пользуясь тем, что все были поглощены зрелищем, он прошептал:

— Беги к тому, кто тебя послал. Передай от Заячьей Губы — брат его здесь, в пятом с краю челне, под охраной... Пусть не медлит!

Азарика не успела даже изумиться, как он исчез в толпе. Но как выйти, когда норманны заняли все двери, нико-го не выпуская?

Речь епископа текла утомительно, перемежаемая вздохами хора. Наконец ему подали крещальный крест, и он, насколько позволяла тучность, склонился перед Сигурдом, приглашая раздеться и войти в купель.

— Сначала ты, — ответил король.

Гундобальду перевели, он опешил и принялся объяс-

нять, что крестится-то доблестный Сигурд, а он, епископ, уже крещен от рождения, воспринял благодать...

— Сначала ты, — повторил Сигурд.

И поскольку Гундобальд растерянно молчал, по знаку короля его даны подскочили и стали совлекать с толстяка золотое облачение. Собор молчал, так что было слышно воркование голубей под куполом, наблюдал, как раздевали епископа, как обнажилась его розовая плоть и он стыдливо прикрывал руками отвисший живот. Затем Сигурд мигнул своему оруженосцу, и тот, сняв с одного из норманнских знамен пышный волчий хвост, окунул его в расплавленный воск на подсвечнике и приклеил к пунцовому заду Гундобальда. Даны распахнули ворота, через которые выходит крестный ход, и погнались прелата уколами копий.

В ужасе и весь народ, оттеснив норманнов, ринулся вон. А в городе уже шел погром, слышался исступленный женский визг.

Азарика выбежала, стараясь не быть захваченной. У ворот вавассоры спокойно переговаривались, думая, очевидно, что шум в городе — от всеобщего ликования. Как быть? Главный вавассор теперь ни за что не выпустит Азарику обратно одну.

И вдруг она разглядела, что главный вавассор сидит верхом на ее гнедом, ее Байоне! Том самом, которого ей выбрал Роберт и которого у них украли третьего дня в лесу! Новый хозяин, по всей видимости, плохо обращался с лошадейю — ее мундштук был окрашен кровью.

Увидев дым от пожара над крышами, главный вавассор слез с Байона и пошел в сторожку узнать, что происходит. В этот миг из-за угла показались даны, держа в руках окровавленные мечи. Вавассоры кинулись к воротам. Крутить лебедки уже не было времени, и они обрубили канаты. Ворота распахнулись, и вавассоры опроретью ускорили через мост.

Выбежал из сторожки главный вавассор, кинулся к гнедому.

— Байон, Байон! — крикнула Азарика, выскакивая из кустов, где она пряталась.

Лошадь обернулась недоуменно, совсем как человек. Узнала Азарику и, вскинувшись, отбросила главного вавассора. Азарика — страх ее подгонял — проворно взобралась в седло. Вавассор, оцепенев от неожиданно-

сти, тут же попал в руки норманнов, и Азарика, похлопывая гнедого по холке, понеслась через мост.

Там, в платановой роще, ее ожидал сам Эд.

— Что там, в Самуре, говори быстрее!

## 6

Эд гарцевал перед строем своих всадников. Он сиял предвкушением боя, рука играла тяжелым копьем, а другая, сжав в кулак поводья, задираала конскую голову.

— Ко мне, бывший сотник императорских лучников! — вызвал Эд. — Можешь ты нам сегодня доказать, какой ты есть стрелок? Слушай внимательно: ты должен с первого выстрела уложить того, кто окажется по правую руку Сигурда. Понял? Эй, лучник Винифрид, подъезжай и ты сюда. А тебе надлежит застрелить того, кто будет по его левую руку. Однако помните: сам король данов, да проклянет его бог, во что бы то ни стало должен остаться живым! А ты чего заскучал, Кочерыжка? — подъехал Эд к аббату. — Веселись, война — это пир мечей! Если в бою не покажешь спину, вот тебе мое слово — первую же пленницу можешь брать себе в жены.

Он наставлял, шутил, подбадривал, и каждый с верой смотрел в его каменное от решимости лицо.

Подтянулась из леса вторая сотня. Отряд Эда, тесно сомкнувшись и надвинув каски, загрохотал копытами по мосту в Самур. Там норманны ускоренно чинили ворота, их часовые лениво оперлись на древки секир. Эд первым подсказал, часовой ему крикнул, Эд ответил по-норманнски, и, не сбавляя хода, внося в арку ворот. Часовые еле увернулись от копыт франкских коней.

На крик часовых из караульни выбежали их товарищи. Впереди берсеркер — воин, посвятивший себя богу войны. Его в бою охватывает священный азарт, и потому он даже дерется полуголым, презирая вражеские лезвия и стрелы.

Эд знал, что с берсеркером проволочка опасна. Сжавшись, как пружина, он выпрыгнул на скаку прямо на плечи берсеркера и повалил его на камень плит. Воины Эда рубили ошеломленных данов, которые, видимо, уже и не ожидали отпора от побежденных франков. За воротами отряд Эда не встретил никого, все были заняты грабежом в городе или пиром в соборе. Эд быстро расставил людей у каждого портала и окна храма.

— Сюда, сюда!

Тонконогий мим Нанус распахивал перед Эдом створы врат, через которые обычно выходит крестный ход. Эд на коне въехал в сумрак собора, за ним двигалась железная стена его воинов.

Даны, трезвея, отталкивали растрепанных женщин, хватали мечи. Просвистела стрела, и сидевший слева от Сигурда седоусый великан запрокинул голову, пытаясь выдернуть стрелу из горла. Сотник же императорских лучников промахнулся, и сидевший справа от короля успел нагнуться под стол. Но как только он вновь поднял багровое лицо, новая стрела Винифрида поразила его прямо в глаз. Откуда-то из алтаря нарастал громовый, сверхъестественный голос, заставляя звенеть паникадила. Азарика поняла — это кричит урод Крокодав, а даны бросали оружие и в страхе зажимали уши.

Сигурд вскочил, задыхаясь от гнева:

— Кто ты, дерзкий, отвечай!

— Я мститель! — крикнул по-норманнски Эд, и звонкий голос его был сильнее адского вопля Крокодава.

— Берегись, неразумный! В городе полно моих данов, а у ворот стоит могучий берсеркер Ральф — Мертвая Рука!

— Вот он, твой Ральф — Мертвая Голова, бери его! — Эд швырнул отрубленную голову в короля с такой силой, что тот чуть не упал на трупы своих приближенных.

— Чего же ты хочешь, называющий себя мстителем?

— Пусть немедленно будет приведен сюда захваченный тобою брат мой Роберт, сын герцога Нейстрии. Пусть будут немедленно освобождены все пленники, мужчины и женщины. Пусть ни один волос не падет с головы их! Тогда, слово благородного всадника, я дарую вам жизнь и свободный выход.

Даны под прицелом франкских луков все-таки кричали: «Лучше смерть, лучше смерть!» Сигурд молчал, опустив голову, и Азарике был виден старый желтый шрам на его седеющем темени.

— Да будет так! — сказал наконец Сигурд, мигнув мутным от злости глазом.

Освобожденные из плена — Роберт, за ним другие школяры — вбежали в собор, приветствуя победителей. Норманны, не стесняясь, плакали, положив чубатые головы в лужи вина. Другие, насупившись, выходили сквозь строй франков, отдавая награбленное.

Видя, что сражение окончилось в пользу Эда, аббат Кочерыжка выбежал из собора, ища, чем бы поживиться. На площади он увидел быстро удаляющуюся небольшую, без сомнения женскую, фигуру, закутанную в пестрое покрывало.

— Стой! — как можно грознее заревел аббат. — По праву войны ты моя пленница. Покажи немедленно лицо!

Пленница кокетливо сопротивлялась. Когда же распаленный Кочерыжка откинул ее покрывало, первое, что он увидел, были седые усики и карминовый рот Заячьей Губы!

— О-о! — застонал аббат, убегая.

Заячья Губа поковыляла за ним, крича:

— Куда же вы, мой покоритель!

Ударили победные колокола, из собора повалили франки, норманны, пленные, окружая выходивших рядом Эда и Сигурда.

— Где ты научился норманнской манере воевать, сынок? — спросил король.

— На твоём дракаре «Северный ворон», где я три года просидел на цепи гребцом.

Сигурд отвязал от пояса и вручил Эду свой огромный охотничий рог. Страшно было подумать, какого роста был тур, у которого рог этот был добыт!

Франки молча смотрели на покидающих крепость врагов, на опустевшие дракары, которые выплывали из заводов. Всеобщее молчание нарушил вдруг лучник Винифрид, который помигал и изрек:

— Сеньор Эд, зачем ты... зачем ты выпустил их?

Все притихли, а Эд зевнул и сказал:

— Что ж, отвечу. Как и не ответить — ведь ты у нас сегодня герой! Знайте же все — у данов есть твердое правило: как только они видят, что сражение клонится не в их пользу, всем пленным они перерезают горло. Если бы сперва мы напали на дракары, мы освободили бы мертвецов!

— И не потому! — упрямо твердил Винифрид, хотя окружающие дергали его за сагум. — Просто ворон ворона не клюет.

Эд недоуменно и тяжело уставился на него. И вновь бесстрашный лучник, хоть и мигая, не опустил перед ним глаз. Азарика увидела, как рука Эда конвульсивно схватилась за рукоять меча, ей стало страшно за обоих. Но люди уже прятали дерзкого Винифрида, а Эд, овладев собой, отвернулся.

Доложили, что к воротам явился изгнанный епископ Гундобальд и требует возврата владения. Эд приказал его впустить. За Гундобальдом бежали уроды:

— Дяденька, дяденька, где твой волчий хвост?

Епископ еле отбивался от них посохом.

— Дяденька, дяденька! — в тон уродам сказал Эд. — Ты бы нам хоть спасибо принес, дяденька.

Он заставил епископа идти в собор и надеть самое праздничное облачение. Тот подчинился, бранясь и оглядываясь на воинов Эда.

Когда затихло последнее «Аллилуйя», Эд вышел на амвон, ведя за руки близнецов. Велел им стать на колени, обнажил свой меч и поцеловал, словно крест.

— Этот славный клинок, — поднял он его над головой, — принадлежал моему отцу, Роберту Сильному. Клинок не знал позора поражений и зовется «Санктиль», потому что в рукоять его вложены частицы мощей из святой земли.

Дал поцеловать его Райнеру, потом Симону. Приказал епископу:

— Повторяй за мной, твоя святость: «Город Самур и все, что в нем и вокруг его стен, передаю во владение этим благородным братьям и клянусь в том на святом Евангелии...»

— Безбожник! — завопил епископ. — Это грабеж!

— Делай! — Эд занес Санктиль над епископской митрой.

Когда обряд кончился, Эд напутствовал близнецов:

— Будьте суровыми и справедливыми. У Самура высокие стены, пусть не прячутся за ними низкие души. Вавассоров здешних гоните прочь, они трусы — бросили на произвол судьбы своего сюзерена. Их наделы раздайте тем, кто сегодня шел с нами на битву. В первую очередь этому... из Турони. — Эд указал подбородком на Винифрида, который вновь очутился в первом ряду.

Лучник покраснел еще гуще, чем епископская мантия.

— Не нужны мне... не нужны твои подачки. Я ведь тебя узнал, это ты разбойничал в нашем краю... На тебе кровь невинных!

Все со страхом ждали, что станет делать Эд.

И тут с площади раздался женский пронзительный крик. И был он таким безнадежным и так разорвал болезненную тишину храма, что все содрогнулись. А крик повторился, сопровождаемый плачем.

Эд вышел на паперть, за ним его ближние. На площади аббат Кочерыжка, успевший и выпить и нарядиться в соломенную шляпу с перышком, тянул за волосы какую-то совсем юную женщину. Следом шли знатного вида старухи и плакали, простирая ладони.

— Ты обещал, — крикнул аббат, увидев Эда, — первую пленницу мне в жены!

Уверенный в своей правоте, он отпустил косу бедняжки. С головы ее упала шаль. Эд и воины, безмолвные от удивления, смотрели на ангельское лицо в волнах каштановых волос.

— О творец! — вздохнула Заячья Губа, оказавшаяся тут же. — Так вот на кого ты потратил весь запас красоты, лишив ее доли нас, своих уродов!

И Азарике была понятна эта ее женская зависть.

Красавица, видя себя предметом всеобщего внимания, упала на руки сопровождающих ее женщин. Те объяснили Эду, что она не простая смертная, а единственная дочь герцога Трисского и зовут ее Аола. Она прибыла в Самур на богомолье, и здесь застала ее война.

Эд усмехнулся:

— Этот кусочек не по твоим гнилым зубам, Кочерыжка.

— Но ты обещал! — завопил тот.

Тут выступила, раскланиваясь, Заячья Губа. Франки так же прилежно рассматривали ее безобразие, как красоту Аолы.

— О! — узнал ее Эд. — Красавица! Ну, ты со своими уродами сегодня тоже героиня.

Заячья Губа, восхищенно прижав ручки ко впалой груди, взирала на него, как на языческого идола.

— А какой награды требуешь ты? — улыбнулся ей Эд.

Заячья Губа хохотнула и указала на раздосадованного аббата.

— Свидетельствую! — заявила она. — На этом самом месте я стала самой первой пленницей этого благороднейшего господина и требую себя ему в награду!

Веселые школяры подхватили ее вместе с Кочерыжкой, который изрыгал проклятия, и потащили пировать в ближайшую таверну.

А дочь герцога Трисского все еще лежала на руках у хлопочущих женщин. Эд подошел ближе. Ее стреловидные ресницы дрогнули, и неправдоподобные глаза встретились с испытующим взглядом Эда.



Эд проснулся оттого, что в его вестибюле часовые ругались с кем-то, кто непременно желал войти. Эд повернулся, и добротная епископская кровать заняла от его тяжести.

— Эй, кто там! Пусть войдут.

Это был Винифрид, раскрасневшийся от спора. Эд погрозил ему:

— Императорский лучник, ты становишься наглым!

Винифрид приблизился, несмотря на угрозу.

— Сеньор... Сверху опять плывут дракары. Увозят поселян...

— К черту! — Эд взбил свои подушки. — К черту поселян! Да и к тому же я ведь по-твоему разбойник. Убирайся, покуда цел!

Колыхнулся полог, и в опочивальню вошел Роберт, с ним Азарика и тугор. Роберт, волнуясь, стал тоже говорить о дракарах.

— Наивный ты, — прервал его Эд, — у нас нет даже лодки. Норманна не так уж трудно разбить на суше, но на воде он бог!

Роберт сообщил, что в заводи остались челны, брошенные Сигурдом, так как, освободив гребцов, он не смог набрать команды.

— Ты же сам был рабом! — вторил ему Винифрид.

Эд на него и бровью не повел. Он молча приподнялся с ложа, восхищенно глядел в лицо брату.

А тот кусал себе губы, голос срывался от волнения:

— Ты не можешь мне запретить. Я сам пойду. И со мной все, кто был в плену!

Эд расхохотался, кладя руку на его плечо:

— Вот настоящий Робертин! Ладно, прикажите трубить сбор.

Азарика, которая уже вновь нарядилась в свою панцирную стеганку, на Байоне подскакала к самым челнам. Но как она ни старалась, Эд не обращал на нее внимания, занятый снаряжением в бой. Тогда она отдала гнедого коноводу и в последний миг вспрыгнула в лодку, где были Эд и Роберт.

Лодки Эда вынеслись, подгоняемые ударами весел. На перламутровой глади реки растянулись под полосатыми парусами тяжело груженные дракары норманнов.

Сперва язычники по драконьим головам на челнах

приняли флот Эда за свой. Но как только Эд приблизился к ним на полет стрелы, ближайший дракар его окликнул. Зная, что теперь таиться бесполезно, Эд приказал развернуть синее знамя Нейстрии.

— Аой! — закричали франки.

Тогда норманны принялись настегивать спины гребцов, многие сами сели за весла, но дракары, перегруженные добычей, шли медленно, и расстояние уменьшалось. Азарика ясно различала потные, злобные лица «морских королей».

— Сейчас начнут кидать пленных в реку, — мрачно сказал Эд, стоявший на носу.

И точно, всплескивая воду, из дракаров падали людские тела. Азарика увидела близко мелькавшее в волнах девичье лицо. Там на спине плыла малютка Уза, которая когда-то плясала у святой Колумбы! Прежде чем бросить ее в реку, варвары перерезали ей горло.

Азарика закричала от сострадания, забыв о том, что криком может себя выдать.

Добровольные гребцы удвоили силы, и вот уже настигаемый дракар в спешке стал выбрасывать живых. Они плыли, цепляясь за борт, умоляя спасти. Некоторые, не сумев освободиться от веревок, шли ко дну живыми.

Школяры хотели подобрать несчастных, но Эд на них замахнулся:

— Вы хотите, чтоб мы стали тяжелее, а враги легче?

Со второго челна Винифрид и бывший сотник лучников пускали стрелы, но им не везло: хлопал парус и лодку отчаянно качало.

Наконец замыкающий норманнский дракар, поняв, очевидно, что от погони не уйти, резко остановился, и челн Эда с разгона налетел на него. Азарика, не успевшую удержаться, швырнуло на дно лодки. Над ней захрипели бьющиеся, залязгали клинки.

Норманн с дракара, ревя, точно бешеный бык, перепрыгнул на челн Эда. Стараясь держаться в раскачивающейся лодке, Эд отразил удары его меча и сам сделал обманный выпад, словно желая поразить противника в пах. Но опытный язычник не пошел на уловку и отбил разящий удар Эда. Азарика со страхом наблюдала над собой мелькающие по скамьям ступни и вдруг поняла, что ноги норманна, в отличие от ног Эда, обтянутых перевязью кожаных ремней, босы и поросли рыжей шерстью. И тогда она, подняв кувалду, которой на стоянках забивают ко-

ля, зажмурилась и, призвав на помощь все потусторонние силы, ударила по рыжим пальцам норманна. Он завопил и пал в воду, а Эд раскрыл ему, плывущему, череп.

Второй дракар также развернулся и ударился в челн, где плыли лучники. Норманны прыгнули, и бывший сотник императорских лучников стал на колени, подняв руки. Перескочив через него, язычники опрокинули Винифрида. Но тут перед ними предстал Вельзевул, монастырский привратник, который вращал веслом, как дубиной, изрыгая богохульства. Норманны гуртом навалились на него, и невезучий привратник исчез в волнах, окрасив их кровью. Теперь качающийся челн был во власти норманнов, франки прыгали с него в воду и тонули под тяжестью брони. Победители обратились к сдавшемуся сотнику и размозжила ему голову рукоятками мечей, чтобы не позорить благородных лезвий кровью труса.

И тут на этот челн перепрыгнул Эд. Его меч застучал сразу о три норманнских меча. Распластавшийся на дне Винифрид вскочил, хотел ему помочь сбить язычников ударами весла, но Эд весело крикнул:

— Не трогай моих, я сам!

Норманны на дракарах, привыкшие к безнаказанности своих набегов, никак не ожидали нападения. Многие из них после ночного пира были в тяжком хмелю. Дракары один за другим приставали к отмели, сдаваясь воинам Эда. Двое норманнов, чтобы не попадать в плен живыми, перерезали друг другу вены. Лишь один берсеркер, старый и угрюмый, как корневище дуба, был схвачен и связан.

Спасшиеся и освободители, взявшись за руки, плясали по траве, полной мохнатых летних цветов. Ликование не омрачали даже причитания тех, кто лишился близких в холодных волнах Лигера.

Внезапно с высоты обрыва прозвучал рог вестника. Все подняли головы. Там, на фоне неба, синего, как знамя Нейстрии, плотной стеной стояли панцирные всадники. На их пиках трепыхались значки с изображением кораблика — герба Парижа.

— Эй, вы там! — прокричал вестник. — Известно ли вам, что вы вступили на землю, принадлежащую Конраду, графу Парижскому?

И так как все молчали, ожидая, что последует дальше, вестник протрубил снова и провозгласил:

— Пусть ваш предводитель, кто бы он ни был, подойдет к его милости графу.

Эд пробормотал:

— А у меня здесь даже нет коня, чтобы достойным образом предстать перед владетельным братцем!

8

Черный Конрад, возвышаясь на великолепном, золотистой масти скакуне, сжал бескровные губы и склонился в сторону Эда:

— Что за разбой ты здесь опять творишь, безумец?

Эд молчал, пытаясь уловить взгляд графа. Взобравшийся за ним на кручу Роберт поторопился рассказать графу о крахе Гугона, о взятии Самура и победе на реке.

— Молчал бы ты! — остановил его Эд. — Победа не нуждается в оправданиях.

Ни один мускул не дрогнул на пергаментном лице графа. Застыли, как изваяния, его закованные в железо всадники. Вестник вновь протрубил и объявил, читая повеление в глазах сеньора:

— Пусть тот из вас, кто благородный франк, немедленно покинет землю, принадлежащую его милости графу. Тот же, кто язычник, а также франк-простолудин, становится собственностью графа.

Эд удивился:

— Вот те раз! Язычники — мой трофей, так и быть, я тебе их дарю. Но франки!

— Почва делает рабом, — усмехнулся ему Конрад, и усмешка его была похожа на скрежет зубовой. — Разве ты забыл старинное право! *Terro servi fecit*.

Эд окинул взором строй всадников на внушительных конях и, пожав плечами, стал спускаться вниз.

— Это же только о землепашестве говорится! — закричал снизу седобородый старик из числа спасенных. — Протестуй, Эд! Требуй божьего суда!

— Суд божий! — радостно подхватил Роберт. — Слышишь, Эд? Пусть бог решит в священном поединке!

И спасенные, и освободители, и даже пленые в норманнских шлемах кричали: «Суд божий! Божий суд!» Только всадники графа Парижского хранили грозное молчание.

— Суд божий? — повернулся Эд к Конраду. — Я готов.

Черный граф медленно разлепил губы и сплюнул в сторону.

— Неужели ты думаешь, что мы с тобой будем сражаться? Все-таки, по господнему недосмотру, нас одна с тобой мать родила. Но уж если божий суд, да будет так. Вестник!

— Слушаю, ваша милость.

— Труби поединок. Гармарода здесь?

— Здесь, ваша милость.

Перед строем франков появился, ступая, словно огромный косолапый зверь, человечище, квадратные плечи которого казались нарочно приделанными к плоскому туловищу.

— Я Гармарода, ваша милость,— поклонился он графу, сверкнув медвежьими глазками из дремучей бороды.

— Это мой главный палач,—представил его Конрад.— Он у меня занимается крестьянскими делами, вот пусть по поводу крестьян и вершит божий суд. Кто желает с ним сразиться?

Эд, а с ним Роберт, близнецы, школяры, воины молчали. Принять бой с палачом — значит себя навек обесславить.

И Конрад засмеялся. Ухмыльнулись все его всадники. А из-за спины Эда вышел вперевалочку Винифрид.

— Ваши милости, вот он я... То есть я желаю.

— Малый! — не выдержал даже один из всадников Конрада.— Куда ты? Он же знаешь каков? Быку однажды шею свернул!

Винифрид не отступал. Воины Эда его окружили. Подбежала и Азарика, теряя голову от волнения, однако он ее не узнал.

— Ладно,—сказал Эд графу,— мы принимаем твои условия. Но и ты прими наши — сражаться будут на веревке, вслепую.

Всадники образовали на поляне широкий круг. Противников расставили в трех шагах, соединив веревкой. Туго завязали глаза и роздали мечи. Граф махнул перчаткой, и поединок начался.

Гармарода сразу же попытался опрокинуть лучника веслом, но Винифрид, поняв его намерение, уклонился. Палач едва сохранил равновесие, натянутая веревка его удержала. Тогда Гармарода стал усиленно махать мечом, и ему удалось задеть лучника, на лезвии сверкнули капли крови.

Азарика позади Роберта опустилась на траву, зажмурилась в тоске.

— Опять кровь! Опять убийство! — Но вскоре по крикам зрителей она поняла, что дело обстоит не худо для Винифрида. Приподнявшись, она увидела, что кровь струей хлещет из шеи Гармароды, а лучник ловко уворачивается от его блистающего меча.

Граф Конрад потребовал, чтобы сражающиеся остановились — добросовестно ли завязаны глаза? Проверили, и поединок возобновился. Теперь палач, чувствуя, что силы иссякают, метался, насколько позволяла веревка. То пригибался, прислушиваясь к шагам противника, то, сделав ложный рывок, обрушивался в другую сторону. Винифрид буквально ускользал из-под его сплющенного носа.

И вдруг зрители ахнули. Гармарода сумел ухватить лучника за рукав и тянул к себе, а Винифрид тщетно пытался этот рукав отрезать мечом. Наконец он оказался в объятиях звероподобного противника, и последнее, что ему удалось, — дать подножку. Оба повалились.

Граф велел трубить отбой, и все кинулись к лежащим. Гармарода был мертв, на его волосатом лице застыло недоумение. Из-за его туши школяры извлекли Винифрида, живого, бледного, как известка. Давая подножку, он ухитрился всадить меч палачу в живот.

Торжество было неописуемым! Даже Черный Конрад скривился в улыбке и процедил Эду:

— Это все твоя дружина? Молодцы!

Эд подарил ему всех норманнов, и парижские всадники погнались за ними, как овцы. Граф восхищался старым берсеркером:

— Жилы что кремень! Я сделаю из него нового палача.

Стали спускаться под откос, чтобы плыть обратно в Самур.

— А где же Винифрид?

Его нашли лежащим на поляне, где вершился божий суд. Азарика прикинула к его чешуйчатой груди и в теплой глубине еле различила биенье. Роберт указал ей — палач тоже успел садануть под броню. Азарика обмерла при виде страшной рваной раны, из которой сочилась кровь. Кинулась искать подорожник, мяту — одна теперь надежда на лекарское искусство Фортуната. Но подошел Эд, пока-

чал головой и объявил, что сам отвезет хабреца. Он знает такого лекаря, который мертвых на ноги ставит.

В лодку Роберт и Азарика сели, как привыкли, плечом к плечу. На воде слегка знобило, кружилась голова. Было грустно — за весь день Эд даже не покосился в сторону Азарики. Словно исчезла она, испарилась на тропях эльфов. Обида свербила в носу.

— Озрик! Озрик! — дергал ее за рукав Роберт. — Ну чего ты такой насупленный? Скажи, как ты думаешь — когда вернемся в Самур, будет ли там еще прекрасная Аола?

## Глава четвертая ОБОРОТЕНЬ

### 1

— Подите прочь, Ринальдо! Эти ваши Ахиллесы и Агамемноны — все они мямли. Вместо того чтобы напасть и убить по-людски, они рассуждают, рассуждают...

Чтец послушно захлопнул книгу, а императрица бросила веретено и встала. Огни высоких светильников затрепетали, вытягивая язычки.

Бывало, франкские принцессы, каждая в своей светелке, коротали дни со знахарями и блаженными. Рикарда завела в Лаонском дворце обычаи своей милой Италии. По вечерам в ее покоях дамы собирались, пряли, слушали чтение книг. Но сегодня императрица была не в себе, бранила слуг, вскакивала и, брэнча украшениями, носилась по палате.

— Ах, светлейшая! — возразила герцогиня Суасонская, простодушная толстушка. — Пусть он читает, там ведь любовь! У нас-то дома все псарни да облавы, разве что-нибудь возвышенное услышишь?

— Любовь! — усмехнулась Рикарда. — Андромаха над трупом горячо любимого мужа закатывает речь, точно она канцлер Гугон и желает непременно доказать, что графство Парижское должно принадлежать принцу Карлу.

Услышав о графстве Парижском, дамы разохались, что бедняга Конрад Черный так внезапно и безвременно умер, а Рикарда вновь обратилась к чтецу-итальянцу.

— Конечно, любовь любви рознь,— сказала она, разглядывая его мужественный подбородок и сливовые глаза.— Иная из нас сутки бы говорила без перерыва, лишь бы оказаться в положении Андромахи. Ступайте же, любезный, отдохните.

Чтец расправил складки нарядной диаконской рясы и, взяв под мышку фолиант «Троянской войны», вышел.

— О повелительница!— воскликнула герцогиня.— Кому же графство Парижское, как не бедняжке Карлу? Ведь он Каролинг!

Императрица не ответила, уйдя в темноту за колонной, и за нее выступила ее наперсница Берта, бесцветная, из тех, кого называют «белая моль».

— В Париже нужна железная рука. Если там язычники прорвутся, они возьмут все.

— Ах, вы рассуждаете, как мужчины. Кто что возьмет да кто где нужен! От сердца надо судить. Милый, несчастный юноша этот Карл... Он так трогателен!

Рикарда молчала, прислонясь лбом к холодному камню, и опять за нее ответила Берта:

— Принцу ведь и так пожаловано епископство святого Ремигия, богатейший бенефиций! А ему нет еще шестнадцати...

— Ну чего мы спорим?— пожалала плечиками герцогиня.— Нас все равно не спросят.— И тут совиные ее глазки округлились до предела.— А вот и он, надежда франков, упование королевства!

В палату верхом на палочке въехал худосочный юноша. У него было одутловатое младенческое лицо и каролингский нос уточкой. Дамы шумно поднялись, приветствуя принца.

Следом вкатились, изображая птичий переполох, шуты и уродцы. Няньки хватали принца под локти, важно шествовали диаконы-педагоги. Скромно вошел и стал к стороне новый главный воспитатель принца— клирик Фульк. Говорили, что он страшно учен, испортил себе глаза наукой и теперь носит на цепочке зрительное стекло.

Герцогиня, растолкав шутов, опустила перед малолетним епископом, прося благословения. Рикарда же, поморщившись, переместилась на другой конец палаты, где стоял клирик Фульк.

— Кончился ли совет? Я послала Берту, но пфальцграф, этот грубиян...



Стеклышко блеснуло в глазу нового главного воспитателя.

— Сладчайшая! Не угодно ли, я расскажу вам один курьезный случай из последней охоты?

— Брось свое дурацкое стекло! — чуть не замахнулась Рикарда. — Ты забыл, кто тебя вытащил из грязи? Мне нужно знать, кому достанется парижский лен. Отвечай!

— Кому изволит пожаловать их всещедрейшество государь наш Карл Третий, — поклонился Фульк, держа наготове локоть, если придется загородиться от пощечины.

— Аспид! — произнесла Рикарда, будто плюнула. — Гнида!

Отвернувшись, поправила прическу и, вновь обретя царственную улыбку, хлопнула в ладоши. Берта с готовностью подбежала.

— Что у тебя сладкого для души?

— В людской сидит слепец, зовется Гермольд. Говорит, что пришел из Туронского леса, и у него арфа...

— Зови!

Седого колченого певца, на спокойном лице которого виднелись следы каких-то давних ожогов, усадили на табурет у очага и подали стакан теплого вина. Он задумчиво наигрывал запевку, как это принято у бродячих певцов: «Один мечом себе добудет трон и королеву, другому борзый конь умчит красавицу жену. Мне служит музыка, слагаю я напевы и тем живу!»

Дамы просили спеть что-нибудь самое новенькое, о том, что делается на белом свете. Певец чутко прислушивался к хору их просьб и, когда уловил в нем властный тембр императрицы, начал:

Сколько горя ты видела, франков святая земля!  
Сколько плакали люди, людей об участие моля!  
Сколько крови потеряно, пролито слез.  
Сколько к небу проклятий и жалоб неслось!  
И воскликнул однажды во гневе сам бог:  
«Сатана, что ли, вверг нас в такую пучину тревог?»  
И ответил архангел, что с огненным ходит мечом:  
«Сатана здесь, хозяин, увы, ни при чем.  
Это Конрад Парижский, владетельный граф,  
Он не знает закона, не ведает прав.  
Разлучает он близких, в рабы продает,  
Неумущий должник у него в подземелье гниет.  
Селянин разоренный с детишками нищий бредет,  
И вопит к тебе, боже, несчастный народ!»  
Бог есть бог, долго станет ли он размышлять?  
Книгу судеб велел он апостолам тут же подать.

Отыскал в ней страницу он Конрада, вырвал ее,  
И окончилось графа земное житье!  
Вот однажды у Лигера, славной реки,  
Ехал граф, с ним бароны его и стрелки.  
Видят — вышел на берег бастард, по прозванию Эд,  
Одержал здесь над данами самую славную он из побед.  
Графу зависть затмила глаза, говорит: «Здесь мой край.  
По обычаю, ты все трофеи, всех пленных отдай!»  
Взял у Эда берсеркера. Был так свиреп и силен  
Этот пленный язычник из северных датских племен!  
Сберегали его семь железных цепей, десять медных оков,  
Сорок самых отборных парижских стрелков.  
Вот язычника в клетке железной в Париж привезли,  
И сбежался народ со всей франкской земли.  
Но берсеркер сидел, нелюдим, недвижим,  
Призрак милой свободы витал перед ним.  
Граф кичливый подъехал, с ним свита его удальцов.  
Граф был пьян и берсеркеру плюнул в лицо.  
Гнев ужасный язычника тут охватил,  
Дьявол ярости силы удесятерил.  
Прутья клетки распались, рассыпались звенья оков,  
Разбежалась охрана из славных парижских стрелков.  
Пораженный берсеркером, Конрад упал с боевого коня.  
«О господи, не такого последнего смертного дня  
Ожидал я!» --- и всякий увидеть здесь мог,  
Как нечистый его душу черную в ад поволок.

Под сводами возлились летучие мыши. Потрескивали свечи, звенел бубенцами колпак, который принц, хихикая, отнимал у шута.

Дамы следили за императрицей, готовые шумно рукоплескать. Наперсница Берта держала наготове новенькую суконную столу, которую принято в таких случаях жаловать. Рикарда выхватила ее и швырнула певцу:

— Вот тебе за то, что... — голос ее не слушался, — за то, что ты пел об Эде, который несомненно самый славный боец у западных франков! А за Конрада... — Надменное ее лицо исказилось. — Эй, щитоносцы! Выбросьте его за ворота, пусть волки съедят его в Лаонском лесу!

## 2

Ночь давила каменным безмолвием. Не спалось, и Рикарда лежала, открыв глаза. Обиды дня крутились в воспаленном мозгу.

Итак, Конрад умер, и делят его наследство! В прошлом году этот самый Конрад привез из паломничества роскошную книгу и, преподнося, вложил меж страниц бисерную закладку. Рикарда пыталась прочесть заложенное

место — увы, книга была написана по-гречески. Потом пошли пиры, церемонии, охоты, все было недосуг. А теперь вот Черного Конрада нет.

Бессонница жгла, и Рикарда вскочила, взялась за серебряное круглое зеркало. Сухарь был с виду этот сумрачный Конрад, а все же она знает, что нравилась ему... И он ушел, уйдут и другие, годы вспахивают лицо, уже ни белилами, ни притираниями не скроешь их следа...

Дернула витой шнур звонка. Берта пришла не сразу, тараща заспанные глаза без ресниц.

— Спишь? Плетей захотела? Позвать чтеца!

Итальянец явился свежий, будто только и ждал вызова. Переглянулся с Бертой, и это окончательно вывело Рикарду из себя.

— Бездельники! Нажрут и дрыхнут, когда у госпожи лихорадка. — Она прибавила несколько крепких слов по-аламански. — Будем читать. Да не этих дурацких троянцев! Достань с самого верха, самую толстую... Да, да, на греческом языке. Открой, где закладка.

— «И настали в дни правления царя Ираклиона, — медленно переводил чтец, — смута и безначалие великие. И пришел из земли исавров некто Лев, ремеслом конюх. И увидела его царица в ипподроме и впустила ночью в дворцовую калитку. И убил он багрянородного и взял его диадему и воссел на трон...»

— Чего замолчал? — спросила Рикарда. — Дальше!

— Дальше ничего нет, — поклонился чтец. — Другой рассказ.

Императрица некоторое время сидела, сдвинув брови и рассматривая ногти. Затем кликнула Берту:

— Платье мое атласное, то самое, с жемчугами. Коронку малую из рубинов. А ты, Ринальдо, поднимай свиту.

Над заснувшим Лаоном, над громоздящимися кубами и цилиндрами дворца повисла меланхоличная луна. Даже собаки устали лаять, и ничто не нарушало ночной тишины. А в глубине каменного лабиринта двигалась процессия — шуты с кислыми минами, щитоносцы, не успевшие побриться, прислужницы, досыпающие на ходу. Впереди, как дева бури, шагала императрица.

— Извольте одеться, — перешагнув порог опочивальни, бросила Рикарда мужу, которому пфальцграф Бальдер показывал в корзинке новорожденных щенят.

— Фу! — сказала императрица. — Уберите эту гадость, я вам не какая-нибудь коровница из Ингельгейма.

Карл III, не попадая в рукава халата, лепетал о добавочных канделябрах, об угощении, но Рикарда остановила — это ни к чему.

— Лучше скажите, что решено по поводу парижского лена?

Карл III пил соду, морщился. Рикарда теряла терпение.

— Не подумалось вам посоветоваться со мной? Ведь мы все же одну с вами носим корону...

Ясно — они отдали Париж дурачку Карлу! Пылко заговорила о вечной опасности норманнов:

— Ваш Гугон, государь, полагает, что вновь откупился от Сигурда. О нет, герои в юбках! У настоящих мужчин аппетит приходит во время еды. Через год Сигурд явится со стотысячной ордою, и ваш принц Карлик запляшет в своем парижском лене!

Карл III взмахнул парчовыми рукавами, его обширное лицо пучилось от раздумий.

— Но кого же, государыня, кого! Я не вижу кого... Кто может быть графом Парижским? У вас кто-нибудь есть?

— Есть.

— Кто же?

— Эд, именуемый также Эвдус, Одо или Одон.

— Бастард?

— По матери он Каролинг.

— О нет, госпожа моя, и не просите... не просите!

— Но почему же, почему? Потому что он Гугону вашему где-то на мозоль наступил?

— Нет, нет... Чувствую, это на вас влияет Гоццелин, архиепископ, которому в Париже непременно нужна сильная рука...

— Да почему вы думаете, что я не в силах мыслить и желать сама? Боже, какое мне унижение в этой стране!

Она стаскивала с рук браслеты, с хрустом ломала их и бросала прочь.

Карл III суетился вокруг:

— Выпейте водички... Все будет по-вашему, успокойтесь. Завтра же соберу отцов государства. Ведь разве я что-нибудь? Им, видите ли, не нравится, что бастард этот больно уж напорист... А верховная власть ведь что?



Хе-хе! Может быть, ее задача просто не путать костяшки в игре провидения?

Рикарда оттолкнула предложенную им чашу, подошла к двери. Император же сел на постель и опал, как тесто, из которого выпущен дух.

— Ох! — стонал он. — Говорят, уж он и лены раздаст, этот ваш бастард... В бой носит синее знамя Нейстрии, как будто он уже король!

Рикарда призвала свиту.

— Да! — усмехнулась она, выходя. — Он уже король, хотя пока и без короны. Рассказывают, что, когда он едет через деревни, матери выносят детей, просят благословить на счастье. И его затаенно-дикие глаза — от одного воспоминания о них охватывает мороз... Король Эд! При таком короле я готова быть даже самой последней из его коровниц.

Вернувшись к себе, снова взялась за зеркало. Берта сочувственно примолкла, но это-то и приводило Рикарду в ярость:

— Говори!

Берта опустила на резной стульчик возле ее ложа.

— Помните, госпожа моя, кто любил у вас сидеть на этом старинном стульчике?

— Как это — кто! Аола, дочь герцога Трисского, этакая смазливая молчунья. А что с ней?

— Я слыхала, она и Эд...

— Что Эд? — взметнулась Рикарда. — Говори!

— Да ничего особенного. Просто она была в Самуре, когда налетели норманны, и Эд ее освободил.

Рикарда взглядом забегала, ища, чего бы разбить. Но взор уткнулся в греческий манускрипт, лежащий пухлым кубом на столике. И бисерная закладка в месте, полном такого соблазна! Она вскочила.

— Ты, сивка, иди-ка сюда! Да записывай на восковой дощечке, иначе все перепутаешь. Итак, завтра же... нет, сегодня, ведь уже светает... поезжай в Туронский лес, в урочище Морольфа... Ну, ты знаешь за кем. Пусть приедет, непременно приедет! Да поезжай сама, захвати с собой самые роскошные носилки. А итальянец пусть скачет в Париж, там узнает, где сейчас Эд со всей своей дружиной...

— Тпру, Байон! Дай-ка я слезу. Кажется, мы заблудились.

Азарика, ведя в поводу коня, шла по лесной прогалине, шевелила носком сапога опавшие листья. Близился вечер, и голый лес, озаренный низким солнцем, коченел, засыпая.

Третий день ехала она, пересекая Туронский лес. Ночевала в пещерах, от зверя спасалась, посыпая следы диким чесноком, запаха которого он не выносит, а от человека надеялась ускакать на верном Байоне.

Еще у святого Эриберта ей посоветовали идти на север по старой колесной дороге... Но заросший след давней колеи терялся в жухлых листьях, пока не исчез совсем.

Тогда, летом, вернулась она из Самура в тихую келью Фортуната, к милому запаху восковых красок и целебных трав. Но стоило сомкнуть веки, как тишина взрывалась звоном стали, хрипом дерущихся. Снова голый епископ вертел волчьим хвостом, плыла по волнам зарезанная Уза. Эд (снова и снова!) неистово кричал: «Не трогай моих, я сам!..» И она во сне скрежетала зубами, а опечаленный каноник творил молитвы за душу ученика.

А Эд — герой, увенчанный славой! — лишь кивнул и увлек с собой и Роберта, и тьютора, и Протея, даже толстого Авеля и Иова, застенчивого флейтиста, а ее оставил Фортунату... В монастыре началась тоска невообразимая — школа закрылась, и всюду торжествовал рациональный дух приора Балдуина. Каноник же все кашлял и охал, приходилось ему то кровь отворять, то класть примочки, и Азарика со страхом думала о зиме, когда ей вместе с ним придется переехать в постылые дормитории.

Ей попался в оружейной стальной диск от кожаного щита, который на нейстрийском диалекте зовется «зеркало». Отполировала булавкой, и можно было в него смотреться. Размышляла: что же отличает ее от Аолы, про которую только и слышишь, что красавица? Нос почти той же формы, правда немного костист, лоб чистый, овальный. А уж ресницы у нее, у Азарики, не в пример и гуще и ровнее...

Потом догадалась, что старик заметил, как она разглядывает себя. Стало стыдно, пошла и бросила свое зеркало в реку.

А на евангелиста Луку случилось событие, которое

всколыхнуло всю их тихую заводь. Приехали два богато одетых всадника в сопровождении оруженосцев и слуг. Мечи у них были в красных ножнах, каски сарацинскойковки, а на них белые перья.

Монахи пригляделись — мать божья! Да ведь это бывший тUTOR, а с ним его приятель Протей! Только теперь уж тUTOR не тUTOR, а Альберик, сеньор Верринский, владетель целого лена. Новоявленный сеньор не расположен был к излишним разговорам. Зато Протей бахвалился всюду, расписывая, как им вольготно живется у Эда, как Эд особенно отличает его, Протея.

— А меня, — спросила Азарика, — он, случайно, не поминал?

— Нет, Озрик, не поминал, — ответил Протей, стараясь щипать упрямо не растущий ус. — Да и до того ли нам? Каждый день то набег, то охота...

— Тогда, может быть, слышали о лучнике, который в Самуре отличился — Винифрид его зовут, он мне земляк.

— О, как же, как же! — заговорили оба. — Эд распорядился отвезти его в Туронский край, в глухомань, называемую «урочище Морольфа», к какой-то не то знахарке, не то ведунье... А жив или нет, не знаем.

И исчезли из монастыря, не прощаясь, будто сгнули. Азарике стало обидно — даже Роберт и тот не прислал привета. Недосуг вспоминать о товарище в глуши... А о бедняге Винифриде, который себя не пожалел ради божьего суда, и не знают, жив он или нет!

Однако вечером они прислали за ней в келью посланца.

— Сеньор Верринский ожидает ваше благочестие...

Наскоро оседлав Байона, Азарика последовала за посланцем к большим валунам на Лемовикской дороге. Там в наплывах лунного света маячили всадники.

— Озрик, — сказал сеньор Верринский, — я увез Гислу из монастыря святой Колумбы.

Похищенная оказалась тут же, она сидела в седле у своего похитителя и, крепко его обняв, заливалась слезами.

— Она же и плачет! — посмеивался Протей. — Из монашенок ее берут в сеньоры. Что касается меня, я бы уж, если жениться, какую-нибудь герцогскую дочь взял, вроде Аолы.

Бывший тUTOR велел ему заткнуться.



— Озрик! — обратился он. — Будь нам другом, как был всегда. Видишь ли, оказалось, Гисла уже не простая послушница, ее успели здесь постричь... Могут быть осложнения, понимаешь? Дай слово, если что случится, ты пошлешь вестника ко мне в Париж. Вот кошелек, здесь кое-что на расходы.

Азарика долго смотрела вслед растворившимся в лунной мгле всадникам. Там была неизвестность, там была настоящая жизнь!

Первое время она надеялась на скандал по поводу похищения Гислы — пришлось бы скакать на поиски тьютора к Эду, к Роберту! Но настоятельница святой Колумбы предпочитала закрывать глаза на проделки сильных мира сего. Потом Азарике казалось, что привыкнет, притерпится к обыденной скуке, которая оказалась невыносимей, чем любое другое страдание. Но страшные сны не проходили, а камень тоски давил все сильнее.

Теперь все чаще вспоминала она Винифрида, его деревенский вид и его заносчивую гордость. И то, как отбивал ее в Туронском лесу у мужиков и как отважно дрался с палачом... Теперь лежит где-нибудь в трущобе, во власти злобной знахарки! Если б только можно было покинуть Фортуната!

А каноник словно прочитал ее мысли. Однажды, всю ночь проохав и промолвившись, подал он ей заранее приготовленный узелок:

— Дитя! Вижу, тебе здесь невоготу. Какой-то иной долг тебя призывает. Перерос ты уже и меня, и всю мою науку. Ступай — куда не спрашиваю, возвращайся — если захочешь. А я перейду-ка в дормиторий, бог с ним, с приором Балдуином...

И вот на исходе третий день пути, и Азарика, кажется, заблудилась. Уже два раза взбиралась она на деревья, порвав свой новенький трофейный сагум. Сквозь голый лес долина просматривалась до горизонта. Все было безлюдно в осенней Нейстрии. Сдерживая отчаяние, она кормила коня хлебом, прижималась к его доброй, теплой морде и двигалась вперед.

На поляне рос могучий осокорь, еще сохранявший кое-где пурпурные листья. Азарика постучала по его коре согнутым пальцем: «Осокорь, осокорь, проснись, дедушка, помоги!» Затем вскарабкалась почти на вершину.

И вот в фиолетовом сумраке наступавшей ночи у дальних холмов мелькнул и исчез огонек. Что это — видение,

обман глаз? Огонек появился снова, заиграл во тьме. Постаравшись запомнить направление, Азарика слезла и ошупью с конем продолжала путь.

Часа через два огонек замелькал совсем близко, и перед нею вырос силуэт строения. Огонек вдруг померк — хозяйева легли спать. Вокруг же дома, как бы над окружностью забора, попарно светились какие-то странные голубоватые точки.

Азарика не могла заставить себя постучать в ворота. Ночной лес казался ей менее страшным, чем это таинственное жилище.

Ее ободрило лишь поведение Байона. Конь, всегда чуткий ко всему опасному, на светящиеся точки внимания не обращал. Зато прижал уши, как только из глубины дома раздался приглушенный лай собаки.

Найдя еловую заросль, Азарика заставила Байона лечь на перину из прошлогодней хвои. Вытащила свой короткий меч и, не выпуская его, тоже легла, положив голову на уютное лошадиное брюхо. Старалась не спать, таращила глаза на загадочные точки. Но усталость брала свое, а пары с болота несли с собой пьянящий запах багульника.

Конь пошевелился, и она проснулась. Было светло. За бревенчатым частоколом кто-то гремел бадьей, набирая воду. Лаяла собака, чуя посторонних. Азарика подняла взгляд и замерла от ужаса — на высоких кольях ограды красовались человеческие черепа.

#### 4

До самого полудня она, сдерживая порывавшегося встать коня, терпеливо наблюдала за лесным жилищем. Но там шла мирная, обыденная жизнь, готовили обед — над трубой вспорхнуло облако дыма. Наконец заскрипела калитка и вышел, прихрамывая, мужчина в зеленом заплатанном сагуме, нес секиру. Нарубил сушняка и повернулся, чтобы идти обратно. Азарика чуть не вскрикнула — это был Винифрид!

Однако она снова заставила себя ждать, и, лишь когда калитка за ним захлопнулась, подняла коня и достала из седельной сумки сверток. Это была та самая хламида из грубого холста, которая шилась прошлой весной у отца Фортуната для славной Риторики. Думая о поездке на поиски Винифрида, Азарика рассудила, что ей лучше все-

го предстать перед ним в женском. Иначе как объяснишь ему все?

Винифрид, отворив ей, попятился, отчужденно рассматривая ее лицедейское платье, коня в поводу. Азарика постаралась улыбнуться как можно дружески:

— Это я. Помнишь?

По его лицу разливался суеверный страх. Он поднял руку, намереваясь оградить себя крестом.

— Я не привидение. Потрогай меня, если хочешь.

Она вошла в дом, а он отступал перед ней, угрюмая с каждым шагом. Стараясь быть непринужденной, она уселась на край сундука и заговорила тоном соседки, забежавшей узнать о здоровье больного.

— Ну, как тебе тут живется? Да не отодвигайся, в Самуре ты и свирепых язычников не испугался.

Сказала и спохватилась. Он же видел ее всего один день в жизни, он же ничего не знает о ней! Да и вообще вся ее затея с поездкой к нему — несусветная глупость. Но куда же теперь отступать?

Над низкой горницей повисли столетние балки. Свет еле проникал в затянутае пузырем окошко. Закопченный очаг разинул пасть такую, что Азарика въехала бы в него на Байоне.

Все это можно было найти в любом франкском жилищном доме. Но в углу возвышался скелет (Азарика даже подмигнула ему, потому что точно такой же был у них с отцом на мельнице). На приступке очага теснились узконосые бутылки, причудливые кувшины, шестигранники с мордами бесов и прочая колдовская посуда. Поскрипывали сонные совы, а из-за печи светились желтые кошачьи глаза. Ах, вот оно что? Ведь это дом знахарки, у которой лечится Винифрид.

А он заметил улыбку, с которой Азарика взглянула на скелет, и подозрительно хмыкнул. Поднял палец, зашептал, оглядываясь:

— Больше всего бойся этого скелета... А еще котов — они все хозяйке докладывают.

Азарика почувствовала, что ей становится жутко.

— Да что с тобой? — Она потрясла его за плечи. — Ты что, заколдован? Это я, Азарика, дочь мельника, помнишь?

— Ну как же не помнить... — бормотал он, снимая ее руки. — У сеньора Гермольда... Ведь это я тогда ложную тревогу поднял. Десятника уговорил, мы как гаркнем:

«Норманны, норманны!» Бастард — на коней, и был таков.

Он вымученно улыбнулся. Под нестриженными сальными космами разгладились морщины лба. Азарика была рада и этой его улыбке.

— А сеньор Гермольд, бедный сеньор Гермольд? Удалось ли вам его хоть похоронить по-христиански?

— Хоронить? Зачем хоронить? Он жив.

— Сеньор Гермольд жив?

— Ну жив же! Да не тебе об этом и спрашивать...

Азарика лихорадочно восстанавливала в памяти то холодное утро, тот туман и колокол, ноющую медь. Но почему ей не спрашивать о том, что Гермольд жив? А Винифрид рассказывал длиннейшую историю о том, как новый бенефициарий их всех согнал с земли, как он, Винифрид, вступил в армию Гугона, а семья его получила надел — далеко отсюда, под самым Парижем, в Вalezии...

Азарика же радовалась: «Жив! Все-таки судьба щадит добрых людей!»

Охотничья собака ростом с овцу подошла к ней, приволакивая зад, обнюхала и доверчиво положила длинную морду ей на колени.

— А чем же тебя лечат в этой глуши?

Винифрид оторвался от домашних воспоминаний и снова стал странным. Округлое лицо потеряло румянец оживления, сделалось тупым и серым.

— А будто не знаешь? — подозрительно прищурился он. — Водичка тут есть в лесу, даже зимой пар исходит. Вот и собачку вылечила вода. Это собачка-то сеньора Эда, который бастард.

Та самая собака, из-за которой погиб отец! Азарика непроизвольно сбросила ее голову с колен и встала. Собака, отойдя в сторону, смотрела на нее сожалеюще.

Винифрид же подскочил к двери, накинул засов.

— Стой! — закричал он Азарике, поглядывая в сторону скелета. — Ты не уйдешь! Так повелела госпожа наша Лалиевра, владычица сил потусторонних! Она обещала: первый, кто сюда придет, меня заменит!

Азарика, себя не помня, бросилась, стала отталкивать его от двери — скорее, скорее на волю! А он выкрикивал, как кликуша:

— Мне надо в Вalezию! К черту ваших канцлеров, к дьяволу ваших бастардов! Я пахарь, у меня восемь ртов за душой!

И Азарика увидела, как по его щекам, рябоватым от давнишней оспы, скатываются слезы, крупные, словно улитки. Она отошла от него, села на сундук. Боже, да есть ли жизнь без страданий?

— Перестань, глупый...— Ей стало вдруг спокойно и ясно.— Я и пришла только затем, чтобы тебе помочь. И если надо, я останусь вместо тебя. Или хочешь, уйдем вместе?

Протянула Винифриду дружескую руку. Но тот попятился:

— Тьфу, тьфу, тьфу!..

В печи потрескивали головешки, кошачьи глаза во тьме мерцали, торжествуя. Винифрид, придя в себя, глянул в окошко:

— Батюшки! Солнце уж ниже леса!

Схватив подойник, он умчался к коровам, взъерошенный, несчастный, а Азарика задумалась, глядя в огонь. Ей вспомнился он в самурском соборе — прицеливающийся глаз, прядь волос, упавшая на упрямый лоб. Что же с ним случилось в этом страшном лесу? А огонь плясал, неукротимый, похожий на Эда, который хохочет на захваченном дракаре.

Когда оконце стало густо-синим, Винифрид зажег лучину. Байон во дворе заржал, и ему призывно ответило ржание далеких лошадей.

— Хозяйка едет! — встрепенулся Винифрид.

Совы стали перелетывать с балки на балку, а кот непонятным образом раздвоился — из-за печи вышли два совершенно одинаковых томных, золотоглазых создания и сели по обеим сторонам двери.

— Едет! — прошептал Винифрид, сжимаясь.

В лесу слышались перестуки, грохнуло у ворот и запахло серой. Дверь рвануло с петель, и на пороге появилась волшебница, обзревая свое домашнее хозяйство.

Азарика сама была готова превратиться в сову, потому что в дверях стояла, вонзая в нее недоброе око, не кто иной, как Заячья Губа!

Утром Азарикку разбудил удар клюки.

— Вставай, оборотень, Озрик-Азарика, вставай, разгаданный хитрец! Бери-ка подойник, да не смей мне коров

портить. Видела черепа на огаде? Там как раз один кол пустует — для тебя.

Рассвет еле брезжил в запотевшем окошке, холодный очаг казался головой великана, разинувшего пасть. Руки и ноги одеревенели, затылок стиснула боль. Вчерашнее с трудом припоминалось. Вчера ведьма спросила Винифрида:

— Это и есть твоя знаменитая Азарика? Долго же я ее ждала.

Она схватила ее за подбородок, всматривалась пронзительно и неприятно, затем, как бы в чем-то разочаровавшись, оттолкнула. Приказала Винифриду вычистить дорожную метлу, на которой, по ее словам, она три дня летала в Рим и обратно. Винифрид с благоговением исполнил приказание, как ребенок, который холит своего деревянного коняшку на палочке. Совы, очевидно любимицы, так и летали вокруг хозяйки, а коты терлись о ее скрюченные ноги.

— Ужинать? — скосоротилась старуха. — Я сыта, вдоволь полакомилась человечинкой. В Аврелиане мне попался взяточник-канцелярист, но костлявый, словно лец. Уж я плевалась-плевалась! Зато в Суассоне был жирненький аббат, ветчинка у него слоеная — мяско и сальце, мяско и сальце...

Винифрид, выронив щетку, стоял с разинутым ртом. Азарике тоже на какое-то время стало не по себе. Впрочем, она чувствовала, что все эти рассказы о человекоядении выдумка. И правда, старуха, вдоволь насмеявшись и показывая при этом свой единственный ржавый зуб, принялась за кроличий паштет, овсяную кашу, бычью печенку и все это, запивая сидром, уничтожила.

— Ну как, — развалилась она, икая, — отпустим, что ли, Винифрида?

Тот просветлел и поклонился ей в ноги.

— Да и как же тебя не отпустить? Там тебя ждет молодая жена.

Азарика вздрогнула, а Винифрид опешил.

— Какая жена, госпожа Лалиевра? У меня никакой жены...

— Хо-хо, уж я-то знаю, на то я и волшебница! А ты что же, рассчитывал на эту твою Азарика? Как бы не так, у меня на нее другие виды. А ты ступай, там тебя уже ждет красавица, черноногая, как ты сам.

Винифрид кланялся и бормотал благодарности. Старуха обернулась к скелету:

— А ну-ка, сеньор Мортуус, ваша светлость, права ли я?

Скелет вздрогнул и медленно поднял правую кисть, покивав желтым черепом. Азарика чувствовала, как ледяной пот стекает по ее спине. Оглянулась на Винифрида, тот был блее полотна. «Права, пра-ва!» — произнес скелет утробным голосом, клацая челюстью.

Азарика ощутила на себе блестящий, пронизывающий до нутра взгляд Заячьей Губы. Старуха вроде что-то и говорила, но она уже не могла различать слов, впадая в тяжкое забытье...

И вот теперь она поднялась, еле разгибая суставы, оглядываясь.

— Дружка своего ищешь? — ехидничала старуха. — Покинул тебя твой Винифрид. Да и зачем ты ему? Я и конька твоего отдала ему, гнедого. Теперь тебе не бывать уж мужчиной, об этом я позабочусь.

И распростерлась над ней, как огромная сова, раскрылатилась — сверлила остриями железных зрачков.

— Не сметь бунтовать, не сметь бунтовать! Там свободный есть колышек у ворот, там свободный есть колышек у ворот...

И потянулась зима, день за днем, день за днем. От рассвета до глубокой полуночи Азарика гнула спину на хозяйство старухи, которое было немалым — у какого-нибудь вавассора с ним еле бы справлялся десяток рабов. Обезволилось, отупело, изныло сердце, огрубели руки — едва ли теперь когда-нибудь доведется выводить ими затейливый минускул!

Заячья Губа — или госпожа Лалиевра, как теперь надлежало ее именовать, — здесь ничуть не напоминала ту шутиху и побирушку, какой она была в Самуре. Вечно она брюзжала, вечно была недовольна, вечно стращала Азарика. И коты ее царапались, лицемерно мурлыкая, совы норовили Азарика клюнуть, скелет поглядывал свысока. Зато собака Эда подружилась с ней. Даже спали они вместе, на одной блошиной дерюжке. Заячья Губа иногда окликала собаку:

— Майда, тю-тю-тю! Скоро ли пришет за тобой хозяин? Не жди, он тебя забыл, как любой, кого несет на крыльях успех, забывает друзей скудной юности, ха-ха! А уж какой баловень войны этот Эд, подобного нет во

всей державе франков! И он меня в Самуре красавицей назвал перед всем народом.

Однажды, изучив зарубки на ручке своей метлы — это был ее бесовский календарь, — она объявила, что время гадать.

Бормоча заклинания, взяла один из горшков с рога-тыми мордочками. Из очага поддела совком кучу углей, переливающихся как рубины, всыпала в горшок, перемешала с розовым маслом. Поднялся столб дыма, синерозового, лилово-голубого, упоительно было им дышать! Совы планировали в дыму, вскрикивали не по-птичьи. Старуха ударяла в бубен.

Отец сатана, отец сатана,  
Вот тебе розы, розы тебе на!  
Вот тебе зелье, зелье мое,  
Яви на мгновенье величье свое!

Она бесновалась, забыв о своих недугах, кричала непонятное. Вдруг обернулась к Азарике, сверкнув глазищами:

— Гляди, гляди в огонь! Видишь — Эд и на нем корона? Быть ему королем! Быть ему королем!

И вдруг оборвала танец, горшок залила, а Азарике погрозила:

— Я все знаю, о ком ты думаешь, тихоня-оборотень. Не по себе дерево рубишь!

Старухины слова Азарiku не тронули. Ей как-то стал безразличен и Эд, и все его страсти. На прошлой неделе, убирая горницу, она наткнулась на какие-то рычаги под полом. Оказалось — это целое устройство, приводившее в ход сухие кости сеньора Мортуса. Остальное было понятно само собой. Чревовещать за скелет или за котов мог бы и отец, только он никогда не пользовался этим для обмана простодушных Винифридов.

Разгадались и черепа на заборе. Как только ударил первый мороз, их глаза погасли. Азарика воспользовалась очередной отлучкой старухи, чтобы полезть туда. Черепа оказались набитыми самой обыкновенной гнилушкой из болота, которая, как известно, не светится зимой!

На крещенье старуха пристала: летим на шабаш к стригам! Азарика отказалась, старуха вышла из себя.

— Зря, что ли, я тебя кормлю? — Бешенство дрожало в ее выцветших зрачках. — Я стара, я слаба, кто-то должен меня заменить?

Но Азарика выдержала шквал ругани, и ведьма отстала. Раскупорила каменный флакончик.



— Намажь-ка меня! Учись, глупая, учись! Будешь повелевать людьми.

Пока Азарика втирала в ее морщинистую кожу снадобье, она горестно разглядывала себя, качая головой:

— Жизнь прошла, ах, унеслась будто в пропасть! А какие герои меня любили! Старый Морольф, который строил этот терем, таинственный Мерлин, Одвин из бретонской земли! Что у меня заячья губа, так это в те годы только прибавляло мне прелести...

Затем старуха выгнала ее на мороз. С неразлучной Майдой они отсиделись в сарае, слушая, как утробно вздыхают коровы, а за бревенчатой стеной неистовствует ведьма. «Уж не отца ли она моего поминала, Одвина?» — размышляла Азарика. Луна вошла над снегами высоко, где ни полеты стриг, ни козни колдунов не нарушают вечной чистоты.

Утром, прежде чем затопить очаг, Азарика, убедившись, что Заячья Губа лежит без сил, взобралась на крышу и выдернула из трубы затычку, которую специально вставила туда вчера. Так и есть, затычка и с места не сдвинута. Значит, и здесь обман.

Но зато по земле госпожа Лалиевра действительно перемещалась с большой быстротой на полудиких, неоседланных конях. Везде все узнавала сама или через своих уродцев. Возвращаясь, обо всем говорила, особенно об Эде, его удалстве и выходках. «Скоро жизнь наша перевернется колесом!» — загадочно вещала старуха.

Однажды, когда уже по-весеннему запахло снега и на кустах проклюнулись почки, раздался рог вестника за чаштоколом. Заячья Губа торжественно обратилась к Азарике — видала, мол?

— Их светлейшество императрица просят меня — покорнейше просят! — пожаловать для решения государственных дел.

Заячья Губа объявила посланцам Рикарды, что в присланных той золоченых носилках поедет главный чародей сеньор Мортуус. Азарика чуть не прыснула, наблюдая остолбеневших придворных, когда вместе с Заячьей Губой она почтительно усаживала скелет на подушки. Сама же госпожа Лалиевра заявила, что обгонит всех на метле.

Перед отправлением она отвела Азарiku в сторонку:

— Не смей, дура, бежать. В твоём балахоне, чумазую, тебя первый встречный примет за скотницу, удравшую от сеньора! — И добавила просительно, даже нежно: — И,

кроме того, ты должна же мне помочь! Дочь такого мастера неужели не знает тайн мастерства?

«Придет час, убегу!» — твердила Азарика, взгромоздясь на воз с флаконами, шестигранниками, сосудами, клетками для сов и котов. К ней вспрыгнула Майда, и обоз заколыхался на лесных ухабах.

На седьмой день пути с горы им открылась в лучах восходящего солнца словно бы чешуя, переливавшаяся вдали. Там, на пологом склоне, расстился Лаон, императорская столица, — море крыш, башенок, теремов, колоколен, куполов, шпилей. А над этим над всем — кубы и конусы дворца Каролингов.

## 6

— Человек, пресветлейшая моя государыня, есть высшее творение божье. Все элементы мироздания вложил творец в Адама, и теперь у каждого из его потомков утрата хоть одной из частиц ведет к смерти, к потере земной нашей оболочки. В этом-то и сокрыта разгадка бессмертия, то есть молодости вечной!

Императрица Рикарда в утреннем туалете, с закрученными кудряшками оперлась о спинку кресла колдуньи, с любопытством следя за ее манипуляциями. Достоинейшая госпожа Лалиевра, засучив широкие рукава только что пожалованного ей роскошного платья лунного цвета, хлопотала над очагом, помешивая в тигле.

— Итак, чтобы остановить или предотвратить старение, нужно вводить в организм именно тот элемент, который выпал из общей гармонии. Так, например, чего не хватает торговцу? Как известно, мужества, смелости. Значит, введем ему Марс — железо... Наоборот, чего недостает воину? Согласитесь, что умения изворачиваться, хитрить. Дадим ему Меркурий, живое серебро, ртуть. Сатурн — сурьму — дадим властителю...

— Сатурн не сурьма, — заметила Азарика из-за очага, где она лениво раскачивала мехи. — Сатурн — это свинец.

— Она меня учит! — рассердилась Заячья Губа. — Впрочем, увы, я совсем запамятовала. Сатурн — это действительно свинец!

Зачерпнула пробу длинной ложечкой и поднесла Рикарде посмотреть цвет состава.

— Твои рассуждения очень уж просты, — возразила императрица, возвращая ложечку. — Если б это было

именно так, любой мог бы ввести себе недостающее и на земле стало бы тесно от бессмертных.

— О! — вскричала Заячья Губа. — Ты бесконечно права, всемудрейшая! Но, во-первых, на брэнной нашей земле есть множество борцов с бессмертием — кровожадные полководцы, свирепые палачи, полунощные убийцы, шарлатаны-лекари, наконец! А во-вторых, по неизреченной предусмотрительности божией, благодать вечной молодости, равно как и другие таинства черной магии, доступна лишь избранным...

— И тебе?

— И мне... — поклонилась Заячья Губа со вздохом, как бы желая сказать: недостойна, мол, но что поделать — храню!

— Послушай, — вдруг спросила Рикарда, обкусывая кончик веера, — если я одного человека приглашаю ко двору, а он не едет, что это может означать?

Заячья Губа помедлила, вскинув нарисованные брови.

— Это может означать, моя сладчайшая, что у него нет должного звания. А он не хочет оказаться с придворными не на равных.

— Эй! — снова вмешалась Азарика, высунувшись из за мехов. — Не сыпьте больше селитры, взорвет!

— Кыш тебе! — махнула на нее волшебница, но селитру отставила и вдвоем с Рикардой принялась усердно мешать в тигле буковыми тростями.

— А скажи еще, — императрица помахивала обуглившейся тростью, — бывали ли у франков случаи, когда женщине самой удавалось достичь единодержавия?

— О, конечно, блистательная! Вот в этом самом Лаоне лет двести назад королева Брунгильда правила сначала за мужа, потом за сына и, наконец, за внука. И страна была счастлива под скипетром столь справедливым и милостивым...

«И не Брунгильда, а Фредегонда, — хотелось сказать Азарике. — И не счастлива была страна, а тонула в крови и бесправии... Что ж ты, голубушка, сколько тебе ни пересказывай Хронику, ты вечно все перепутаешь!»

Ей успели смертельно надоест и вечный чад, и рассказыванье мехов, и попреки, а главное — беспрестанная болтовня старухи с императрицей.

Заячья Губа во дворце быстро сделалась всем необходимой. Безземельным молодцам пророчила богатых невест. Знатным дамам готовила притирания для румянца.

Даже канцлер Гугон, который уже не сходил с одра болезни, призывал ее для каких-то бесед. Каждый вечер в сопровождении императрицыных евнухов, шутов и приживалок госпожа Лалиевра процессией обходила дворец, творя обряды против злого наговора.

— А теперь хочу спросить еще об одном.

— Спрашивай, несравненная, спрашивай, державнейшая!

Но императрица качнула прической в сторону мехов, где трудилась Азарика.

— Эта простушка? — сморщилась волшебница. — Не стоит и принимать во внимание...

— Скажи, есть ли средство... Как бы поточнее выразиться? Есть ли... ну лекарство, что ли... чтобы человек заснул, а на самом деле отошел в вечность...

— В смерти, как и в жизни, волен бог.

— Знаю, знаю, — разгоралась императрица. — А ты все-таки, старая, скажи, есть ли такое средство?

Волшебница молчала, уставясь в кипящий сосуд.

— Пора бы перестать качать, — заметила Азарика, но та не ответила даже ей.

— Я где-то слышала, — понизив голос, продолжала Рикарда, — есть такой состав, «Дар Локусты», он не вызывает подозрений...

— Как бы врач, — сухо ответила Заячья Губа, — не лишился головы, прописывая такие лекарства.

Рикарда с треском сломала трость.

— Скорее утопят тебя за твое чернокнижие, чем лишат головы меня, гнусная тварь! Кстати, о чем ты изволила беседовать с этим пройдохой Гугоном? Ведь не о погоде же, не о видах на урожай?

Большая посудина в очаге, жалобно звякнув, лопнула, и зеленый, густой, вонючий дым повалил из топки. Старуха и императрица всполошились, замахали веерами, разгоняя вонь.

«Бежать, бежать!» — тосковала Азарика, слыша речи о ядах и казнях. Когда-то, попав из мельничной хибары в убогий дом Гермольда, она приняла его за чертог. Теперь исполинский дворец в тысячу покоев сделался ей душен и ненавистен.

А Рикарда решила к ней подольститься. Сказала Берте:

— Сошьем младшей чародейке платьице. Что ж она у нас такая замарашка?

Загоревшись этим, лично обмерила Азарику, советовалась с портными, кроила и наконец все примерила на Берте. Это было нечто невероятное. Лимонного цвета сто́ла, ушитая в груди так, что подчеркивала фигуру прямыми складками. Сверху накидывался плащ небесного оттенка, обшитый парчовой бахромой и украшенный на плече фибулой — серебряной пряжкой.

Но когда захотели надеть все это на Азарику, случилось удивительное. Девушка яростно сопротивлялась, даже не позволяя снять с себя прежние лохмотья. Императрица, Берта, Заячья Губа втроем возились с ней битый час. Намаялись, накричались, а она, зажмурившись и стиснув зубы, не поддавалась ни на волосок. В конце концов в пылу возни Заячья Губа, пытавшаяся стащить с нее грубый и разбитый сапог — все, что осталось от самурской военной одежды, — отлетела и пребольно стукнулась затылком.

— Звереныш! — с досадой воскликнула старуха. — Что у тебя там — копыто, что ты не позволяешь снять даже сапог? И, светлейшая, эта неблагодарная тварь не стоит твоих забот!

Ее оставили в покое, и она забилась за печь, за мехи, просидев там всю ночь в слезах и паутине.

А на заре, выглянув из своего убежища, она замерла от восхищения, увидев развешанное на колышках новое — свое первое в жизни! — платье. В покоях императрицы царил безмятежная тишина, и она поспешила его надеть. Майда, единственная свидетельница ее туалета, ошеломленная блеском и шорохом шелка, прыгала от веселья. Теперь хорошо бы взглянуть на себя самой — но как? Вспомнила — в боковой верхней галерее дворца есть большое черное зеркало из стекла.

Рано утром, когда господа почивают, дворец уже живет кипучей жизнью. Возвращаются дружины охотников — ведь надо же прокормить орду коронованных и некоронованных Каролингов. Телеги скрипят на задних дворах непрерывно, там же секут старосту, доставившего малый оброк, да еще и зажимают ему рот, чтобы не беспокоил спящих господ. Толпы лакеев с метелками и тряпками наводят блеск.

Один лакей, пахнув вином, обнял Азарику: «Экая ты милашка!» Другой крикнул ему поспешно: «Берегись! Что ты, не видишь — это одна из государынинных ведьм!» А ведь прежде она шмыгала мимо них десять раз в день,

и ей не дарили ни капли внимания. В черном зеркале навстречу шла какая-то девушка в желтом и голубом. Неужели это и есть она, Азарика? Красивая, не красивая, бог весть, с копной непокорных волос, носок туфли кокетливо выставлен из-под оборки.

Вдруг Майда зарычала на какую-то другую собаку. В черной поверхности зеркала за спиной Азарики показался Красавчик Тьерри. Был он забрызган тиной и увешан дичью, разинувшей клювы. Посвистывая, шлепал себя арапником по сапогу.

Азарика отлично помнила Тьерри по Туронскому лесу, но теперь нисколько его не боялась, как и всю их тогдашнюю шайку. Да и Тьерри теперь утратил свой голодный облик. Его посеченное долгоносое лицо обрело оттенок высокомерия, а чтобы подкрепить свое прозвище, он отпустил фатовские усики. Азарика присела перед ним и изобразила завлекательную улыбку, ожидая, что из этого выйдет.

— Погадай-ка, крошка,— протянул он ей негнущуюся ладонь, всю в мозолях от весел и рукоятей. «Как у Эда! — подумала Азарика.— Но у того мощней».

Стала рассуждать о венеринном бугре и линии жизни, но Тьерри ее прервал. Надо узнать, скоро ли он наконец получит бенефиций?

— Скоро, скоро! — заверила Азарика. Он отцепил ей от пояса двух самых жирных куропаток и ушел не оглядываясь. А ей стало обидно — неужели для них для всех она лишь помощница колдуньи?

Зато уже потом, когда она, к удивлению императрицы и Заячьей Губы, стала все-таки носить свой новый наряд, она была вознаграждена, да как!

Куда-то она шла по верхней балюстраде, как вдруг ее грубо оттолкнули: «Прочь с дороги!» Азарика очнулась от своих мыслей. Навстречу ей длинный, нескладный юноша катил палочкой золотой обруч. Здоровенные диаконы бежали по сторонам, охраняя дорогу.

Это был принц Карл, прозванный Дурачком. Увидев Азарика, он остановился. Она различила, как в бессмысленной голубизне его глаз искрится восторг. Няньки тянули принца за рукава:

— Ваше благочестие, пора. Вы же епископ, бьют к вечерне.

Принц отмахнулся от них и подошел к Азарике. Из оттопыренной губы его стекала слюна, и это было очень

противно, но все искупало восхищение в его небесных глазах!

Схватив юношу за руки, она в приливе дерзкого веселья закружилась с ним среди квохчущих мамок, и Карл смеялся самозабвенно. А прежде чем его увели, она в ощущении некоего всемогущества погладила принца по редким волосикам, и он глядел на нее снизу, как Майда.

Но нет радости без возмездия. Диаконы будто клешнями впились ей в плечи. Вихляющей походкой приблизился некий клирик. Мутно ее разглядывал в зрительное стекло. Велел диаконам отойти.

— Та-ак. Кто же нас к принцу подсылает, с какой целью? Не желаем отвечать? Тогда, может быть, госпожа младшая ведьма, вы расскажете, кто такой Крокодав, зачем он недавно появился у вас в покоях и почему велено ему говорить шепотом? А какие сооружения, по указу Лалиевры, мастерят у вас плотники и что за балахоны шьют портники?

Каждой клеточкой тела Азарика чувствовала, что это самый страшный человек, который когда-либо встречался ей в жизни. От непонятого ужаса она окаменела. А клирик мотал жилистым пальцем:

— Смотри, пряткая, из шелка да серебра мы тебя переоденем в железо да тряпье!

## 7

Канцлер Гугон отходил из жизни земной, и все в Лаоне ждали об этом звона с соборной башни. Третьего дня ему во сне явились Аэций, Стилихон и Пипин Геристальский. Древние мужи делали пальцами явно манящие знаки. Для толкования сна были приглашены астрологи, но те лишь запутали дело рассуждениями о сочетаниях планет. Их сменила Заячья Губа. Она курила киннамоном и заколдовала все углы опочивальни, но не успокоила расстроенную душу канцлера.

— Не станут же столь выдающиеся министры древности, — рассуждал больной, — беспокоить себя по пустяку. Им не хватает меня в их загробном сонме.

Будущий покойник принял соборование и лег под образа, распустив суровые морщины. Два послушника — светлый, как агнец, и черный, как вороненок, оба похожие на библейских серафимов, — ухаживали за ним, и канцлер именовал каждого — друг мой.

Его наперсник Фульк выхватывал у них каждую подушечку, каждую рюмку с питьем, сам все подносил. Горестная слеза не исчезала с его впалой щеки. Прибыл, узнав о смертном предвестии, и старый однокашник Гугона — дряхлый Гоццелин, орхиепископ Парижский. Даже при столь печальных обстоятельствах он не переставал жевать свои сласти.

Посетил своего министра и сам Карл III, сочувственно охал, глядя на отрешенное от жизни лицо Гугона.

— Подставь государю мягкое креслице,— указал се-  
рафиму канцлер.— Да не то, растяпа! О господи, вот и со-  
грешил перед кончиной!

В витиеватой речи он благодарил императора за всег-  
дашнюю милость, а сподвижников — за снисходитель-  
ность. Об одном сокрушался: так и не успел решить, кому же  
отдать парижский лен.

— Только не принцу Карлу,— перебил архиепископ  
Гоццелин.

Фульк попросил позволения сказать. Бастард Эд, ви-  
дите ли, рассматривает себя как законного наследника по-  
койного Конрада, и, если Париж как можно быстрее не  
утвердить за принцем Карлом, он захватит его со своей  
шайкой. Гоццелин, покачивая митрой, говорил о нор-  
маннских лазутчиках, которые под пыткой признаются,  
что Сигурд со своими данами усиленно готовится в поход  
на Париж. Император пытался вставить: «А вот наша же-  
на... Наша супруга...», но никто никого не слушал.

Гугон остановил спор мановением руки.

— Бастард Эд...— задыхаясь, произнес он,— не на-  
следник Конрада... Мы запрашивали их мать, принцессу  
Аделаиду...

По его знаку Фульк вынул из кованого ковчезца сви-  
ток с массивной печатью на шнуре. Гугон облобызал пе-  
чать и начал:

— «Из Парижа на святого Николая Мир Ликийских  
чудотворца, в полдень. Удивлены мы, достойнейший отец  
наш Гугон, как вам могла прийти мысль о даровании па-  
рижского лена Эвдусу, иначе Одону. Считаю его к приня-  
тию титула неподготовленным, непригодным...»

— Сумасшедшая старуха! — сказал Гоццелин, выпле-  
ывая твердую миндалину.

— А я,— вдруг приподнял голову Гугон,— по-  
слушайте, что вам скажу. Конечно, надо назначить  
Эда.



Фульк от неожиданности выронил свиток. У Карла III отвисла челюсть.

— Да, да, — слабо повторил канцлер. — Я умираю, мне все равно, но знайте: только Эд спасет королевство, больше никто.

И поскольку никто не брал на себя смелости решений, Гугон предложил обратиться к силам потусторонним. Все присмирели — это было и рискованно, и страшно, церковь запрещала вызов усопших. Канцлер, однако, сослался на пример Аэндорской волшебницы, которая при сходных обстоятельствах вызывала же царю Саулу тень пророка Самуила!

Госпожа Лалиевра явилась торжественная и насурмленная как никогда, волоча за собой серебряную мантию с собольими хвостиками. Ее клеветы расставили треноги, шестигранники, какие-то ширмы таинственного назначения и скрылись.

— Кого желаете вызвать, государи мои?

Мнения разделились. Гоццелин предложил Карла Великого, но Карл III испуганно затряс щеками — слишком уж было страшно. Гугон решил — Пипина Старого, основателя династии. Фульк стоял белесый от волнения, уши оттопырились, как никогда.

Заячья Губа приказала погасить все свечи, завесить окна, узкие, как бойницы. В зловещем отблеске разгорающихся цветных огней колдунья трижды призвала дух баснословного прародителя Каролингов.

Перед притихшими зрителями клубился плотный дым, складываясь в причудливые образы. Из-под пола раздался словно тяжкий удар землетрясения. В колеблющейся тьме под сводом обозначилась фигура непомерной величины. Вспыхнуло лицо, неясное, страдальческое, струящееся бородой.

— Зачем тревожишь, повелительница чар?

Заячья Губа шепотом предложила Карлу III задать духу вопрос. Тот, судорожно глотая слюну, качал головой. Тогда вопрос задал Гугон, без обиняков: кому передать парижский лен?

— Эду, Эдусу, Одону, сыну Роберта Сильного! — немедленно ответил дух. И голос его, подобный обвалу, родил чудовищное эхо, от которого заныл гранит в монолитных толщах стены.

Видение заколебалось, расплылось. Зажглись свечи.

Головы у всех будто кто-то набил жженой паклей. Волшебница собрала свои треноги и была такова.

— Это обман! — вдруг выступил Фульк, и все обернулись. Клирик откинул всегдашнее смирение. — Взгляните, вот точно через такое же, как мое, зрительное стекло греки ухитряются пускать луч светильника на клубы дыма и рисовать на них всячески вздор... Я знаю, я видел это в Риме. Это возмутительно! Позвольте, досточтимые господа, определить мне срок, я представлю доказательства...

Карл III, архиепископ Гоццелин и лежащий на одре Гугон уставились в его разгневанное лицо.

— Значит, ты, — спросил Гугон, — не веришь в колдунов и их чары?

— Нет!

— Это нехорошо, — вздохнул Гугон. — Следовательно, ты не веришь и в козни врага человеческого дьявола?

Фульк поперхнулся, понимая, что переборщил, а Карл III и оба прелата переглянулись, улыбнувшись.

— Не верить в дьявола — значит не верить и в бога... — Гугон откинулся на подушки, а белый и черный серафимы подали ему питье.

Карл III поцеловал канцлера в лоб и удалился, опершись на руку Фулька. Гоццелин тоже склонился проститься с товарищем.

— Не сердись... — сказал ему Гугон, задыхаясь. — Но на место канцлера я ставлю не тебя, а вот этого самого Фулька. Здорово придумано! — хмыкнул он. — Эд и Фульк — они друг другу не дадут растащить наследие Каролингов...

В полночь лаонские колокола возвестили наконец, что канцлер королевства сменился.

## 8

Была троица, девушки и юноши, оставив ненадолго сенокос, устремились в дубравы и рощи. Срывали маки, плели венки, бросали их в текучие воды. Плясали до утра на ласковой траве.

На заре их испугала колонна всадников в чешуйчатой броне.

— Что случилось? Опять война?

— Нет, — отвечали всадники поселянкам, подававшим

им ковши у колодца.— Мы едем в Лаон, наш сеньор Эд получает там парижский лен.

Там, во дворце, Рикарда держала себя именинницей, Заячью Губу не отпускала ни на шаг. Прислужницы в гардеробе набросали ворохом платья, и Рикарда советовалась о нарядах к церемонии.

— Вот в этом розовом я такая резвушка, такая хохотушка, а в черном бархатном — постница, будто сейчас из монастыря. Но лучше всего серое с отделкой; в нем у меня глаза жемчужного цвета, не правда ли, Лалиевра?

Однако Заячья Губа к ее восторгам отнеслась сухо. Даже на предложение: «Герой пусть и во дворец войдет геройски, как было в обычае у древних франков», не отозвалась. Заявила, что ей зачем-то нужно в Трис, и умчалась с метлою под мышкой.

Тогда Рикарда сама вызвала сначала Тьерри Красавчика, затем Готфрида Кривого Локтя и наконец Генриха, герцога Суассонского.

— Ах, вам угодно позабавиться? — хохотал герцог после беседы с ней и подкручивал длинный ус.— Чего не сделаешь ради удовольствия столь очаровательной повелительницы!

Народ валил, боясь пропустить событие. В день встречи из-за голов придворных Азарика еле увидела, как к главным воротам подъехали двадцать четыре трубача и подняли блистающие, как жар, фанфары с вымпелами города Парижа— золотой кораблик на алом поле.

Под гром фанфар распахнулись главные ворота. Толпа закричала, кидая вверх колпаки. Эд въехал впереди своей кавалькады. Он был без шлема, и Азарика почувствовала, как у нее почему-то екнуло и провалилось сердце, когда она увидела его светлые волосы, рассыпанные по панцирным плечам. Эд милостиво улыбался, швыряя в толпу монеты и кольца.

Внезапно какой-то всадник с копьем наперевес устремился навстречу с криком: «Остановись!» Люди Эда хотели отразить его, подняв щиты, но Эд не позволил.

Он спокойно ожидал скачущего всадника, даже не поднимая оружия, и свита его молча стояла позади. Но когда копьё незнакомца готово было пробить грудь Эда, его вышколенный конь отпрыгнул в сторону, и нападающий пронесся мимо. Не сумев удержать коня, он всей массой ударился о каменный цоколь дворца.

— Тьерри! — в ужасе закричали на галереях служанки, узнав в нападавшем Красавчика, своего кумира. На императорском балконе под зонтиком звонко смеялась Рикарда.

Но Тьерри сумел быстро прийти в себя и, отбросив обломок копья, вновь кинулся на Эда с мечом. Тот, однако, разгадал, какого рода у него противник, и вновь ждал, скрестив руки, и подтрунивал:

— Что, сосуночек, за молочком?

Тьерри, чуть не плача от ярости, наскочил, подняв меч. Но Эд, нагнувшись, схватил его за стремя и рывком выбросил из седла. Дамы схватились за щеки, услышав, как шлем Красавчика скрежещет по каменным плитам двора.

Двадцать четыре фанфары вновь протрубили ликующий сигнал, и Эд через вторые ворота въехал во внутренний двор. Шумные зрительницы, толкая друг друга, кинулись к другим окнам и балконам.

Там ждал Эда другой противник. Опустив резное забрало, весь подобрившись на монументальном коне, он ждал приближения Эда.

— Граф Каталаунский! — узнал его Эд. — Ты даешь мне возможность отомстить за отца, убитого по твоей вине на Бриссартском мосту? Послушай, граф, я моложе тебя на целых двадцать лет, да и время ли здесь сводить счеты?

Но Кривой Локоть не отвечал и, словно железная глыба, ожидал приближения Эда. Молчал и весь многоярусный двор, а в полуденной жаре пели дальние петухи. Эд обвел взором балконы, пока не увидел арку, в которой пылали пурпурные одежды императрицы.

— Ах, значит, так! — помрачнел Эд. (Оруженосцы подали ему шлем и щит.) — Да хранит нас святой Эриберт, покровитель Робертинов!

Они сшиблись, сперва словно пробуя силы друг друга, и тотчас же разъехались. Объезжая друг друга, горяча коней, ни один не решался броситься первым. С губ коней стекала розовая пена.

— Радуйся! — закричал Эд и сбоку ударил копьём Готфрида.

Но тот успел подставить щит и только попятился от сокрушающего удара. Теперь уже неудержимая сила влекла их друг на друга. При новой сшибке сломались сразу оба копья, и противники схватились за мечи. Темп схват-

ки нарастал, лезвия, как молнии, сверкали под солнцем, кони, храпя, выделывали страшный танец.

— Веселись! — крикнул Эд, улыбаясь звону мечей.

— Веселись! — хрипло ответил ему Кривой Локоть и, изловчившись, ударил Эда по шлему так, что козырек отлетел к галерее.

И все услышали, как императрица закричала чужим, низким голосом:

— Прекратить! Достаточно! Прекратить!

— Нет, теперь уж не прекратить! — прорычал Кривой Локоть.

Шлем у Эда окрасился кровью, но он отвел рукой подбежавших товарищей. Бой возобновился. Еще не раз мечи лязгали о щиты, а лезвия мелькали с такой быстротой, что даже знатоки не успевали следить за выпадами.

Все вздрогнули, когда меч графа Каталаунского зазвенел о плиты, а сам он повернул и поскакал, держась руками за грудь. Вассалы окружили его, и он свалился им на руки, обагрив седло кровью.

В третий раз протрубил сигнал победы. Товарищи Эда: Роберт, бывший тUTOR, Протей — Азарике было радостно видеть их круглощекие лица — помогли ему сойти с седла, подали воды, полотенец.

Императорские слуги торжественно распахнули палисандровые двери. Боже! Там на мраморной лестнице снова кто-то поджидал с обнаженным мечом! Товарищи Эда роптали, протестовал народ. Одна Азарика нисколько не волновалась. Она знала: Эд победит всех!

Мечи блеснули сначала неохотно, потом, постепенно увлекаясь, убыстрили ход. Стало видно, что это Генрих Суассонский, воинственно усатый, без шлема и доспехов, в полотняной рубахе. Обманные выпады следовали один за другим, дамы поминутно вскрикивали. Но странно, противники улыбались и даже перебрасывались репликами:

— Как тебе нравится этот сарацинский приемчик?

— А вот этот выпад сверху — слева — через плечо?

Расхохотавшись, они отбросили мечи, обнялись по-дружески. Вздох облегчения вырвался у народа. Стоявшие за воротами громко требовали сообщить, кто куда ранен.

На верхней площадке беломраморного входа встречал победителя новый канцлер Фульк. Раскошная парчовая риза предшественника сидела, как короб, на его тщедуш-

ном теле. Он поминутно заглядывал в клочок пергамента, который прятал в рукаве.

— Империя, словно нежная мать...— вещал он, опахи- ваемый кадилами,— принимает тебя как возлюбленного сына... Поклянись же, что и ты будешь верен ей...

— Мямлит, гундосит!— говорили в толпе.— То ли де- ло зычный Гугон, которого можно было слушать часами!

У Эда лицо стало серым — все же у него кровоточили царапины. Он пошатывался, стоя перед Фульком, при- крыв веки. Потом отодвинул его и прошел в покои импе- ратора, а за ним свита, прячущая улыбки.

Потом был пир, женщины тоже собрались неподалеку возле стола с лакомствами, и Рикарда, блестя глазами, поминутно посылала к дверям пиршественной залы то берту, то Азарику послушать, о чем говорят герои.

Но разговор там, по мнению Азарики, шел самый не- интересный. Генрих Суассонский, например, сидевший с Эдом в обнимку, хвастался:

— Когда моя сила бывает слабее всего, я могу биться с двадцатью! А если вполсилы, то мог бы победить и тридцать! В полную же силу выдержу и сорок воору- женных до зубов!

— Уах-ха-ха!— отвечали ему пирующие, будто они были в бане и слуги обливали их из ушатов.

В зале же и вправду было как в бане. Звон посуды, пьяный гам, грызня собак из-за костей, выкрики подра- вшихся — все это неслось под самый конек высоченной па- латы, откуда свисали ключья древних знамен, взятых франками в битвах. В конце залы на возвышении, в ореоле курений, как божок, восседал Карл III, а подле него резное кресло канцлера многозначительно пустовало.

— Ничего ты не понимаешь!— сказала Рикарда, вы- слушав вялый рассказ Азарики.— Вот там-то и есть на- стоящая жизнь! Ах, если бы я была мужчиной! Или нет, я осталась бы женщиной, только бы присутствовать там, на мужском пиру...

Она снова послала Азарику, и та в дверях залы чуть не наткнулась на выходящего оттуда Эда. Ей бы увернуться, спрятаться в толпе слуг, а ее нелепая мысль приковала: «Как он нашел бы меня в моем новом, моем великолеп- ном платье?»

А он, забинтованный, но веселый и стремительный, окруженный друзьями, шагал прямо на нее, протягивая руки:



— Озрик! Ты зачем надел женское платье? Что за глупые шутки? И вообще, куда ты исчез?

«Все пропало!» — подумала она, леденея. Но справилась с собой и даже приняла одну из тех кокетливых поз, которые наблюдала у служанок.

— Вы шутите над бедной девушкой... Я не знаю никакого Озрика.

На лицо Эда, словно тень от облака, набежало разочарование. Он пальцами дотронулся до ее подбородка и прошел дальше, разговаривая с друзьями. Только Роберт обернулся и удивленно смотрел на нее.

## 9

Она еле дождалась рассвета, чтобы выскользнуть из приоткрывшейся створы дворцовых ворот. Огонь, сжигающий душу, гнал ее неведомо куда, и она неслась как одержимая в лес, застывший от жары. По островкам мха, по кочкам она кружила, углубляясь в его распаренную глушь, и Майда, радуясь свободе, бежала впереди.

В глазах стоял Эд, могучий, радостный, раскрасневшийся от вина. Он протягивал руки — ей! Пусть он не обратил внимания на ее внешность и наряд, но он говорил: «Озарик, куда же ты исчез?» Значит, он помнит, он думает о ней!

И сквозь искрящийся поток радости всплывали слова, как бледные призраки: «Justitio! Veritas! Vindicatio!» — но теперь они падали бессильно, подобно черепкам в ржавую жестянку...

Нет, стой! Надо же во всем этом наконец разобраться. Села на поваленный ствол, стараясь определить, в каком направлении могли остаться башни и шпили Лаона.

Да и уверена ли она, что отца убил именно Эд? Ведь их там было много — и усатый, как таракан, герцог Суассонский, и безбровые близнецы, и даже Тьерри Красавчик, который бесчинствовал в доме Гермольда. Мог ли ее Эд, ее светлоглазый красавец с открытым и смелым лицом, ее победитель захватчиков и освободитель народа, мог ли он быть убийцей невинных? И печально понимала, что да, что ведь видела из хибарки своими глазами, как бастард подскодчил первым, как ударил отца дротиком...

Когда-то в келье Фортуната она читала в «Истории лангобардов» Павла Диякона: король Альбоин, разбив и убив короля гепидов, из черепа его сделал себе чашу,



оковав ее золотом, а дочь короля взял себе в жены. Каково было бедняжке по приказу свирепого мужа где-нибудь на привале пригубливать этот сосуд!

Да и что ему, Эду, в конце концов, Озрик! Занятный мальчишка, полезный Робертинам... Эду даже на императрицу наплевать, так и не нанес ей отдельно визита. Берта шипит тайком, что он увиается вокруг дочери герцога ТриССкого, этой хваленой Аолы.

Ну и пусть! А она заставит принца Карла на себе жениться, бог с ним, что он дурачок. И однажды явятся к ней с поклоном герцог Эд и его разлюбезная Аола — доброе утро, ваша королевская милость, а мы ваши покорные слуги...

Но думать об этом было совершенно непереносимо! Да и вообще подлая, подлая — предала отца, теперь предаешь Эда.

Между тем Майда вспугнула большую бархатную бабочку, которая, трепетно перебирая крыльями, пересекла падающий сквозь крону луч. Черная, без единого пятнышка, только синеватые жилки на крыльях!

Черная бабочка — это ведь фея Ванесса! Кто попадет в ее царство под седые мхи болот, тот может танцевать с ней одну ночь, а утром убедиться, что проспал целых сто лет. Но это опасно лишь юношам, а девушкам фея помогает в любви, надо только поймать и принести ей в жертву такую вот летунью, без единого пятна.

Она бросилась ловить бабочку, но сделать это было нелегко. Ванесса парила над головой девушки, как бы дразня ее. Мешала и Майда, которая подсакивала без толку, клацая зубами. Наконец бабочка опустилась на лист, Азарика метнулась, но промазала и расцарапала себе голые локти. Пришлось снова долго выжидать, когда Ванесса поцелует верхние листики дрока, и отчаянно кинуться, наконец-то поймав!

Осторожно раскрыла горсть. Что за тайные силы скрыты в тебе, трепетная летунья? Найдет ли она наконец в твоих чарах ту опору, которой нет для нее ни в книгах отца, ни в молитвах Фортуната, ни в хитрых махинациях Заячьей Губы? Азарика поднесла пленницу к самым глазам, чтобы разглядеть в насекомом прелестный профиль и коронку сказочной Ванессы. Но головка размером с булавочную была бессмысленна. И не поймешь, что за бугорки — рот ли, глаза ли?

Ее привел в себя удар колокола на дворцовой звоннице.

Полдень! Пора одевать госпожу Лалиевру. Сегодня вечером Рикарда дает в честь нового графа Парижского торжественный прием. Завернула Ванессу в платочек и сунула за вырез лифа.

В покоях императрицы была несусветная толчея:

— Ой, ой! Ой, ой! Льда, скорее льда из подвала!

— Чтеца к государыне, чтеца!

— Когда же разыщут госпожу Лалиевру?

Приживалки боязливо выглядывали из всех дверей.

На Азарику налетела взбудораженная Берта:

— Пряхься скорей! Ты слышишь? У нас катастрофа! Эд сделал предложение дочери герцога Трисского!

На бесцветном ее личике змеилось торжество.

Она умчалась, неся какой-то пузырек, а Азарику прислонила к подоконнику. Небо, безмятежное полуденное небо ей показалось вдруг черным, как бархатные крылья Ванессы!

Щитоносцы грубо схватили ее за локти, повели в палату императрицы. Рикарда полулежала в кресле, голова запрокинута в подушку, на лбу мешочек со льдом.

— Читай! — приказывала она итальянцу.

А тот топтался с раскрытой греческой книгой и молчал.

— А, всезнайка! — покосилась Рикарда на Азарику, когда ее подвели. — Загляни-ка в книгу, которую держит этот недоумок, и скажи по совести, есть ли там что-нибудь еще после слов «надел диадему и воссел на трон».

Азарику машинально наклонилась к книге и нашла греческие глоссы: *διαδήμα τριβός*. Чтец трагически глядел на нее.

— Там еще рубрика... — растерянно сказала она.

— Читай же, пища червей! — крикнула Рикарда итальянцу.

Смуглое лицо чтеца стало мертвенно-бледным.

— «После же коронования, — переводил он, запинаясь, — новый властитель отверг царицу и женился на молоденькой...»

— Предали, меня предали! — простонала Рикарда и, указав щитоносцам на Ринальдо, выразительно провела себя ребром ладони по шее. Итальянец пал к ее ногам. Внезапно и Берта, равнодушная ко всему, припала к руке хозяйки, моля простить его. Рикарда смягчилась и велела дать по дюжине плетей обоим.

Раскрылись позолоченные двери, и госпожа Лалиевра

явилась как ни в чем не бывало в императрицыном капоте лунного цвета, даже в бисерных перчатках. Рикарда отвернулась:

— Не хочу тебя видеть, потаскуха!

Щеки колдуньи от обиды сделались помидорного цвета.

— А ты не потаскуха? При живом муже молодцов привораживать!

Прислужницы, выдавшие всякое, и те зажмурились.

— Чернокнижница! — кричала Рикарда. — Церкви предам!

— А вот и не предашь. — Заячья Губа перед ее носом вертела фигу. — Я такое про тебя расскажу — на один костер взойдем!

Никто не смел их успокаивать, и брань разгоралась.

— Подручная сатаны!

— Отравительница!

— Подлая старуха!

— Сама старуха! На что ты нужна Эду? У него от молоденьких отбоя нет. Честным путем возьмем себе корону!

Рикарда взвизгнула и, отбросив подушки, ухватила седые патлы госпожи Лалиевры. Та торопливо сдернула перчатки и впилась ногтями в холеные щеки государыни.

Неизвестно, чем бы кончилось побоище, если б в покой не вступили двумя шеренгами черные вавассоры канцлера с ораями через плечо. Шедший впереди Красавчик Тьерри остановился перед дерущимися и стукнул об пол древком секиры.

— По указу императора и велению канцлера...

Он бережно передал служанкам всхлипывающую Рикарду, а Заячьей Губе на шею накинул аркан.

Не тут-то было. Старуха ловко вывернулась из петли и двинулась на Тьерри, буравя его взглядом, руки растопырив, как совиные крылья. Тьерри, опешив, отступал, пока не дотянулся до притолоки, и там застыл, выкатив глаза.

— Любого в камень превращу! — посулила ведьма. — Вот так-то!

На глазах у онемевших вавассоров она подошла к окну и, вставив четыре пальца в беззубый рот, свистнула так, что голуби под карнизом заметались в ужасе. Донеслось ржание старухиных лошадей, которые паслись в лесу.

Она двинулась к выходу, но, заметив, что Азарика следует за ней, толкнула ее в руки вавассоров:

— А вот эту можете брать.

10

Канцлер Фульк пробежал протокол, составленный им самим.

— Значит, ты, поганая ведьма, отказываешься признать, что со своей гнусной хозяйкой летала к стригам на шабаш? Ты никоим образом не желаешь раскрыть тайны вызова из преисподней духа Пипина. Ты не хочешь откровенно объяснить, что за фонарь был найден в вещах богопротивной Лалиевры.

Фульк многозначительно выждал и, поскольку Азарика молчала, хлопнул в ладоши. Тьерри ввел в палату коренастого человека, прятавшего лицо под капюшоном. Фульк предложил незнакомцу сесть и указал на Азарику:

— Смотри!

— Эта,—наклонил голову коренастый, рассмотрев Азарику.

— Она, она! — вмешался в разговор Тьерри. — И, кроме того, у нее копыта. Прислуга их светлейшества уверяет...

— Посмотрим,—сказал Фульк, и по его знаку Тьерри сорвал с Азарика плащ небесно-голубого цвета.

Предчувствуя, что настает самое ужасное, она стала лепетать какие-то оправдания. Тьерри засунул палец ей за вырез платья, рванул, и ее великолепная шелковая стола распалась на две половины. Злобно он срывал с нее остатки одежды, а она, потеряв голос, лишь пыталась прикрыться ладонями.

Канцлер и человек в капюшоне наклонились через стол, разглядывая ее бледное, худощавое тело.

— Где же копыта-то? — посмеивался Фульк, вставляя стекло под бровь. — Поверни-ка ее. Главное — не найдется ли у ней хвоста?

— То, что она и ее убитый отец колдуны, я могу представить десяток свидетелей,— хихикнул сидящий в капюшоне. Его лягушачий голос был поразительно знаком Азарике.

— А вон у нее что-то выпало,— указал канцлер Красавчику на скомканный платок. — О, вот это улика! Кол-

довская бабочка! При такой улике правосудию не надо ни свидетелей, ни копыт.

В этот момент дверь приоткрылась, и огромная охотничья собака, сбив с ног часового, ворвалась в палату. Кинулась к Азарике, но, видя ее раздетой и плачущей, метнулась к Тьерри и вцепилась ему в горло. При виде собаки человек в капюшоне вскочил и забегал в панике, крича:

— Эд, Эд, Эд идет!

Фульк крикнул вавассоров, они еле оторвали собаку от Тьерри, а человек в капюшоне, чтобы оправдать свой испуг, указал на нее:

— Это же борзая Эда.

— Вот как? — обрадовался канцлер. — Прелестно!

И распорядился ведьму и собаку — в клетку, да чтоб до поры ни шерстинки у них не повредить! Тьерри, вконец озлобленный, пнул Азарику сапогом, выпроваживая.

— Ваше имя, аббат, — сказал Фульк человеку в капюшоне, — сохранилось в бумагах покойного канцлера. Благодарность за мной.

Тот выразил надежду, что теперь-то, после разоблачения всех бесовских ухищрений, бастард лишится графства.

Фульк покачал головой. Это не так-то просто, не так-то просто... Достойной памяти Гугон так бы и поступил: собрал бы все компрометирующие данные — и в лоб! Но мы не такие, не такие.

Гость ушел, надвинув капюшон. Вместо него явился унылый Тьерри, забинтовавший себе укушенное горло. Осмелился напомнить об обещании дать ему бенефиций...

Фульк, не слушая, рылся в свитках, мурлыкал молитвы. Он не диктовал, как Гугон, а сам писал ответы. Роскошные облачения предшественника он раздал церквам, одевался в серую дерюжку и получил во дворце прозвище — Мышиный Щелкопер.

— Старшую ведьму ты упустил, — сказал он наконец Красавчику. — Ай-ай, как нам это огорчительно! Теперь ты должен заглядывать свой промах. Есть одно грандиозное дело... Садись-ка поближе... Но помни: на сей раз ни бог, ни диавол не должны тебе помешать, иначе сгинь, не показывайся нам на глаза!

Азарика очутилась в подземелье, за решеткой, перед которой расхаживал часовой. Одеться ей не позволили, а в каземате даже в разгар лета камень был ледяной. Она пыталась прикрыться соломой, но часовые над этим толь-

ко хохотали. Впрочем, к ней бросили Майду, длинная шерсть ее и грела и укрывала.

Началось паломничество любопытных. Дамы ахали, а мужчины просили стражников уколоть пикой ведьму так, чтобы она вытянула ножку и показала, что копыт у нее нет. Монетки падали в карманы часовых, а Майда охрипла, кидаясь на решетку.

Забытье охватывало Азарику. Ей казалось, что она в каменном мешке, в Забывайке. Окликнула: «Роберт!» — и ласковая Майда лизала ее в щеку. Все уже испытала она в своей коротенькой жизни: ужас, страх, голод, унижение, но никогда еще не было так худо, потому что ею владело самое жестокое, что может владеть человеком: стыд!

Однажды она услышала голоса: «Достаточно, ваше преосвященство, ненаглядный наш. Посмотрели ведьмочку, и будет!» Разлепила веки и увидела в полутьме слюнявого принца Карла и его хлопотливых мамок. Пришла мысль, что если б он захотел, взял бы ключ...

Вспомнив приемы отца и Заячьей Губы, она привстала и, сквозь прутья уловив неопределенный взгляд принца, стала повторять, сосредоточась на ключе:

— Вызволи меня, вызволи меня... Мой добрый, мой благородный принц, ну что тебе стоит? Вызволи меня, Каролинг!

Потом было опять забытье — сон не сон... Будто она, убранная, как невеста, и вместе с тем голая, как сейчас, бредет по анфиладам дворца, а за ней тащатся шуты и приживалки. И вот двери Эда, слуги с поклоном их отворяют, но там у Эда другая!

Другая ножницами будет ровнять его соломенные пряди. Другая заштопает ему боевой сагум. Другая встретит его у порога, подержит ему стремя, размотает шнуры обуви, накормит, уложит в постель. И он возьмет гребень и станет ласкать ее волосы, чистые, как волна.

А ей теперь все равно, костер или плаха.

Сердобольный часовой сказал ей однажды, кидая кусок хлеба:

— Недолго тебе осталось тут преть. Слышишь, молотки торопятся, стучат? Это заканчивают клетку, которая на рассвете повезет тебя в Париж. Хе-хе-хе, вот будет подарочек графу — его верный оборотень и любимый пес!

РОБЕРТИНЫ ПРОТИВ КАРОЛИНГОВ

1

Желая попасть в Париж, путник должен приготовиться к тому, что раз двадцать его остановят, вытряхнут и душу и телегу да еще непременно сдерут мзду — либо за переезд, либо на построение замка, либо просто так, за здоровье местного властителя. Попробуй-ка откажись! Закованные в броню наглецы телегу опрокинут, быков уведут, хорошо еще, если самого прутьями не исхлещут... Прошли времена, когда у франков хозяевами были лишь бог да император!

Так рассуждала старая Альда, окидывая взглядом свою изрядно опустевшую повозку. Ах, какого отменного белоперого гуся пришлось отдать при переправе через брод! А дома дети плачут из-за каждой корки.

— Матушка! — наклонился седла Винифрид, который ехал рядом, слушая ее воркотню. — Городские ворота-то заперты!

И правда, за поворотом дороги стояли в ожидании возы с сеном, телеги, повозки. Огромное стадо, изнывая от жары, топталось. В пыли, поднятой его копытами, еле различались флюгера на крышах подслеповатых башен. Шла ожесточенная перебранка.

— Не хотите платить, — говорил крестьянам начальник караула, — поворачивайте назад!

— Да ведь не было такого, — возражал ему какой-то зажиточный, опрятно одетый крестьянин, — чтобы дополнительно платить по случаю введения в лен... Мы, конечно, рады сеньору Эду...

Ворота все же растворились, и в них впустили стадо. Его хозяин, святой Герман, имел иммунитетную грамоту и пошлин не платил. Как только в ворота вбежала последняя овца, оттуда выехали всадники и без лишних слов принялись стегать толпившихся крестьян.

— Это близнецы, — узнал их Винифрид, мрачней, — вассалы Эда. Ну, держитесь, матушка, сейчас пойдет потасовка!

Белобрысый Райнер стал из телеги зажиточного доставать то, что должен был отдать добровольно. Крестьянин

в сердцах бросил свой колпак оземь. Близнецы восприняли это как оскорбление и исполосовали ему лицо в кровь.

Альда уж подняла стрекало, чтоб повернуть быков назад, как близнецы узнали Винифрида.

— А, самурский лучник! Ты жив? Зачем едешь?

— К принцессе Аделаиде, это мамаша вашего синьора.

При упоминании принцессы близнецы состроили почтительные мины и приказали пропустить без пошлин. Неторопливые быки втащили повозку Альды на узкие улочки предместья святого Гонория, а следом на гнедом Байоне въехал и Винифрид.

Прошлой осенью, возвращаясь от Заячьей Губы, он еле разыскал свою семью в дубравах Валезии. В грамоте с печатью самого Гугона, тогдашнего канцлера, ему, Винифриду из рода Эттинггов, в качестве бенефиция за службу жаловалась земля в Квизском лесу. Небольшая — десять крестьянских наделов, — но жить было бы можно. И когда Винифрид отправился в Андегавы, к армии Гугона, Альда храбро забрала ребятишек и отправилась навстречу неизвестности, в Квиз.

Но дарованное поместье оказалось давно запущенной, запесоченной и поросшей кустарником пашней. Засучив рукава Альда и ее слабосильные домочадцы принялись корчевать пни, выдергивать корневища, копать канавы, чтобы под озимь распахать хоть малость.

А в первый ясный и теплый денек, когда Альда и дети подсекали ветви у яблонь и радовались, что прижились саженьцы, перевезенные ими из Туронского леса, к ним подъехал всадник. Он был в шубе, отороченной собольим мехом. Попросил напоить лошадей и, расспросив, кто они и откуда, обвел указательным пальцем всю округу:

— Это лен принцессы Аделаиды, так что садовничаετε вы зря.

Сказал и уехал, а загадочные слова его забылись за всеми трудами.

Наконец настал день вернуться Винифриду. Он опустился под низкую кровлю землянки, которую Альда сложила наспех, в ожидании постройки настоящего дома. Из дымной тьмы, озаренной бликами очага, к нему бросились сестренки, мать подошла, вытирая фартуком слезы. Старый раб Евгерий трясущимися руками налаживал лучину.



Когда схлынули первые радости, оказалось, что в углу на лавке сидит еще кто-то, требующий внимания.

— Сыночек...— в голосе Альды сквозили виноватые нотки.— Я без тебя тут сироту купила в монастыре. Лишние руки — а я тут одна знаешь как надрывалась? Да и ты ведь хоть старинного рода, но тебе пахать, тебе сеять, без жены никак нельзя!

«Вот тебе и Лалиевра!» — подумалось Винифриду. Взял горящую лучину, поднес к лицу монастырской сироты. Блестящие зрачки выжидающе встретили взгляд Винифрида. Легкомысленные кудряшки, смазливая мордочка, ямочка на подбородке. От сердца все-таки отлегло.

— Как зовут-то?

— Агата...

Ночью в щель над топкой проник луч луны, пробил застоявшийся плотный воздух. Винифриду казалось, что это старуха с заячьей губой подглядывает, все ли сбывается по ее вещанью.

— Как жить-то будем, сирота?— спросил он тихо, угадав, что Агата тоже не спит на своей лавке.

— Как прикажете, ваша милость...— ответила она.

Винифрид усмехнулся — его милость!

И все же смутные видения бередили душу. Вот черно-волосая девушка в белой рубахе лежит навзничь на жнивьё, а в небесной голубизне поет жаворонок... Вот та же девушка, постарше и построже, участливо склонилась к нему в чертоге Лалиевры... Но он упрямо сбросил тяжкий груз воспоминаний: «А, храни господь, ведьма!»

Утром, несмотря на дождь, Альда подняла всех чуть свет и повела копать невыбранную свеклу. Винифрид устал с непривычки, да и раны давали о себе знать. Однако он превозмогал себя и лишь иногда отрывался от борозды, чтобы разогнуть спину. Агата рядом трудилась самозабвенно; пальцы ее проворно рылись, отыскивая свеклыны, а босые ноги, покрасневшие от холода, крепко стояли в земляной жиже. Она тоже разогнулась, высморкалась и, увидев, что Винифрид на нее смотрит, смутилась. Улыбнулась во весь алый рот, показав крепкие зубы цвета топленого молока.

Спустя две недели свободный франк из рода Эттинггов Винифрид сочетался браком в Квизе с вольноотпущенницей Агатой.

А когда пришло лето, ночью кто-то завалил бревном дверь в их землянку и начал хозяйничать во дворе. Собаки

не брехали, потому что, очевидно, сразу были убиты нападавшими. Ржал Байон, вырываясь из рук похитителей. В землянке во тьме метались перепуганные женщины и дети. Винифрид сидел, лихорадочно соображая, что предпринять. Землянку строили женщины и, конечно, не догадались устроить потайной выход. Нападавшие неверху гоготали, отведая из захваченного бочонка, заваливали землянку соломой и чиркали кресалом о камень.

Тогда Винифрид решился. Опясавшись мечом, он влез в топку очага. Там были еще горячие уголья, кирпичи в дымоходе жгли до пузырей, и Винифрид чуть не кричал, извиваясь, чтобы протиснуться в узкое отверстие.

Но вот и крыша, свежий воздух влил в него силы. Он без промедления соскочил и поразил самого высокого из нападавших. Прочие и не подумали о драке, разбежались с жалобными криками.

Утром оказалось, что нападали такие же чернопашцы, лесные корчеватели, как и они. Налетчики расположились в овраге и причитали над верзилкой, которого ночью уколошил Винифрид.

Винифрид вооружил раба Евгерия и Ральфа, старшего из братьев, и отправился на переговоры. Нападавшие, говоря все враз на своем грубом лаонском диалекте, объяснили, что они подневольные принцессы Аделаиды и посланы корчевать и выжигать из Кабаньего ручья до Дровяного болота. Как раз их участок!

— Что же вы, бессовестные, нападаете ночью?

— А нам домоправитель принцессы посоветовал. Там, говорит, живут какие-то бабы, так вы их ночью подпалите, и делу конец!

Приходилось все бросать и ехать искать правды в Париж.

## 2

Остров Франков, словно корабль посреди вод Сены, стремящихся к морю, и был тем, что в 887 году называлось именем Париж. Это был Город — старый дворец, выстроенный на римский манер, то есть без окон на улице, и не менее ветхие особняки, еще меровингских времен, под куполами столетних вязов. Самым новым строением здесь была поражающая своей нелепостью круглая кирпичная Сторожевая башня, служившая резиденцией графов Парижских. Это был Город, потому что все прочее на заболоченных берегах — огороды, хижины под красной

черепицей, склады пеньки и теса — называлось лишь предместьями, на пражском жаргоне — «фальшивыми городками».

На грязных и путаных улочках люди торговали и кланчили милостыню, спали и целовались, совершали сделки и ссорились, плюя друг другу в лицо. Бег здешней жизни, переменчивость настроения, крики разносчиков и вопли ослов оглушили медлительного Винифрида. Матушка Альда, взяв бразды правления в свои руки, спрашивала, как проехать к жилищу принцессы.

Заслышав их мягкие «л» и картавые «р», не всякий из парижан снисходил до разговора с иноплеменниками. С трудом выяснилось, что принцесса живет в крыле дворца, который примыкал к Сторожевой башне.

Там в подъезде, до того роскошном, что Альда и ее сын не сразу решились и приблизиться, привратник отрезал:

— Не примут.

— Как — не примут?

— А вот так и не примут...— Привратник в своей нише спешно скоблил себе щетину, подвесив зеркальце к потолку.— Их светлость не мужиками занимается. На это у них есть управляющий — Юдик. Но и управляющему не до вас...

Действительно, в усадьбе принцессы царил переполох. Ворота были распахнуты, и оттуда выносили какую-то ветхую мебель, половики, тряпье. Туда же въезжали телеги с новенькими гардеробами и балдахинами. Выскочило целое войско поварят в накрахмаленных колпаках, и главный повар, надменный, словно сарацинский король, повел их на рынок, подсчитывая: гусей не менее сорока, каплунов семь дюжин...

— Поди теперь купи что-нибудь! — проворчал привратник, вытирая бритву.— Новый граф наложил такие подати!

— Что ж, в поместьях их светлости нет ни гусей, что ли, ни каплунов, раз приходится за ними на рынок посылать?

— Есть-то есть, да все спешка! Вчера прискакал гонец из Триса — оттуда прибывает невеста его милости графа...

— Батюшки! — сообразила Альда.— Значит, этого Юдика мы теперь днем с огнем не сыщем!

— Кому до вас дело! — Их светлость нынче глаз не со-

мкнули. Шутка ли — двести всадников сопровождают невесту! Да столько же своих вассалов надо вызвать. И каждого накорми, напои, размести сообразно достоинству!

Альда и Винифрид переглянулись. Начинается жатва, каждый день на счету. С другой стороны, сколько дней уж потеряли, а их ночные гости все еще живут в шалаше за оврагом, чего-то выжидают. Альда полезла за кошельком — задобрить привратника, но тот вдруг вскочил, сворачивая бритве:

— Эй, деревенщина, гоните-ка своих скотов рогатых куда-нибудь подальше! Их светлость жалуют!

На галерею над подъездом расфуфыренные служанки вывели старую даму, на напудренном личике которой резко выделялись черные брови. Дама трясла головой, должно быть, от тяжести громадного золотистого парика, сделанного в виде косы, уложенной, как корона, и усыпанной искрящейся алмазной пылью.

— Когда я была совсем малюткой, — сказала Альда, — именно так носили косы.

За принцессой следовал управляющий, представительный мужчина, несмотря на жару, одетый в куний мех. В нем Альда сразу признала путника, поившего у них зимой лошадей. Принцесса его распекала на каком-то непонятном языке с придыханиями у каждого слова.

— Что значит королевская кровь! — Привратник поднял палец. — И говорит-то не по-нашему, разумеете вы, земляные черви!

— Боже мой! — охнула Альда. — Это же язык моего детства! Это настоящий старинный франкский язык!

Оглянулась на насупленного сына, затем решила и словно даже помолодела, раскраснелась.

— Благороднейшая госпожа! — крикнула она, вызвав в памяти забытые слова. — Прими скромный дар по случаю бракосочетания твоего сына — этих тетерок и этот сыр!

Принцесса, несмотря на возраст, имела тонкий слух. Что за женщина в домотканом балахоне владеет такой отменной сикамбрской речью?

— Я из рода Эттингов! Ищу правды у твоей милости...

Сразу все переменилось по отношению к Альде и Винифриду. Привратник льстиво распахнул перед их повозкой ворота. Управляющий Юдик лично принял их

в атриуме, усадил в кресла, а сам из уважения к их древнему происхождению разговаривал стоя.

Но ответ его был неутешителен. Квизский лес испокон веков находится в распоряжении именно той ветви Каролингов, к которой принадлежит их светлость Аделаида. Так что Гугон, собственно говоря, не имел права подписывать такую грамоту. Но с покойника теперь что возьмешь? Можно было бы передать участок Эттингам на вассальных условиях, но все осложняется тем, что на этот же лес претендует граф Каталаунский, Кривой Локоть...

Было уже время обеда, когда быки приволокли повозку Альды к Галерее правосудия — ветхой римской базилике, хранившей на своих треснувших колоннах следы былых погромов.

Разморившиеся от жары Альда и Винифрид не знали, с чего начать. Наконец к ним прилепился ходатай в засаленной ряске, с пером за ухом и чернильницей на поясе. Он осведомился, кто им нужен, и без обиняков заставил выложить денарий, после чего провел Винифрида внутрь базилики.

Там, отделенный от прочих барьером, сидел судья, настолько тучный, что издали напоминал шар, имеющий шишкообразный нос, розовый подбородок и щелочки глаз.

Возле него суетились ходатаи, а просители стояли поодаль, приготовив дары — кто византийскую шаль, кто чеканную серебряную вазу, а кто и охотничью борзую бургундской породы. Плешивый клирик увивался вокруг судьи, похохатывал:

— Ведьму-то эту, почтеннейший судья, хо-хо-хо, ведьму...

— Ну и что ведьму, уф-ф? Что ведьму, говори!

— Ведьму, которую Фульк выловил при дворе, везут в клетке сюда, и она уже проехала Суассон...

— Уф-ф! — Судья поглаживал себе чрево, и они оба захлабывались, предвкушая забавное зрелище.

Тут судья увидел ходатая с Винифридом.

— Тебе чего, Крысий Нос?

Ходатай стал объяснять существо жалобы Винифрида, но толстяк жирными пальцами изобразил вековечный знак, похожий на щупание воздуха. Крысий Нос шепнул, что надо не менее пяти денариев, и искомое перешло из отощавшего кошелька Альды в пухлую ладонь судьи, словно невзначай покоившуюся на ручке кресла. Судья

выслушал ходатая, задал несколько вопросов Винифриду и задумался, зажмурив глаза-щелки. Никто не смел нарушить его размышления, только глупый петух на руках просительницы, признававший над собой лишь власть природы, оглушительно закукарекал.

Наконец толстяк встал и, раскрыв судебник, стал монотонно говорить что-то по-латыни. Затем прочел текст из другого тома, а присутствующие слушали, хоть не понимали ни слова. Сочтя свою миссию выполненной, он оборотился ко всем спиной, и к нему тотчас же вновь подскочил плешивый клирик, зататорил:

— А эта ведьма, хо-хо! Рассказывают, клянусь богоматерью...

Он зашептал что-то на ухо толстяку, а тот даже икнул от изумления:

— Уф-ф! Невозможно!

— Да, да,— крестился плешивый.— Он и Эд, истинные небеса!

Крысий Нос вывел Винифрида обратно к повозке и долго объяснял им с Альдой смысл речений судьи, который сводился к тому, что в качестве свободных франков Эттинги подсудны не римскому, а салическому праву, по которому судит только майское собрание войска. А оно соберется только через год, если вообще соберется...

— В общем, господин,— Крысий Нос сочувственно дотронулся до его сагума,— продать у тебя что-нибудь есть? Быки, конь, повозка— это гроши... Сестренка есть? Продай сестренку. Есть две? Продай двух. Только за такие деньги ты добьешься правосудия, иначе пропадет вся семья. А еще лучше сам отдайся какому-нибудь сеньору в вассалы— он тебе и суд, он тебе и закон. Вон у тебя какие мышцы— мечом все себе добудешь!

Альда глядела на сына, ожидая его решения.

— Нет,— сказал, насупившись, Винифрид,— в грабители я не пойду.

### 3

Влажная ночь разлеглась на кровлях и башнях Города. На окрестных болотах кричали, давясь от усердия, лягушки. Огромный костер пылал у выездных ворот, выхватывая из тьмы глухую кирпичную стену Сторожевой башни и внушительный эшафот, на котором в плаху был воткнут топор как наглядный символ власти предержавшей.

У костра толпились ожидавшие открытия ворот на

рассвете; их кони и быки мирно жевали сено. Седовласый слепец с длинными висячими усами настраивал арфу, склонив ухо к серебряным струнам.

— Спой о великом Карле! — просили его, поднося ему чашу сидра.

Певец задумчиво взял несколько аккордов и начал:

Великий Карл, могучий император,  
Полвека целых правил среди франков.  
Сдались ему враги и покорились  
Соседние цари и короли.  
Вернулся Карл в любимый свой Аахен,  
На троне золотом среди вассалов,  
Среди мужей мудрейших и храбрейших,  
Уселся Карл свой правый суд вершить!

— Аой! — выкрикнули слушатели, знавшие наперед, когда кончится строфа.

Подъехали караульные и тоже стали слушать.

Он слово первое сказал тогда вельможам,  
Что выстроились ангелам подобно,  
В парчу и шелк заморские одеты,  
По сторонам у трона самого:  
«Не будьте чванны и не отдаляйтесь  
От мужиков, от сирых и убогих,  
И помните, что всяк родится голым  
И голым покидает этот свет!»

— Вот это верно! — воскликнул зажиточный крестьянин, которого накануне избили близнецы. — Земных богатств на тот свет не заберешь.

— Кто это тут разглагольствует? — спросил, подъезжая, Райнер.

— Тише, тише, — кричали вокруг. — Не мешайте!

Второе слово Карла — к благородным,  
К дружинникам и всадникам сильнейшим:  
«Опорой государства вы слывете,  
Вы призваны хранить и защищать.  
Не будьте ж привиденьем на дорогах,  
Которым няньки неслухов пугают,  
Насильниками наглými, ворами.  
Волками, стерегущими овец!»

Аой! — воскликнул сам певец, исторгая из струн аккорд, подобный воплю.

— Взять его! — послышался в тишине приказ Райнера. — Вот он, смутьян, что совращает народ против сеньоров!

В ответ раздался взрыв негодования такой силы, что пламя костра приникло, словно от испуга. Всадники двинулись к певцу, но Нанус, рыночный мим, пройдясь колесом, испугал лошадь начальника караула, и та выбросила седока. Разыгралось побоище.

Крестьяне хватили камни и палки, оборванцы поражали всадников из рогаток. Слышался свист, вой, ржание лошадей, и все покрывал громopodobный, рокоchущий бас урoда Крокодавла.

— Матушка! — сказал Альде сын, когда они еще только услышали голос певца. — Да ведь это старый Гермольд из нашего рода.

— Дождется он плахи! — сокрушалась Альда. — Бедовая голова!

Когда же Райнер приказал певца схватить и разыгралась драка, Винифрид сумел проникнуть в самую ее гущу и схватил слепца за руку:

— Это я, дядюшка Гермольд... Обопритесь о мое плечо!

Рассвет застал костер еле тлеющим в залитых водой головешках. На площади валялись трупы, а из окрестных тупичков то и дело слышался визг — там еще шла расправа с инакомыслящими. Со ржавым воем открылись ворота, караульные ошупывали каждый воз.

— А, это снова ты, самурский лучник? — Сонный Райнер пикой уперся в повозку Альды. — Не прячешь ли ты слепца? Эй, пропустите этих!

Райнер был весьма недалек от истины. Когда парижские зубчатые башни скрылись за купами каштанов, Винифрид раздвинул в повозке корзины и высвободил спрятанного под ними певца.

— Кровь Эттингов в тебе на старости бушует! — корила Альда, обирая с него соломинки. — Не пора ли на покой?

— Нет мне покоя, раз нет его в моей стране, — отвечал Гермольд, слабыми пальцами ошупывая, не повредились ли колки арфы. — Сидел я, старый осел, в Туронском лесу, воображал, что век свой доживаю. Ан жизнь моя только начинается, и какая жизнь!

— Поедем лучше к нам, на новую усадьбу, в Валезии, — предложил Винифрид. — Вырубим колоды, заведешь себе пасеку...

Мирно беседуя, тащились они по пыльной дороге, забываясь лишь о том, чтобы не встретить лихих людей. Ког-



да впереди замаячила тупоконечная башня замка в Квизе, по обочинам стали попадаться группы пешеходов. Шли крестьяне, неся косы и грабли, семенили старцы, матери спешили, неся грудных детей. Все возбужденно говорили о ведьме, которую в деревянной клетке только что доставили в Квиз. У Винифрида при слове «ведьма» екнуло сердце.

Там, на церковном дворе, толпа со свистом и улюлюканьем окружала клетку так плотно, что из-за сутулых мужицких спин можно было увидеть только верх решетки и конного часового с пикой. Слышался иступленный собачий лай.

— Это кто лает-то? — недоумевала Альда. — Неужели сама ведьма?

Винифрид раздвинул каменные бока мужиков и увидел на вонючей, позеленевшей соломе изможденное голое тело — женщины, мальчика ли, непонятно. Длинношерстная борзая с гноящимися глазами огрызалась в ответ на кидаемые камни и комки навоза. Равнодушный ко всему конвойный старался только, чтобы сквозь прутья не совали лезвия. Но вот осколок кирпича угодил ведьме в шею, и она под гогот толпы подняла голову, тряхнула слипшимися волосами и поглядела на своих мучителей с такой злобой, что они притихли.

— Аза-ри-ка! — закричал не помня себя Винифрид и рванул прутья клетки с такой силой, что они вылетели из пазов.

Азарика села, равнодушно глядя на всех, а собака, вообразив, что это какой-то новый, еще худший истязатель, старалась укусить его за руки. Зеваки, крича кто что попало, вцепились в Винифрида и помогли конвойным оторвать его от клетки.

— Господин добрейший! — унижалась Альда перед Тьерри, который был начальником конвоя. — Отпустите моего сына, он не в себе... Ведьма глазищами его зачаровала, эх они какие адские у ней!

Пришлось ей в ногах повалиться, пока все содержимое ее кошелька не перекочевало в карманы Тьерри.

Погонщики цокнули на мулов, и огромная клетка, колышась, покинула церковный двор в Квизе. Альда же подхватила своего избитого сына и, причитая, повела к повозке. Там Гермольд, выслушав подробный рассказ, покачал головой:

— Не так, сынок, ты действовал, не так... Еще, однако,

и сейчас не поздно, доверься мне. А ты, мать, брось свое хлюпанье, Эттинги все-таки боевые франки, а не церковные просвирни. Послушай, сынок. Они повезут ее кругом леса, а здесь есть прямая тропка, я однажды шел по ней ошупью, вернее, бежал от щедрот императрицы!

Незадолго до захода солнца гнедой Байон, имея в седле сразу двух всадников — Винифрида и Гермольда, державшегося за его пояс, — выехал на большую дорогу далеко впереди медленно тянущейся клетки.

Тьерри первым увидел у придорожной глинобитной стены какого-то старца в белой stole, с травяным венком на почтенной голове. Старец держал арфу, а подле него были фляга с вином и кружка.

— Уважаемые! — взмолился старик, заслышав стук копыт по слежавшейся пыли. — Окажите милость божьему страннику: всего только налейте вина из этой благословенной посуды — губы мне омочить!

— Кто таков? — спросил Тьерри. — Твоя морда чем-то знакома, однако, убей меня бог, не могу вспомнить. А вино у тебя прелесть, — хлебнул он без разрешения. — Хватит на нас на всех. Эй, ребята, распрягайте, будем здесь ночевать!

Затрещал костер, распряженная клетка замерла, накренившись. Фляга Гермольда заходила по рукам конвойных. В опрокинутой чаше ночного неба повисла тоскующая луна, и, обращаясь к ней, Гермольд тихо пел, позванивая струнами:

Вонзил рассвет свой лучезарный меч,  
Но не к нему я обращаю речь.  
Зачем светила щит мне золотой,  
Мне нужен свет не солнечный, а твой!  
Во тьме сияет он, непостижим,  
И звезд огни бледнеют перед ним.  
Так притяженье лунного сильней  
В улыбке тихой девичьей твоей.  
Я ею, как лунатик, одержим,  
Как жаждущий святыни пилигрим...

— Чего это вдруг ведьма в клетке заворчалась? — обеспокоился Тьерри. — Не твое ли пение на нее действует? Тоже, хе-хе, про любовь нравится слушать. Эй, чашовой, не вались на бок, очнись, поганец!

Тьерри пододвинулся к слепцу и, высасывая последние капли из его фляги, поведал, как его ценит сам его святость канцлер.

— Так и говорит: «Тьерри, на тебя вся надежда...» Этак ведь недолго и вице-графом стать, а? Говорят, бродячие певцы те же волохо... влохво... волхователи! — Язык у Тьерри заплетался. Пусть старик наворочит, чтобы быть ему поскорее вицеграфом. Но главное — стеречь ведьму... Если ведьму упушу — в Лаон мне возвращаться нельзя. Куда тогда податься? Тогда уж только к графу Каталаунскому, этот созывает отчаянных. Но теперь, слава богу, нечего страшиться: до Парижа один переход, лес безлюден, а луна — хоть вшей в сорочке обирай, ха-ха-ха!

Похохотав, Тьерри без перехода захрапел. Спали конвойные, мирно паслись мулы и кони. Винифрид вышел из кустов и по указанию Гермольда обшарил Красавчика, ища у него ключ от клетки.

— Нашел? На шнурке от креста? Слава богу, не придется ломать клетку. Спешу, сынок, да постарайся, чтобы собака не лаяла. Хотя могу ручаться, эти лаонские скоты до полудня теперь глаз не разомкнут — состав проверенный!

Винифрид отомкнул клетку. Азарика будто ждала этого, выбралась наружу. Следом выскочила собака.

— Не смей! — ударила девушка Винифрида, который хотел ее поддержать. — Уходи!

Обескураженный Винифрид пробормотал, что в седельных сумках Байона целы ее вещи, какая-то одежда, он ничего не трогал. Азарика молча выдернула из его руки повод, и гнедой, почуяв хозяйку, встрепенулся. Не одеваясь, не оборачиваясь, она вскочила в седло и пустила коня вскачь. Собака бесшумно исчезла за ней в лесу.

— Опять умчалась, как тогда, — сказал Винифрид Гермольду.

— Ее надо понять, — вздохнул старец. — Нам с тобой тоже надо отсюда драпать. Клетку замкнул? Ключ повесь назад этому ироду. Жаль, что остался без коня, но даже мула тронуть нам нельзя. Пусть думают, что ведьма сквозь прутья с туманом просочилась, иначе здешние сеньоры все леса обрыскают с собаками.

Они побрели, спотыкаясь, потому что деревянная нога Гермольда натерла ему кожу, и Квизский замок предстал перед ними только на восходе солнца. И когда уж показались их быки и Альда, изнаывающая от беспокойства, Винифрид спросил:

— Дядюшка Гермольд, а все-таки она — чародейка?

— Хм! Если б было так, не пришлось бы нам ее два-

жды выручать. Мерлин, говорят, в соломинку утекал от тюремщиков.

Добрых две недели они колесили по дорогам Валезии, чтобы сбить со следа возможную погоню. Альда не пилила сына за потерю Байона — конь был воинский, дело мужчины им распорядиться. Но сердце изныло от мыслей об оставленных детях, и она еле дождалась, когда кончились их плутания и они решились приблизиться к дому.

Предчувствия ее не обманули — землянка была пуста! Валялись расшвырянные вещи детей, платок Агаты... Недоеная корова мычала в хлеву, брыкались голодные овцы. Странно, грабители не тронули скота!

Кинулись к оврагу, но там шалаши пришлых людей стояли опустошенные таким же образом. Альда кусала себе руки и выла, сомкнув рот: в лесу, полном неизвестности, кричать в голос было опасно. И как могла она решиться оставить все на подростка Ральфа и старика Евгерия!

Кое-как переночевали, а утром Гермольд, у которого, как у всех слепцов, слух был необыкновенно остр, сообщил, что слышит в глубине леса скрежет лопат и скрип осей.

— Это в том направлении... — соображала Альда. — Там холм, который зовется Барсучий Горб.

Не успели они решить, что делать дальше, как послышался шорох травы под копытами, и на поляну въехал вооруженный всадник. Это был — о ужас! — все тот же Красавчик Тьерри!

— Га! — закричал он, играя петлей аркана. — Бог вас все-таки ко мне привел! Ты, ломавший клетку в Квизе, и ты, опоивший нас по дороге! Или вы — раздвоившийся диавол?

Аркан он, однако, убрал, так как Винифрид взял его на прицел своего лука. Простоволосая Альда, похожая на фурию, схватила топор, и даже слепец Гермольд выдернул из-за пояса клинок. Тьерри несколько раз их перекрестил, почесал в затылке и решил глубокомысленно:

— Нет, вы все-таки люди, не бесы, — не расточились. А ведьму, ясно, нечистый унес... И что мне вечно такое невезенье? Ну, вот что, мужик, воевать мне с тобой не с руки. Отвечай-ка по правде, твоя ли это нора? Слушай — его милость граф Каталаунский этот лес пожаловал мне в лен. Так что, шустрый лучник, ты будешь платить мне оброк — мы договоримся! Либо, еще лучше, ты пойдешь

ко мне в стрелки. А детей твоих и домочадцев я пока взял в залог.

Альда заломила руки, дав волю своему отчаянию. Тьерри выпятил нижнюю губу.

— Ну чего орешь? Я же не людоед какой-нибудь. Они работают у меня на холме. Мы с графом Каталаунским хотим до холодов здесь замок построить, чтобы закрепить наше право. Ведь еще от принцессы Аделаиды как бы не пришлось обороняться! И вы ступайте-ка работать. Клянусь честью, как только стены возведем, всех отпущу.

За его спиной показались еще всадники.

— Эй, молодчики! — махнул им Тьерри. — Быков ихних гоните к холму да прихватите корову из хлева, на ней тоже можно камень возить. А ты, лучник, сунь стрелу в колчан и не бунтуй, не то я велю своим вассалам — видишь, у меня теперь есть и вассалы! — щекотать твою женку, пока ты сам хохотать не примешься.

#### 4

— Озрик, чума тебя разрази! Откуда ты взялся, дружище?

Роберт стиснул плечи Азарики, радостно ее разглядывая.

— Ты совсем не изменился! Тот же сагум, та же стеганка, которую я тебе когда-то выбрал. Но худой, почерневший весь... Ты что, болел? Протей наш как-то ездил в Андегавы, отец Фортунат сказал ему, что ты уехал на родину... Я так опечалился! Душу ведь некому открыть, а тут со мной такое приключилось!

Азарика тоже была рада увидеть его открытое, обветренное лицо, да и всех товарищей, всех школяров рада была увидеть. В ту ночь, когда Винифрид освободил ее из клетки, она мчалась, не разбирая зарослей и оврагов, пока изнемогший Байон не остановился и впереди в лучах восхода не заблестали башни и колокольни Парижа. Тогда она оделась в то, что нашла в сумах, и собралась с силами. Как же дальше быть?

«Мы, Робертины, навеки твои друзья...» Нет, невозможно быть во враждебном мире одному! Пусть Эд страшен, зато с ним не страшно ничего. Если даже Фульк явится и ткнет в нее пальцем, он не выдаст... Но и князь если уж принять, то от него!

К Эду попасть теперь было нелегко. В просторном по-

мещении Сторожевой башни, носившем название «Зал караулов», он творил суд и расправу, вершил дела. Роли близких были распределены: кому быть по правую руку графа, кому стоять за его креслом.

— Я с этими церемониями не считаюсь! — сказал Роберт, проводя Азарику сквозь плотный ряд вассалов.

Они увидели, как откинулся полог, и Эд вышел в Зал караулов, отвечая на поклоны. У Азарики внутри похолодело — как-то он ее встретит.

Рядом с графом вертелся Кочерыжка, бывший аббат, который, по-видимому, что-то докладывал ему.

— Ха! — прервал его Эд. — Можешь не продолжать. Остальное я предвижу заранее. Ведьма, посланная Фульком, — это очередной обман, рассказни, мыльный пузырь. Предлог, чтобы меня же и обвинить в том, что я не выслал караул — встречать ведьму. Вот если в клетке мне привезут самого Фулька, будь он хоть трижды канцлер, клянусь святым Эрибертом, я назначу ему усиленный караул!

У Азарики потемнело в глазах, ноги подкосились. Ее держали только плечи вассалов, и Роберт ободряюще сжимал ее локоть.

— Граф! — обратил он внимание брата. — А вот и наш Озрик.

Но Азарика уж не смотрела на Эда. Со страхом ловила она теперь взгляд Кочерыжки. А тот подобострастно внимал словам графа о том, что ему нужны ученые люди, и главное — преданные люди, что Озрик всегда найдет привет и защиту при его дворе... И бывший аббат одним из перых поздоровался со вновь прибывшим, причем в самых пылких выражениях.

Так началась жизнь при графском дворе. Роберт отвел друга к кастеллану, и тот выделил ему комнату, стойло для Байона. Выдал чешуйчатый панцирь, пояс с серебряной насечкой, кованую каску с петушьим гребнем, такую новенькую, что в нее можно было смотреться, как в зеркало. Так были обмундированы все палатины — «дворцовые», — личная охрана графа.

— Ну, что же тут с тобой приключилось? — спросила она Роберта, который не отходил ни на шаг, всем видом своим показывая, что переполнен какой-то необыкновенной тайной.

— Да уж и не знаю, как сказать... — Юноша рассматривал свои ногти. Кстати, по ногтям-то и была заметна

перемена, происшедшая с ним: прежде грязные и кривые, теперь они розовели ювелирной отделкой.— Уж и не знаю, как сказать... Я и каялся, и молился...

— Рассказывай толком или уж совсем молчи.

— Скажу, скажу, а ты не осуждай строго...

— Говори, грешник!

Выяснилось, что, по старинному обычаю, он был снаряжен в посольство за невестой брата. В Трисе после пышных охот и пиров Аолу посадили на коня и отправили с ним в Париж.

— Вы вдвоем ехали, что ли?

— Да нет, конечно,— вокруг нас была тьма народу... Эх, я вижу, ты ничегошеньки не понимаешь! — Загорелое лицо его стало растерянным, как у заблудившегося мальчишки.— Мы просто ехали и говорили ни о чем... Да она и вообще молчунья, трех слов подряд не скажет.

— Вот это дело! Ты молчун, она молчунья — хороша беседа!

— Ах, что ты, Озрик! А еще ученый человек! Она же все понимает, сердцем все понимает и отзывается на все.

— Говори прямо, ты в нее влюблен?

Роберт от таких слов пришел в совершеннейший ужас, даже за голову схватился, а на Азарику напал зуд озорства, хотелось немедленно сломать что-нибудь, орать, беситься от веселья. И она спрашивала безжалостно:

— Было у вас объяснение?

— Да нет же...— Роберт все более падал духом.— Она если что хотела мне сказать, только через герцогиню Суассонскую, свою сестру... («Эта дворцовая кура тоже здесь,— отметила Азарика.— Ну нипочем ей меня не узнать!») Иной раз,— вздохнул Роберт,— взглянет, будто светом златым обольет. А мое бедное сердце к копытам ее коня так и падает.

— Да ты поэт! — засмеялась Азарика.— Уж не сочиняешь ли ты стихи?

Роберт простодушно кивнул. Дар этот в нем действительно проснулся.

— Помнишь, в школе я не умел, а Фортунатус звал меня тупицей? Теперь сочиняю и даже пою, только не полатыни, а по-простому, по-романски.

В тот же вечер, как только пылающее солнце опустилось в Сену, бывшие школяры собрались у Галереи правосудия, где бездомные горемыки располагались на ночлег прямо под колоннами.

— Опять мы все в сборе! — шумел гуляка Протей. — Только тьютора нет. Наш сеньор Верринский теперь где-то ножки своей праведницы целует монастырской, ха-ха! И ты, Авель, приперся? Говорят, ты обворожил сердца всех парижских стряпух. Еще бы! Едва ли им приходилось встречать кавалера, который, доедая жирного каплуна, мечтает о бараньем боке!

Так, балагуря, они взялись под руки и пошли, перегородив набережную, распугивая прохожих. От прежних времен их отличало, кроме всего прочего, и то, что на почтительном отдалении следовали их слуги и оруженосцы.

Когда совсем стемнело, они очутились у фасада дворца, выходявшего к реке. Здесь был палисадник, и в темноте крупные розы угадывались по волнам аромата. Над кустами ярко светилась арка балкона.

— Там покои прелестницы с глазами цвета жженого миндаля, — шепнул Азарике Протей, но Роберт услышал и отвесил ему подзатыльник.

Загудела струна — Фарисей настраивал монохорд, слышался перелив дудки Иова. И Роберт неторопливо запел, голос его, приятный баритон, крепчал по мере того, как воодушевлялся поэт:

Нет, не боюсь, что панцирный барон  
Меня повалит в схватке топором.  
Нет, не боюсь, что в заводи лесной  
Меня разбойник заарканит злой.  
И даже не боюсь, что ясность дум  
Встревожит заклинаньями колдун.  
Мне введом страх один лишь с давних пор —  
Мне снится ловкий и коварный вор,  
Который не алмаз и не копье —  
Похитит сердце нежное твое!

Протей снова захихикал в ухо Азарике:

— Вот это спел! Кто же здесь вор, как не тот, кто поет о любви чужой невесте?

Он заработал новый пинок, уселся на каменную скамью рядом с толстым Авелем и наклонился, что-то делая под скамьей.

Роберт запел новую песню, и голос его был печален. Казалось, все в мире исчезло и только в свежем запахе реки плывет этот тоскующий голос. Кто-то в арке шевельнул тору.

— Она! — сказали школяры.

Но тут с соседнего крыльца послышался громкий раз-



говор, стали спускаться люди. Донесся восторженный голос герцогини:

— Ах, это, наверное, бродячие клирики! Они знают такие веселые песни, мы их попросим.

Бывшие школяры, прыснув, пустились наутек — хотя какая опасность могла ожидать здесь графских палатинов? Просто было весело удирать, гикая, по набережной. Лишь бедный Авель остался как вкопанный, потому что Протей привязал его к скамье за кушак. Авель сопел, не понимая, что его держит.

— А вот и певец! — приблизилась к нему герцогиня Суассонская. — Дайте мне фонарь. Боже, какой он, оказывается, толстый, а ведь изысканный голос! Спойте, голубчик, мы вас щедро наградим.

Но Авель продолжал сопеть, и камеристка, бойкая на язык, предположила, что божественный певец просто переел за обедом и его мучат колики. Герцогиня возмущалась такой прозой и велела нетактичной девице во искупление своей вины перед певцом тут же его поцеловать.

И это было последней каплей, переполнившей чашу страданий Авеля. Собрав в едином усилии всю свою мощь, он наконец оборвал кушак и унесся во тьму, как метеор.

Бежала, смеясь, и Азарика. Ночной чистый воздух окрылял, хотелось, раскинув руки, взлететь над медленной рекой, над громадами зданий — туда, туда, к темным вершинам Горы Мучеников!

Нет, правильно сделала она, выбрав путь в Париж. Будь что будет!

## 5

Едва лишь начинал брезжить рассвет и петухи ленивой сипотцой возвещали приход дня, рог Эда, подаренный ему Сигурдом и прозванный за это Датчанкой, тупым, дикой силы криком будил население дворца. Дамы крестились и, помянув нечистого, которому в такую рань не спится, поворачивались досыпать на другой бок. А палатины, знавшие, что граф проспавшего может и хлыстом подбодрить, рысью бежали к фонтану, где уже синел ледок, а вода, если ее взять в рот, ломила зубы.

Затем на плацу одни, разбежавшись, прыгали через деревянного коня, другие звенели клинками, изучая приемы рукопашной. Третьи толпились вокруг Язычника — нелепого вертящегося чучела в панцире, которое в руке



имело здоровенный кол. Надо было, изловчившись, ударить Язычника копьём так, чтобы вовремя увернуться от кола, которым он не преминет ответить на ваш выпад.

Азарика при первом же броске угодила под удар кола и распласталась на земле. Но ей ничуть не было стыдно, хотя палатины хохотали так, что дворцовые дамы еще раз помянули беса. В ней кипела злость, та самая злость, которая помогла ей перенести гибель отца, рабство у Заячьей Губы, позор клетки...

И она вновь кидалась на Язычника и вновь падала, не успев увернуться. Отвратительный визг его шарниров стал сниться ей по ночам. Но мало-помалу она научилась побеждать грозное чучело, а в фехтовании она благодаря природной гибкости и быстроте стала одной из первых. Даже Протея одолевала, весьма коварного в бою, а бедный, вечно пыхтящий и вечно оглядывающийся Авель не решался с ней и драться.

— Ты становишься мужчиной,— хвалил ее Роберт.

Он даже пощупал ей подбородок,— не пора ли завести бритву? И она с каким-то мстительным наслаждением ощущала, как от утренних туманов и кислых запахов конюшни голос ее становится хриплым и низким. Физические упражнения, которыми Эд с восхода до заката истязал своих палатинов, заставили ее раздаться в плечах; даже кости словно бы стали крупней. Теперь она, подобно другим палатинам, входя в трапезную, не ожидала, пока освободится место. Уверенно раздвигала плечи и втискивалась на скамью.

А Эд словно бы опять забыл о ней. Правда, он и с невестой-то виделся только в церкви. Она жила во дворце, в апартаментах принцессы, а Эд из-за уймы дел так и ночевал в Зале караулов. Азарика выбрала момент и отвела ему собаку. Кое-как соврала, что случайно нашла Майду в лесу под Парижем. Эд рассеянно благодарил, погрузившись в какие-то свои расчеты.

Закипала ярость. «Да знает ли он, в конце концов, обо мне? Вот возьму да все ему открою...» Но давний животный страх перед бастардом перевешивал все.

Во время разводов и учений она украдкой за ним наблюдала. Отмечала: необузданности прежней в нем нет, зато появилась уверенность, надменность... Не влиянье ли это царственной Аолы?

И среди боевых упражнений, вспотев до изнеможения, она вдруг испытывала невыносимый укол тоски. Уходила

за оружейный склад и там, надвинув на нос козырек шлема, скрежетала зубами. Катились дни, одинаковые, как стершиеся монеты. Молодежь развлекалась, пожилые роптали. Ворчал даже близнец Райнер:

— В Самуре сейчас самая страда — виноград давят, улы окуривают, а у нас все Датчанка да Язычник! И зачем он тогда, этот лен, если хозяйничать в нем не дают?

— У других,— вторил ему Симон,— вассалы только два раза в год съезжаются. Или если уж война!

У них нашелся единомышленник, барон из Мельдума, сорокалетний нелюдимый вассал, затесавшийся среди молодежи в надежде выслужить у Эда титул вице-графа. Он поддакивал:

— Что мне этот Париж? У меня в Мельдуме все то же, что и здесь,— свои ткачи, свои оружейники...

Близнецы выпросили у Эда отпуск, съездили в Самур и вернулись с корзинами спелых яблок. Всех угощали, а сами были радостно возбуждены и шептались с бароном. Однако у них были какие-то ожоги и ссадины, которые они почему-то от Эда скрывали.

Раз, блуждая без цели вокруг заколоченной части дворца, Азарика спросила привратника:

— А там что?

Привратник, со странным римским именем Сиагрий, отставил метлу, сладко зевнул и оценивающе посмотрел щелочками глаз.

— А ты, случаем, полденария мне не найдешь?

Получив мзду, оживился, снял со стены кольцо зеленых от старости ключей и, топя по-медвежьи, повел ее под гулкие своды анфилад. Огромные цветные стекла в свинцовых переплетах заросли пылью и паутиной. В высоченных палатах даже в полдень стоял сумрак, словно в мраморном лесу. Азарика на каждом шагу допытывалась: а это что за мозаичная картина, а почему здесь изображен орел с двумя головами, а кто почивал под этим парчовым балдахином?

— Не знаю...— равнодушно отвечал Сиагрий, скобля пятерней заросший подбородок.— Да и что они тебе? Ты бы, паренек, пожаловал мне еще хоть четверть денария.

Получив сразу две серебряные монеты, он оставил Азарике все кольцо с ключами, а сам скорым шагом удалился в таверну.

И Азарика без помехи блуждала по термам, где на каменном дне бассейнов остались лишь ржавые потеки. «В

струи холодной воды окунитесь из бани горячей, чтоб разогретую в ней кожу свою остудить...» Это выложено мозаикой над аркой терм, и Азарика хорошо помнит, что это из поэмы Сидония Аполлинария. Но тут она наткнулась на нечто лучшее. Омовение не для телес, а для души — библиотека!

Здесь были сокровища, о которых не мог мечтать смиренный Фортунат. Азарика не поленилась вернуться в подъезд за ведром и тряпкой, потому что некоторые свитки крошились от старости и, не размочив их, приступить к чтению было невозможно. Вот и блистательнейший Бозций — «Утешение философией!» Азарика раскрыла том и погрузилась в чтение.

Очнулась от близких уже шагов. Кто-то шаркал, мелко семена и ругая бездельника Сиагрия за то, что распахнул все двери. Азарика колебалась, скрыться ей или нет, как в библиотеку вошел сам Гоццелин, архиепископ Парижский. Двое отроков — светлый, мечтательный, и черный, мрачный, — вели его под руки, а он на ходу жевал неизменные сласти.

Пришлось подойти к ручке, представиться.

— Ученик каноника Фортуната? — переспросил Гоццелин. — Как же, наслышан о его учености. Правда, говорят, он вольномыслию привержен... То-то я смотрю: кто бы мог здесь над книгами корпеть? Вот эти-то греховодники — я их из милости принял после кончины Гугона, их хозяина, — им бы только за девочками бегать!

Архиепископ растопырил щеки в беззубой улыбке и потрепал за вихры сначала светлого серафима, потом черного.

Словоохотливый прелат, найдя в Азарике внимательного слушателя, рассказал, что библиотека эта еще от римских времен. У франков ведь нет обычая составлять библиотеки. Даже в лаонском дворце, где покои величиной с добрые соборы, не найдешь и сотни книг. Что же касается дворца в Париже, им триста лет назад владели римляне Сиагрии. Привратник как раз потомок этой фамилии, за что принцесса его и держит, несмотря на его беспробудную лень. Сама же Аделаида обитает в верхних покоях, а сюда все проходы она велела перекрыть, потому что страсть как боится привидений.

— А ты, сын мой, — спросил он, — не боишься привидений?

«Я сама привидение», — чуть было не сказала Азарика.

Спohватясь, трижды перекрестилась, и прелату понравилось благочестие юного палатина. Он отдал ей собственный ключ:

— Читай, сын мой, на здоровье. Как сказал мудрец — оттачивай напильник знания, чтобы снимать с уст ржавчину немоты. Подбирай мне что-нибудь из рецептов древней кухни. А что попадется языческое, безбожное, богохульное — отбрасывай в угол, мы с тобою вместе сожжем во славу господню!

С тех пор Азарика без помехи наслаждалась уединением и книгами. «Ты же, коль хочешь быть озаренным истины светом,— читала она Бозция, упиваясь звучностью слога,— и не сбиваться с верной дороги, брось все услады, брось всякий страх ты и без надежды будь беспечален!»

Однажды стало душно в приближении запоздалой сентябрьской грозы. Азарика решила отворить одно из слуховых окошек под потолком. Подтащила лесенку и влезла. Оказалось, окошко выходит в тот палисадник, где как-то ночью они распевали в честь прекрасной Аолы.

Но удивительней всего, что Аола как раз была там! За пышным розовым кустом, который уж трепал предгрозовым ветер, она стояла лицом к лицу с Робертом. Оба молчали, опустив бледные лица, и руки их лежали рядом, на самом крупном цветке розы. Неподвижно, как две статуи, они стояли так, пока крупные капли дождя не покатались по их щекам, будто слезы. «Аола!» — позвали из арки верхнего балкона, и та, быстро оглянувшись, коснулась губами рта Роберта и взбежала на крыльцо.

Как же так? А в Городе шли приготовления к роскошной свадьбе!

Вечером Азарика пыталась вызвать на откровенность Роберта, но теперь это сделать было нелегко. Он замкнулся, стал раздражительным, ударил оруженосца, чего с ним прежде не бывало. Только в глазах пылал какой-то внутренний пожар.

И вдруг Азарике смертельно стало жаль Эда. Этот любящий братец и прелестная невеста просто обманывают его! Он не знает ни дня, ни ночи — ремонтирует городские укрепления, муштрует войско, запасает провиант, то куда-то скачет, то с кем-то воюет, бранится, судит, учит, строит, устает до бесконечности, а этим — всё песни, да розы, да поцелуй!

К утру созрело решение — открыть все Эду. Бозций

пишет: самая мерзкая правда лучше самой утонченной лжи. Граф, конечно, не причинит зла возлюбленному Робертину, зато трисскую гадюку отошлет с позором. Однако Эд горяч и может сразу не поверить, вскрыется и про клетку... Ну и пусть!

В Зале караулов подступиться к графу было невозможно, и Азарика подстерегла его, когда он явился к матери во дворец. Прислуги нигде не задержали графского палатина, и Азарика забрела в portик зимнего сада, где вдруг услышала их разговор.

— Канцлер Фульк нам пишет,— скрипела старуха,— что, по всем сведениям, это ваши люди напали на клетку с ведьмой...

Сердце Азарики съезжилось, как орешек.

— Канцлеру Фульку,— ответил граф, расхаживая между пальм и рододендронов,— нечем больше заниматься, кроме клеток и ведьм. А я с часу на час жду нового нашествия Сигурда... Ваш преподобный враль,— повысил голос Эд,— хочет поссорить меня с моими людьми? Я не желаю больше слушать ни про какую ведьму!

Теперь благодарность разлилась в душе Азарики горячей волной.

— Лучше объясните,— перешел в наступление Эд,— каким образом граф Каталлаунский строит замок в вашем Квизском лесу? Какой-то Барсучий Горб, черт побери!

— Это моя земля,— еле слышно сказала старуха.

— Это в первую очередь графства Парижского земля!

— Но мы ему разрешили...

— Кто это «мы»?

— Каролинги.

Некоторое время Эд вышагивал молча, задевая плотные листья диковинных растений. Затем остановился перед матерью:

— В первый раз, светлейшая, у нас идет столь открытый разговор, вы сами его захотели. Так потрудитесь же мне заодно растолковать: вы ли это писали покойному канцлеру Гугону, чтобы мне не давать парижского лена?

— Я объясню...— лепетала принцесса.— Все откровенно... Подложите-ка мне вон ту подушку.

Из-за малахитовой колонны portика Азарика хорошо видела, как старуха устраивается на диване, как жует что-то бескровными губами.

— Благодарю... Теперь слушайте меня, граф Парижский. Беда в том, что вы не Каролинг.

— Как, разве я не ваш сын?

— М-м, ваше рождение на веки вечные вписано в книги святого Эриберта, у которого вы крещены. Я не о том. Боюсь, однако, что вы хоть и этакий удалец, а меня не поймете...

— Постараюсь.

— Каролинги, милый мой,— это даже не происхождение по крови, это скорее стиль жизни... Это... как бы лучше объяснить... умение все делать во благовремени, по чину, в порядке, уготованном достойными людьми. Наш племянник, Карл Третий, прозванный Толстым,— уж на что его ославили ничемным, а поглядите, как он возглавляет пир или восходит на трон в собрании прелатов! Одна осанка стоит двухсот лет непрерывного царствования предков! Или даже бедняга Карл, дурачок... Он будет царствовать, ибо он наш.

— И граф Каталлаунский, Кривой Локоть, предавший в свое время вашего мужа, а моего отца,— значит, он тоже ваш?

— Он по фамилии Вельф, но неважно — Каролинг, Арнульфинг или Веттин, лишь бы был в числе столпов династии.

— А то, что я строю крепости, обучаю войска, готовлю запасы,— разве это не укрепляет государство, а значит, династию?

— Это укрепляет вас...

— Ну и что же? Не пойму!

— Вы для династии опасны!

— Ах, вот оно что! — Эд возник над принцессой во весь свой яростный рост, так что Азарике стало страшно, как бы он старуху не придушил. — Матушка, послушайте мою здравую речь! Фульк и все его проходимцы морочат голову вам, бедной. Людишки эти просто сереют от зависти, видя, что я сильнее, что я способнее, что я удачливей любого из них, мозгляков. Что, наконец, все будет моим, когда я захочу!

— И престол?

— И престол.

— Бог от вас отвернулся! — прошептала старуха, выпивая воды.

— И хоть вы, Каролинги, восстанете на меня,— голос Эда наливался непреклонностью,— Барсучий Горб каталаунцев будет разрушен!

Он отбросил ногой какие-то попавшиеся ему пуфики



и вышел из колоннады. Там Азарика, позабыв обо всем, сидела и горевала: «Господи милостивый, как же он одинок!»

Граф схватил ее за воротник:

— Ты подслушивал?

У нее еле хватило сил на то, чтобы оправдать свое появление. На этот случай у нее был заготовлен свиток, накануне найденный ею, с интересной старинной картой.

— Вот Индия,— стала показывать она.— Видишь, тут нарисованы слоны с длинными такими носами. А это волшебный остров Тапробана, где младенцы растут, как плоды на деревьях.

Но желтый, обожженный дымом костров ноготь Эда нетерпеливо ездил по материкам, отыскивая какую-то одну, важную для него точку.

— Нет, ты мне Барсучий Горб покажи. Барсучий Горб мне нужен!

## 6

Всадники двигались меж стволов, обросших бородами мха, обшаривали кусты. Звякало оружие, лошади мотали головами, чуя дым, стлавшийся по земле.

— Сказал ты брату о себе и Аоле? — напрямик спросила Роберта Азарика. (Тот молчал, играя набором уздечки.) — Говорил? Отвечай!

— Нет,— выдавил из себя Роберт.

— Но ведь так дальше продолжаться не может. Да и чего тебе — он тебя любит, он все поймет!

Роберт повернулся в седле так, что конь его вздрогнул, ожидая, что хозяин сейчас его пустит в галоп.

— Это ты... это ты, Озрик, не понимаешь... Женитьба графа Парижского на наследнице герцога Трисского! У них же герцогство не переходящий бенефиций, а наследственный аллод...

— Ну и что — аллод?

— Это ж образуется целая держава!

«Робертин ты, Робертин!» — усмехнулась Азарика. Кони осторожно ступали по сушняку, настораживали уши, чуя вражеских лошадей. «А как бы я поступила, будь я Роберт? Ночью бы похитила — и прочь? А ведь ближе брата у него никого нет...»

— Послушай, Озрик! — Роберт с горячностью коснулся луки седла товарища. — Не думай, что я уж такой прямолинейный дуб. Но он-то, он — что ему любовь, что

ему чувство? Я знаю его лучше, чем кто-нибудь! Я понимаю его, потому что совсем недавно сам был таким, как он. Это ты в монастыре своими рассказами, своим примером дал завязаться бутону моей души, как говорят поэты. Потом Аола, как живительный дождь,— и вот бутон этот расцвел! Но он-то, он — что ему душа, когда перед ним цель?

«Врешь ты, что знаешь его», — думала Азарика, наблюдая, как Роберт привстал на стременах, всматриваясь в горизонт, как синяя влага заблестела в его глазах.

— Дым ест... — смутился он, перехватив взгляд Азарика. — Ладно, все нынче авось решится. Дело, по всему, будет жарким...

— Что ты задумал? — вскричала Азарика, хватая его за плечо.

Но тут им пришлось спешиться, чтобы помочь вырубать кустарник. Быки волокли через лес осадное орудие с бронзовым лбом на конце тарана.

Подъехал Эд. Его лицо потемнело, осунулось. Азарика прочла на нем следы бессонных размышлений. Эд вслушивался в шум листвы.

— Слышите, кто-то кричит?

Действительно, в лесу, где топот множества коней и движение колес заглушали шелест ветра, явно слышался исступленный крик: «Сюда, сюда, люди добрые, сюда! Помогите!» Эд, за ним Роберт, Азарика, Протей помчались, на скаку отклоняя ветви.

Посреди недавно вырубленной просеки, в конце которой виднелась массивная белая башня на Барсучьем Горбе, стоял старик в располосованной холщовой рубахе. Ветер трепал его длинную бороду, и был он слеп и измучен несчастьем. Азарика с болью узнала: Гермольд!

— В чем дело? — спросил Эд.

Слепец, указывая в направлении Барсучьего Горба, торопился поведать, как Тьерри, заслышав о приближении парижского войска, согнал в башню окрестных жителей, чтоб помогали обороняться. Семья Эттингов тоже там заперта, свободные франки...

— Скорее! — вскричала и Азарика. — Там Винифрид!

— Погоди, Озрик, — исподлобья взглянул на нее Эд. — Всему свой черед. Рассказывай дальше, раб.

— Тьерри, ваша милость, вообразил, что у них где-то закопан клад. Подвесил их в очаге, даже старуху мать, поджаривает подошвы. Скорее, скорее, благодетели, ина-

че не застанете их в живых. Там и сатанинский граф Кривой Локоть!

— Хе! Граф Каталлаунский, стало быть, тоже там? Отлично, пусть им будет двойная мышеловка. Райнер, прикажи трубить штурм!

Эд стегнул коня. Всадники, вздымая вихрь, пронеслись мимо сидящего на траве слепца, а тот тщетно молил их сказать, с кем он разговаривал сейчас, чей голос ему там странно знаком.

— Это был Эд, граф Парижский! — нагнулась к нему с седла Азарика. — Простите, отец, торопимся в бой!

— Эд, граф Парижский! — сокрушенно качал головой старец. — Не чаял я, что встречу так с тобою, истязатель... И все-таки да благословит бог твое оружие, ба-стард!

Парижское войско высыпало из леса. Всадники перескакивали через ямы с известью, бревна и прочий строительный мусор. Над зубцами внушительной башни, у которой швы меж камней еще не успели просохнуть, клубился дым костров, на которых каталаунцы готовили для осаждающих кипятки. Валился град камней, не давая подходить.

Датчанка Эда заревела устрашающе, призывая сдаться и обещая милость. В ответ полетели навоз и тухлые яйца. Тогда Эд махнул чешуйчатой рукавицей.

Парижские воины, прикрываясь щитами, понесли длиннейшие осадные лестницы. Всадники спешились, отдав лошадей коноводам. Азарика, сдерживая биение сердца, шла к стене за спинами Роберта и Протея.

— Аой! — подбадривали себя на стене каталаунцы.

— Радуйтесь! — гремел им в ответ парижский клич.

Лестницы приставили, и палатины Эда на них устремились. Азарика храбро карабкалась по перекладинам одной из них и вдруг почувствовала, как она сотрясается от ударов — наверху ее ожесточенно срубали секирой. Не успела Азарика решить, спускаться ли вниз, как лестница рухнула, и она кубарем полетела в ров. Тьерри не успел его заполнить водою, и свежий песок смягчил падение Азарики. Поднявшись на ноги, она увидела лежащего Фарисея — бедняге размозжило обе ноги! К нему уже подбежали оруженосцы, спеша вынести, потому что в клубах пара сверху струился кипяток.

На соседней лестнице Роберт сумел выбраться на самую верхушку и стоял там меж зубцов, отгоняя мечом ка-

талаунцев. Там же виднелся Протей, и Азарика, забыв всякий страх, закричала: «Аой!» — и полезла к ним.

Однако, когда она достигла зубцов, Роберта не было видно, а на его месте Тьерри, кривя под наносником злобную улыбку, бросался на Протея, и тому приходилось не сладко. Кругом шла ожесточенная сеча, в бойницы лилась смола, каталаунцы хлыстами подбадривали крестьян и крестьянок, таскавших от костров на стены ведра. А на площадке Тьерри и Протей, громко выдыхая воздух, рубились, спотыкаясь о трупы.

Против слепящего солнца Азарике трудно было рассмотреть, как они дерутся. Слышался непрерывный звон металла да вскрики бойцов. Вдруг Протей закричал, будто ягненок, и к ногам Азарики упала его рука в кольчужном рукаве, еще шевелившая пальцами. «Левая!» — подумала неизвестно зачем Азарика. Тьерри захохотал и пнул Протея, тот, побалансировав, свалился вниз.

— Теперь твоя очередь, юнец! — заорал Тьерри, набрасываясь на Азарiku.

«Ах ты, Красавчик, соблазнитель дворцовых служанок!» — усмехнулась Азарика. Странно, но был он ей страшен не более чем их учебный Язычник. Она наносила и отражала удары по всем правилам, и, надо сказать, Тьерри приходилось туго.

— Хорошая школа! — прохрипел Тьерри, еле уклонившись от одного из ее выпадов. — Силенки только маловато.

И вдруг Азарика поняла причину неудачи Протея. Тьерри занял лучшую позицию, а его противник стоял против солнца и плохо улавливал намерения врага. Крикнув: «Радуйтесь!» — она ловко вспрыгнула на край зубца. Тьерри спешно заслонил голову, а она, воспользовавшись этим, зашла ему с тыла. Красавчик изрыгал проклятия.

— Силенки маловато? — передразнила Азарика. — А помнишь, как в лаонском дворце ты дал мне куропатку за то, что я нагадала тебе лен? Беру свое предсказание обратно.

— Что? — переспросил Тьерри, отражая удар.

И вдруг до него дошел смысл сказанного. Он даже открыл рот и замедлил удары. Тогда Азарика перехватила свой меч в обе руки и ударила по лезвию Тьерри возле самого эфеса — испытанный прием. Меч Тьерри, описав дугу, упал далеко за рвом.

— На колени! — крикнула она Красавчику, замахи-

ваясь. О, ради этого стоило перенести и клетку, и Язычника, и муштру.

— На колени, канцлерская собака! — крикнул и Роберт, который только что появился из внутренних помещений башни, где он гасил котлы с кипятком. Он дал подзатыльник ошеломленному Тьерри. — Вот это Озрик — какого волка обратал!

На верхушке стены уже скопилось много пленных, и Роберт велел Азарике отконвоировать их к Эду. Внизу у лестницы бедняга Протей раскачивался от боли, повторял: «Кто же меня накормит, кто же меня напоит, о господи, кто же теперь даст мне пристанище?» Вокруг хлопотали лекари.

Над башней Тьерри уже поднимался шлейф пожара. Бой шел внутри замка, на всех его переходах и лестницах. Эд приказал пустить в ход таран, и бронзовый лоб бил в ворота, пока они не рухнули, давя всех, кто не успел отбежать.

По их поваленным створам торопились выбраться наружу местные жители, согнанные Тьерри, потому что знали — теперь насилие пойдет без разбора. Впереди бежала девушка в белом, выпачканном сажей платье, с распущенной косой.

Конь под Эдом норовил взвиться на дыбы — его возбуждал запах крови, дым пожара. Эд смирял его властной рукой, сосредоточенно отдавал приказания, следил за ходом боя. Подскакал вестовой, весь израненный, с безумными глазами.

— Роберт только что убит... Там, внутри!

Конь Эда поднялся, чуть не топча окружающих. Азарика помертвела: «Роберт убит!» Недаром же он бросался в самое пекло! Эд на коне плакал, пораженный отчаянием. Внезапно наклонившись, он пересек хлыстом голову девушки в белом. Алая борозда вспухла на ее измученном детском лице, а Эд занес хлыст с новой яростью.

— Остановись! — дико закричала Азарика, бросаясь и повисая на руке Эда. — Она же как Аола, остановись!

Она упорно и спокойно смотрела в распаленные гневом зрачки сюзерена. Чувствовала, как под ее мягкой ладонью слабеет его поднятая с хлыстом рука. С удивлением понимала, что его необузданная дикость смиряется перед ее разумной волей.

— Смотрите, граф, смотрите! — Окружающие указывали в сторону ворот.

Оттуда вышел залитый вражеской кровью, но улыбающийся Роберт — без шлема, длинные пряди золотились на солнце. Перед ним с веревочной петлей на шее ковылял граф Каталаунский, весь еще в бинтах после лаонского поединка.

— Кривой Локоть! — воскликнули все, увидев его.

А он, будучи подведен к Эду, покосился на его хлыст.

— Со мною осторожней, я ранен! К тому же не забудь, я Вельф, за меня будет мстить весь мой род.

Азарика отошла в сторону, чтобы не слышать причитаний женщин над обезображенной девушкой. Обходила мертвых, боясь найти своих, и на краю опушки вдруг увидела Иова-на-гноище!

Худенький, тонкобровый музыкант лежал, подогнув колени, будто выбрал себе удобную позу для сна. Азарика, обессилев, опустилась рядом и, уже не в силах сдерживаться, заплакала, забилась, положив голову ему на грудь, как будто это был ее самый дорогой человек.

А рог Датчанка уже созывал победителей. Эд спрашивал палатинов:

— Что за народ толпится вокруг взятой башни? Чем они заняты?

— Это местные жители, — доложил Райнер, — они хотят разрушить незаконно воздвигнутую башню.

— Разогнать! Башню взял я, она мне здесь еще пригодится.

Увидев грустно бредущую Азарику с дудкой Иова в руках, он протянул ей с коня руку и улыбнулся. Азарике опять подумалось, что его открытая и добрая улыбка принадлежит совсем иному человеку, нежели тому, который командует, воюет, страдает сам и заставляет страдать других.

— Ты сегодня бог сражения, Озрик! — сказал Эд. — Пленный Тьерри принадлежит тебе, можешь с него брать выкуп.

— Много с него возьмешь! — засмеялся Роберт.

— Ну, мы тогда отблагодарим по-другому. Аббат! Где аббат?

Кочерыжка прибежал, запыхавшись, ото рва, где он под предлогом соборования обшаривал умирающих. В последнее время он вспомнил о своем духовном сане, завел четки и трезник, усиленно стараясь играть роль графского капеллана.

— Читай молитвы.

Аббат молчал, настороженно глядя, куда указывал ему граф. Тот извлек свой Санктиль и вместо ленты обвинил его алой перевязью. Заставил Азарику преклонить колено и положил острие меча ей на плечо.

— Ну? — повернул Эд к аббату гневное лицо.

«Бойтся молитвы читать над оборотнем, — догадалась Азарика, глядя в побелевшие от страха глаза аббата. — Значит, еще не совсем перед богом совесть потерял». Но она слишком была к нему добра. Аббат справился с волнением и заторопился, читая «Отче наш».

Эд поднял свой огромный блистающий меч и объявил во всеуслышание, что Озрик, храбрый сын Одвина, посвящается в благородные рыцари отныне и навсегда.

— Радуйтесь! — кричало восторженное войско.

Они поехали рядами по просеке, на шлемы их падали желтые листья, будто ликующий лес осыпал их червонным золотом. За ними бежали люди, а какая-то поселянка в низко надвинутом платке прихрамывала, держась за стремяна Роберта и Азарики.

— Благороднейшие сеньоры, не побрезгуйте выслушать нищую Агату... Когда-то вы знали меня Эрменгардой, в монастыре святой Колумбы.

Она откинула платок, и странно было видеть совершенно седую прядь при еще молодом, с ямочками на щеках лице. Агата, словно в бреду, то обращалась к народу, хваля доброту и благородство сеньора Роберта и сеньора Озрика, которых она знает лично, то заклинала сеньоров просить их Барсучий Горб в бенефиций у добрейшего графа Эда, чтобы их господином вновь не стал кто-нибудь вроде Тьерри...

— Скоро эта сумасшедшая замолчит? — спросил Эд, не оборачиваясь. — Озрик, заткни ей рот.

А Азарика все оборачивалась назад, к башне. Там выносили из пыточных камер тех, у кого были обожжены ноги. Там чудился ей мученический взор Винифрида, провожающий войско, гнедого коня и ее, удачливого оборотня.

Архиепископ Гоццелин в двурогой жемчужной митре восседал на стульчике возле кухонной плиты, где шипели и хлюпали всевозможные противни и формочки. Давал указания почтительным кондитерам:

— Сюда две унции миндального крема. А сюда муки, муки — ромовая баба перезрела, надо ей попудрить увядшие ланиты, хе-хе!

Прелат, слывший знатоком кулинарного искусства, объявил, что собственноручно приготовит весь десерт к свадьбе графа Парижского. Его неразлучные серафимы чуть в обморок не падали от кухонных запахов, а престарелому святителю все было нипочем!

— Где же яичный пудинг? Где вчерашнее сладкое тесто?

Главный повар смущенно доложил, что ночью кто-то проник на кухню и сладкое тесто поел... О, это не мыши, съедено слишком уж много! А человек сюда просто бы не смог проникнуть — дверь запирается, черный же ход задвинут рундуком неимовернейшей тяжести.

Архиепископ распорядился получше сторожить, соскреб с пальцев тесто и удалился. В полночь, отпев положенные молитвы, он только приготовился возлечь, как в спальню ввалились гневные повара, ведя и пиная ужасно толстого молодого человека. Гоццелин с первого взгляда распознал в нем одного из палатинов Эда.

— Экая силища! — негодовали повара. — Рундук сдвинул, как перышко, и три противня миндаля умял один!

Гоццелин всех выслал и стал рассматривать силача.

— Как тебя зовут, сын мой?

— Авель.

— Это академическое имя, вероятно данное тебе в монастырской школе. А как тебя называли при святом крещении?

— Горнульф из Стампаниссы.

— И ты, конечно, бастард?

— Да... — еле слышно просипел Авель, опуская голову.

— Надо отвечать «да» или «нет» и непременно прибавлять «ваше преосвященство» — ведь я по рангу первый среди епископов Галлии.

— Да, ваше преосвященство...

— А в кухню зачем лазишь? За лакомством или хочется есть?

— Хочется есть.

— Этому можно поверить, ведь у тебя ноги словно пилоны в соборе Богоматери, а чрево — как сам собор. Эй, кто там!



Прелат хлопнул в ладоши и явившимся серафимам приказал все, что найдется в буфете, тащить сюда на стол. И Авель ел впервые в жизни никем не понукаемый и никем не попрекаемый, и притом не краденое, а дареное от души! Гоццелин положил подбородок на руки, а руки — на посох и ждал, когда толстяк насытится.

— Горе голодному! — вздыхал он. — Есть у нас и сеньоры, которые обедают лишь по церковным праздникам, а уж их крестьяне живы молочаем да лебедой. Болотный тростник им лакомство! Но ты, сын мой, не печалься, я беру тебя под свою опеку. Отныне все остатки и все объедки на моей кухне принадлежат тебе — жалую их тебе как бенефиций! Пусть злятся повара и судомойки, а ты не просто ешь, ты помогай им готовить...

День свадьбы стремительно надвигался. На всех площадях и улицах сколачивали столы, чтобы угощать народ. Предместья готовили шествия необыкновенной пышности. Церкви украшались гирляндами и хвоей, а в нижней части дворца был приведен в порядок двухсветный зал, в котором, как вычитала Азарика, еще цезарь Феодосий праздновал победу над узурпатором Максенцием.

Пожалуй, во всем Париже она одна была уверена, что свадьба не состоится. Теперь она неотлучно состояла при графе как вестовой и видела, что он и не думает о свадьбе и не говорит о ней. И если б ей пришлось выступить в роли Заячьей Губы, она бы смело пророчествовала: свадьбы не будет.

Однако в назначенное утро по дорогам были расставлены махальщики, чтобы дать знать, когда появятся высородные гости. Ждали с утра, но вот тень на часах начала удлиняться, а дороги были пусты.

Эд рассердился — даже его будущая свояченица, герцогиня Суасонская, которой всех ближе до Парижа, и та опаздывает. Не будем ждать, давайте трубить на охоту!

Прибыл гонец, но показаться сразу графу на глаза не посмел, заехал с черного двора, подозвал Озрика. Эд как раз вышел менять ошейник собаке и заметил их перемигиванье.

— Что у вас там? Мост, что ли, под гостями провалился?

Азарика сообщила, что приближается канцлер Фульк. Однако едет он неподобающим образом — без свиты, на простом осле и бос. Эд нахмурился.

— Что еще за комедию устраивают мне Каролинги?

Он лично встретил канцлера у ворот. Тот и правда шествовал в нарочито обтрепанной рясе, без обуви, с непривычки косолапил по острой булыге. Все разинули рты — такого никто не запомнил с апостольских времен, чтобы прелат шел в покаянной одежде!

Каждому из встречающих Фульк отвесил поклон. Архиепископу пытался даже поцеловать сандалии, но тот не допустил. С Эдом же вел себя в высшей степени странно — взор направлял мимо, а разговор ухитрялся поддерживать в третьем лице: «граф Парижский» да «графу Парижскому». Было ясно, что у него за душой есть нечто из ряда вон выходящее.

Тогда Эд взял его под руку и, несмотря на сопротивление, увел в безлюдный Зал караулов.

— Ну? — спросил он без лишних предисловий.

Фульк, съездившись и чуть не поводя ушами, вглядывался в мрачные закоулки пустынного зала. Затем, все так же глядя мимо лица Эда, объявил высокопарно, что вся Галлия возмущена заточением графа Каталаунского.

— Вся Галлия! — воскликнул Эд. — Кто дал вам право говорить от имени всей Галлии?

— Святая мать наша католическая церковь.

— Зачем церковь мешается в мирские дела?

— Затем, что лишь она есть становой хребет мира, лишь она направляет умы и сердца.

«То есть как раз тех, у кого их нет — ни умов, ни сердец!» — готова была кричать Азарика, стоявшая за дверью на карауле. По голосу Эда было понятно, что он тоже еле сдерживает себя.

— Что мне надо делать, чтобы заслужить ее благоволение?

— В первую очередь освободить графа Каталаунского.

В ту же минуту Азарике пришлось вбежать, потому что Эд в сердцах замахнулся на Фулька и тот с перепугу распластался по стене, как будто хотел просочиться через кирпичи. Вошли Гоццелин и Роберт. Втроем с Азарикой они пригасили kloкочущий вулкан Эда, а архиепископ лустил в ход все свое красноречие, чтобы успокоить Фулька.

— Что вам за дело до Кривого Локтя? — спросил Эд, когда мир был восстановлен. — Я взял его в открытом бою за то, что он захватил мою землю.

— Это земля принцессы Аделаиды.

— Без моей воли я не допущу никаких перемещений земель в Парижском графстве.

— Но ваши же палатины сами незаконно захватывают земли.

— Кто? Называйте имена.

Фульк извлек из-за пазухи дощечки с записью. «Некие Райнер и Симон, сеньоры Самурские, запахали пойменные луга святого Гилария, а яблоневый сад монастыря обчистили до последнего плода. Барон из Мельдума присоединил к своим владениям деревню Усекусс в приходе святого Фронтоня. Палатин Годескальк в церковном имении Урбано угнал стадо овец...» Список был длинен, и при каждом новом имени лицо графа каменело.

Когда Фульк наконец кончил, граф приказал Озрику всех поименованных вассалов собрать сейчас же перед башней. Он заверил канцлера — все захваченное будет возвращено владельцам.

Азарика доложила — вызванные собраны. Эд вышел на площадку башни. Вассалы мялись, не зная, зачем их срочно собрали, когда ранее был приказ готовиться к охоте и при каждом на сворке была его собака.

— Райнер! — вызвал граф.

— Здесь, ваша милость.

— Симон!

— Здесь.

— Отвечайте, как перед богом, расправа моя со лжецами вам известна: грабили ли вы монахов святого Гилария?

Близнецы не знали, как им и быть. Даже Азарике стало жутко — бог знает, что в ярости мог учинить Эд!

Райнер и Симон потоптались и признались, что грабили. Далее по списку шел барон из Мельдума. Тот чисто-сердечно сказал, что землю у церкви отнял и не чувствует за собой вины, потому что клирики все тунеядцы, а он должен одиннадцать детей содержать, как прилично их благородному званию. Были опрошены семнадцать палатинов, и все признались.

Эд спустился из башни и встал перед ними, неотвратимый, как обвал. Виновные ежились от его упорного взгляда. Граф приказал:

— Берите на руки собак.

— Каких собак?

— Ваших.

Можно было ожидать всего, вплоть до отсечения руки,

но такого! Эд повторил приказ, и сперва Райнер и Симон, затем, выругавшись, барон из Мельдума и все остальные подняли на руки борзых.

И пошли вереницей вокруг площади, прижимая к груди свои мохнатые ноши, отворачивая сожженные стыдом лица.

8

— Удовлетворены ли вы, ваше благочестие?

— Граф Каталаунский и его вассалы должны быть немедленно освобождены, Барсучий Горб возвращен, убытки оплачены.

Все понимали, что канцлер здесь пересаливает, что надо бы искать компромисса... Но Фульк, насупившись, возрился на глухую кирпичную стену Зала караулов, у которой он только что пережил минуту позора, и это зрелище, казалось, прибавляло ему высокомерия. Он вздернул свой мышиный носик и вставил в глаз зрительное стекло.

— Нет.— Эд поднял голову и обвел всех взглядом.— Нет!

Вмешался Гоццелин, с примиряющей улыбкой стал говорить о том, что самый лучший из его пирогов— «Поцелуй феи»— может и пересохнуть! Фульк прервал его, не стесняясь:

— Наше решение не может быть отменено или пересмотрено.

И Гоццелин умолк, тряся рогатым венцом, не то от ощущения своей немощи, не то от грусти, что не удастся достичь мира.

Тогда Фульк сделал знак своему послушнику:

— Прибыла ли папская грамота?

— Она за воротами, ваша святость.

Заскрипели железные петли, послышался цокот копыт, звон оружия. Внушительный конный отряд с орарями через плечо сопровождал роскошный балдахин, под сенью которого везли серебряный ларец.

— Слушайте, слушайте!— кричали глашатаи в орарях.— И внимайте благочестиво! Подлинная грамота отца нашего папы Стефана из Рима! Преклоните колена все— и знатные и простолюдины!

Фульк покинул Зал караулов и сошел на площадь, благословляя народ. «Ишь надулся, тощая жаба!»— злилась на него Азарика, идя вслед за Эдом и Гоццелином. И ло-

вила себя на предательской радости: свадьбы не будет!

Фульк, поминутно кланяясь и воздымая руки, совершал обряд вскрытия папского ларца. Наконец он, торжествуя, поднял грамоту над толпой — народ валился на колени. Дал освидетельствовать Эду, а затем и прочим позолоченную папскую печать.

— «In nomine magne ecclesiae orbis...— читал он, и голос его на самых высоких нотах срывался.— Во имя высшей власти и авторитета церкви нашей устанавливаем, чтобы некто Эвдус, Одо или Одон, прекратил наконец свои нетерпимые злодеяния, несовместимые с духом христианского мира...»

Площадь, словно мозаика, составленная из голов — черных, светлых, рыжих, седых, скинувших шапки, — была безмолвна, как кладбище.

Вывели на паперть дворца принцессу Аделаиду; голова ее качалась от тяжести огромного парика. С ней вышли Аола и прислужницы.

— «И поелику сей Эвдус...— Фульк возвысил голос чуть не до визга, — сей Эвдус не слушает наших христоролюбивых увещаний, мы повелеваем нашему верному слуге Фульку означенного Эвдуса, Одо или Одона отлучить от питающей матери нашей церкви! Кто же из верных взойдет к нему, примет его в своем доме, даст ему ночлег, еду или защиту, да будет проклят со всем своим потомством!»

— Аминь! — запели глашатаи в орарях, а канцлер благоговейно свернул и поцеловал грамоту.

— Мать божия! — вскричала Аола. — Что же это?

«Сейчас хлопнется в обморок, — подумала Азарика. — Ишь локти закинула, хочет показать изящество рук, что ли?»

Площадь хранила угрюмое молчание. Никто не горпился надеть шапки. Постепенно до Азарика дошел смысл отлучения, и ей стало холодно. Она косила глаза на Эда — тот будто врос в землю, но лицо, ставшее коричневым, как плод каштана, выражало лишь упорство. «Раз ему не страшно, — решила Азарика, — может ли быть страшно мне?

Молчание нарушил архиепископ Гоццелин:

— Как же скоро отлучение может быть снято?

— Как только отлученный исполнит требования, изложенные нами. Но не позже, чем пропоют завтрашние петухи.

Эд резко повернулся и пошел назад, в башню, Азарика вприпрыжку попевала за ним. Повернулся было и Роберт, но принцесса с паперти дворца жалобно прокричала:

— Сын мой! Сы-ин! Не иди за ним, он про-оклятый! Забилась в руках у прислужниц Аола, и Роберт в смущении остановился.

Канцлер упоенно отдавал приказания: монахам и клирикам разойтись по церквам, мирянам — по мастерским, гумнам и молотильням. Свадьба не состоится, Фульк имеет письменное поручение родителей Аолы доставить дочь обратно в Трис:

— А если граф исполнит требуемое? — спросил Гоццелин.

Фульк вынул зрительное стеклышко и посмотрел на него, как на ребенка, рассказывающего басню.

Всю ночь в круглом Зале караулов за решеткой очага пылал огонь и бывший граф Парижский, распростершись на ложе, словно крупный зверь, не спускал с него глаз. Азарика обняла за шею Майду и приютилась с ней на тюфяке у входа, держа наготове оружие. На глыбах стен огонь рисовал давно ушедшие лица — вот заостренный, с козлиной бородкой профиль — вроде бы отец! Вот вдохновенный слепец Гермольд, вот Винифрид с маской гнева и муки... В несчастье каждого из них так или иначе повинен был тот неукротимый человек, что лежит сейчас, мучась, на ложе... Значит, это судьба принесла ему такую расплату?

В колчане среди стрел хранилась у нее флейта Иова. Азарика машинально выдернула ее, подула тихонько.

— Уходи! — поднял вдруг голову Эд. — Беги! Со мной добра не наживешь!

«А я и не ишу от тебя добра», — хотела сказать Азарика. Он протянул к ней руку с ложа: «Дай дудку!» — словно потребовал игрушку.

— Когда я был совсем маленьким, — проговорил Эд, — то есть когда еще не попал к норманнам, я жил на воспитании у пастуха. Он часто резал нам камышовые дудки, мы в них играли и плясали на лугу...

Мелодия флейты пролилась, как небесный ручей. Азарика, приникнув к тюфяку, старалась унять стук сердца. Ей вдруг увиделось ясно, будто в траве, полной синих незабудок, пляшут детские ножки.

Вдруг Майда, вскочив, зарычала. Азарика схватила

оружие. В прихожей послышались грузные шаги, попеременно с частым шарканьем.

— Кто-то идет. Двое...— равнодушно сказал Эд и спрятал флейту.

Это был архиепископ Гоццелин, которого вел отдувающийся Авель.

— Так что же ты решил, граф?— спросил старец, присаживаясь на край низкого ложа.

Но Эд оставался недвижим, словно заколдованный струями огня, которые плясали в его блестящих зрачках.

— И кто такой этот Стефан, который правит ныне в святом городе?— размышлял Гоццелин, перебирая четки.— Раньше я знал там каждую крысу в синклите... Но я пошлю верных людей, пусть разведают, каким образом Фульк добыл там грамоту, дел ведь наших там не знают. А ты бы смирился, сын мой, послушай совета умудренного человека. Ты мне нравишься, но дело не только в тебе. Погибнет все, что ты здесь успел сделать. Смирись!

— Граф Каталаунский умрет на рассвете.

— Но ты не найдешь палача; кто захочет служить отлученному?

— Я сам у себя палач.

Гоццелин перебрал на четках дважды «Ave Maria» и заперхал, что у него должно было означать смех.

— Вот, говорят, у Карла Великого, твоего прадеда, не было слова «я» — только «мы». А вы, современные, от вас только и слышишь «я» да «я»! Оттого и остаетесь под конец как столбы на пустошах!

Но Эд упорно молчал, и прелат встал, опираясь на посох.

— Этот Горнульф из Стампаниссы,— указал он на меланхоличного Авеля,— проводит меня и вернется к тебе. Людской молвы он не страшится, а грех за общение с отлученным я с него сниму.

Еще было темно, когда за рекой, где-то в предместье святого Германа, пропел первый вестник зари — этакий осенний, дохленький петушишка.

Эд встал, подложил в очаг сучков, прошелся по зале. Надевая перевязь с мечом, спросил Азарику:

— Ну, а ты, малыш, на моем месте как бы поступил?

О, если б ей дар могучей Риторики! Ей представилось, что шеи всех ее мучителей — Фулька, Заячьей Губы, рыжей императрицы, Красавчика Тьерри, конвоиров, зевак — слились в одну багровую, толстую, мерзкую шею

совсем постороннего ей Кривого Локтя, и она выкрикнула хрипло:

— Так же, как ты!

Эд усмехнулся и вышел. Азарика, держа клинок обнаженным,— за ним. Внизу, под аркой, их ожидал Роберт.

— Брат!— бросился он к Эду.— Не ходи!

— Слышишь?— указал ему Эд на предместья за рекой.— Поют!

— Не смей, брат! Не губи себя и нас не губи!

Эд отстранил его.

— Иди к принцессе, ведь она не позволяет тебе общаться с отлученным. Она мать. Ты ей теперь единственная опора. Иди к Аоле, поезжай с нею в Трис, береги ее для меня.

Стены розовели от далекой зари, и видно было, как у Роберта в плаче кривится рот.

— Ступай же, брат,— миролюбиво сказал Эд.— Расстанемся.

Он, за ним Азарика и Майда спустились в самый погреб Сторожевой башни. Огромным ключом Эд открыл ржавую дверцу. Из подземной дыры пахнуло гнилью.

— За мной?— спросил невидимый Кривой Локоть.

— За тобой, вылезай.

— Неужели сам?— изумился тот.— Без палача?

— Выходи, гнида!— прорычал Эд, и тот вылез, принявываясь к свежему ветру, обращая к заре свое обросшее, неумытое лицо.

Эд подтолкнул его ключом, и он заковылял, то и дело останавливаясь и вдыхая воздух. «Матерь божия! Красота!»

Остров Франков точно вымер, залитый розовым светом восхода, только голуби ворковали на карнизах. И все-таки за каждой ставней чудились взгляды, провожающие этих людей в их страшный путь.

— Для меня?— указал Кривой Локоть на плаху и вечное воткнутое в нее топор напротив городских ворот. Его била дрожь, он потирал руки и оглядывался на идущих молча Эда и Азарика.

«Со стуком покатится отрубленная голова,— запечалилась Азарика.— Эд, чего доброго, заставит меня ее за волосы держать...»

— Сам антихристу предался, так хоть мальчишку б пожалел...— кивнул Кривой Локоть в ее сторону.— Как не совестно без духовника, без покаяния!



— Двигай, двигай! — подбодрил Эд. — Не тебе о совете говорить!

Он заставил Кривого Локтя обойти вокруг эшафота и остановил напротив ворот. Караульное помещение оказалось запертым — скорей всего, внутри не решались открыть. Тогда Эд, подойдя к створам ворот, взялся за запирающую балку и, напрягшись, словно бык в мельничной упряжке, выдвинул ее. Створы распахнулись, и Эд, схватив графа за шиворот, вытолкнул наружу, дав ему пинка. Кривой Локоть, еще не веря в свое освобождение, побежал по мосту, и видно было издали, как у него дрожат лопатки.

9

— Он спутал все мои карты! Он опрокинул все! — Канцлер Фульк шлепнул ладонью по принесенному с собой Евангелию.

Кочерыжка в новенькой сутане, стоявший напротив, вздохнул:

— Кто ж мог предвидеть, ваша святость, что он переступит через свой характер?

— «Переступит!»! А кто уверял, что знает его лучше, чем себя?

Кочерыжка закатил очи к небу — все, мол, в руках божиих.

— Ну, довольно! — Канцлер смирял свое раздражение. — Что доискиваться теперь, кто виноват? Итак, у меня такой план...

— Может быть, начнем с оборотня? — не выдержал аббат. — Эти его дьявольские хитрости, клянусь вам, все портят. Свидетельств теперь предостаточно, вот вам и предлог — не снимать отлучение.

— В погоне за малым, — отмахнулся Фульк, — упустим главное. В другой раз такой случай не представится.

Он обследовал помещение — изрядно пропыленный покой в запущенной части дворца, проверил даже задвижки на окнах.

— Не извольте беспокоиться, — заверил Кочерыжка, — надежный уголок! Кроме привидений, хи-хи, никто не заглядывает. А за дверью — наши: Райнер, Симон, барон из Мельдума.

— Зови.

Вошедшим канцлер предложил поклясться на Евангелии, что никто никого не выдаст. Сам поднял руку и заученно произнес латинскую фразу. Присягнул Райнер, глотая от волнения слюну, за ним его белесый братец Симон. Фульк думал при этом, что еще вчера эти люди слыли цепными псами бастарда!

— В целях государственных,— начал он, протирая стеклышко,— мы интересуемся, почему вы, вассалы, восстаете против сюзерена.

— Он всех оскорбил! — всполошился Кочерыжка. — Каждого чем-нибудь да обидел. У меня, например, отнял честно добытую пленницу.

— А знаете ли вы,— Фульк близоруким взглядом обвел лица заговорщиков,— что нарушившие вассальную клятву повинны смерти?

— Перестаньте! — угрюмо прервал его барон из Мельдума. — Мы не в школу пришли слушать поучения о вассальном долге. Есть дело — давайте его, а нет — до свидания.

— Но, но! — поднял ладонь канцлер. — Должен же я вам дать представление о том, что долг перед святой церковью выше любого вассального долга. И не дерзите. Забыли разве, как у Эда собак при всем народе носили?

— Ваши милости, не спорьте! — стонал аббат. — Время идет!

Все еще поварчивая, канцлер соединил всех в кружок и шепотом изложил свой план.

— Ого-го! — громко воскликнул барон. — Это я понимаю! И когда?

— Сегодня. Сейчас. У нас осталась только эта ночь. Она дается, по правилам, чтобы покаявшийся глубже почувствовал меру своего падения, а церковь еще раз обдумала постановление о возвращении отлученного в свое лоно. Она не принимает скороспелых решений. Но знайте, Гоццелин со своим капитулом уже готовится к торжеству!

— Согласны,— сказал барон из Мельдума, и близнецы закивали.

— Ты какие меры принял,— обратился Фульк к аббату,— чтобы у бастарда было как можно меньше людей?

— Он по-прежнему один. Хотя все уверены, что теперь отлучение будет снято, запрета никто пока не нарушает.

— А оборотень, оборотень? — спросили близнецы.

— Он или как его лучше назвать — она? — увь, не от-

ходит от своего опекаемого. Можно бы ее того... Да возьмет ли ее сталь?

И тут канцлер засмеялся, закидывал голову и тряс бледными ушами, а собравшиеся с недоумением и даже обидой на него смотрели.

— Ну ладно...—Фульк закрыл рот ладонью.— Бедные, бедные, наивные вояки! Вот вам ладанки с частицами мощей—церковь ограждает от чар своих сынов. А лучше бы всего ее выманить оттуда.

Все разошлись, и Кочерыжка, возбужденный, зашагал по покоям, размышляя о том, что досталась же епископская митра такому наглому прохвосту, как этот Фульк! Проходя библиотекой, услышал шуршание. «Мыши едят манускрипты! Или это и вправду привидение?»

Смирная невольный страх, он подкрался и замер. На верхней ступеньке лесенки, прислоненной к книжному шкафу, сидел Озрик, оборотень, углубившись в чтение книги!

Первым его движением было — бежать от сатаны. Но затем рука нащупала под сутаной кинжал. Уж наверняка он получит епископскую митру, если положит перед канцлером эту вихрастую и ненавидимую голову. Да и чего бояться? Она без оружия, а он ведь когда-то воочию видел ее слабое, детское тело — и никаких копыт!

— Эге-ге! — подступил аббат.— Теперь-то ты уж не уйдешь!

Но он упустил из виду боевую выучку своего врага. Сначала от неожиданности у Азарики выпал из рук Бозций. Но через мгновение аббат со страшной силой ударился затылком об пол. Азарика прыгнула на него с лесенки, как Эд учил прыгать с седла на противника. Обшарив капеллана, она извлекла его кинжал и отбросила далеко за книжные сундуки.

— О-ой! — стонал Кочерыжка, голову его разламывала боль. Он представил себе, что все разгромлено, что все понуро идут на плаху.

Но ведь и он был воином! И он прыжком поднял себя на ноги и вцепился в Азарику. Оба заметались по библиотеке, роняя фолианты.

— Не уйдешь, проклятая ведьма! — визжал аббат, стараясь ухватить ее за горло.

Палисандровая дверь растворилась, там стоял заспанный привратник и оглядывал дерущихся.

— Сигарий, помоги! — просила Азарика, потому что



Кочерыжка был, конечно, и сильнее и массивней, в простой борьбе он бы ее одолел.

— Мне, мне помогай! — перебил ее аббат. — Дам золотой солид!

Сиагрий поморгал и удалился, прикрыв за собой дверь. Аббат с новой яростью принялся гнуть Азарику.

Оставалось применить хитрость, и Азарика, разжав руки, упала на пол, будто в обмороке.

— Уф! — Кочерыжка шатался и вытирал лоб. — Ну и баба!

Сквозь полуприкрытые веки Азарика, выбирая момент, наблюдала, как он обходит ее, всматриваясь.

— Она должна была стать моей добычей, — рассуждал аббат, — еще в Туронском лесу, да помешали. Ну, теперь не уйдет, теперь расквитаюсь с ней за все.

Азарика почувствовала, как она устала, устала бороться с этим мерзким аббатом. Расслабляются мускулы, размякает тренированное тело.

И вот она уже ползет по мозаике, изображающей Нептуна на дельфинах, и невнятно молит о пощаде, а Кочерыжка, брызгая слюной, вот-вот поймает ее, и тогда не будет ни пощады, ни спасения. Неописуемый ужас сотряс ее всю, она вскочила и бросилась без оглядки. В термах в зале, где были высохшие бассейны, она наткнулась на запертую с той стороны дверь — штучка Сиагрия.

Чувствуя, что аббат ее вот-вот настигнет, она заметалась и инстинктивно забилась в квадратную трубу, откуда некогда щедро изливалась в бассейн вода.

Кочерыжка сначала не мог понять, куда она делась. Потом пытался достать ее рукой, протиснуться в трубу — тщетно! Но и Азарика продвинуться дальше не могла — там было колено. Аббат грозил пустить воду, но, конечно, не смог. Смеркалось, и он пришел в страшное беспокойство, даже стал просить прощения и сулить деньги.

— Я без кола, без двора, — хныкал он, — многого у меня нет, все отдам по-честному, только не говори никому об этом. Ну, вылезай, а?

Скрючившись в колене трубы, Азарика понемногу пришла в себя. Даже стыдно было вспоминать о давешнем страхе, прежняя злость нахлынула. И родилось жуткое беспокойство — неспроста ведь тут прогуливался мерзкий аббат.

Ведь и прибежала сюда только на полчаса, оставив Авеля в карауле. Хотела с книгами попрощаться —

предчувствовала, что скоро и этому конец. И не взяла с собой оружия!

А кинжал, который она отняла у аббата и закинула за сундук? Как молния она выскочила из трубы, опрокинув сраженного новой неожиданностью Кочерыжку. Он не отставал, его азартное дыхание чувствовалось на затылке. Но она летела, как ласточка перед дождем. Удачно нащупав оружие за сундуком, она перехватила его, обернулась и с маху всадила лезвие ему в упругое брюхо. Капеллан захрипел и стал садиться на пол.

Некогда было терять время. Азарика вернулась к закрытым дверям и стала кликать Сиагрия. Тот отозвался, но не открыл.

— Ты что драку учиняешь, скверный мальчишка? Сиди до утра. Графу доложу, пусть сам тебя выпускает...

Пришлось отправляться назад, с трепетом обходя место, где лежал мертвый Кочерыжка. Собрав остаток сил, придвинула лесенку к слуховому окошку, которое выходило в палисадник с розами. Выбралась, выпрыгнула, чуть не подвернув ногу, и пустилась во всю прыть к Сторожевой башне.

В Городе по-прежнему была глухая тишина. Даже из таверн не слышались разудалые крики игроков. Было тихо и в башне. Азарика выкресала огонь и запалила один из дежурных факелов у входа. Факел нехотя разгорелся, и ей бросились в глаза черные потеки на лестнице. Кровь! А вот в черной луже брошенная или потерянная флейта маленького Иова... Азарика кинулась наверх.

В прихожей Зала караулов люди лежали на полу, будто спали. Само по себе это не было удивительно — каждую ночь, сменяясь с поста, люди вот так валялись от усталости на плиты, — но вокруг лежащих были те же черные лужи и брызги! Азарика осветила лицо одного, другого — узнала близнецов Райнера и Симона. Кто-то, неимоверной силач, размозжил им головы чем-то тяжелым!

Тогда она кинулась в Зал караулов. Догоравший очаг все так же рисовал на кирпичных стенах лики близких и далеких. У решетки, высунув язык, лежала удушенная Майда. Поперек коврового ложа Эда раскинул руки массивный человек.

Это был Авель, он дышал еле слышно. Когда Азарика потрясла его осторожно, он приоткрыл веки и сказал, захлебываясь кровью:

— Они его увезли!

## Глава шестая

### «КАЧАЕТСЯ, НО НЕ ТОНЕТ»

#### 1

Каноник Фортунат наклонился, жалобно охая, и извлек из тайника свое детище — пергаментную Хронику. Снял нагар со свечи и, оглянувшись на дверь, заскрипел старательным пером.

«По грехам нашим и новые испытания. Пришел Сигурд нечестивый, пришел он, услышав, что нету более Эвдуса, графа, коего страшился он пуще своих лжебогов. Явился он, когда урожай сняли и в закрома положили, ибо такова его, Сигурда, разбойничья повадка. Приступил он врасплох под стены Парижа, города славнейшего, и бежали перед ним благородный и простолюдин, воин и клирик. И гарь от пожаров, и сквернь разорения вознеслись к небу, и небо молчало. И сказал тогда Гоццелин, добродетельный пастырь Парижа: да не увидят мои старые очи, как варвары пируют на Острове Франков. И взял он тяжкий меч в немощные руки и голову седую бранным шлемом покрыл...»

Его знобило. Очаг чадит, а не греет. Протей, новый послушник, ленив, дров сухих не ищет. Прошлой осенью привезли его, жалкого, обезручевшего. Каноник долго выхаживал его настоями да примочками. Теперь бывший школяр ожил и вертится вокруг приора Балдуина... Что ж, у кого власть, у того и сила, а что Фортунат, жалкий старикашка? Все один за другим покинули его гнездо, не оглянувшись — Эд незадачливый, за ним Роберт, Озрик...

Каноник с трудом поднялся, присел перед печкой, разбивая головешки. Гоццелин еще старше его, в Париже мечом махает, воюет, а у Фортуната даже на мелкие распри с приором нету сил!

— Во имя отца и сына и духа святого! — прокричал со двора бранчивый голос.

Легок на помине, тешитель беса! Прежде чем ответить «аминь», каноник поспешил убрать рукопись в тайник.

Балдуин вступил в келью, мелко крестя углы и стены. На всякий случай покрестил под лавкой. За ним следовал однорукий Протей.

— Ну что же, преподобнейший, — начал приор, усаживаясь и бесцеремонно перебирая предметы на аналое Фор-

туната, — не решились ли вы наконец вернуться в общий dormitorio? Там уютно, там и сухо...

Фортунат сделал отрицательный знак, следя за тем, как приор обнаруживает, что кончик пера у Фортуната еще мокр от чернил.

— Вчера они опять поселян принимали, — вставил Протей. — Снадобья раздавали, притчи говорили во утешение.

Каноник горестно помалкивал, надеясь: поиздеваются и уйдут.

— И кто знает, — поднял перст приор, — кто поручится, что снадобья его не от беса, а притчи не от лукавого?

И он встал и уверенно направился прямо к тайнику, достал сокровенную Хронику! Каноник вскрикнул, пытаясь выручить свое детище, но Протей его удержал здоровой рукой.

— Вот! — торжествовал приор Балдуин, потрясая трофеем. — Наш мудрейший канцлер Фульк учит — святая церковь должна быть уверена, что любое слово, как и ничтожнейшее деяние, согласуется с ее догматом. А как тут можно быть уверенным, если под покровом леса пишется летопись... Ну-ка, Протей, братец, читай!

Протей раскрыл, видимо, на заранее известной странице и прочел, подгнувавливая, как в школах предписывают цитировать опровергаемых еретиков. «Нет короля, а есть королишка, нет страны, а есть вертеп безначалия!»

Приор в ужасе закрыл лицо, покачиваясь, как от зубной боли. О, если б вовремя не осенил его свет высшей бдительности! Надо тотчас же послать в Лаон, доставить туда мерзкое сочинение!

И тогда Фортунат, собрав силы, встал. Приор и Протей метнулись за аналой. Но он повернулся и шагнул за порог, туда, где во тьме ярилась метель. Не накинув каппы, босый, он брел по жгучему снегу и плакал, а приор и Протей, ошеломленные, шли позади.

— Не к проруби ль идет? — предположил Балдуин.

Но Фортунат, перейдя мостик, потонувший в сугробах, вошел в ворота монастыря. Метель его шатала, когда он брел мимо освещенных окон dormitorio. Но он и туда не постучался, а подошел прямо к приземистому корпусу Забывайки.

— Что он задумал? — Приор подпрыгнул, устремляясь за ним.

Забывайка, куда еще прошлым летом ставили на холод



сыры и сажали ослушников, теперь была окружена усиленной стражей. Прежде чем переполошившийся приор настиг Фортуната, тот отстранил от двери монаха с секирой и вошел внутрь.

— Он хочет его освободить! — ахнул приор, пытаясь поймать Фортуната за развевающуюся рясу.

В каменном полу Забывайки зияли три колодца. Четвертый был прикрыт дубовым кругом и заперт на замок. Балдуин тут же кинулся, чтобы убедиться, что замок цел.

А Фортунат, не обращая на него ни малейшего внимания, подтащил лестницу к одному из незакрытых отверстий и спустился в колодец. При трескучем огне факела Балдуин, Протей и стражники сосредоточенно глядели в каменный мешок, куда добровольно сел старый Фортунат. О таком можно только прочесть в житиях.

И тут догадка осенила приора — этот наставник непокорных и здесь его обошел! Он, Балдуин, днями и ночами мечется, разрывается то по хозяйству, то по благочестию, а этот тихой сапой — и прямо в угодники, в святые!

Приор чуть не заплакал. Приказал всем выйти, а сам распластался на животе, стараясь рассмотреть во тьме колодца, где там каноник.

— Фортунатушка, дружочек наш... Это ж были только шутки, как водится между учеными людьми. Вылезай, отец, не гневайся!

Из-под дубового круга на соседнем колодце раздался могучий рык, проклятия, от которых волосы могли встать дыбом.

## 2

В канун рождества в монастырь святого Эриберта прибыл канцлер Фульк. От пира и осмотра хозяйства отказался и, отстояв мессу, уединился с приором Балдуином.

Большой Хиль с басовитой грустью, словно сожалел о безвозвратно текущем времени, обозначил полночь. Из покоев приора вышла по скрипучему снегу вереница людей и направилась к Забывайке. Там, в караульне, шла суета — убирался мусор, затоплялся очаг.

— Ведите! — Канцлер уселся к огню, потирая жилистые ручки.

Прошло много времени, пока за дверью не послышались окрики и топот, нестройный, как бывает, когда пастиухи ведут быка, а он их шатает в разные стороны. Нако-

нец под низкие своды был введен обросший человечеще, у которых зрачки блистали, как наконечники стрел. Четыре здоровенных монаха вели его на веревках, сами стараясь держаться поодаль.

«Самсон, губитель филистимского храма! — обмер приор Балдуин, глядя, как голова великана чуть не касается крестовины свода. — И на что канцлеру он понадобился?»

— Ай-ай-ай! — сказал канцлер, разглядывая вонючие лохмотья и сизые ступни узника. — Бывший граф, несладко тут тебе живется!

— Падаль! — заревел на него тот, и монахи, силясь его удержать, поехали подошвами по плитам.

У Фулька дрогнули морщинки на висках, но он не шевельнулся, а приор Балдуин на всякий случай приказал вызвать еще четырех караульных. Канцлер извлек свое зрительное стеклышко, а Протею велел:

— Подай узнику глоток вина.

Приор же поспешно добавил:

— Только рук ему не развязывай!

Фульк стал говорить туманно о том, что церкви свойственно прощать овец заблудших своих... Есть примеры, что некоторые и алтари грабили, и священников убивали, а потом покаялись, были приняты в лоно церкви и стали верными ее воинами...

Эд угрюмо слушал, покачиваясь на канатах, а когда Протей дал ему глотнуть из чаши, спросил у него:

— Тебе-то что я сделал, палатин?

Протей опустил глаза и отступил, убирая чашу.

— Ответь ему, — усмехнулся канцлер, играя стеклышком. — Пусть знает, что нет никого, кто бы не был им обижен.

Протей, глядя в лицо Эду, заученно ответил, что за потерю руки на вассальной службе ему бы полагался замок, отвоеванный у Тьерри, а граф его отдал оборотню, своему любимцу.

— Ложь! — Крик узника хлестнул в своды. — Ложь, как и все, что вы тут творите!

Фульк засмеялся, трогая посохом жаркие угли.

— Оборотень, видимо, провалился в ад. Но, как только мы его разыщем, мы тебе устроим здесь любовную с ним встречу.

— Требую сеньориального суда! — рвался к нему узник. — Пусть судит меня император, мой сюзерен.

— Церковь тебе суд, церковь тебе сюзерен. А ты еще должен ответить за то, что осквернил Самурский собор, въехав в него на коне.

— Но я освобождал его от язычников.

— Вот пусть бы язычники его и оскверняли, а не ты.

— Хватит! — Эд подался назад и рывкнул на монахов: — Ведите обратно! Лучше леденеть с чертом или оборотнем, чем греться здесь с этим ангелом кривды!

— Постой же, постой! — Фульк даже приподнялся, маня его обратно. — Мы ведь только начали с тобой беседовать. Есть у меня к тебе серьезнейшее дело. И если ты дашь слово воина вести себя смиренно, я даже велю тебя развязать.

Балдуин за креслом канцлера застонал от волнения. Эд, двигая пересохшими губами, плюнул в сторону Фулька.

— Получай, плут! У вас под Парижем дела стали плохи, вот ты и лебезишь. «Развязать»! Знай, что в тот день, когда меня развяжут, тебе болтаться на первом же суку в твоей канцлерской мантии!

Вновь состоялась титаническая возня, после чего монахи водворили бывшего графа в колодец. Фульк указал приору:

— Содержать по-прежнему.

— А может быть, вызвать палача? Беспокойства-то сколько! Разве этакий укротится? А то куда как проще — чик, и нету.

— «Чик, и нету»! — передразнил Фульк, вставая. — Мелко плаваешь, приор. Здесь славу можно какую заслужить! Лютого вражину сделать послушнейшим слугою церкви... А ты, кстати, раб божий, хорошо ли его стережешь? Тебе внушалось, что и крыса не должна пронюхать, кто у тебя под стражей. А он, например, знает, что Париж в осаде... Откуда?

Балдуин покаянно рассказал про Фортуната. Он-то, скорей всего, сидя по соседству, ему и сообщает. (Про незаконную летопись уж умолчал!) Как теперь выманить каноника из колодца, не делая его мучеником в глазах толпы?

— А ты подсади ему кошку. Или, еще лучше, козла! Уверяю, общества козла никакой святой не выдержит, хе-хе!

На другое утро после отъезда канцлера приор послал Протея на скотный выгон выбрать там самого матерого

козла. Исполнив поручение, тот шел мимо заколоченной кельи Фортуната и приговаривал, таща козла на веревке: — Двигай, двигай! Ты что упираешься, словно Эд в Забывайке?

И тут увидел, что кто-то на его пути, прижавшись к бревенчатой стене, смотрит и слушает. И понял, что это Озрик.

— Как поживаешь? — пробормотал Протей, оглядывая его меч, секиру, лук и прочее вооружение. Потянул козла, чтобы быстрее удалиться.

— Постой, постой, Протей, куда же ты торопишься? Ведь не видались сто лет. Уж ты-то поживаешь неплохо, каппа у тебя на заячьем меху. Итак, что же ты нам расскажешь об Эде и Забывайке?

— Это я просто к слову... Такая поговорка.

— Нет, все-таки не заточен ли он здесь? Уж мы-то с тобою, дружище Протей, знаем, что такое здешняя Забывайка!

Но тот торопился пройти со своим козлом и, лишь спустившись к самому мостику, обернулся и крикнул:

— Проваливай отсюда, сатанинский оборотень!

И, увидев, что оборотень вынул лук из чехла, Протей проклял свою неуместную болтливость и бежал, пока певучая стрела его не настигла.

Весь день прождав возвращения Протея и страшно досадуя на задержку, приор Балдуин велел доложить, как только тот объявится с козлом. Служил мессу рассеянно, мечтая о том, как Фортунат выскочит из колодца, не выдержав козлиного общества, и будет посрамлен всенародно. Когда же выходил из базилики, ему почудилось, что в толпе богомольцев мелькнул кто-то похожий на Протея, в каппе, подбитой заячьим мехом.

Но послушник, скрывая зевок, сообщил, что Протей не появлялся. Вконец рассерженный, приор решил, что утро вечера мудренее.

В последнее время докучливый бес немного поотстал от Балдуина — видимо, был занят тем, что терзал в Забывайке бастарда. Но этим вечером приор готов был поклясться, что в его опочивальне пахло сырой козлиной шкурой. В юности Балдуин был свежавателем падали и запах этот ни с каким спутать не мог.

Ему приснился сон, будто он, приор, уж не приор, а дохлый баран и его святость канцлер Фульк вместе с послушником Протеем его, Балдуина, свежуют! Фульк буд-

то бы велит Протею: «Держи-ка его за рога». Приор во сне обомлел: «Батюшки, неужели у меня рога?» Хватя себя за темя — и впрямь рога!

Проснулся в поту. Но и пробуждение оказалось не лучшим. Под мерцающей красной лампадой в позе человека стоял козел. Да, да, святая Варвара, гонительница призраков, — натуральный козел!

Балдуин хотел вскочить, затопать, однако ноги словно усохли. Он отчаянно крестил козла, а тот и не думал исчезать, проваливаться — тряс себе бородой.

— Ай, ай, ваше совершенство, так-то вы принимаете гостя?

И голос-то у козла бы детский, странно знакомый. Приор закатил глаза и прошептал:

— Чего ты хочешь?

— Ключи от Забывайки.

— О, только не это! Возьми лучше душу.

— Кому нужна этакая пакость... — Козел наставил крутые рога и стал надвигаться.

— А-а-а! Заступники преподобные! Бери что хочешь, бери!

Через некоторое время караульные монахи у костра увидели приора, который приближался к ним, странно подсакивая. Очевидцев сразу поразило то, что шнурки сандалий приора были развязаны и недостойно хлобыстали. Но — смертный ужас! — За Балдуином следовал сам Владыка Тьмы в образе хоть и небольшого, но самого настоящего мохнатого козла с блестящим клинком в руке.

Стражи торопливо положили оружие, а Балдуин швырнул им ключи:

— Отпирайте, да побыстрее, не видите — я еле жив!

И вот Эд, незнакомый, неузнаваемый, бородатый, весь какой-то заскорюзлый и от этого еще более страшный, появился на пороге, щурясь от рассвета и снежного раздолья. Азарика, скинув козлиную шкуру, кинулась к нему. Ах, ей было все равно теперь, что жить, что умереть!

Стража на коленях глядела исподлобья. Эд метнул на них раскаленный взгляд, но затем усмехнулся и ушел в караульную. Там хранилась его одежда и рог Датчанка, который приор мечтал оставить в монастыре в виде реликвии. Эд поднес Датчанку к губам, и раздался рев такой мощи, что галки, обезумев, взлетели в небеса. Из келий побежали монахи, гадая, не началось ли светопреставление.

Бережно вывели каноника Фортуната. Смертельно усталый старик улыбался разгорающейся зимней заре.

— Эй, рожа! — сказал Эд начальнику караула. — Чего пасть раскрыл? Разувайся, отдай меховые сапоги старцу.

Приор же Балдуин нашелся к вечеру. Монахини святой Колумбы пошли на прорубь полоскать белье и увидели в воде его худые синие пятки.

### 3

Тогда, в ту страшную ночь исчезновения Эда, Азарика, готовая кричать до потери сил, выбежала на безлюдную площадь у плахи.

В каждом закоулке мерещились ей враждебные острия, так к какой же душе припасть за помощью?

Из-за выщербленного кирпичного угла кто-то манил ее тонкой рукой. Это был Нанус, рыночный мим, еле различимый в тени. Она последовала за ним — куда же еще податься?

В таверне внизу у реки, в путанице развешанных сетей и причаленных лодок, толпа оборванцев у дымящего очага метала кости, сопровождая ходы визгом и гоготом. Нанус завел Азарику в каморку, отгороженную дерюгой. Помог смыть пятна крови, дал напиток.

Под утро в таверну словно седой вихрь ворвалась Заячья Губа.

— Эйя! — приветствовали ее бражники. — Это ты, повелительница уродов? Какие нынче виды на урожай?

Но все же сильна была ее магическая сила. Заячья Губа каждому пристально заглянула в глаза. И каждый после этого срывался, выбегая в дверь. Бежал и хозяин, бросив пригорающего каплуна. Таверна опустела.

Заячья Губа вцепилась в Азарику:

— Ах ты, неудавшийся оборотень, плевок сатаны! Ты же была с Эдом, как же ты не могла его уберечь?

Азарика рассказывала со всеми подробностями, не в силах удержаться от всхлипываний, а волшебницу трясло от злобы и нетерпения действовать.

— Я знала, что все этим кончится! — заключила старуха. — Нечего было тебе за ним гнаться, не по тебе этот кусок.

Разразившись новым потоком брани, она велела ждать ее дальнейших распоряжений и унеслась. Азарика осталась жить в каморке за дерюгой под бдительным над-

зором неразговорчивого Нануса, у которого ручки-тростинки были тверже щипцов кузнеца.

Через неделю пришло первое известие от Заячьей Губы. Эд, по всей видимости, жив, его жизнь еще кому-то нужна. Ходят слухи, что он в каменном мешке одного из нейстрийских монастырей.

Слова «каменный мешок» для Азарики означали только их Забывайку, где их с Робертом испытывал господь или, вернее, приор Балдуин. Теперь ей явственно вообразился Эд, как гнетет его там ледяная сырость и мучает голод... И пусть он где-то, когда-то, в чем-то был виновен, но до каких же пределов можно страдать человеку? Не было сил оставаться без дела, дожидаясь решений Заячьей Губы. Да и неизвестно еще, для чего злобная ведьма ее стережет!

И однажды в полночь, видя, что утомленного Нануса все же сморил сон, Азарика перетащила из таверны одного из упившихся гуляк, положила вместо себя — и была такова.

Теперь? Теперь она была счастлива. Перед ней мерно колыхался мускулистый круп серого с подпалиной жеребца, лучшего, которого Эд выбрал в монастырской конюшне. Сам Эд ехал весело, подбоченясь, нет-нет да и оглянется на едущую следом Азарикку и на отряд вооруженных монахов, которых они взяли с собой.

Голые леса, красноватые от не успевшей опать листвы, сменялись лбами холмов, где ветры выдули снег в бороздах виноградников. У пруда ветлы с черными комлями устремляли к небу веера прутьев. Гуси, поджимая красные лапы, шествовали к дымящейся полынье. Лаяли собаки, и деревня, спрятавшая за холмом прелые тростниковые крыши, выдавала себя дымом на фоне холодного неба.

Преодолевали толщу очередного леса и попадали в какую-нибудь деревню, как в самостоятельный мир, где и говорили-то на таком наречии, что, кроме слов «бог», «хлеб» и «плетка», ничего нельзя было разобрать. Да ее жители и не нуждались в большем количестве слов. Похожие на одичавших сурков, они жили в вонючих норах, где топились по-курному, где голая детвора ютилась вперемежку с ягнятами и телятами. Развлекались игрой на мычащей волынке, а в знак особой нежности искали друг у друга вшей. Когда до них доходило, что отряд Эда прибыл к ним из такого же селения за лесом, они смеялись и не верили.

Когда же Эд, теряя терпение, спросил, откуда же к ним тогда ежегодно приезжает за данью их сеньор, они без шуток отвечали — от самого господа бога.

В другой деревне Эд отбил у разъяренных мужиков женщину, которую они вовсе мозжили дубинами. «За что?» — «Ваша милость, она вредит нашим женам». — «Каким же образом?» — «Какую встретит, той и норовит на тень наступить...» Азарика содрогнулась, вспомнив себя в Туронском лесу.

До сих пор ей казалось, что она, прожив за два года даже не две, а двадцать две жизни, испытала все, что только суждено испытать смертному человеку. И вдруг перед ней открылся мир, о котором она не имела представления: «косматая» страна франков и ее вечный труженик — земляной мужик.

Сердобольный Фортунат писал о нем в своей Хронике: «У него огромные руки, массивные ноги. Расстояние между глаз шириной в ладонь, плечи как колоды, обширная грудь. Волосы свалились, будто шерсть, а лицо черно, как уголь, оно не знало иной воды, кроме дождевой. Радуйся, червь с душою человека, будь счастлив! Ибо это за счет твоей вечной нужды поставлены золотые палаты твоих блестящих господ!» Наталкиваясь на эти строки, Азарика, бывало, думала, что это риторические упражнения ученого старца, а оказалось — это жизнь!

Ей было любопытно, как все эти мрачные картины воспринимает ее сюзерен. Сострадает ли, возмущается, хочет ли все изменить? Освободив его из Забывайки, она с гордостью чувствовала себя ответственной за его дальнейшую жизнь...

Но он ко всему увиденному в пути относился или равнодушно, или с презрительной усмешкой. Одна дума жгла его, не давая покоя.

Как только он вышел из Забывайки и отдыхал с Фортунатом в его свеженатопленной келье, Азарика достала из седельных сумок Байона и поднесла ему с поклоном вырученный ею из парижской башни его Санктиль — отцовский меч с мощами из святой земли.

Эд молча принял его, целуя золотую рукоять. А когда он поднял глаза, Азарика была вознаграждена за все — такая волна благодарности, такая живая теплота была в его светлом взгляде.

Теперь в пути иной раз, чтобы размять руку, он поднимал на дыбы серого, выдерживал клинок и рассекал им



воздух, при каждом выдохе вскрикивая: «Вот это Фульку голову прочь! А это Кривого Локтя от плеча до паха!»

— Ничему-то ты, видать, не научился, граф Парижский! — сказала она, не вытерпев, и задохнулась от волнения.

Граф придержал серого, пока с ним не поравнялся Байон.

— Что ты этим хочешь сказать, мой умница Озрик?

— Вернешься в Париж, молю тебя, делай вид, что ничего не произошло. Будто ты только вчера выехал, ну, скажем, на богомолье к святому Эриберту и вот вернулся. Ни слова о мести!

Эд молчал, кусая губы. Азарика, боясь, что он ее не понял, положила руку ему на сгиб локтя.

— Напомню, как однажды тебя напутствовал в бой наш общий учитель Фортунат: «Если ты поднял знамя, забудь лично о себе». Тебе предстоит такая война! Зови же под свое знамя и недругов своих, и друзей.

Эд хлестнул серого и ускакал вперед. Азарике стало его жаль, она уж ругала себя за свой укор. Но, когда он вернулся, она приготовила новую выдумку, чтобы утешить его:

— Хочешь по-настоящему всем им отомстить?

— Ну?

— Чей профиль на этом серебряном денарии?

— Как — чей? Конечно, Карла Третьего, императора франков.

— А где чеканится этот денарий?

— У меня в Париже, на монетном дворе.

Азарика подкинула звонкий денарий и многозначительно передала его Эду. Тот хмыкнул, рассматривая чеканку, потом хлопнул Азарику по плечу и захохотал:

— Змей-искуситель! Ну, Озрик, быть тебе когда-нибудь канцлером, видит бог!

Как и подобает оруженосцу, она ухаживала за сеньором. На стоянках спешно раздувала костер, рубила тростник и, вытряхнув из него снег, настилала возле огня, покрывала медвежьей шкурой ложе для господина. Завела особый котелок, готовила графу отдельно. Стирала ему и штопала, уже не заботясь о том, примут ли ее за женщиной. И все это доставляло ей никогда не испытанную радость.

После доброй недели пути Эд взял за повод Байона и указал что-то за сизым от мороза лесом:

— Веррин! Верринский замок! Помнишь, кто такой сеньор Верринский? Это же тугор, ваш бывший староста в школе!

На плоском холме, окруженная пнями свежей вырубки, высилась грузная башня из еле обтесанных валунов. Вокруг виднелись разные дощатые пристройки и службы.

Эд поднял свою Датчанку и затрубил, учиня вороний переполох. Меж зубцами башни показалось множество женских лиц в белых чепцах. Под навесом прекратился звон наковальни, и, озаряемый сполохами горна, оттуда вышел молодой мужчина. Снимал кожаный фартук, тревожно вглядываясь в подъехавших всадников.

— Не норманны, не бретонцы! — смеясь, крикнул ему Эд. — Твой собственный сюзерен жалуется, прикажи поставить пирог.

Гисла кланялась, приглашая в замок. Она уже успела ради гостей надеть накрахмаленный фартук. За нею кормилица держала спеленатую двойню, а еще один годовалый сеньор Верринский в вязаных башмачках выглядывал из-за ее широченной юбки.

Невзрачная снаружи башня оказалась, однако, четырехэтажной. Самый верхний служил боевой площадкой, а в мирное время служивала сукновальной. В момент приезда гостей Гисла там как раз работала с крестьянками. Самый же нижний занимали подвалы для припасов, был там родник на случай осады и прочее. Что касается двух средних, то выше располагались комнаты господ, а пониже — общая, во всю окружность, низкая палата, где над неугасающим очагом висела медная посуда.

— Тесновато... — смущался сеньор Верринский.

— Слушай, — сказал Эд, когда Азарика сняла с него оружие и он расположился напротив огня, где уже шипел, поворачиваясь, баран, — ведь, помнится, покойный сеньор Верринский был богатый человек?

— Был! — вздохнул тугор, вычищая острием кинжала кузнечную гарь из-под ногтей. — Да что не разорили норманны, то у него выманили попы или оттягали соседи. Мне пришлось все заново строить.

Гисла поднесла Эду рог с сидром, поклонилась. Эд встал, осушил рог и на правах сюзерена поцеловал хозяйку в губы так, что у ней дух перехватило, а Азарика опечалилась — нельзя ли было обойтись без этого?

— А все-таки, брат, — сказал Эд, отпуская Гислу, — лучше бы ты женился на знатной, а не на монастырской

сироте. Да не из-за приданого, нет! Знатная была бы бело-ручкой, лежебокой. Сама не стала бы с мужичками сукно валять, да и тебя бы в кузню не пустила. Ты сеньор! Твое дело рыскать по лесам, искать супостата, а случится набег — мужика защищать. А уж он, тот мужик, пусть на тебя и кует, и пашет, и сукно валяет, и еще деньги тебе платит.

— Они у меня совсем нищие...— смущенно возразил тотор.

Гисла, вся пунцовая, наклонилась над столом, расставляя плошки.

— Как это — нищие? — воскликнул Эд.— Собери-ка с каждого мужика по ребенку да и запри в подвал без хлеба, без воды. Назначь с родителей за них дань, да побольше. Увидишь, какие они нищие!

— Граф! — с упреком воскликнула Азарика.

А тот раскатился смехом, совсем, однако, не весело на всех поглядывая.

— Мужик таков, — добавил он.— Уж как-нибудь да исхитрится, уж что-нибудь придумает, а не даст своему детищу в подвале околеть.

— Что ты говоришь! — махнула в ужасе Азарика и спустилась вниз. Стояла у притолоки, печалась.

Там и нашел ее Эд, навалился грузом своего тела, отыскал в темноте ее нос и пребольно ухватил в два пальца.

— Ты, сопляк! За все, что ты мне сделал, я твой должник. И советы мне свои подавай! Но я на коротеньком твоём носу хочу тебе зарубить: при людях ни-ни!

И удалился чистить своего серого с подпалинами. Коня он чистил всегда собственноручно, о чем-то даже с ним разговаривал. Конь должен знать только своего всадника, учил он.

Расстроенная Азарика к ужину не пошла. Прокралась за спинами пирующих и легла на солому возле ложа, постеленного Эду.

Проснулась, когда вокруг была тьма. Со всех сторон неся храп спящих. Рядом, как равномерно дышащая гора, посапывал Эд. Лежала без сна, смотрела в сквозную трубу очага, откуда вместе с инеем врывалось мерцание звезд, и казалось, что вся Вселенная вращается вокруг нее, Азарики.

Наверху, у Гислы, приглушенно плакал ребенок. Азарика старалась представить себе, как у нее кто-нибудь родится, но никак не получалось. Болел нос, оттасканный

Эдом. Значит, и верно, он до сих пор не подозревает, что она женщина? И это было даже обидно. И за эту его наивность ей даже стало жаль его. Сняла с себя походное овчинное одеяло и накрыла им Эда поверх медвежьей шкуры.

Утро началось с рева Датчанки, с плеска холодной воды, хохота парней, топота копыт вновь прибывающих. Эд накануне разослал своих монахов к окрестным вассалам, и теперь Азарика сбилась с ног, поминутно докладывая о прибытии того или иного сеньора.

— Вот это дисциплина! — сказал Эд. — Придется каждому за образцовое поведение заказать золотой ошейник.

Он любезно всем подавал руку и всматривался в каждого, словно испытывая. И, видимо, был недоволен: вассалы держались вежливо, но настороженно и отчужденно.

— Вот что, — решил граф, — едем-ка на охоту! Не мешает поразмяться, друг о друга пообтереться да и дичи настрелять.

Охота выдалась удачной и веселой. Она уже шла к концу, как собаки подняли в самой чащобе медведя. Зверь вылез злой и сонный, насиженную берлогу покидать не хотел. Отмахнувшись от надоевших собак и хотел удрать, но дорогу ему преградили всадники с рогатинами. Приходилось принимать бой, и мишка встал на дыбы.

Эд выехал вперед и бросил перед медведем перчатку.

— По праву сюзерена зверь принадлежит мне.

Он спрыгнул с серого, приказывая отогнать собак. Никто еще не понял, что он задумал, кроме Азарики. Принимая повод коня, она шепнула: «Зачем?» — вложив в это слово всю меру своего беспокойства. Но он лишь дернул плечом, как балованный ребенок.

Сняв с себя колчан, перевязь с мечом, даже кинжал, он ходил вокруг медведя, весело его рассматривая. Мишка сделал еще одну попытку дезертировать, но вновь наткнулся на чью-то рогатину. Он поднялся с ревом, ища противника. А Эд, ожидая, стоял перед ним, глядя на его свисающую ключьями, плохо облинявшую шкуру, на его брыластую шею, на его лапы, покрытые рубцами и шрамами.

— Знатный противник! — сказал он, обращаясь к одной Азарике. — Не то что гадостный Фульк.

Медведю надоело попусту топтаться, и он сделал рывок на Эда. Тот ловко перескочил ему за спину, и медведь замигал близоруко. И верно, как Фульк, когда тот собирается вставить в глаз свое стекло!

Однако медведь сообразил, куда делся Эд. Перевернулся с наименьшей ловкостью, чем вызвал шумное одобрение публики. Шум этот ему не понравился, он решил показать, что хозяин леса все-таки он. Наскочил на Эда с такой яростью, что тот не успел уклониться.

Они схватились, будто обнялись, когти зверя заскользили по стальным плашкам панциря Эда. Медведь заревел трубно, завыл в голос, а Эд будто ушел внутрь его огромной косматой туши.

— Что же мы стоим? — волновалась Азарика.

Но какой-то старый, выдавший виды вассал ее успокоил:

— Так бывает на медвежьих травлях. Не беспокойся. Эд зря рисковать не станет, мы его знаем.

Между тем медведю становилось тесно в железных объятиях человека. Он стал вертеться, повизгивая, даже делал попытки оттолкнуть от себя Эда. Но человек обрек зверя на гибель, и теперь ничто не могло спасти бедного хозяина леса. Медведь прекратил вой, стал конвульсивно кашлять, содрогаясь всем телом и отпихивая от себя упорного врага. Еще через некоторое время мишка стал хлюпать, и вот уж его туша повалилась на снег волосатой горой, а над ней стоял Эд, победитель. Его панцирная спина была измазана медвежьей кровью. Ликуя, он подбросил к соснам свой железный шишак.

Старый вассал рядом с Азарикой качнул головой:

— Ах, сатана! Все-таки взял и удушил!

Обратно ехали дружно, хохотали, наперебой вспоминали борьбу с медведем. Теперь все вассалы, даже пожилые, с обожанием поглядывали на Эда. («Вот зачем был нужен бедный медведь!» — подумала Азарика.) Приехав в Верринский замок, стучали по столу ножами:

— Медвежатинки хотим, медвежатинки!

Эд благодушно уселся во главе стола. Азарика повязала его полотенцем и подала таз — вымыть руки.

— Позвольте спросить вас, милейшие сеньоры, — начал он, — как случилось, что город Париж в рискованнейшем положении, а каждого из вассалов мои гонцы застают чуть ли не в теплой постели?

— Мы присягали не городу Парижу, — насупился старый вассал. — Мы присягали графу Парижскому.

— Значит, вы намеревались дожидаться, пока язычники расправятся с Парижем, а потом примутся за вас? В таком случае возвращение графа Парижского не должно вас

радовать. Вот мой приказ: завтра мы выступаем, чтобы прорваться в Париж.

Слышно было только жевание и треск разрываемых сухожилий. Кое-кто хотел просить хоть день отпуска, распрощаться с домашними — все-таки война! — но не посмел и залил вином свою печаль.

#### 4

Дерзнув напасть на Париж, король Сигурд взвесил все «за» и «против». Долго он, сидя в своих северных болотах, ковал впрок лезвия из знаменитой норманнской стали, смолил дракары, рассылал вербовщиков и в Норвегию, и в Ирландию, и в Англию, и в Готскую землю — всюду, где свили хищные гнезда викинги — гроза морей. На его призыв отовсюду слетались любители живого мяса. Теперь он не распылял свои флотилии по рекам, а, собрав тысячу дракаров («Воды Сены не были видны из-под их бортов!» — сокрушались франкские летописцы), внезапно явился под стенами Парижа.

Расчет Сигурда был прост: воспользовавшись замешательством в Нейстрии после смерти Гугона и таинственного исчезновения Эда, заставить все ворота открытыми. Сначала так все и шло. Парижане и глазом не успели моргнуть, как в разгар большой осенней ярмарки норманны свалились им на голову. Но тут-то Сигурд и просчитался. Он не учел натуры своих воителей. Как иступленно он ни приказывал, чтобы викинги прорывались скорей к воротам предместий, они застряли в Пинциаке, где был центр ярмарки, ловя разбегавшихся купцов.

И когда дракары под внушительный рев труб, хлопая полосатыми парусами и испуская тучи стрел, подошли к Парижу, их встретило напряженное молчание у закрытых наглухо ворот.

Пришлось начинать планомерную осаду. Пленные жители под несусветными пытками показали, что в городе войска почти нет. Карл III отослал его в Германию под предлогом отражения венгров, а на самом деле в противовес тамошнему могущественному бастарду Арнульфу Каринтийскому.

Увы! Безрассудные парижане не собирались направлять к Сигурду своих послов с веревками на шее. В Городе оказались богатые склады, заготовленные в свое время Эдом. Престарелый Гоццелин, архиепископ, позабыв

свои кондитерские увлечения, смущал умы парижан, призывая их сопротивляться. Он уговаривал вассалов, убеждал купцов, воспламенял юношей, бранил клириков и сумел обеспечить оборону всех стен и башен Города.

И все же Сигурду удалось захватить Левый берег. Он проломил его бревенчатую стену, и бой закипел в лабиринте улочек предместья святого Михаила. Осажденные цеплялись за каждый сруб или сарай, из пожарных бочек обливали горящие строения. Сам архиепископ Гоццелин на лопухом муле разъезжал по пылающим весям в сопровождении здоровяка Авеля, который оправился от ран, полученных в ночь исчезновения Эда.

— Святой отец! — кричали Гоццелину. — Прячься, вон стрела летит!

— Староват я для пернатой красавицы, — отвечал прелат. — Она молоденького ищет.

В конечном счете защитники Парижа оставили Левый берег. Но при этом полегло столько доблестных жрецов грабежа, а трофеев оказалось так мало, что, подведя баланс, викинги приуныли.

На Левом берегу оставалась ими не захваченной только бревенчатая Квадратная башня перед мостом через Сену. Для поднятия духа Сигурд решил на маневр, который ранее отвергал, — сжечь мост Левого берега (а он мог еще пригодиться, чтобы ворваться в Город посуху) и тем самым изолировать Квадратную башню.

Так и сделали. Выше по течению Сены разорили множество селений, и из их добротных сухих бревен соорудили гигантский плот, а на него взгромоздили возы с сеном, бочки со смолой, ящики с серой. Все это запалили и пустили вниз по реке.

На сей раз ополченцы Гоццелина растерялись. Норманны хохотали, глядя, как защитники моста мечутся, озаренные багровым отсветом пожара, как они пытаются шестами либо развалить пылающий плот, либо протолкнуть его между быками. Мост все-таки сгорел, а защитники Квадратной башни предпочли погибнуть, но не сдать.

Однако сжечь таким же образом мост Правого берега не удалось. Гоццелин велел натащить на мост побольше бочек и огромных керамических сосудов, в которых в Галлии любят хранить зерно. Несмотря на помехи со стороны норманнов, целый день сосуды эти наполняли водой, черпая ее ведрами на веревках. Как только приближался

зажигательный плот, на него обрушивались струи, способные залить и адское пламя.

Настали рождественские холода, которые в эту зиму были особенно жестоки. Норманнское же воинство явилось одетым весьма легкомысленно, рассчитывая на парижские гардеробы. Взятых осенью пленных и добычу успели распродать, деньги растратили. Мужики на сто миль окрест разбежались по лесам, некому стало кормить господ викингов и убирать за ними нечистоты. Пошли повальные болезни, стали ходить слухи о черной смерти.

Сигурд сам сделался мрачен, как черная смерть. Из Тронхейма ему привезли двенадцать прорицателей, белобородых старцев Одина, древних настолько, что каждому, для того чтобы согнуть руку или сделать шаг, требовалось ровно столько времени, сколько часовому, чтобы обойти вокруг королевского шатра. С ними приехала вещая дева, отменно пышная и дебелая. Проходит мимо воинов, а у тех глаза делаются мутными, как у вяленой трески.

Дева с утра до вечера заботилась о своей белокурой прическе. То мыла ее в ромашке или в луковичной шелухе, то утюжила гребешком. Старцы же занимались тем, что сосредоточивались для высшей прозорливости, при этом похрапывали сладко. Уверяли, что слышат, как трава растет, но, по-видимому, отчетливо слышали только, как на кухне начинали ложки звякать.

В конце концов все это Сигурду так надоело, что он почти перестал бывать в своем шатре. День и ночь рыскал с конным отрядом по окрестностям Парижа.

Однажды он ехал мимо Горы Мучеников, с которой непокорный Париж виден как с птичьего полета — если бы, увы, викинги могли еще и летать! На повороте отлично вымощенной дороги (трудолюбие и аккуратность парижан возбуждали в Сигурде тихую злобу) ему встретилась древняя старуха в черной каппе и с клюкой.

— Остановись, Сигурд, король данов!

— Ну, положим, не так трудно догадаться, что я Сигурд, король данов, — проворчал викинг, осаживая коня.

Старуха объявила, что ей надо беседовать с ним с глазу на глаз. «Не ходи, король!» — советовала свита, но Сигурд подумал: а вдруг это могущественнейшая волшебница, которых, по рассказам, так много в таинственной Галлии?



В пещере чадила коптилка, возвышался скелет в нелепом парчовом одеянии. Ведьма стала жечь увитые бисером свечи и оговаривала при этом, что они из человеческого сала. Сигурд снял рогатый шлем, и седой его чуб свесился словно третий длинный ус. Эта старуха с ярко накрашенным мертвенным ртом и заячьей губой, из которой выглядывал единственный зуб, внушала ему отвращение, но и почтение одновременно.

Заячья Губа открыла, что ее послал канцлер Фульк.

— Подумать только! — ухмыльнулся Сигурд. — Каких сановных людей канцлер ко мне посылает!

Колдунья извлекла из складок юбки кусок пластины из слоновой кости, на которой были начертаны рунические письмена. Король с большим сомнением взял, повертел в руках и достал у себя другой кусок. Надлом и разделенные руны обоих кусков сошлись точь-в-точь.

— А ты меня не помнишь, — сказала старуха, торжествуя. — Я лет пять назад была у тебя от покойного канцлера Гугона.

— Как же, как же! — припомнил король. — Ты лично просила тогда за какого-то гребца, чтобы я дал ему убежать.

Волшебница вернулась к цели своей миссии:

— Канцлер Фульк напоминает тебе о вашем уговоре, помнишь? Как только он, Фульк, при всем народе повелит тебе — уходи, ты должен повиноваться беспрекословно. Час этот близок.

— Как бы не так! — вскричал Сигурд. — Он-то чем мне помог, чтобы я закончил этот злополучный поход? Седьмой месяц топчусь под стенами строптивного городишка, да поглотит его бездна!

— Во-первых, не тараторь так быстро, я не настолько сильна в норманнском языке, чтобы поспевать за извивами твоей мысли. Во-вторых, он посылает тебе доказательство своей дружбы.

— Какое?

— Ишь нетерпеливый! Сначала поклянись еще раз, что не нарушишь условий договора.

— Викинги никогда не клянутся!

— И, однако, постоянно обманывают.

— Говори, исчадьё зла!

— Хорошо. Обернись-ка к скелету, то бишь к сеньору Мортуусу. Как раз за его спиной начинается подземный

ход в две мили, который кончается в самом сердце Правой стороны...

Сигурд вскочил, нахлобучивая шлем. Заячья Губа удержала его:

— Не передать ли его благочестию канцлеру какие-либо заверения в благодарности?

В ответ король захохотал. Он смеялся искренне, как ребенок, даже вытер слезу краешком плаща.

— Пусть твой слабодушный хозяин, этот павлин с душою воробышки, молит своего распятого бога, чтоб я не обманул его при расчете.

Но Заячья Губа грустно покачала головой:

— Умерь свое веселье, король. Попробуй-ка обмануть — и ты умрешь, исчезнешь, как пыль, сдутая ветром!

Сигурд, не прекращая потешаться, указывал на старуху пальцем.

— В доказательство того, — старуха понизила голос, поглядев на дверь, — что наши люди тебя окружают, мне разрешено предать тебе одного из них. Вот тебе теперь половинка старинного золотого аурея, на которой какой-то кесарь изображен в лавровом венке. Тот из твоих, у кого найдется другая половинка, — человек Фулька.

Сигурд смолк, опасливо поглядывая на волшебницу. На прощанье просил погадать ему о судьбе. Заячья Губа бросила горсть проса в плошку с вином и, поведив по нему пальцем, объявила:

— Берегись, коршун, время трясогузок и павлинов кончается. Сокол уж на воле, скоро он будет тут.

— Кого ты подразумеваешь под именем сокол?

— Того, кто страшен и коршунам, и павлинам.

Сигурд устремился из пещеры. Теперь смеялась Заячья Губа:

— О святая простота! О молот в руках ловкачей!

Прискакав к своему темному шатру — старцы давно спали, устав от целодневного общенья с богами, — Сигурд запалил факел и, бросив поводья часовому, откинул полог.

На его королевском золоченом седалище расположились и тихо шептались белобрысая вещая дева и самый юный из его, Сигурда, оруженосцев. Первое, что бросилось королю в глаза, — блистающая в свете факела половинка кесарской монеты на упитанной груди вещицы девы. Король согнал прочь оруженосца, а дева раскрыл темя утыканной шипами железной палицей.

Из подземного хода норманны вырвались, как потоп, никто не мог понять, что же случилось. Вот тут-то были захвачены врасплох и люди в домах, и женщины в постелях, и золото в шкатулках. Тяжелый черный дым стлался по воде от горевших хлебных складов, которые парижане жгли, чтобы не отдавать врагу. Каждое предместье пылало и сопротивлялось, оно знало: лучше смерть, чем варварский плен.

Но и здесь Сигурду помешало вечное пристрастие его воинов — лишь бы дорваться до добычи. Прибывавшие из подземелья волны завоевателей растворялись по кварталам, и никакая сила не могла заставить их опомниться, пока все, что взято, не было поделено. На том берегу Гоццелин страдал, сжимая пальцами виски.

— О, если б хоть сотни четыре тяжеловооруженной конницы! Враг навечно остался б в лабиринте улиц. Господи, сотвори чудо!

Но господь не хотел сотворять чудо, и лишь монастыри Правого берега успели захлопнуть ворота перед самым носом норманнов, оставшись, как занозы, в их тылу.

Месяц прошел для парижан в унынии и размышлениях, как теперь удержать Остров Франков, последнюю частицу надежды. Однажды к архиепископу Гоццелину, сидевшему за арифметическими расчетами, хватит ли на острове муки хоть по четверть фунта на едока, явился толстяк Авель, которого прелат любил называть не иначе, как «племянник». Авель мрачно жевал заплесневелую корку, а краснощекое, несмотря на наступившее бесклевье, его лицо имело просительное выражение.

— Сегодня в монастыре святого Германа праздник... — сказал он по своему обыкновению без предисловий.

— Ну и что? — рассеянно спросил прелат.

— Я туда приглашен.

— Да ты понимаешь, что говоришь? — изумился Гоццелин, отрываясь от расчетов. — Монастырь святого Германа на Правом берегу и осажден. Как же ты пройдешь?

— Понемножку, понемножку...

И чем более Гоццелин его отговаривал и даже запрещал, тем жалобнее просил Авель. В конечном счете архиепископ решил: пусть идет, бог хранит смелых, а здесь это гороподобное дитя все равно исчахнет на четверти фунта муки ежедневно.

Авелью приоткрыли створу цепных ворот моста на Правом берегу, где у франков осталось лишь предместное сооружение, звавшееся парижанами фамильярно «Башенка». Авель спокойно вышел и отправился, сопровождаемый ироническими напутствиями товарищей. Норманны же, видя его полнейшую невозмутимость, поначалу не обратили на него внимания. Так добрался он до самых стен монастыря святого Германа, а уж туда войти не мог, потому что норманны его ворота завалили огромной баррикадой.

Авель деловито принялся ее разбирать, откидывая самые крупные балки в сторону. Норманские часовые сначала недоуменно пялили на него глаза, потом подняли тревогу. На Авеля наскочили сразу несколько язычников, держа в руках веревки,— за такого великана на рынке рабов отваяют кругленькую сумму! Эти-то веревки особенно разгневали нашего агнца. Он без труда отнял у нападавших их секиры, а самих связал и, прикрываясь ими как заслоном, продолжал свое дело. Монахи в шлемах глядели на него с высоты ворот.

— Жарится баранинка? — спрашивал их Авель.

— Угу! — отвечали изумленные монахи.

— Не подгорела бы... — опасался Авель и удваивал усилия. Через некоторое время он снова разгибал спину и спрашивал: — С петрушкой?

— И даже с сельдереем! — кричали воины святого Германа, приободрившиеся при виде такой подмоги. — У нас и свежая рыбка в садке, ты только войди, мы тебе такого окунька в соусе изобразим, пальчики оближешь!

— М-м! — стонал Авель, в голодном желудке у него урчало.

Но тут на него набросились сразу десятка два врагов, подняв мечи. Нашему герою пришлось бы худо, веди он себя, как обыкновенный боец. Но он, не делая попытки сопротивляться, спокойно озирался по сторонам. И нападавшие подумали, что все-таки смогут взять его живьем.

А он, разгадав их намерения, вытащил из баррикады огромную жердь и метнул ее плашмя так, что она на лету снесла головы половине нападающих, а прочие бесславно бежали. Ворота монастыря наконец распахнулись, и Авель туда вступил как триумфатор.

Разъяренный Сигурд приказал тех, кто бежал от Авеля, публично утопить, а к воротам монастыря подка-

тить таран, только что изготовленный нанятыми в Испании мастерами.

Услышав его гулкие удары, монахи пали духом и стали читать отходную, а Авель, сидевший в одиночестве за столом, рассердился:

— Хамы, пообедать не дадут!

— Господин Авель! — прибежали за ним привратники. — Ворота наши уж прогибаются, что делать?

— Лейте на наглецов смолу, — приказал Авель, доглядывая ножку.

Через малое время они примчались опять:

— Смола кончилась!

— Проклятые! — чертыхался Авель. — Только за окунька взялся! Лейте на них кипяток, а мне дайте сметаны, сметаны мне дайте!

Наконец ворота затрещали, готовые рухнуть. Авель встал, с сожалением оглядывая опустошенный стол. Остатки монахи поспешили припрятать, чтобы не отвлекать доблестного защитника.

Авель выдвинул запирающий ворота брус, внезапно распахнул створу. Лоб тарана, не встретив помехи, далеко въехал в арку ворот. Ухватившись за него, Авель выдернул весь ствол и вышел с ним из ворот. Испанские мастера показали пятки, а остатки тарана Авель сжег перед воротами на костре.

Когда он вернулся к святому Герману, монахи, кто со сковородкой, кто с кастрюлькой, приплясывали вокруг него и пели:

Он сражается без правил.  
Но в любом сраженье прав.  
Раньше был он кроткий Авель,  
А теперь он Голиаф!

Гоццелин смеялся от души, когда ему рассказывали о подвигах его «племянника».

Вдруг доложили — кто-то его спрашивает, кто — не поймешь. Ввели человека в остатках прежде роскошной шубы, худого настолько, что обтянутая кожей желтая голова качалась в облезлом воротнике. Гоццелин еле узнал его — Юдик, управляющий принцессы!

— Просят... — шевелил он губами. — Помирают они...

Еще в начале осады принцесса, по совету Гоццелина, покинула фамильный дворец, слишком близко от которого теперь шли бои. Нетопленный и отсыревший, он дал пристанище табору беженцев из захваченных врагом предместий.

Гоццелин, ведомый под руки своими серафимами, отыскал ветхий домишко в глубине Острова. Миновал закопченные коридоры, загроможденные мебелью, и оказался в низкой и душной комнате с заметным запахом тления. На куче подушек возвышалась птичья головка с запавшим ртом и приставленным к макушке роскошным париком.

— Гугон! — позвала умирающая. — Подойди, Гугон.

— Я не Гугон, — приблизился архиепископ, — я Гоццелин.

— Все равно... Пусть придет Конрад.

«Зовет покойников!» — подумал Гоццелин. Он позвонил в колокольчик, и юные послушники внесли приготовленные святые дары. Приживалки хныкали за дверьми.

— Гугон, не уходи... — сказала принцесса, когда архиепископ приказал святые дары унести.

— Я не Гугон, светлейшая, — как можно мягче возразил он.

— Все равно... Последи, все ли вышли.

Гоццелин повиновался. За долгую церковную жизнь сколько пришлось ему выслушать предсмертных исповедей, и каких! А ведь Аделаида — родная дочь Людовика Благочестивого, значит, уходит навек последняя прямая внучка Карла Великого!

— Гоццелин или кто ты есть... Посмотри, что у меня на столе?

— Хлеб... Что еще? Свеча, что ли?

— Черствый хлеб! Рожденная в порфире вынуждена есть черствый хлеб!

Гоццелин промолчал. У множества беженцев в залах старого дворца не было и черствого хлеба!

— Витибальд! — позвала принцесса, и Гоццелин вздрогнул: это было его давно забытое мирское имя. Как будто кто-то позвал его из могилы.

— Витибальд... — повторила умирающая. — Помнишь, мы в детстве ловили птичек? Мазали клеем веточки...

Гоццелин ощутил, как по щеке, помимо воли, крадется слеза.

— Витибальд, поклянись... — еле разбирал он в шепоте старухи мертвые франкские слова. — Ни одному смертному... Эд не мой... Эд не мой сын... Я взяла его...

— Зачем? — вырвалось у Гоццелина.

Она закрыла совиные веки, головка выбилась из-под

парика, и прелат подумал, что все кончено. Но черные ее глаза блеснули, и она отчетливо произнесла:

— Глупый монах! Тебе не понять, что делает любовь!

А потом, задыхаясь, бормотала уж совсем непонятные слова:

— Спеши, скорей! Будет поздно... Андегавы... Забывайка...

Далеко у входа происходила какая-то возня, слышались крики. Но архиепископ ничего не слышал. Погруженный в воспоминанья, он вдруг ярко увидел эту самую Аделаиду хрупкой девочкой в муслиновой фате, и он, герцогский сын, тоже юный, ведет ее к первому причастию... Какая-то, видимо, трагическая история с ней произошла! Сколько ж она унижений приняла за этого бастарда, а на те вам — он и не ее сын... И сгинул невесть где!

Кто-то бежал по скрипучим коридорам, гремя шпорами.

— Святейший, святейший!

— Что? — спросил Гоццелин, не двигаясь с места.

— Какое-то огромное войско подошло к стенам! Эд вернулся! Не иначе, наш Эд!

Принцесса спала, мирно посапывая. Гоццелин, опираясь на плечо вестника, ушел, наказав серафимам — чуть что, бежать за лекарем.

Послушники, светлый, как агнец, и черный, как вороненок, уселись на подстилку возле двери.

— Смотри! — вдруг шепнул светлый. — Ей плохо.

— Бежим за лекарем! — привстал черный.

Но товарищ за руку притянул его на место.

— Тш-ш! Что ей лекарь? Душа ее отходит. Наблюдай, кто за ней явится — бес или ангел?

## 6

— Смотри-ка, Озрик, вон у того мыса язычники на двух барках соорудили целый понтон!

На площадке башни ветер метался как безумный, сыпал снежную крупу. Эд морщился, всматриваясь, указывал Азарике на захваченный врагом берег.

— Видишь, бревна таскают бедняги пленные под ударами бичей? Клянусь святым Эрибертом, они строят плавучий таран или что-нибудь вроде этого. А сколько дракаров — целый город на реке!

Они спустились в Зал караулов. Азарика подогрела вино.

— Слушай, мудрец,— говорил ей Эд, грыз сухарь,— когда я через Константинополь возвращался из плена, как раз напали сарацины, а византийский флот был на войне с болгарами. Сарацины мореходы не менее ловкие, чем даны Сигурда, и я при моей тогдашней простоте подумал: конец греческой столице! Что ты скажешь? Ничего подобного. Греки сожгли сарацинский флот, и как ты думаешь? Из труб, из пасти медных химер и драконов у них лились струи жидкости, которая горела на воде, и сарацинские ладьи погибли.

Эд поставил чашу и наклонился к Азарике, зрачки его блестели.

— Озрик! Что, если б среди книг, гниющих, как ты рассказываешь, в старом дворце, нашлась такая, где было б описано, как этот греческий огонь готовить? Озрик, а? Если же там этого не найдется, то всем твоим книжкам одно место — костер!

Теперь она опять целыми днями пропадала в библиотеке. Ежилась от сырости, от воспоминаний о Кочерыжке, который когда-то валялся вон там, на мозаичном полу...

День за днем она перелистывала слипшиеся книги, развертывала хрусткие свитки. Августин, Григорий Богослов, папа Лев... Не то, не то! Некогда возлюбленный Бозций, грамматики, риторы, анналисты, рассказчики житей, собиратели анекдотов. Ветер выл сквозь щели ветхой стены, крысы бегали под полом. Сторож Сиагрий, которому все было нипочем, оглушительно храпел за дверью.

Она уже собиралась пойти к Эду и честно сказать — ничего нет. И вспомнила, что осталась неразобранной еще одна, самая верхняя полка. Фолианты были там набросаны как попало, видимо, уж в то время, когда некому было следить за расстановкой.

— Сиагрий, мышка, достань-ка те книги.

Сиагрию почему-то нравилось, когда его называли мышкой, но, прежде чем полезть на полку, он поклялся полденария.

— Спроси у Эда,— посоветовала Азарика.

Сторож покорно взобрался на лесенку. Просить у графа подаяние было все равно, что самому совать спину под розгу.

Первая же книга обрушилась на пол, подняв густой столб пыли. Азарика открыла крышку и прочла: «ΤΑΚΤΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΕΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ». На картинке был изображен пузатый корабль. Воины в пышных шлемах направ-





ляли на врагов разинутые пасти чудищ, из которых лился огонь.

Сиагрий никак не мог понять, за что он внезапно заработал поцелуй в щеку и полденария в ладонь. Схватив тяжеленный фолиант, Азарика понеслась по залам, перепрыгивая через спящих беженцев.

В Зале караулов при тихом свете лампад Эд, с ним Гоццелин и командиры слушали доклад о том, что из закромов выбран последний лот муки.

— Люди умирают на улицах...— закачалась рогатая тень митры Гоццелина.— Больше всего младенцев жаль... Не успеваем отпевать!

— Значит, что же?— Эд сдвинул брови.— Капитуляция?

Вассальное ополчение, приведенное Эдом, влило свежую силу в оборону Города. Но лишь в распаленной фантазии парижан оно было огромным... Где-то в болота далекой Баварии блуждало усланное туда императором парижское регулярное войско. Феодалы в междоусобной распре двигали целые полки. А здесь Париж один на один противостоял смертельному врагу, и неоткуда было ждать протянутой руки. Впрочем, один раз рука была протянута. Сквозь вражеские посты пробрался нищий монах, доставил от Фулька только что сочиненную молитву: «De furore normannorum libera nos, domine!»— «От ужаса норманнов избави нас, боже!»

— Сыны мои,— сказал Гоццелин, и все повернули к нему головы.— Боюсь, как бы мне вскоре не дезертировать от вас на небеса... Это, может быть, самая легкая доля— оставить вам, молодым, плевелы, которые насеяли мы, старики...

Он перевел дух, и серафимы подали ему воды с тмином.

— Чувствую на себе тяжкий груз совести, ибо ведь это я в начале осады побуждал вас и настаивал сопротивляться до конца... Но теперь! Мне много лет, и какие только страсти я не повидал на своем веку! Но не в силах смотреть я в глаза детей, умирающих с мольбой о кусочке хлеба... Сыны мои! Быть может, окаянный Сигурд согласится обещать им жизнь? Ну что ж, что цепи рабства. Ведь и спаситель был в оковах...

— Старик!— прервал его Эд с горьким упреком.— Послушай! Я прожил в три раза менее тебя, но пережил достаточно... И я буду кричать тебе и им, и всем буду ко-

лотить в уши, как звон набата,— пусть дети франков лучше умрут с голоду, чем станут жить у чужеземцев в неволе!

Лихие наездники, кряжистые рубаки, надменные сеньоры молча смотрели на своего старенького пастыря, украшенного нелепым венцом и сумкой для сладостей на груди — давно уж без единой крохи.

— Ведь я ж не для себя...— поник головой Гоццелин.— Но, может быть, ты прав, прости мою старческую слабость. Ты сумел прорваться сюда, теперь сумей вырваться отсюда. Поезжай в Лаон, кричи, вопи, будь там набатом, как ты говоришь... Когда избирали Карла Третьего, главным доводом было то, что три великие страны, объединяясь под одной короной, сообща отразят наконец изнуряющего врага.

Вбежав с фолиантом в обнимку, Азарика еле сдержалась, чтобы не крикнуть при всех: «Нашла!» Пришлось ждать, пока все разойдутся. Когда серафимы увели Гоццелина, она торжествующе показала Эду рисунок корабля с пламенем, и он согласно кивнул — да, это и есть греческий огонь!

Всю ночь, обложившись глоссариями, она при свете трескучих лучин переводила Тактикон. А Эд распорядился, чтобы часовые возле Сторожевой башни обвязали сапоги соломой. Он гордился умницей оруженосцем — сам-то он еле мог подписать свое графское имя, хотя и не любил это обнаруживать.

Утром Азарика, мигая воспаленными веками, доложила: нужна селитра, сера, нужен скипидар и горное масло. Вызванные хранители подтвердили — все это найдется на складах.

— А вот тебе и помощник.— Эд подвел к Азарике зловещего детину во фламандском шишаке. Ба! Это был старый знакомый — Тьерри. Длинное его носатое лицо с усиками щеточкой и выпяченной губой вызвало в Азарике прежнюю неприязнь. Она не знала, как дать понять об этом Эду. А Эд внушительно сказал:

— Он принес мне вассальную присягу. Этот закон крепче божия.

— Ну-с, Красавчик,— сказала скрепя сердце Азарика,— не бойшься ручки измарать?

Тьерри приложил ладонь к сердцу, даже поклонился.

А попачкаться им пришлось. В окруженных караулом термах дворца они, вымазанные дегтем, со слипшимися

волосами, сливали и перемешивали в разных пропорциях скверно пахнущие составы и жидкости. Хитрый грек, составитель Тактикона, указал преднамеренно неверные рецепты, и жидкость то не горела, а лишь дымила, то гасла от воды, то, наоборот, вспыхнув синим пламенем, исчезала без остатка. Сиагрий меланхолично предсказывал, что они спялят дворец.

Было досадно до слез. Азарика стала прятаться от Эда, чтобы не видеть немого вопроса в его глазах. А парижане целый день толклись на стенах, наблюдая, как Сигурд готовится к решительному штурму.

Азарика разнервничалась и несколько раз накричала на Тьерри за его нерасторопность. И Красавчик решил по-своему к ней подластиться, как подсказывала ему память и его грубый инстинкт.

— Ах ты моя курочка! — пристал он однажды с глупой манерой обниматься, которая и приносила ему успех среди служанок.

Азарике было досадно, и ударить его она не могла, руки были заняты: как раз после бесчисленных проб получался нужный состав.

— Отстань! — оттолкнула она его.

— Но почему же? — ухмыльнулся Тьерри. — Не все же тебе в ведьмах ходить. Граф тебя любит, он даст тебе роскошное приданое.

— Подержи лучше эту трубку, пустомеля! — в отчаянии крикнула Азарика.

Она жалела о Заячьей Губе с ее мехами и сосудами — вот с кем бы готовить состав!

Наконец они продемонстрировали опыты Эду и Гоццелину. Наполнив водой бассейн, в трубе которого она когда-то спасалась от аббата, Азарика пустила жидкий огонь, и загасить его было нельзя.

— Подумать только! — поразился архиепископ. — Тебе, Озрик, непременно надо вступить в духовное сословие. Только там ты найдешь книги, помощников, уединение для мыслей. Кстати, в монастыре святого Германа, где наш племянник Авель совершает свои подвиги, приор, мой ровесник, давно просится на покой.

— Решено! — сказал Эд. — Озрику быть приором святого Германа.

Но когда все вышли, она упрекнула его, вытирая палец:

— Избавиться от меня хочешь?

— Помилуй бог! — засмеялся Эд. — Но ведь меня, скажем, могут убить. Что станет с тобой?

— Я тоже умру, — сказала она, глядя в его потеплевшие глаза.

Через две недели норманны на подготовленном понтоне соорудили высоченную бревенчатую вышку. Только ребенок мог не понять, что вышка эта предназначена для того, чтобы, причалив к прибрежной стене Острова Франков, перекинуться через нее и высадить десант. Теперь уж все население города готовилось к последнему бою, монахи поднялись на стены исповедовать и причащать бойцов.

И тут покинул их старый Гоццелин. Шальная стрела на излете, когда прелат стоял на верхней площадке, перебила ему ключицу.

— Вот и все, — вздохнул старик, опускаясь на руки своих серафимов. — Благодарю тебя, боже, что дал мне умереть бойцом!

Рана его сама по себе была пустяковой. Но немощному старцу, изможденному голодовкой, которую он упорно переносил наравне со всеми, пришел конец.

— Эда, Эда скорей! — молил он, чувствуя, как быстро жизнь отлетает. — Я не успел ему сказать... Я должен ему сказать... Господи, зачем я медлил, колебался...

Граф, который был занят в другой части острова, прибыл уже, чтобы поднять в гробу его сухонькое тело и положить навек в крипту собора. А на рассвете начался штурм.

Чудовищная вышка двинулась по воде от мыса и к полудню достигла острова как раз напротив дворца и Сторожевой башни. Усатые норманнские рожи смотрели оттуда, как из-под облаков. Дракары, сопровождавшие понтон, изрыгнули поток воинов, которые, словно муравьи, полезли по внутренним лестницам вышки. Лучники старались держать в небе тучу стрел.

Бревенчатая громада накренилась и, подобно гигантской птице, клювом перекинулась через стену. По ее переходам устремились ревушие от нетерпения даны. Враг был всюду — и под стенами, и над стенами, а теперь уж и за стенами.

— Скорей, скорей! — крикнул Эд, вбегая на закрытую площадку башни, где Азарика и Тьерри никак не могли наладить свою трубу. — Скорее, сатана вам в бок!

Его палатины еле отбивали от этой площадки насе-

дающих врагов. Втиснув одну трубу в другую, Азарика сунула их Тьерри, а сама отбежала к Сиагрию, готовившему кузнечные мехи — накачивать состав.

— Сиагрий, ну что же ты, мышка! — чуть не плакала она.

В бойницу влетел здоровенный камень и шлепнулся в ушат с заготовленной жидкостью, все оплескав. Побелевший от страха Сиагрий скрылся в запасной ход. Азарика одна, торопясь, срывая ногти, обливаясь, налаживала мехи. Наконец жидкость пошла!

Норманны сначала приняли льющщиеся сверху черные, густые, остропахучие потоки за обыкновенную смолу. Но жидкость не обжигала, и они перестали ее опасаться. Азарика и Тьерри из бойниц усердно поливали стропила вышки, дракары, лезущих норманнов.

— Пора! — сказала Азарика.

Отбросив подающие трубы, они выкрасали огонь. И тут же воспламенились сами — вспыхнули их измазанные составом рукава, штаны, даже панцирные бляхи на стеганках. Однако Азарика это предвидела — из заготовленного ящика сухим песком они сбили друг на друге пламя.

Тогда они выглянули наружу. Огонь гудел, пожирая бревенчатый скелет вышки. Многие лестницы уже обрушились, и тела норманнов гроздьями валялись в реку. Флот дракаров представлял собой море огня. Казалось, седая Сена пылает, неся гибель захватчикам.

— Ну, если ты ведьма, — сказал Тьерри, — то ты гениальная ведьма.

Азарика что было сил запечатлела на его щеке черную пятерню. Она сбежала вниз. Старый дворец пылал, как свеча. Норманны и беженцы попеременно выскакивали оттуда, стараясь загасить свои тлеющие одежды. Палатины стояли вокруг, ловя и убивая врагов, но здание тушить и не пытались. Азарика кинулась внутрь, думая только о книгах. Пробежав наполненные дымом залы, она нащупала вход в библиотеку. Там было сравнительно спокойно, только дым ел глаза. Возле шкафов она заметила Сиагрию, который что-то бормотал себе под нос, укладывая свитки ровненькой кучкой.

— Ты что тут делаешь?

Сиагрий, даже ухом не поведя на вопрос Азарики, высек искорку и поджег свитки, которые вмиг затрещали, как солома.

— Полденария не дашь за это дерьмо? Кончатся Каролинги!

Азарика, отпихнув его, принялась затаптывать. В соседней зале раздался грохот, стена расселась, и сноп искр ворвался в библиотеку. Почувствовав, что одежда вновь загорается на ней, она бросилась искать выход.

7

По окончании пасхальной недели имперское войско Карла III наконец подошло к Парижу и заняло позиции на высотах Горы Мучеников. Все ожидали немедленной битвы, но ее не произошло. Сигурд как-то даже и не очень обеспокоился приближением Карла III, ограничился лишь тем, что выставил валом против него аванпосты.

За армией франков валом валили толпы нищих и крестьян, которые были вконец разорены передвижениями различных войск, а близ армии все-таки было безопаснее и можно было подкормиться. Они с изумлением смотрели на обилие колыхавшихся парчовых, шелковых и атласных знамен, украшенных лангобардскими орлами, саксонскими львами, арелатскими апостолами, аквитанскими лилиями. Казалось, вся необъятная и устрашающая империя собралась здесь под гром литавров и рев букцин, чтобы отомстить наконец дерзким язычникам за разорение одного из ее лучших городов. На самой высокой из вершин в голубой весенней дымке, словно чертог, возвышался императорский шатер, затканый радужными единорогами. Мартовский шальной ветер трепал стяг пламенного цвета — священное знамя Карла Великого.

Эд, граф Парижский, вступил в шатер, метя пол алым плащом. За ним Азарика в панцире, который она еле отчистила от копоти, несла хоругвь города Парижа, где был выткан золотой веселый кораблик и красовалась надпись «*Fluctuat, nec mergitur*» — «Качается, но не тонет».

Император, чью подагрическую ногу растирали два внуха, протянул Эду унизанную кольцами пухлую руку, и тот, преклонив колено, ее поцеловал.

— Сын мой, — сказал Карл III (хотя они были примерно одного возраста), — мы слышали, ты претерпел несправедливость? — Но тут же болезненно поморщился, махая на евнухов: — Трите же полегче! — и с извинительной улыбкой Эду: — Если говорят, что от настроения владыки зависит судьба царств, то от его болезней тем более!

— Я не ищущу суда,—сказал Эд, не отвечая на его улыбку.

— Вот и превосходно! Невинный охотней прощает виновного, чем виноватый невинного. В чем же твоя просьба, сын мой?

— Высочайший меня, вероятно, с кем-то путает. Я граф Парижский и пришел обсудить, как бы нам совместно ударить, чтоб снять осаду.

Карл III опустил набухшие веки и погрузился в лабиринт подагрических страданий. Поднял ладонь, и тут же из длинного ряда придворных, похожих на парчовых кукол, выделился канцлер Фульк с чутко настроженными ушами. Аудиенция окончилась.

Канцлер пригласил графа Парижского в свой шатер, и они провели в тихой беседе целый день. Только поздно вечером Эд возвратился в отведенное ему жилище. Сбрасывая Озрику алый плащ, проговорил задумчиво:

— Ты знаешь, по-старофранкски слово «фульк» значит «болотная курочка». О, эта закулисная курочка, в какое болото она меня хочет затащить теперь? И между прочим, о Забывайке — ни полслова!

Азарике больше ничего не удалось выпытать, кроме того, что Фульк противится решающей битве. Уверяет, что его, канцлера, личный авторитет настолько велик, что достаточно ему сказать одно хоть слово королю Сигурду, как варвары уйдут!

На следующий день все дела отменялись, потому что был праздник у императрицы.

Резиденция Рикарды в императорском лагере представляла собой целый городок разноцветных шатров, палаток, навесов, уютных беседок, укромных уголков. Праздник заключался в том, что дамы уселись за традиционные веретена, а мужчины — за пиршественный стол.

Рикарда трепетно готовилась к визиту Эда, все утро перед зеркалом выщипывала седые волоски, которых насчитала — увы! — тринадцать. Эд явился улыбочивый, молчаливый. Рикарда раскраснелась, брэнчала украшениями, сильнее, чем обычно, кокетничала с герцогами, поминутно поглядывая на Эда.

Душою общества был герцог Суассонский. Он грохотал, крутя острейшие усы.

— Почему ж бы мне и не верить? Клянусь, что тот кабан был ростом с Лаонскую башню, если не считать, правда, ее шпиля.



— Генрих! — умоляла его толстушка супруга.

— Что — Генрих? — не сдавался тот. — Пусть кто-нибудь посмеет сомневаться! Я готов доказать свою правоту оружием.

Рикарда положила герцогу на плечо руку, унизанную кольцами, а сама одарила Эда самым тягучим из своих русалочьих взглядов.

— Ну, а если это буду я?

— Такому противнику сдаюсь без боя! — нашелся герцог. — Даже если вашей светлости угодно доказывать, что кабан был с комара!

Тотчас же он принялся расписывать, как однажды в лесу встретился ему тур с четырьмя рогами. Пользуясь всеобщим хохотом, рикарда тихо сказала Эду:

— Когда вы возвращаетесь в Париж? Возьмите и меня. Я готова оборотиться оруженосцем... Говорят, вам нравятся оборотни?

И пожалела о сказанном. Граф прикусил губу, лицо его окаменело. Рикарда улыбнулась как можно ослепительней:

— Кстати, граф, одна особа очень хочет здесь с вами говорить. По крайне важному для всех нас делу... Перейдите как бы отдохнуть в третий направо шатер.

Эд, подумав, повиновался.

Там оказалась Заячья Губа. Она схватила Эда за руки, всматривалась в его лицо.

— Какой ты... Какой ты теперь после проклятой Забывайки? Дай хоть погляжу на тебя, сокол мой!

— Если ты звала только за этим, — сухо ответил Эд, отнимая руки, — то мне недосуг.

— Постой! — Заячья Губа шипела, потому что говорить громко здесь было опасно. — Есть дело неиважнейшее... Слушай, если завтра в час вечерней стражи... Кстати, прорвались ли в Париж две баржи с хлебом?

— Прорвались, — более мягко подтвердил Эд.

— Это я их снарядила! — с гордостью сказала колдунья. — Итак, если завтра в час вечерней стражи с хорошим отрядом ты придешь к нижней пещере у Горы Мучеников (я укажу точно, к какой), ты найдешь там спящим не кого иного, как короля Сигурда. Бери его!

— И это все? — ледяным тоном спросил Эд, поворачиваясь к двери.

— Это не обман! — завопила Заячья Губа, забыв о том, что стенки шатра тонки. — Видит бог, на что я толь-

ко ни шла, чтобы завоевать расположение этого варвара, недоверчивого и подозрительного, как царь Ирод!

— Но я не пользуюсь предательством,— ответил граф.

Откинув полог, в шатер вбежала Рикарда, которая все слышала. Глаза ее налились слезами от восхищения Эдом.

— Вот эта женщина,— сказала упавшим голосом Заячья Губа,— эта соломенная вдовица, так же как и я, так же как и все, наверное, женщины мира, готова для тебя на все. Решись — она принесет тебе и трон и любовь!

Эд вертел в пальцах кончик хлыста, рассматривал их обеих, затем, так и не молвив ни слова, вышел.

— Он донесет! — Рикарда схватила за руку колдунью. Госпожа Лалиевра покачала седой головой.

— Но я надеюсь,— сказала она после некоторого размышления,— нет мужчины, который бы не клюнул на власть и на любовь. Мы с тобой теперь, пожалуй, расстанемся на время... Я еще употреблю кое-какие средства! А тебе вот мой залог нашего союза. Помнишь, в Лаоне ты просила меня открыть секрет средства, называемого «Дар Локусты»? Держи.

Она сняла с дряблой шеи тонкую цепочку, на которой висел медальон в виде сердечка с головой древней чародейки Локусты.

Колдунья удалилась, а императрица с трепетом взвесила золотое сердечко на ладони. Полог шатра колыхнулся, и оттуда проник канцлер Фульк, отряхнув с головы какой-то сор и солому.

— Я немного опоздал,— сказал он, протирая стеклышко,— но главное слышал. Что, сладчайшая, плетете интрижки?

Он отобрал у обомлевшей Рикарды сердечко, а когда та пыталась завладеть им вновь, отпустил ей пощечину — такую, что розовая пудра взметнулась облаком. Рикарда упала ничком на кушетку, не зная, рыдать или нет — с ней никто еще не поступал подобным образом. Канцлер же поразмыслил и, положив остороженько медальон рядом с императрицей, удалился на цыпочках.

Когда Эд уже затемно подъехал к своему шатру, не переставая усмехаться, он увидел, что возле входа его кто-то ждет в черной каппе. Это опять была колдунья.

— Обмозговал хорошенечко, герой? — спросила она, держа его стремя. — Завтра может быть поздно!

И так как он, по-прежнему не отвечая, сошел и, отпустив коня, прошагал мимо нее в шатер, она крикнула ему вслед:

— Тогда послушай хотя бы вот что. В Арденнах тают снега! Марна поднялась на два фута, идет большая вода. Учти, полководец!

Навстречу Эду поднялась исстрадавшаяся в тревоге Азарика. Снимая с него панцирь, спрашивала:

— Кто это там кричал? Не Заячья ли Губа? Господи, скорей бы в Париж! Там голод, там стрелы, но там душа не так болит... Рикарду видел? Желтоглазая змея! Бойся ее, бойся здесь всех, они все здесь отравители, иуды!

— Знаешь, братец,—утомленно сказал граф, растянувшись на ковровом ложе,—ты мне надоел бесконечными советами. Удались-ка к себе!

## 8

Переговоры затягивались. Фульк то соглашался на битву, то выдвигал новые возражения. Вдруг заявил, что войско вовсе придется увести. Провианта нет и до нового урожая не предвидится, а местность опустошена: не то что куренка — таракана не отыщешь! Тем временем Сиггурд, убедившись, что так или иначе придется уйти, не взяв Парижа, а заодно, чтобы дать своим молодчикам поразмяться, воспользовался полой водой и совершал молниеносные налеты на окрестные городки. В крови и пламени погибли Мельдум, Фонтаны, Квиз, норманны подходили к стенам Суассона.

Тогда Эд решил и неожиданно покинул императорскую ставку. В ночь перед отъездом, однако, он посетил шатер Генриха, герцога Суассонского. Там, как бы незначай, собрались за игрой в кости герцог Аврелианский, граф Битурикийский.

— Клянусь моими усами,— шумел герцог Генрих,—суассонские молодцы не привыкли сидеть сложа руки!

Почти до рассвета они метали кости, не интересуясь выигрышем, и тихо о чем-то совещались.

Вернувшись в Париж, Эд вызвал Тьерри.

— Ты ведь родом из Вalezии. Скажи, где там удобней всего заметить, когда пойдет вал снеговой воды?

И по его наставлению Тьерри и с ним шесть молодцов, положив в горшок трут и прочий огнезапас, ночью в лодке проскользнули сквозь норманнские посты. Впрочем,

блокада теперь уже не была такой непроницаемой — норманны перед неизбежным уходом торопились нахватать побольше добычи и караул несли небрежно.

Колдунья оказалась права — воды Сены стремительно прибывали. Мутный поток нес грязную пену, головешки, остатки разоренных крыш, конские трупы. В ночь на Благовещение уцелевшие кое-где петухи заорали по-особому взбалмошно, упругий ветер стеной понесся над пострадавшими полями, срывая с привязи плохо закрепленные челны. Эд, не сомкнувший глаз, на площадке Сторожевой башни увидел в кромешной дали мерцающую точку в стороне холмов Валезии — далекий костер.

— Пора! — сказал он, застегивая шлем.

Распахнулись ворота так и не взятой врагом башенки. Палатины Эда, яростно стиснув рукояти мечей, набросились на норманнов, дремавших вокруг сторожевых костров. Франки садились в ладьи, в трофейные дракары, просто на плоты, устремляясь к вражескому стану. Все, что было в Городе способного носить оружие, ринулось в бой, а навстречу Авель с монахами святого Германа ударил Сигурду в тыл.

Нельзя сказать, чтобы норманны были захвачены врасплох. Страшные роги возвестили тревогу. Из шатров, покинув пиршественные столы и объятия пленниц, выбежали, вооружаясь, ветераны морских сражений. Но лишь только завязалась сеча во тьме, как по водам Сены пронесся гул как бы от далекого землетрясения. Шел вал снеговой воды, вздымая на волнах и круша все норманнские сооружения — настилы, пристани, понтоны, бревенчатые вышки, плавучие тараны, барки с припасами. У захватчиков дрогнули сердца — гибли трофеи, подарки, заготовленные для близких! И многие малодушно обратились спасать имущество, сносимое рекой.

А лишь рассвело, с высот Горы Мучеников ринулись суассонцы, аврелианцы, битурикцы, а с ними множество других франков, сгоравших от стыда за свое бездействие.

Впереди скакал герцог Генрих, вращая цыганскими зрачками:

— Аой, суассонцы, докажем, что мы не мокрые курицы!

— Радуйтесь! — гремело вокруг.

Несколько норманнов на небольших, прытких лошадках все время мельтешили перед носом пылкого герцога. Они ухитрились на скаку оборачиваться, показывая ему

из растопыренных пальцев носы, а один сделал комические усы. Генрих пришел в ярость и, несмотря на предупреждения своих сенешалов, ринулся за наглецом в погоню.

И он уже был близок к тому, чтобы рассечь оскорбителя от плеча до седла, как почувствовал, что со своим конем валится куда-то в бездну. Негодяи заманили его в волчью яму!

Пока подскакавшие суассонцы искали веревки, пока спорили, кому первому лезть за сюзереном, отважный Генрих умирал, напоровшись на один из замаскированных кольев.

Ярость франков была столь велика, что к полудню во всех точках Правого берега оборона норманнов была опрокинута и предместья освобождены.

Блокада Парижа кончилась!

Изнемогавший от гнева Сигурд сидел молча под пологом своего византийского пурпурного шатра. Рядом шелестели прозорливцы Одина, утверждая, что они все это давно предвидели, что по-ихнему все и получилось... Когда же они стали сокрушаться по поводу убийства вешей девы, Сигурд запустил в них сапогом и уронил седой чуб на скрещенные руки.

Вошел оруженосец, шепнул что-то на ухо. Сигурд вскочил, оглядел старцев, которые кололи его недобрыми взглядами, и вышел в конюшню. Туда же провели гостя, закутанного с ног до головы.

Это был канцлер Фульк.

— Я не получаю от тебя сведений, — начал он без предисловий. — Это путает наши карты. Куда ты дел вещь у деву, которую я к тебе подослал для связи?

Сигурд молчал, дергая себя за ус.

— Пора тебе уходить, — сказал Фульк. — Иначе Эд освободится сам, и прощай весь мой авторитет! Я и так на днях еле упредил его интриги, а то быть бы ему уже сегодня императором!

Сигурд молчал, поигрывая пояском из отрубленных фаланг человеческих пальцев.

— Чего ты онемел? — раздраженно спросил Фульк. — Я тебе что-нибудь еще должен?

— Шестьдесят возов золотыми слитками или в монете, — равнодушно ответил король.

— Язычник! — драматическим шепотом сказал Фульк. — Каким богам ты молишься?

— Обратнo я могу двинуться другой дорогой,— пожал плечами Сигурд.— Моим сорванцам набег привычной отступления. А у вас еще много неграбленных краев — Лаон, Реми, Аврелиан, Аахен...

Фульк плюнул и, закутавшись, удалился.

На следующее утро перед лицом выстроившихся франков и норманнов состоялось официальное свидание Фулька и Сигурда.

— *Quousque tandem, infamius monstrosus!* — гремел на школьной латыни канцлер, обращаясь к Сигурду и его вождям в рогатых шлемах.— Доколе ты, нечестивое чудище, будешь оскорблять храмы и поганить святыни? Всемогущая церковь повелевает тебе моими устами — возвращайся туда, откуда пришел!

— Если б он не был так визглив,— говорили придворные,— точь-в-точь был бы похож на папу Льва Первого, который, говорят, остановил Атилу одним только словом.

Глашатаи провозгласили, что в награду за сугубое послушание светлейший император Карл III жалует королю Сигурду шестьдесят возов золота в слитках и монете.

— Шестьдесят возов! — хлвнатоять новые налоги!..

## 9

Медленно наступало утро, сырое, промозглое, какие выдаются в разгар даже самой дружной весны. Темнота долго цеплялась за купы кустарника и низкорослых деревьев. Встающее солнце, словно кровавое око, пронизало туман. Люди коченели в ледяных панцирях и кольчугах. Боясь прогневить бога, винили в дурной погоде нечистого и начальство, стегали упрявившихся коней.

Эд и герцоги выехали на берег реки из ложбины, где по приглушенному говору можно было понять, что в рассветной мгле накапливается большое войско. Солнце поднималось, еще неясное, но постепенно заливавшее лучами зенит неба.

— Что там за высота? — Эд указал на лиловеющий гребень холма.

Азарика вынула из-за пазухи чертежник, который она, не доверяя фантастическим старинным картам, приготовила сама.

— Это *Mons Falcon* — Соколиная Гора.

— Кому она принадлежит?

На это Азарика ответить не могла. Удивленно переглянулись герцоги — зачем это нужно для предстоящей битвы? Вспомнили, что в обозе едет некто Юдик, бывший управляющий Аделаиды. Уж он-то знает.

Тем временем Альберик, сеньор Верринский, доложил о результатах разведки. Сигурд, почти лишившийся флота, медленно отходит по берегу Сены. Еле тянется его огромный обоз, конвойные с ног сбились, подгоняя рабов. Дорога усеяна телами умерших в плену.

Отыскали наконец Юдика, и тот, замирая от сознания собственной значимости, свистящим шепотом сообщил, что Mons Falcon — это и есть граница парижского лена. Эд удовлетворенно кивнул.

— Так что же? — спросил Эд, поворачивая коня к герцогам. — Здесь или уж нигде. Начнем?

Они молчали, а герцог Аврелианский, здоровенный человек с красным крестьянским лицом, сняв шлем, чесал затылок.

— Конечно, — криво улыбнулся Эд, — мы нарушаем мир, подписанный императором, и с точки зрения закона нас всех должны... — он провел себя пальцем поперек шеи, — но поражения быть не должно, тогда уж смерть.

— Тогда уж смерть! — как эхо, отозвался герцог Аврелианский.

— Ну? — Эд приподнялся на стременах, всматриваясь в напряженные лица герцогов.

— Аой! — звонко крикнула за его спиной Азарика.

— Аой! — поддержали герцоги, и их усеянные рубцами лица посветлели.

Эд приказал строить дружины по порядку, объявленному заранее. Воины строятся вокруг вассоров, вассоры — вокруг своих сеньоров. Сеньоры группируются вокруг графов, а графы окружают герцогов. Посреди же всей этой ячеистой массы, как стержень или как рулевое весло, будет он сам, Эд, и его палатины. Двигаться не торопясь, только под бой тимпана, только плечом к плечу. Никаких поединков, никакой погони за добычей. За нарушение — смерть на месте.

Герцоги согласно наклонили шишаки.

Сигурд несказанно удивился, увидев вместо рассеявшегося тумана неторопливодвигающееся против него войско. Нервно бил тимпан, бубенцы отзванивали ритм шага. Развевались значки дружин, а вопросы его глашатаев оставались без ответа. Приходилось принимать бой.

Раздосадованный король отправил скорохода к канцлеру Фульку, а сам приказал подать самый парадный панцирь, в котором на каждой вызолоченной плашке рунами было начертано название какой-нибудь из его побед. Впрочем, он не особенно тревожился, зная, что за награбленное его люди будут драться как львы. Войско же Эда ему не казалось многочисленным. Выпил рог вина и вышел к войску.

Выехал и Эд в острие клина своей армии. Хмурые бородатые или бритые лица следили за ним из-под шишаков и шлемов. Щиты слились в одну кованую массу. Задние положили передним копыя на плечи, и строй напоминал исполинского ежа.

— Свободные франки! — крикнул Эд, багровея от натуги. — Благородные всадники — кавалеры, эквиты или рыцари, как зовут нас на разных языках! Сегодня наш день, сегодня мы докажем, что не зря живем на грешной земле. За нами исстрадавшийся край, родина франков, Милая Франция, мы победим! Аой!

— Радуйтесь! — ответило ему войско. И Эд выдернул из ножен блистающий Санктиль, а в героических песнях после утверждалось, что гул пошел по всей стране.

Огромный ощетинившийся клин двигался, топча молоденькую травку Соколиной Горы. Кругом норманны кричали и бесновались, вызывая на поединок трусливых франков. Так было в обычае у всех храбрецов тогдашнего мира, но на сей раз франки, стиснув зубы, на вызовы не отвечали. Строй их надвигался, как ледяной вал, на кипящую лаву языческой орды.

Вот уже кони франков достигают вершины холма и топчут пурпурный шатер Сигурда. Из-под его рухнувших подпорок с жалобным криком разбегаются длиннородые прозорливцы. Вот безумные наскоки берсеркеров разбиваются о невозмутимость франков. Вот Сигурд схватывается с самим Эдом, но некогда следить за их боем, ибо по хриплому зову Датчанки франкский клин раскрывается, как пружина, и войско Сигурда расколото, отступает, огрызается, бежит, стараясь застать на берегу хоть какую-нибудь посудинку, проклинает злого Локи, который создал твердь земли. Ибо на суше терпят поражение «короли моря», привыкшие к изменчивой волне!

День укатился незаметно. Кажется, только что в рассветном тумане поднимались они на Соколиную Гору, а вот уже пылает триумфальный закат, толпы народа бе-



гут за Эдом, готовые целовать след от его коня. Глашатай не устаёт объявлять, что все бывшие пленные свободны.

Мимо норманнских палаток, в которых теперь лежали франкские раненые и суетились лекари, мимо сносимых в кучи бесчисленных трофеев, мимо телег с золотом Сигурда медленно ехал канцлер Фульк в сопровождении епископов. Прелаты, озирая поле брани, покачивали митрами не то в знак осуждения, не то от восторга.

Фульк осведомился, кому принадлежит Соколиная Гора, и, выслушав ответ, многозначительно поджал губы. В группе герцогов он различил алый плащ Эда и поехал туда. Нотарий сунул ему спешно заготовленную латинскую поздравительную речь.

Но вместо речи он неожиданно сам для себя как-то пошколярски, заискивающе осведомился, будут ли возвращены в казну шестьдесят возов золота в слитках и монете.

Эд смерил его взглядом от копыт мула до ушей, растопыренных из-под рогатой митры, и повернул коня к герцогам.

— Граф Битурикский, герцог Аврелианский! — возгласил он. — Сеньор Верринский, вице-граф Мельдский и все другие бароны, сеньоры, вассалы и вавассоры! Делите взятое, оно куплено вами ценою смерти храбрых и крови мужественных. Знайте: все, что когда-нибудь с вами возьмет Эд, будет принадлежать вам и больше никому!

Прелаты в ужасе простерли руки. Герцог Аврелианский, распоров мечом рогожу тюка, вынул из повозки фарфоровую китайскую вазу. Но тут же с другого конца за ее причудливую ручку ухватился граф Битурикский.

— Оставь! — сказал ему герцог, и бычья шея его вздулась от гнева.

Граф, не отпуская вазы, ударил его по кольчужной руке.

Тогда герцог мечом разбил вазу, чтобы она не доставалась никому, и граф, остервенившись, стал колотить его фарфоровой ручкой по шлему. Аврелианцы тут же вцепились в битурикцев, и воздух стал густым от брани. Над распотрошенным обозом туронцы тузили андегавцев, а валезцы — каталаунцев.

Над ними на холме граф Парижский Эд, он же Одон, сын Роберта Сильного, смеялся до слез, даже поперхнулся. Выпил поданного ему вина и вновь хохотал, пока последний солид из норманнской добычи не был поделен.

## Глава седьмая

# МИЛОСЕРДИЕ

### 1

Весна запоздала, и земля оттаивала туго. Туманы устилали равнину, млевшую в сыром полусне. Дождь лил и лил, так что в стране франков все прекратилось — и война и пахота. Люди и животные только и заботились, как бы забраться в нору посуше.

Тьерри Красавчик, поминая черта, еле вздул огонь, теплившийся в золе очага. «Хурн, нерадивый! — злился он. — Где тебя нелегкая носит? Проклятый ворюга, гляди! Появись ты только, подвешу над жаровней до утра... Мало тебе, что я сжалился, взял в оруженосцы, а не то, как слуга близнецов, болтался бы ты у Эда в петле!»

Тьерри недужилось, и, даже не омыв рук, он грохнулся на лежак, завернувшись в сырую волчью шкуру — иных одеял в его замке не имелось. Граф Парижский за верность, выказанную при защите города, разрешил ему вновь занять когда-то отобранный у него замок. И теперь с утра до вечера ломает он спину — меняет обгоревшие стропила, месит раствор, и все один-одинешенек... Ну погодите, Тьерри себя еще покажет!

Внизу стукнула дверь — наконец-то этот Хурн, бездельник! Так и есть: прокрался виноватой походочкой, склонился к уху сеньора:

— Хозяин! Все деревни я обрыскал... Мало того, что нигде нет съестного — вообще кругом все пусто. Люди ушли какого-то Гермольда слушать. Говорят, это певец или пророк. Еле удалось одному петушочку гребешочек свернуть.

— Петушочки, гребешочки... — прорычал Тьерри изпод волчьей шкуры. — Мерзавец! Жарь скорее, желудок светло!

Вскоре Тьерри с аппетитом доглядывал сочное крылышко, жалея, что петух попался Хурну невелик.

— Так к какому это, ты говоришь, все ушли Гермольду?

— Не знаю. Не сочти за дурную весть, но говорят, что с ним тот наш самый Винифрид и народу собралось видимо-невидимо.

— О-ла! — захохотал порозовевший от еды Тьерри

и вытер о мех жирные пальцы.— Винифрид! Мы ихнего Винифрида за кадык держим. Чего стоишь, разинув хлебalkу? Веди заложниц!

Вручил Хурну замысловатый ключ, и тот привел из подвала, подгоняя бранью и пинками, трех заложниц— нечесанных, окоченевших, закутанных в лохмотья, словно три мегеры. Представ перед Тьерри, они пали на колени, протягивая худые руки не то к нему, не то к живительному огню.

— Го! — развеселился Тьерри, ковыряя в зубах.— Ну, как? Образумились в погребочке? А не то опять примусь поджаривать пятки.

— Так ведь, светлый господин,— старшая из заложниц коснулась лбом пола у ног сеньора,— нет больше никаких сокровищ у Эттинов, все распылили мы, все прожили... Готовы поклясться на мощах любого угодника, нет у нас клада! А ты пожаловал бы нам хоть корочку...

— Деньги нужны мне, деньги! — заорал Тьерри.— Деньги, деньги, деньги!

Слово «деньги» он выкрикивал как магическое заклинание, сопровождая ударом сапога. Несчастные, голоса и пытаясь загородиться, повалились навзничь, а он кружился над ними, пиная то ту, то эту.

— Ты что, кудрявая, рожать собралась? — издевался он над заложницей помоложе.— Не дам родить сына мятежному Винифриду, не дам! А ты, девка,— пинал он третью,— нынче же изволь стелить мне постель. Вы Эда освободителем считали? А он вот мне все обратно отдал. А тебе, девка, он ни за что ни про что глаз выстегнул, и теперь ты, одноглазая, будешь моей рабыней, пока не околеешь.

— Деделла, голубочка...— причитала старая Альда, ползая за дочерью на коленях.

— Хозяин! — сказал Хурн, махая орущим женщинам, чтоб замолчали.— Там кто-то подъехал, слышишь рог?

Заложницы с надеждой примолкли, и действительно, сквозь шум непрерывного дождя послышался слабый голос рога. Тьерри, досадуя, приказал заложниц пока вернуть в подвал, сам приосанился и послал Хурна, как положено, протрубить в ответ и громогласно спросить имена. Расторопный Хурн все исполнил, но, вернувшись, доложил, что подъехавшие обещали назвать себя только

внутри замка. Тьерри поколебался, но всетаки решил отворить.

Это оказался сам канцлер Фульк в сопровождении графа Каталаунского — Кривого Локтя — и целой свиты всадников.

— Что за дурацкий обычай на весь лес орать, кто приехал да зачем! — ворчал Фульк, пока клирики проворно снимали с него мокрую каппу и стягивали дорожные сапоги. — Имеет же право канцлер Западно-Франкского королевства посещать замки своих верных, не крича об этом на всю Валезию!

Он принюхивался к застарелому запаху гари, оглядывал выщербленные во время осады стены башни, ежился от промозглой сырости.

— Скучно живешь, вассал графа Парижского, скудно...

Из его дорожной сумы извлекли вино и закуски, на которые, Тьерри, не скрываясь, глядел голодными глазами. Начался ужин.

— Нас поразило, — говорил канцлер, — что во всей Валезии, где бы мы ни ехали, все деревни пусты. Где люди? Нам объяснили, что объявился пророк. Так почему он еще не схвачен?

Кривой Локоть с усмешкой выразился в том смысле, что, если б пророк объявился в графстве Каталаунском, ему бы давно болтаться в петле, но здесь сюзереном Эд, граф Парижский...

— Я и собрал здесь вас, моих верных, — сказал канцлер, — видите, как нас немного осталось? — на эту, да простит мне господь, тайную вечерю, чтобы вновь поговорить с вами об Эде.

И он стал сетовать, что Эд крепок как никогда — и кто ему помог на Соколиной Горе, бог или дьявол? Страшно сказать — хватается за корону, уже присваивает себе ее права. Смотрите!

Он выложил на стол новенький серебряный денарий, на котором вместо одутловатого лица Карла III красовался чеканный профиль Эда.

— Почему Тьерри сам пилит, сам обтесывает бревна? Потому что Эд вернул ему замок, а крепостных не дал. А посмеет ли теперь Тьерри без его соизволения хоть кого-нибудь заставить работать на себя? У него есть горькие уроки непослушания (канцлер обвел рукой следы бывшего

пожара на камнях стен). А ограничивал ли вас кто-нибудь при Каролингах?

Кривой Локоть и другие, не прерывая еды, сокрушенно закивали.

— Кто же мешает, чтобы Эд, наконец, был устранен?

— Оборотень, — сказал Кривой Локоть, отрываясь от буженины.

И тут сквозь шелест ночного дождя снова донесся призыв рога. Фульк встревожился:

— Нельзя, чтоб меня видели здесь...

Посланный узнать Хурн прибежал с глазами как плошки, сообщая, что прибывший назвал себя — Озрик, графа Парижского верный.

— Вот мы его и схватим! — предложил Кривой Локоть, хватаясь за меч.

— Что ты! — остановил его Фульк. — Неужели ты думаешь, что Эд не знает точно, куда и зачем отправился этот его, прости господи, «верный»?

Решили попрятаться, благо полуобгоревших, заросших сорной травой помещений в замке Тьерри было предостаточно. Сам он привел в порядок для жилья пока только угол башни.

— Тьерри! — сказала звонко Азарика, войдя и шурясь на огонь очага. — Опять ты взялся за свое? Освободи немедленно Альду, Агату и Деделлу из рода Эттинггов, родичей лучника Винифрида.

После такого категорического требования, да еще кто знает, не из уст ли самого графа, Тьерри освободил бы заложниц, но он знал, что каждое его слово теперь чутко ловится из-за стены ушами гостей, да к тому же был сильно навеселе.

— Прелестненькая ведьмочка, — притворился он разнежившимся, — когда мы поженимся с тобой?

— Дурак ты, дурак! — Азарика приподнялась на цыпочках и согнутым пальцем постучала его по лбу. — С огнем играешь! Пока я шел сюда по переходам, я слышал из подвала женские стоны. Берегись, Красавчик, доберется до тебя народ!

— Твой народ мне тьфу! — Тьерри растер плевков сапогом.

Азарика долго уговаривала его, увещевала. Вчера она просила у Эда грамоту и отряд для вызволения Эттинггов, но граф равнодушно посоветовал им обратиться в судебном порядке... А теперь Тьерри, все более наглея, предла-

гал ей немедленно уехать, потому что он-де устал, а ночевать под одной кровлей с девицей, то есть с Озриком, ему не велит христианский его стыд. И Азарика, потеряв терпение, уехала в ночь.

— Проклятый оборотень! — закричали все в один голос, выходя из убежищ, где прятались.

— И заметьте, — крестился Тьерри, — стоило нам только его помянуть, а он тут как тут!

Хмель и кураж из него вылетели, и он чуть не стучал зубами от страха: а вдруг это и вправду был подручный сатаны, а он так непочтительно себя с ним вел?

— Старушечьи бредни! — усмехнулся Фульк, блеснув зрительным стеклышком. — Давайте лучше думать, как бы нам его изжить.

— Эда на трон посадим, — вскричал Кривой Локоть, швыряя собаке обглоданную кость, — а оборотня — себе на шею!

— Вот-вот! — подтвердил канцлер. — Но Эд странным образом глух ко всем предупреждениям об оборотне. Вы знаете, что он ответил на одно из таких предупреждений? Если, говорит, это и оборотень, то это оборотень мой, и я сам им распоряжусь!

Все застонали от возмущения.

— Утешьтесь, — продолжал Фульк, — он запоет по-другому, когда удаления оборотня потребует прекрасная Аола. Между прочим, она целиком в нитях моего влияния, а через нее и младший Робертин...

Тут он остановился, ибо понял, что выбалтывает лишнее. Кривой Локоть мрачно подытожил:

— Пока вы, ваша святость, плетете сеть из нитей своего обаяния, оборотень, словно жерех, пожрет нас, бедную плотву...

Канцлера осенило вдохновение, уши его порозовели.

— Его сразит тот, о ком он так печется, — народ!

— Как это? Как? — придвинулись к нему бароны.

— А вот как... — Фульк напустил на себя выражение тончайшей проницательности. — Как вы поняли здесь из разговоров, у нашего друга Тьерри кто-то сидит в залоге?

Тьерри забормотал оправдания.

— А я говорю — превосходно! — воскликнул Фульк. — Это как раз мы и используем во благо святому делу. Прекрасно! — ликовал он. — Мы убьем всех зайцев сразу... Народ, хо-хо, народ! Эй, клирики, подайте чернильницу, пенал и пергамент!

Утром дождь кончился. Свежий ветер унес прочь облака, и солнце засияло над Вalezией, осыпанной каплями брызг, точно мириадами алмазов.

А из леса вокруг башни Тьерри выкатывались, выбежали и выползали существа, похожие на чудовищ ушедшей ночи. Обросшие бородами, словно медвежьей шерстью, одетые в посконину, провонявшую от грязи и нищеты, они несли на плечах рогатины, держали в руках дубины. Лесные люди, заскоруждые, как корневища, одетые в звериные шкуры, вместо оружия волокли колья, обожженные в кострах. В плащах из вороньего пера шли ловцы птиц, добытчики дикого меда несли палицы из турьих костей. Терebileщицы льна, чьи желтые, иссохшие лица светились гневом и яростью, вопили надрывно и дико. Уроды — искалеченные войной, изломанные пытками, изуверенные господами, а среди них надуленный пузырь Крокодав и Нанус, рыночный мим с паучьими членами. — оглушительно свистели, мяукали, выли, орали. В мгновение ока поляна вокруг замка Тьерри, словно огромная чаша, наполнилась ими до краев.

— Отдай Эттингов! — требовали передние, колотя в ворота и яростно царапая камень стен. — Выпусти Эттингов, кровопийца! Сегодня их, а завтра до нас доберешься?

И вся гуца леса рокотала, угрожая.

Углежоги, которые от рождения не мылись, отчего сверкали белками, словно черти, свалили столетнее дерево, проворно очистили от ветвей и его стволом ударили в ворота, разом выдохнув: «Br-p!»

На холм, где некогда руководил штурмом Эд, круглощечные крестьянские сыновья внесли на плечах носилки из мягких ивовых ветвей. В носилках сидел старец Гермольд. Приложив ладонь к уху, он чутко вслушивался в грохот осады. За ним ехали единственные конные из всей массы осаждающих — Винифрид, который из-за ног, обожженных Тьерри еще в прошлом году, не мог ходить и которому крестьяне добыли лошадку у какого-то проезжего аббата, и Азарика на верном Байоне. Лесные люди настороженно косились на ее блестящий рыцарский панцирь.

— Вчера они там были живы, — уверяла она. — Я слышала их...

— Азарика,— сказал Винифрид печально, но твердо,— а я знаю Тьерри и его скорпионьи повадки. Если б той осенью ты не выбила из его руки меч, он покончил бы с нами еще тогда... Они мертвы.

— Итак,— решил слепец,— времени терять мы не можем. Вдруг к нему подоспеет подмога? Поскольку ты, Винифрид, согласен, мы пойдем на крайнее. Придется изжарить его, как перепела в горшке!

— Как перепела в горшке! — подхватили его приказание углежог, медовары, лесорубы и дружно потащили из леса сушняк, обкладывая стены.

Взвился огонь, и запахло едким листовым дымом.

Но ворота вдруг со скрипом раздвинулись. Оттуда ковыляли, торопясь, три сгорбленные, изможденные фигурки. Все умолкло, только в небе кружило потревоженное воронье.

Следом за пленницами вышел Тьерри, держа перед собой на пике развернутый свиток и выкрикивая:

— Я не виновен в их заточении, вот у меня приказ Эда...

Он не успел договорить. К нему протянулись десятки рук, корявых, выдубленных землей и навозом. Тьерри попытался, но было уже поздно. Они, как клешни, вцепились в его жилистое, вечно голодное тело, вырвали его глаза, отщипывали по кусочку, вкладывая в каждый щипок всю ненависть ко всем Тьерри в окружающем мире.

— Теперь по домам,— сказал Гермольд.— Мыши съели kota, и живо в норки!

— На Париж! — иступленно крикнул Винифрид, встав в седле.— Пощиплем главного насильника! На Париж!

— Ты с ума сошел! — кинулась к нему Азарика.

— На Каталаун! — закричали углежог из Сильвийского леса, который был на границе с Каталаунским графством и сильнее всего страдал от бесчинств Кривого Локтя.

— На Мельдум! На Квиз! На Компендий! — требовали крестьяне, окрыленные легкой победой.

Каждый выкрикивал название замка своего притеснителя, и лес отвечал им рычанием: «Ыр-р!»

Гермольд скомандовал добровольным носильщикам, и те подняли его легонькое старческое тело над толпой. Ссылаясь на свой опыт (участвовал в тридцати трех сражениях!) и на свое предчувствие (певцы ведь разговари-



вают с самим богом!), старец предупреждал, что лесным людям не выдержать натиска панцирной конницы, что нет у них ни таранов, ни баллист для осады замков...

— Лучше уж,—предложил он внезапно,—идемте в Лаон! Там Карл, посланный нам богом император. Говорят, он добрый, очень добрый...

— Карл Великий! — в восторге закричал народ, который мало разбирался в том, какой по счету из Карлов царствует.— Аой, наш великий Карл!

И напрасно Винифрид твердил, надрываясь,— на Париж, на Париж! Его уже никто не слушал, тем более что Крокодавль вздыхал подобно землетрясению: «Лаон! Лаон!»— и ему вторили все уроды.

— Отец! — подъехала Азарика к Гермольду.— Что ты задумал? Добр ли Карл или не добр, но ведь он же просто пешка! Зачем ты ведешь к нему этих простаков?

Гермольд помолчал, подняв незрячие глаза к солнцу.

— Иначе они станут громить замки, и это для них окончится хуже.

— Что же делать? — в отчаянии вскричала Азарика.

— А по мне,—махнул рукой Винифрид,—как раз бы и начинать с замков. По пояс влез — ныряй по горло! Пусть бы мы все погибли, но если б каждый убил по барону, перевелось бы их волчье племя!

Между тем замок Тьерри, который крестьяне набили хворостом изнутри и обложили снаружи, запылал так, что от жара жухла и сворачивалась молодая листва на опушке. Поток искр несся над головами, нужно было уносить Гермольда.

— Девочка! — обратился слепец к Азарике.— Выполни мою последнюю просьбу. Уходи! Уходи, пока не поздно, не для тебя это наше мужицкое глупое и святое дело...

Но она с болью в сердце ехала вслед по обочине дороги, стараясь не терять из виду колыхавшиеся над толпой носилки с белоголовым спокойным старцем. Мужики же не сводили с него глаз, при виде его доброй, слегка грустной улыбки умилялись и преисполнялись надеждой.

— Спой, отец наш! — просили они.

И он пел, сипя от натуги, потому что ему хотелось, чтобы его слышало как можно больше людей:

Шел Гелианд, царь правды, на священную войну,  
Вел за собой царь истины посконную страну.  
Он ловчих вел и рубщиков, лесных своих детей,

Землей пропахших пахарей, измученных людей.  
И с ним двенадцать рыцарей, апостолов мирских,  
Двенадцать беспорочных, могучих и простых.  
И говорит тут рыцарю Луке великий царь:  
«Вот лук тебе, лукавого и лютого ударь!»  
А Павлу дал он палицу: «Ты павших ограждай,  
Ты, Симон, сирых силою от сильных защищай...»

Когда смерклось, углежогги раздали факелы, и лаонская дорога осветилась потоком огней. Казалось, Млечный Путь, колыхаясь, течет по лесной просеке.

Азарика задумалась и отстала от носилок с Гермольдом. Выехала из лесу в долину Озы и увидела, что окружена толпой женщин. Они схватили храпевшего Байона под уздцы, и заострившиеся от постоянного голода их лица были враждебны.

— Это что за франтик?— закричала растрепанная злая старуха.

Но тут же нашлась и защитница. Изнуренная, вконец оборванная с седой прядью волос и ласковыми ямочками на щеках, она назвалась Агатой, женой Винифрида, и стала всем объяснять, что сеньор этот зовется Озрик и он очень, очень добр...

Злые морщины у женщин разгладились, но нехорошее предчувствие у Азарики нарастало, хотелось побыстрей вырваться из их жалкого и опасного круга.

— Ну, раз ты такой добрый, прочти-ка нам грамоту, которую мы отняли у Тьерри. А то у нас все такие грамотейки, что буквы путают с прялками или рогульками от хватов.

При свете чадящих факелов Азарика еле разбирала строки, написанные кем-то наспех да еще нетрезвой рукою:

— «Мы, божьею милостью граф Парижский Эвдус Одон, повелеваем тебе, Тьерри, взять под стражу и содержать крепко всех, кого удастся тебе разыскать, схватить, обнаружить из рода Эттинггов...» Ложь!— задохнулась Азарика.— Грамота подложная, на ней нет даже графской печати!— И продолжала читать, от возмущения не вдумываясь в смысл последующих слов:— «Делаю это по настоянию моего советника и истинного моего повелителя, мирское имя которого— Озрик, на самом же деле это оборотень, исчадие сатаны...»

— Так это, выходит, ты оборотень?— прервала старуха, хватая Азарiku за стремя.

— Я...—хотела она оправдаться, леденея от ужаса и чувствуя, как в ее панцирную стеганку, штаны, сапоги впиваются те же клещи, что утром растерзали Тьерри.

— Пойдите!—надрывалась Агата, пытаясь оттолкнуть остервеневших женщин.—Этот сеньор... Какой же он оборотень?

— А вот мы спросим его самого,—зловеще усмехнулась старуха.—Отвечай, нехристь, только не юли и предварительно перекрестись. Кто ты сейчас: мужчина или женщина?

— Женщина...— еле слышно ответила Азарика.

Ее ударили сзади по голове. Свет множества факелов, рассыпавшихся по долине, поплыл и заколебался в глазах. Ее старались стащить с седла, но верный Байон все время вскидывался, не давал. Били палками, сучьями, камнями, просто царапали и даже кусали. Кто-то в ярости ударил серпом коня, и Байон, отчаянно заржав, вырвался, помчался под градом камней, припадая на раненую ногу. Всадник обвисшим мешком мотался в его седле.

### 3

После заката Эд выходил на верхнюю террасу замка в Компендии, всматривался в дальние пожары, полыхавшие за лесом. Всю весну он приводил в порядок этот загородный дворец Карла Лысого, возводил башни, перестраивал стены. Окружающим он говорил, что хочет переселиться из Парижа, чтобы не докучать горожанам своим присутствием. Придворные, обозревая растущие, как на дрожжах, бастионы и шеренги палатинов, марширующих на плацу, вздыхали: «Орлиное гнездо!», а те, кто посмелее, оглянувшись по сторонам, поправляли: «Гнездо стервятника, вы хотите сказать?»

Эд возобновил посольство к герцогу Трисскому, вновь прося руки его наследницы, Аолы. Тем более что брат его Роберт неотлучно жил в Трисе, надо думать, неустанно располагая сердце невесты к блистательному жениху. Пронесли слухи, что в качестве свата Эд просил быть самого Фулька, но это было столь невероятно!

Известие о гибели Тьерри и внезапном исчезновении Озрика он получил одновременно. Придя в сквернейшее расположение духа, он уединился на террасе, вышагивал там, приказав палатинам гнать всех посетителей в три шеи. Принимал только вестников, которых рассылал сам,



чтобы узнать, какой еще замок сожжен или какой сеньор растерзан.

Ему рассказали о встрече Карла III с народом. Император в последние дни был озабочен прибытием в Лаон живого слона, которого послал ему испанский халиф. По всем дорогам им были разосланы слуги, поставлены запасы слоновьей еды, а в местах ночлега даже разбиты гигантские навесы. Слон мирно дошествовал до переправы через Озу, а здесь стремительная река не внушила ему доверия, и он отказался взойти на приготовленный ему плот.

Карл III лично выехал к переправе. Целый день слона уговаривали, понукали, заманивали, но усилия были тщетны. Иногда животное как будто бы склонялось к просьбам людей, даже ступало на мокрые бревна, но стоило ему ощутить под ногами колыхание реки, как оно, разбросав сопровождающих, кидалось обратно на берег.

Лишь к вечеру пфальцграф Бальдер вспомнил, что выше по течению есть так называемый Волоний мостик, по которому перегоняют стада. Слона повели туда, мост спешно укрепили, устлали соломой, и животное мирно перешло на лаонский берег под клики утомившихся придворных.

Здесь и увидел Карл III свой народ — приближающиеся к нему со всех сторон потоки факельного света. И народ впервые узрел своего владыку. Правда, на золотом фоне заката в белой мантии, издали похожей на обыкновенную простыню, на пузатой каурой кобылке он ничуть не был похож на Карла Великого из легенд — густобородого, велегласного, могучего, как двенадцать великанов, вместе взятых. Чисто выбритое мягкое лицо его расплылось в растерянной улыбке, глаза мигали от дыма факелов. «Что это, что это?» — спрашивал он у пфальцграфа.

И все же это был император, и люди валились на колени, плакали от избытка чувств, вопили кликуши, и все покрывал рокочущий гул Крокодавла.

— А это кто? — показывали на гороподобное чудовище с хвостом вместо носа, шествовавшее за Карлом III.

И это тоже было закономерно — владыка мира в качестве домашнего животного держит не какую-нибудь болонку, а эдакого адского коня с ногами в виде столбов!

Вынесли вперед носилки с Гермольдом, и старец,

окончательно лишившийся голоса, протягивал руки в сторону императора и его слона, хрипел и пытался вещать нараспев:

— Ты как месяц светлый в златом небе... Ты наша надежда, а мы твои божьи звезды, и нет нам числа... Владей же нами, накажи наших притеснителей, и мы за тобою всем миром... Победа тебе!

«Светлый месяц» ни слова не понял из того, что хрипел этот всклокоченный старик на плечах дюжих оборванцев. Повернувшись спиной к своим верным «звездам», он хлестнул каурую лошаденку и пустился во всю прыть по Лаонской дороге. За ним, оглядываясь в страхе, поспешала его пышная свита. Погонщики сумели подбодрить слона, и тот тоже побежал, раскачиваясь на тумбах-ножищах.

А народ, недоуменный, остался стоять на коленях под треск догорающих факелов. Становилось зябко, кричали голодные младенцы, в лесу выли волки и бродячие собаки. Новые толпы прибывали, привлеченные слухом, что сам Карл разговаривает с народом, давили передних.

Тогда случилось то, чего опасался Гермольд: все ринулись в свои края избивать господ. Запылала Каталаяунская земля, вдова герцога Суассонского только тем и спаслась, что псари покойного мужа вывезли ее в ящике из-под нечистот. Пикардия, затем страна Сикамбров, Арденнский лес превратились в кипящий муравейник. Все, что было тайного, лесного, подспудного в тихой стране франков, теперь всплывало наверх.

И странно, рассуждали придворные, в Парижском лене восстанием не тронут почти ни один бенефиций!

— Говорят, что как только мятежники крикнут: «На Париж!», идущие с ними уроды перебивают: «На Реми!» или «На Виродун!»

— Странно, очень странно... Не помогает ли Эду нечистая сила?

На третий день мятежа вестники сообщили графу Парижскому, что на опушке леса близ Воловьего мостика дозорными подобран Озрик, оруженосец графа, избитый, еле живой. Около валялся его издохший конь. Вскоре пострадавшего доставили в Компендий. Эд сам сошел к повозке, поднял оруженосца и, как пушинку, внес в замок. Там почтительно склонились мавританские врачи. Граф хотел разорвать рубашку раненого, но тот, несмотря на

слабость, загородился руками и молил оставить его в покое.

Эд велел его не трогать и, прежде чем уходить, задержался, глядя в темные от страдания глаза оруженосца. Тот сухими и жаркими, худенькими пальцами уцепился за его руку, и столько собачьей верности было в его взгляде, что суровый Эд не выдержал, опустился на колени, поцеловал маленького соратника в потрескавшиеся губы.

Слуги доложили, что прибыл Готфрид, граф Каталунский.

— Сидишь? — язвительно спросил Эда Кривой Локоть, входя в Залу приемов. Сагум висел на нем обгорелыми клоками — пришлось пробиваться через пылающий лес. — Это будет страшней, чем норманны. Когда собственный лакей набрасывается на тебя в спальне — увольте, это уж не война!

— Что тебе угодно? — холодно спросил Эд.

— Я спрашиваю: сидишь? — вне себя закричал Кривой Локоть. — У тебя-то все спокойно, ты и погляды-ваешь, как твоих собратьев избивают!

— Я предупреждал. Говорил об этом покойный Гоццелин и многие другие. Стране необходим король, а не рыхлая пешка.

— Ага-а... — иронически закивал Кривой Локоть, даже расшаркался в поклоне. — Вот как? Значит, правду говорят, что весь этот мятеж — твоя затея! Рассказывают, что мятежники носят с собой грамоту... Впрочем, наплевать, мне хоть бы черт на троне, лишь бы спокойно было в поместье.

— На что ты все намекаешь, Кривой Локоть? — с прежней отчужденностью спросил Эд. — Живи я по твоему подобию, я бы, воспользовавшись твоей беззащитностью, тотчас хватил бы тебя — и в каменный мешок. Но сейчас не время для раздоров. Ступай, отдохни, приведи себя в порядок, слуга покажет отведенный тебе покой.

Пришли мавританские врачи и, покачивая тюрбанами, выразили озабоченность по поводу здоровья любимца графа. Вся беда в том, что этот достопочтеннейший Озрик, хоть и в бреду, никого к себе не подпускает, нельзя даже осмотреть... Граф отослал их и вызвал дежурного гонца.

— Скачи немедленно в Туронскую землю, в урочище Морольфа. Коней загонишь — не жалко, лети!

Открыв глаза после очередного забытья, Азарика различила в полумраке знакомый до отвращения горбоносый, со впалым ртом старушечий профиль. А ей-то снилось поле из цветущих маков, июльский ленивый ветерок шевелил их яркие, крупные лепестки. Затем она обнаружила, что лежит голая, укутанная в простыню, обложенная какими-то примочками и духовитой травой. Она хотела вскочить, но Заячья Губа проворно ее удержала:

— Лежи, лежи, дурочка... Чего ты?

Она шаркала в шлепанцах, готовила лекарства, гоняла мух, жевала деснами разносолы, которые почтительно доставляли ей графские повара. В свободную минуту садилась возле Азарики вязать чулок и была похожа на добрую бабушку в благополучном доме.

— Послушай, я расскажу тебе историю твоего происхождения, пора бы уж тебе знать. Однако не воображай, что я тебе раскрою какую-нибудь царскую родословную. Ты найденыш, и родители твои невесть кто — пахотные, черные люди.

Старуха ловко накидывала крючком петли, то и дело относила вязанье в сторону, любуясь.

— Так вот. Как ты уже понимаешь, Одвин не родной тебе отец. Уж кто был в свое время заядлый бунтарь и мятежник, так это Одвин. Подбивал на мятеж где только можно, пока не вынужден был на старости лет скрываться в туронских дебрях. А уж какая голова, какой ум! Итак, твои настоящие родители были повешены после одного из таких мятежей, и подыхать бы тебе в канаве, если бы не Одвин!

Азарика разглядывала игру солнечных зайчиков на беленом своде. К ней возвращалась ее давняя несказанная грусть. Отец — не отец. Какое, в конце концов, дело, кто дал ей телесную жизнь? Одвин дал ей жизнь духовную, и только он ей отец навеки.

— И что за блажь поднимать мятежи? — разглагольствовала старуха. — Если все захотят быть господами, кто станет обрабатывать поля? Господа ли, рабы — все хотят одинаково кушать. Начнется голод страшный, мор, станут есть человечину, ведь так уже бывало... Рабство вечно, пока существует человеческий род! Вот и теперь они бунтуют, а поля ведь не засеяны. Осенью хватать-похватать, а хлебушка-то и нету!



Азарике же виделась текущая по темному лесу река факельных огней, в ушах звучала грозная песнь про царя истины, идущего истреблять зло. Как-то они там? Что они там?

Заячья Губа откровенничала:

— Я ведь присматриваюсь к тебе давно. Кто знал Одвина, тот сразу угадает в тебе отражение его ума. Но, признаюсь, я хотела тебя уничтожить.

Азарика невольно повернула к ней голову на подушке. Зрачки блистали из-под намазанных бровей колдуньи.

— За Эда! — Старуха подняла назидательно палец. — За моего Эда!

Зайчики плясали, свиваясь и развиваясь. Мелькал крючок в желтых пальцах старухи.

— Да, да, за Эда. Но ты сама себя спасла, выручив его у святого Эриберта. Ты была ему единственным верным другом, и поэтому я люблю тебя почти как его!

Она отложила вязанье, прошлась по комнате. Чутко поворачивала ухо, ловя подозрительные шумы. И вдруг повернулась, пошла навстречу ожидающим глазам Азарики. Ведьма вновь проглядывала в ней — в хищной походке, в завораживающих жестах, в прищуре безжалостных глаз.

— А теперь ты должна уйти! Уйти добровольно! Эд не может стать королем, пока возле него оборотень!

Она еще пометалась из угла в угол и наконец уселась, подобрав вязанье.

— Признаюсь честно — ты хорошая девка. Моему бы сыну я лучшей жены не желала. Но Эд — другое! Он король, король по духу, по славе, по красоте! Хочешь, я подберу тебе жениха из сеньоров — в Саксонии, в Аквитании, где тебя никто не знает? Не хочешь? Впрочем, понятно: ты любишь Эда, кто ж тебе заменит его... И я ведь была такой! Но корона, корона и потом Аола, невеста...

Всю эту ночь Азарика лежала с открытыми глазами. Боль телесная уступила место боли душевной... Нет больше ей в этом мире приюта!

А Эд ее и не навещал. Свадьба, строительство, пылающие у границ имения, то и дело приезжающие бароны, среди которых и бывшие враги. До оруженосца ли теперь?

Однажды трубы возвестили прибытие знатнейших персон. Выглянув, обитатели Компендия увидели ковровые возки и носилки, покрытые парчой. Реяли вымпела на пиках многочисленной кавалькады. Из черного возка вы-

брался канцлер Фульк, какой-то помятый, грустный. Рассеянно благословлял встречающих.

Эд спустился ему навстречу по главной лестнице, где палатины в парадных панцирях выстроились на каждой ступеньке.

— Сын мой...— всхлипнул Фульк, протягивая ему руку для поцелуя.— Какие испытания, какие невзгоды! Я привез под твою защиту принца Карла, его имение вчера разорено злодеями. Будь заступником сироте, ведь это последний отпрыск великого рода Каролингов!

И уже через час по всем дорогам поскакали вестники, развозя грамоты канцлера. В них все герцоги, графы, сеньоры призывались под знамена Эда, защитника Западно-Франкского престола.

Пришел день, когда Азарика встала, натянула на себя свой вдруг ставший широким сагум и, опираясь на палочку, прошла от кровати к окну. Во внутреннем дворе стоял шум невообразимый— выстраивались конные отряды, из ворот выезжал, скрипя осями, обоз. Каких только штандартов и значков нельзя было увидеть— вся древняя Нейстрия прибыла под команду графа Парижского!

Эд выступал в поход и даже не пришел проститься с ней, Азарикой, а ведь они теперь не увидятся никогда!

Азарика оглянулась, высматривая Заячью Губу. Та на кухне спорила с поваром по поводу каких-то печений. Прихрамывая, девушка выбралась из комнаты и вдоль стены, увешанной сарацинскими коврами, приблизилась к двери Залы приемов.

Эд был там— в золоченом панцире, с красным султаном на шлеме. Вокруг него толпились герцоги и графы, а Кривой Локоть держал его дружески под руку. Азарика у притолоки не сводила с него глаз, пока во дворе не слышалась команда «по коням» и придворные не двинулись вниз.

— Нет, не могу, пока не услышу от него еще хоть слово!

Сама для себя неожиданно она произнесла это вслух, и все стали оглядываться на нее. Она решительно вошла в Залу приемов, и все расступились, поглядывая на прихрамывающего юношу с давно не стриженной головой и с любопытством переводя взгляд на графа, блистающего, как некий истукан.

Азарика шла, неотрывно смотря в глаза Эду, стараясь навек запечатлеть в памяти его серые спокойные глаза

и его смелое лицо. Она сразу почувствовала отчуждение, которое возникло у всех, как только она появилась, но хуже всего была досада, мгновенно промелькнувшая в лице Эда.

— Это ты, наш маленький Озрик?—ласково обратился к ней Эд.—Ты уже поправился? Молодец! Скажи, есть ли у тебя какое-нибудь пожелание мне в дорогу?

— Есть,—сказала Азарика и откашлялась, чтобы говорить чисто и звонко.—Будь милосерден, граф Парижский. Щади малых твоих, мужиков серых и глупых. Ведь если ты станешь королем, ты будешь и их королем!

Эд напряженно ждал, что скажет она еще. Но она теперь молчала, горестно глядя на него снизу вверх. И он, дотронувшись до ее плеча, усмехнулся:

— Мужичкий король, значит? От-лич-ная шутка!

И все герцоги, графы, сеньоры и прочие по достоинству оценили отличную шутку. Разинув пасти, усатые и бородатые, они захохотали: «Ой, умора, мужичкий король!», а те, кто стоял позади, шептали соседям, что вот это-то и есть тот самый оборотень, любимец Эда!

## 5

Злодейка старость нещадно гнула Фортуната. Когда приходилось куда-нибудь брести, он теперь то и дело останавливался, чтобы поднять нос и осмотреть дорогу. Но он бодрился и воображал себя юрким и деловитым. На лето он вновь выселился в свою лесную келейку, только просил послушников, чтобы, приготовив все необходимое, они уходили восвояси, оставляя его в полном уединении.

А он доставал свою пухлую Хронику и—увы!—по-прежнему из тайника, потому что хоть приор в монастыре был новый, но повадки у власти остались старые. Вздыхал, поминая тех, кого унесло быстротечное время, разглаживал страницу, скрипел пером, выводя год.

«Год 888 (полюбовался—три восьмерки, как три аккуратненьких двойных бублика!). Прибыли в град святого Ремигия, иначе называемый Реймс или Реми, первосвященники Франции и первовластители ее. Был съезд великолепный, блеск, подобного которому отчизна франков не видела со времен Людовика Благочестивого. И возложил корону Хлодвига на главу славного Эда, которого иначе называют Эвдус, Одо или Одон, не кто иной, как досто-

почтенный канцлер Фульк, архиепископ. И держал при этом боевой меч брат нового государя, отныне граф Парижский Роберт, а будущий тесть, герцог Трисский, держал на подушке государственное яблоко или державу...»

Фортунат откинулся, радуясь четкости минускула, ровности строк, и весело подергал себя за седой хохолок. Перо бежало дальше: «...Император же божьею милостью Карл III стал готовиться к возвращению в страну тевтонов, потому что напали там свирепые венгры, а тамошний бастард, герцог Каринтийский Арнульф, обвинил светлейшего в бездействии. И выехала в канун вознесения из Лаона императорская чета и держала путь на Трибур, что на берегах Рейна, где повелел светлейший собрать съезд тевтонских князей...»

Старик тревожно взглянул на дверь, заслоня рукавом свою Хронику. Там в квадратном проеме на фоне зеленого света и резной листвы клена появился юношеский тонкий силуэт. Фортунат сощурился, а сердце скорей угадало, чем узнало:

— Озрик! Святые угодники! Входи, мальчик, входи. Ты же всегда здесь желанный гость... нет, ты хозяин в этой убогой келье... Постой, дай-ка я вылезу из-за стола. Видишь, стал я немощен, как и болтлив, даже пишу не стоя, как полагалось бы по уставу...

Он суетился, роняя то одно, то другое, но ни о чем не расспрашивал, ничего не добивался. Помог Азарике снять панцирный наряд, ахнул, увидев палочку, с которой она передвигалась. Утром хлопотал, чтобы принесли козьего молочка с выгона, оно исцеляет. Лично отправился к новому приору просить разрешения Озрику остаться. Но тот лишь важно наклонил голову — бывший оруженосец был вчера доставлен на королевских лошадях, и с ним прибыла соответственная виза.

А дни стояли великолепные, лето находилось в зените своего царства, все обещало и изобилие и мир. Лишь по дорогам пылили копытами дозоры и заставы — вылавливали разбежавшихся после мятежа. Велено было смертью не казнить, а, наказав плетью, возвращать прежним сеньорам. Незыблемая Забывайка была набита этими горемыками.

Азарика вставала чуть свет, слушала возню и веселье птиц. При восходе в одной рубахе длинной, до пят, спустилась к воде. Убедившись, что старик знает, кто она, перестала перед ним притворяться, хотя он по-прежнему

с оттенком грусти называл ее «Озрик» и «сын мой» или просто «мальчик».

Там, где мелкая Мана, вынырнув из густых колеблемых ветром камышей, под зеленой сенью столетних вязов готовится впасть в Лигер, была у нее излюбленная заводь. Там на чистейшем песчаном дне сновали стайками рыбки-уклейки, раковина-жемчужница раскрыла створки навстречу кристально чистой струе. Азарика, оглядевшись, скидывала рубаху и, осторожно держась за шершавый ствол нависшей над водою ивы, входила в ледяную поначалу и такую живительную воду!

Затем сушила волосы, которые она перестала стричь. Сидела задумчиво на старом стволе, опустив ноги в воду, и ласковая вода обтекала ее босые пальцы.

Двойная жизнь кончилась, все отлетело прочь — и доброе и дурное. Теперь уж незачем ни лицемерить, ни хитрить, ни надевать маски, а сердце — отупело, что ли? — даже не чувствовало обиды. Только злой разум вновь и вновь подставлял, по-разному варьируя, одну и ту же сцену — венцы, вознесенные над головами, утробный бас диакона, лицо Аолы, как всегда равнодушно-царственное от сознания своей красоты и врожденного превосходства...

Но надо же как-то жить?

Однажды она гуляла по лесу (палочку уже отбросила, хотя еще прихрамывала немного). Там, в светлых рощах берез, монахи еще с осени заготовили дрова, и поленницы то тут, то там возвышались меж кустами. И там ей послышался отчетливый детский плач. То есть она точно не знала, потому что никогда не возилась с детьми, но инстинкт ей подсказывал, что так кричит новорожденный, самая кроха, который ужасно хочет есть.

Определив, что крик раздается изнутри обширной поленницы, она осторожно обошла ее с подветренной стороны и, найдя узкий проход между двумя пирамидами дров, бесшумно заглянула туда.

Там имелось небольшое пространство, которое ленивые монахи устроили, чтобы скрываться от требовательного приора. Под соломенным навесом, прямо на траве и одуванчиках, лежала, не шевелясь, женщина. Ее босые ноги были покрыты рубцами давних увечий и сбиты в кровь, изъедены язвами чуть ли не до костей. Ребенок надрылся, а лежащая не шевелилась, и Азарика уже хо-

тела войти, как женщина со стоном приподнялась на локте, достала грудь и прижала к себе младенца.

— Ешь, маленький, ешь, бедняжка Винифрид, если что-нибудь сумеешь высосать из этого дряблого мешка!

Это была Агата, она кормила новорожденного сына Винифрида и звала его так же, как отца, — Винифрид! Азарика окаменела, следя за свершавшимся у нее на глазах великим таинством кормления младенца.

— Ах! — простонала Агата, откидываясь на траву. — Я и сама-то третий день, кроме щавеля да молочая, во рту не держала ничего и встать вот не могу...

А ребенок надрывался, требуя своего.

Тогда Азарика кинулась в келью, набросала в холщовую сумку хлеба, вяленой рыбы, печеной репы, налила в пузырь козьего молока. Еле дождалась ночи и, забыв про хромоту, понеслась к поленице.

— Кто это? Кто? — тревожно встретила ее Агата. — Ты кто, говори! Не дам ребенка, не да-ам! Лучше убей...

Но, сделав несколько глотков молока, успокоилась. Затем стала принюхиваться и прислушиваться в абсолютной тьме и подозрительно спросила:

— А ты, случайно, не Озрик будешь или как там — Азарика?

И, убедившись, что это именно так, заголосила на весь лес:

— Уйди, оборотень проклятый, отродье сатаны, ничего твоего не возьму! Не загублю его крохотную душу!

Ударила по пузырю с молоком, отбросила ковригу хлеба. Проснулся ребенок, и она иступленно выла:

— Это ты, оборотень, принес горе нашей семье! Это из-за тебя все Эттинги погибли!

Пришлось спешно уходить, и всю ночь Азарика тревожилась, потому что даже из кельи слышны были жалобные крики в лесу.

На рассвете она встала, подкралась к поленице, там все было тихо. Заглянула осторожно — мать и ребенок мирно спали. И она отправилась к реке. Но здесь ее ожидал новый сюрприз. Как всегда, она неторопливо скинула рубаху, обвеваясь на свежем ветерке и спустилась в заводь, пошлепывая по воде. Зажмурившись от наслаждения, погрузилась по самую шею.

И вдруг красивый мужской голос с чужеземным акцентом сказал над самой ее головой:

— А эта девочка много испыталь... Ай-ай, какая шрама!

На нависшем стволе старой ивы в мелкой листве притаились двое — и как только она не заметила их! Туники их были расшиты не по-франкски — красным крестом. На ногах красовались кожаные лапти в ремнях.

Предательская речная вода — чиста, как стекло! Стремглав выскочила на берег и, быстро схватив свою одежду, скрылась в кустах.

Сошли с дерева и те вдвое — широкоплечие юноши, до того загорелые, что на их коже издали был виден белесый пушок. Переговаривались на незнакомом языке; один из них, очевидно, бранил того, который с ней заговорил. Они приблизились к кустам, где спряталась Азарика, и она, одетая, молча встала перед ними, держа блестящий клинок. Слава богу, сегодня, ожидая возможной стычки в защиту Агаты и ее ребенка, она захватила с собой перевязь с мечом.

— Ой-ой! — сказал насмешливый, помоложе, тот самый, что заговорил с ней. — Что за девочка боевой!

Он поклонился, опустив руку до травы, и представился:

— Я Ивар, а это мой брат Эйн. Мы бретонцы, слышаль — Гаэлис Гламмар, такой есть народ? Вы боитесь бретонцев, потому что они воруют люди по берега ваших рек... Но мы не те, мы мирный купец...

Через некоторое время Азарика, чего сама от себя не ожидала, сидела с ними на холмике у небольшого костра, где на обструганных палочках жарилась необыкновенно вкусная рыба. Бретонские парни оказались ничуть не страшными, а, наоборот, очень симпатичными и даже доверчивыми. Рассказали ей (впрочем, рассказывал Ивар, который знал по-романски, а старший, Эйн, только кивал головой), что они плывут сверху, с ярмарки в Аврелиане, где закупали кричное железо, потому что их отец — оружейник в Кернадеке. Теперь они ждали, когда ветер задует с моря, чтобы пройти отмели в устье Лигера. Их барка стояла в камышах, в излучине Маны, и была так искусно спрятана, что Азарика различила среди кувшинок низкие борта с намалеванными языческими рожами, только когда ей их указали.

Так началось их знакомство. Азарика ничего им о себе не рассказывала, а они усиленно гадали, кто она такая, и все вместе дружно смеялись. По утрам она по-прежнему

приходила купаться, но сначала на всякий случай внимательно озиралась. Впрочем, теперь это и не было нужно — бретонцы добросовестно отсиживались в своей барке, ожидая, когда она выкупается и позволит им подойти. И тут начиналась рыбная ловля, и костер, и бесконечные разговоры про зеленую Гаэлис Гламмар, где нет господ, а все равны между собой.

Конечно, они могли в один прекрасный миг заткнуть ей рот и утащить на барку — Азарика слышала такое! Но и она ведь могла однажды привести к их барке вооруженных монахов...

Азарика чувствовала, что не на шутку приглянулась веселому Ивару, да и его брату Эйну она по душе. Ивар вообще не сводил с нее глаз и старался услужить чем мог. И это ей было приятно, это снимало горечь с ее души.

Но у нее была еще забота об Агате и ребенке. В первый же вечер она вновь отправилась в поленницу, запасшись продовольствием. Агата лежала в забытии, и Азарике удалось немного накормить ее жеваным мякишем. Но что делать с мальчиком, она решительно не знала. Разорвала ему на пеленки один из найденных ею в келье балахонов (Арифметики или Музыки — теперь уже не важно...). Сделала из тряпки импровизированную соску, макнула ее в козье молоко, и маленький Винифрид сосал вовсю, это ему даже нравилось!

Так приходила она к ним два раза в день. Агата уже не отталкивала ее, хоть и не произносила ни слова. Даже не беспокоилась, накормлен ли ребенок.

На четвертую ночь она окликнула Азарiku:

— Я умираю... Во имя неба или во имя ада, не дай погибнуть малютке!

В шуме листвы ей чудился кто-то.

— Иду, любимый... Иду, теперь уже недолго!

Рассказывала, будто сама себе:

— Они встали, спина к спине... Винифрид, Ральф — его младший брат, другие. Слепца в середину... Гермольд все ободрял — дети, смелее, немного боли, и конец, живыми не дадимся... — И повторяла, еле шевеля сухими лепестками губ: — Немного боли, и конец... Немного боли, и конец...

Потом вдруг приподнялась и засмеялась:

— И все-таки я была счастлива. Ты слышишь, оборотень?



Счастлива! В невероятных мучениях и нужде счастлива, потому что любила своего горемыку Винифрида!

А была ли счастлива Азарика? Приезжая куда-нибудь в замок, Эд заботился: «Накормите моих собак и оруженосца...» Мерзкая жизнь оборотня, вечный страх позора — чтобы все это повторилось? Нет, никогда! Нет, ни за что!

А душа все-таки непрерывно болела, переживала вновь каждую деталь былого, проклинала и тут же плакала опять. Страдала — не за себя, за Эда, которому так нелегко быть королем!

В ту ночь Азарика не вернулась в келью Фортуната. Не пришла она и на берег Маны, потому что копала могилу Агате, потом устраивала в поленище новое гнездо для ребенка. Когда-то отец взял приемышем ее, Азарикку. Теперь она возьмет приемыша себе. До осени можно как-нибудь прожить — в лесу бродят козы с козлятами, есть знакомство на монастырской пекарне, — а потом? Как быть потом?

Только к вечеру, когда ребенок, сытый, заснул, Азарика спустилась к заводи. Поднялся ветер, он раскачивал ветлы, ерошил камыш. Ивы, колыхаясь, окунали в реку зеленые косы.

— Мы уплываем, — поднялся ей навстречу Ивар. — Я думаль, не видим больше... Знаешь? — засматривал юноша ей в лицо. — Едем с нами?

— Ивар... — ответила Азарика, ласково отстраняя его руки. — У меня ребенок... Мальчик!

— Я понимаю... — кивнул Ивар, — я зналь почему-то... Это ничего. Мы воспитаем его как бретонский богатырь Кухулин!

Высоко в небе летели недостижимо чистые белые облака. Сразу похолодало, очертились края далеких лесов. Ветер с моря крепчал, его порывы трепали неубранное сено, хлопали дверьми, а в монастыре рвали канаты на звоннице, и колокола гудели сами собой.

## 6

Тысяча всадников сопровождали императора, покидающего пределы Галлии. Но на стоянке в Виродуне в дорожный шатер Карла III явился Рорик, великий коннетабль, и просил разрешения отъехать со своими. Начинается жатва, а после всех неустойств и разорений так нужен

хозяйский глаз! Рорик был отпущен, но на следующее же утро с подобной просьбой пришли уже графы Каризиацкий, Битурицкий, Карнутский... Свита таяла, как мартовский снег.

Виродун проехали в пыли от множества копыт, с развернутыми знаменами, с приветственными кликами горожан. Но близ лотарингской границы их не ожидал, как полагалось, встречающий эскорт тевтонских сеньоров. Внезапно хлынули дожди, и в Гундульвию, пограничный городишко, императорский поезд прибыл лишь в сопровождении двух десятков полуголодных вавассоров. Ухабистая дорога от самого Виродуна оказалась усеянной сломанными повозками, застрявшими возами, опрокинутыми сундуками.

Но и на границе никто не встречал Карла III и его супругу. Поскольку император пребывал в обычной меланхолии, Рикарда вызвала к себе пфальцграфа Бальдера и, подавляя свою к нему неприязнь, просила скакать через границу в Туль, разузнать, в чем там дело.

Ей стало ясно, что в этом вонючем городишке предстоит пробыть долго. Замок гундульвийского сеньора — нелепая подслеповатая башня в духе нынешних времен — только строился, и пришлось расположиться на пограничном постоялом дворе, кишевшем насекомыми. Император, будучи водворен в одну из верхних комнат почище, тут же возлег на приготовленное ложе, предаваясь грезам невесты о чем. А Рикарда, как разъяренная пантера, все не могла успокоиться, ходила взад и вперед по ветхим переходам.

К вечеру она призвала к себе Берту и чтеца-итальянца. Из многих промокших и треснувших сундуков и укладок выбрала что поновее и подороже, переложила в два окovaných медью ковчежца. Послала Берту вниз за добавочными веревками, а сама ласково положила руку в браслетах на плечо итальянца:

— Ринальдо, кажется, наступает то, о чем мы когда-то с вами мечтали... Будьте готовы в любой момент!

Тот покорно опустил красивое черноглазое лицо, как всегда выбритое досиня. Вернулась Берта и стала рядом с ним, хлопая белесыми ресницами. Какое-то странное напряжение чувствовалось в них, но Рикарде было не до того!

В полночь ее разбудили, вернулся пфальцграф Бальдер. Грохая сапогами, вошел к ней в комнату; она вопро-

сительно приподнялась, придерживая на груди ночную кофточку. С откинутой каппы пфальцграфа на нее летели холодные брызги.

— Император низложен в Трибуре,— бахнул пфальцграф, не дожидаясь, пока она вышлет за дверь Берту.— Съезд тевтонских князей не стал ожидать прибытия его светлейшества...

— Кто же...— Она хотела спросить, кто избран, но воздуха не хватило.

— Арнульф, герцог Каринтийский.

— Бастард?

Пфальцграф молча кивнул. Императрица больше не спрашивала ни о чем, только подвески ее нервно позвякивали.

— А как же Фульк, Фульк...— оживилась она, даже освободила край ложа, чтобы пфальцграф мог присесть.— Неужели он примирился с Эдом и прочими бастардами?

— Откровенно скажу,— пфальцграф шаркал ногой, рассматривая что-то на полу, но на край ложа не сел,— никто другой столько не сделал для избрания Эда, сколько вы, государыня...

Да, да, она понимала это и тысячу раз прокляла себя, но что же делать? Неужели и Фульк теперь не поможет? А ведь она вытащила его из грязи за его бледные, уродские уши... Вспомнился последний с ним разговор перед отъездом из Лаона, его ядовитые извинения за пощечину, его туманные намеки на сердечко со снадобьем, его многозначительные оханья по поводу того, что Аола, увы, не любит жениха.

Стоп! Молния пронзила разум, осветила всю картину!

— Голубчик Бальдер...— начала она как можно проникновеннее.— Ваша судьба теперь зависит от судьбы его светлейшества, а значит, и моей. Вы устали, промокли, но нечего делать. Берите свежих коней, скачите в Париж, там готовится свадьба. Передайте невесте мой подарок и скажите — только непременно наедине! — пользоваться им ее научит канцлер Фульк... Или Готфрид Кривой Локоть!

И, сняв с лебединой шеи своей золотую цепочку с медальоном «Дар Локусты», она отдала ее пфальцграфу. Дождь лил так, будто начался всемирный потоп.

Утром никак не могла дозваться Берты. Пришлось самой спускаться вниз, кое-как одевшись. Содержатель постоялого двора, грубый, неприязненный мужчина, на ее вопрос ответил, откровенно ухмыляясь, что ночью, как

только перестал лить дождь, камеристка их светлейшества госпожа Берта и чтец их светлейшества диакон Ринальдо на императорской шестерке лошадей выехали в Туль...

— Мои ковчежцы! — воскликнула Рикарда.

— Они уложили их с собой.

— Остановить их!

— Вчера по приказанию вашего светлейшества кучеру этой шестерки была выписана грамота, чтобы везде давали лучших лошадей.

— Поднять вавассоров!

— Тех, что оставались, забрал с собой пфальцграф.

Рикарда взбежала наверх. Карл III покоился, в задумчивости перебирая янтарные четки.

— Вы дерьмо, — сказала Рикарда сиплым от переживаний голосом. — Вы более не император. Вам надо устраиваться в пастухи. Выпишите себе свою коровницу из Ингельгейма, вот будет парочка!

И она выдавливала из памяти все самые скверные, самые грубые аламанские выражения и швыряла их ему в лицо. Но поскольку Карл даже не менял позы, только мигал заплывшими глазками, она топнула на него, слезы брызнули с накрашенных ресниц, и она выбежала вон.

Рикарда бежала по лесной дороге, спотыкаясь о корни, проваливаясь в лужи, и повторяла без смысла: «Повешу... Распну... Прикажу пытать...» Лесная дорога была бесконечной, за новым поворотом открывались новые дали и новые ухабы, а она все бежала, выкрикивая проклятия.

Но вот впереди с раскидистого вяза взлетело, каркая, воронье. Рикарда остановилась, подняв голову, и разглядела в ветвях нечто такое, что ее ужаснуло и привело наконец в себя. Там, раскачиваясь от ветра, висели четыре полусгнивших трупа, лица их были расклеваны до костей. Проклятый Эд всюду развесил мужиков, взятых при подавлении мятежа!

Не в силах более двигаться, она упала к подножию вяза, сама себе казалась качаемой ветром и плакала, как девочка, навзрыд.

Смерклось, и она почувствовала вокруг движение каких-то существ, их алчное дыхание вблизи. Вскочила — это были одичавшие собаки, которые стаями следовали за карателями Эда.

Они приняли ее за труп! Рикарда схватила сучок и запустила в них, крича: «Я еще живая!» Так отбивалась она

от них и кричала, кидалась палками, пока снова не начало светать. Неожиданно собаки исчезли, поджав хвосты, а на дороге послышалось чавканье многих ног, постукивание посохов и пение, похожее не то на стон, не то на молитву. Рикарда сообразила — это идут уроды. Вечно бредут они от города до поселка, от замка до монастыря по дорогам нищей страны:

Она очнулась снова в нижней, вымощенной кирпичом зале постоянного двора в Гундульвии. Пылал очаг, за дощатым столом уроды ели и пили, гнусавя псалмы. Рикарда пожелала знать, кто ее подобрал и вынес из леса. Двоих уродов она знала давно — это были Крокодавл, у которого смешная головка росла прямо из чудовищного пуза и который в день избрания Эда на графство исполнял роль сатаны, ревущего из ада, а также Нанус, рыночный мим. Третий был даже не урод — просто могучий человек, правда, очень толстый, с молодым и добрым лунообразным лицом.

Рикарда оживилась, приказала подать мяса, вина, усе-лась с богатырским толстяком рядом. На ее расспросы он поведал, что зовут его Авель и идет он куда глаза глядят из монастыря святого Германа, что в Париже.

— Ах, помню, помню! — воскликнула Рикарда. — Это ведь ты герой осады, мне рассказывали. Ты одной оглоблей убил сразу десятерых данов!

Толстяк скромно потупил очи.

— Чего же ты теперь среди нищих? Ведь, насколько я помню, покойный Гоццелин завещал рукоположить тебя в приоры святого Германа?

— Они взялись учить меня читать. Прочти, говорят, словечко, тогда мы тебе мясца дадим... Я с голоду у них подыхал!

Рикарда хохотала, звеня браслетами, забыв о давешних невзгодах. Принесли вина, она выпила, скинула шаль, грея в отблесках очага обнаженные плечи и руки.

— Ах, какие у тебя мышцы, Авель! — восхищалась она. — Можно, я хоть одним пальцем потрогаю?

Содержатель постоянного двора наклонился к ней, пахнув чесноком. Его светлейшество просит их светлейше-ство пожаловать к ним.

— Мне дурно, Рикарда, — сказал Карл III, когда су-пруга явилась в его темную каморку, дыша вином и весельем.

— А кому хорошо? — ответила она и, повернувшись,

вышла, хлопнув дверью так, что клопы посыпались с перегородки.

А он-то хотел воззвать к ее милосердию, поведать кротко, что дни его сочтены. Хотел просить, чтобы, забыв о естественной ревности, она позаботилась о той, что живет в Ингельгейме, о ее ни в чем не повинном мальчике... Ведь как только меняется власть, новые правители жестоко преследуют того, кто имел несчастье быть любимцем прежних...

Внизу веселье было в разгаре. Уроды под звуки унылой волынки плясали, демонстрируя свои вывихнутые ступни или горбатые спины.

— Вина! — требовала Рикарда, желая угостить всех.

Содержатель постоялого двора скорчил наглуемую мину, заявляя, что без денег он больше ничего не даст.

— Да я тебя! — вскипела Рикарда, но тут же придумала, что делать. Поднатужившись, она сломала золотой браслет и швырнула его содержателю. Тот, ловя, промахнулся, браслет покатился, зазвенел по кирпичам, и уроды с визгом кинулись его искать.

— Ты красавец, мой храбрый Авель, — говорила Рикарда, целуя толстяка в красные, как помидоры, щеки. — Это ничего, что я сейчас на этом вонючем подворье... Я скоро вновь стану императрицей, и я тебя по-царски отблагодарю. Уж скачет мой человек, везет в Париж «Дар Локусты» — страшная вещь! Допустим, говорит Эд своей новобрачной: жарко, мол, хочу испытать! Она и подаст ему кубок, а там...

В пьяном восторге она не заметила, как уроды Крокодав и Нанус переглянулись. Мим тихонечко вышел на конюшню, где тренькали поводьями лошади проезжающих.

## 7

Для бракосочетания короля во вновь воздвигаемом замке в Компендии была специально воздвигнута новая двухсветная капелла, с высокими сводами, с полукруглыми окнами, в которых всех удивляла новинка — разноцветные стекла. В Испанию посылались особые гонцы закупать аравийские курения и ароматы. Ожидался съезд гостей невероятной пышности.

Эра насторожило, что канцлер Фульк, несмотря на свой только что полученный архиепископский ранг, отклонил приглашение венчать короля. Сослался на неужи-

данную болезнь своего воспитанника, простоватого Карла, и уехал с ним в Реймс. Ну что ж, меч Робертинов достаточно могуч, чтобы рассечь все хитросплетения мышинного шелкопера!

Невеста была в ткани столь воздушной, что официальные летописцы уверяли — ангелы накануне свадьбы выткали ей фату из облаков и доставили прямо в светлицу. Придворные дамы блистали таким количеством алмазов, что, если бы это увидели алчные даны, они бы забыли о своем страхе перед Эдом и в экстазе кинулись бы на франкские мечи.

Звучал орган, и это тоже было диковинкой. Первый в стране франков орган построили Людовику Благочестивому греческие мастера лет шестьдесят назад, но он давно пришел в негодность, и о нем успели забыть. А тут этакое музыкальное чудовище, исторгающее звуки Левиафана, а в них землетрясение, буря, благочестивый гимн, плач младенца и все, что угодно изумленной душе. Герцоги завистничали: «Все-то у этого Эда самое изысканное!»

Король слушал орган благочестиво, хотя и находил его утомительным. «Фортунат, что ли, говорил, — проносились мысли, — что многотрубный орган подобен душе с ее множеством страстей? Если так, то в моем органе страсть войны должна играть на самой вопящей из труб». Он улыбался краешком губ, а сам зорко следил за порядком разворачивающейся церемонии.

По древнему обычаю, после венчания невеста (теперь уже молодая) должна была преподнести мужу кубок любви. Придворные, шелестя парчой, спешно перестраивались в два ряда.

Аола взяла серебряный поднос из рук великого кравчего, должность которого, по повелению Эда, теперь исполнял граф Каталаунский, Кривой Локоть. Но вдруг ей стало почему-то дурно, она присела. Ее сестрица, вдова герцогиня Суассонская, и другие дамы загордились ее подоломи платьев. Но тут же расступились — юная королева овладела собой и двинулась навстречу мужу, неся на подносе драгоценный кубок с византийским вином.

Король и Аола медленно сближались в проходе меж рядов придворных. Эд с доброй усмешкой смотрел в ее лицо, как всегда прекрасное, как всегда лишенное страстей. Мысль о многотрубном органе вновь пришла Эду в голову. «Сколько твоих тайных труб мне предстоит узнать?» — думал он, глядя в широко распахнутые черные

глаза жены. За ее плечами стоял Роберт, теперь граф Парижский, какой-то чужой, повзрослевший на десять лет.

— «Venedicite...» — грянул хор, забираясь хрустальными дисками под самые своды капеллы. Эд, по традиции, положил на поднос Аолы бисерный кошель с золотыми солидами и протянул руку за кубком.

— Остановись! — раздался истошный женский крик. — Остановись, если хочешь быть жив!

Придворные оборачивались, браня клириков, которые вечно напустят в храм кликуш. Эд хотел разразиться гневом по поводу стражи, как вдруг увидел, что молодая бледнеет, сквозь пудру у нее поблескивает пот и она садится прямо на пол. Эд сунул брату поднос с кубком, а сам подхватил на руки это удивительное создание в ворохе белой пены.

— Остановись! — кричала, пробиваясь сквозь парчовые ряды, старуха. — Главное — не выливайте кубок, не выливайте!

Все с негодованием узнали Заячью Губу, взмокшую, растрепанную, безобразную до предела.

— Я скакала, боясь не успеть...

— Послушай, — обратился к ней Эд, положив Аолу на церковную скамью, — все имеет, наконец, свои пределы. Кто дал тебе право... — Он грозно возвысил голос.

— Тебя хотели отравить! — В страшном волнении колдунья схватила его за руки. — Сынок! Не верь здесь никому!

Окружающие возмутились. Особенно громко протестовал великий кравчий граф Каталаунский:

— Обвинять в отравлении! И кого — новобрачную! Невозможно... И как она смеет, эта грязная ведьма, осквернять своим присутствием христианский храм?

И Кривой Локоть взял с подноса, который все еще держал Роберт, злополучный кубок и хотел его вылить в раскрытую фрамугу цветного стекла. Но Заячья Губа выхватила кубок, расплескав.

— Она обнаглела! — сказал Эд. — А ну-ка, гнать ее плетью!

Но Заячья Губа в преданной улыбке показала ему свой единственный зуб.

— Вот увидишь, сынок, что я теперь сделаю ради тебя...

Одним духом она выпила добрую половину кубка. Тут же герцогиня Суассонская вскрикнула и повалилась в обморок рядом с сестрой, а Кривой Локоть стал заметно



продвигаться к выходу. И это не ускользнуло от напряженно размышлявшего Эда. Он принял мгновенное решение:

— Эй, палатины, ни одной души из капеллы не выпускать!

А у Заячьей Губы на впалом рту уже пузырилась пена, она охала и просила подать стульчик и хоть глоток воды. Она указала королю на Аолу.

— Обыщи ее... Ты найдешь на цепочке яд!

— Неужели ты станешь ее обыскивать? — Роберт преградил старшему брату дорогу. — По наветам злобной ведьмы?

— Какой позор! — вторил Кривой Локоть, бледный как полотно.

— Молчите! — повелел Эд. — Я король!

И он снял с шеи прекрасной Аолы сердцевидный медальон на цепочке, на котором была выгравирована надпись: «Дар Локусты».

— Итак, великий кравчий, — обратился Эд к Кривому Локтю, — ты продолжаешь уверять, что в кубке не было яда?

— Г-готов по-поклаться на святом Евангелии! — Доблестный граф Каталаунский вдруг начал заикаться.

— Значит, ты еще и клятвопреступник? — К Эду вернулась сатанинская усмешка той поры, когда он звался бастардом. — Пей, падаль, из кубка, там еще предостаточно!

Кривой Локоть обратился в бегство, надеясь как-нибудь выбраться из капеллы. Эд догнал его, железной рукой стиснул его шею, насильно влил в горло жидкость из кубка.

И Готфрид, граф Каталаунский, упал на каменные плиты капеллы. Его били конвульсии, он пытался кричать, проклинать, но задышался от пены, льющейся из рта. Через пару мгновений он был мертв.

— Дар Локусты, — сказала, обмахиваясь, Заячья Губа, которой наконец подставили стульчик, — страшная вещь! Увы, и я последую за ним, только не так скоро, потому что я принимала противоядия.

Всю ночь во дворце Компендия никто не сомкнул глаз. Всю ночь передавали из уст в уста новости, одну страшнее другой.

Король велел раздуть в кузнице горн и сам подвесил над ним прекрасную Аолу. Несчастные герцог и герцо-

гиня Трисские, словно простые поселяне, у дверей кузницы ломали руки, слыша крики дочери. Эд приказал гнать их за ворота, поскольку после таинства святого венчания он один отвечает перед богом за тело и душу жены.

Всю ночь люди в Компендии молились, чтобы бог усмирил гнев короля и облегчил страдания королевы. Зная, какими выходят после пыток, люди горевали о загубленной красоте, подобно которой уже не сыскать во всей земле франков.

На рассвете Эд вышел из кузницы, отирая со лба копоть и пот. Отбросил клещи и сказал ожидавшим у дверей врачам:

— Вы не нужны. Попа и могильщика!

Роберту он приказал забирать свою свиту и возвращаться в Париж, присовокупив: «Счастлив твой бог, Робертин!» Посланный им в Реймс отряд всадников вернулся ни с чем, потому что канцлер Фульк оказался кем-то предупрежденным. Спешно подхватив принца Карла, его родственников и сокровища, Фульк скрылся через бургундскую границу. Разнесся слух, что схвачен Бальдер, бывший пфальцграф императора, и в ошейнике приведен к суду Эда. Придворные, потеряв голову, скрывались кто куда может.

Рикарду отыскивали на постоялом дворе близ лотарингского города Туля. Отправив через границу гроб с телом мужа, она продолжала увиваться за толстяком Авелем, а когда тот в одну прекрасную ночь удрал от нее, она начала кутить с проезжими купцами. «Ведь я бывшая императрица!» — хвасталась она собутыльникам... «Гого! — потешались те, оглядывая ее опухшее лицо и лохмотья. — Вот загнула!»

## 8

Король охотился, когда ему сообщили, что ведьма, то есть госпожа Лалиевра, послала сказать, что умирает. Эд носился по лесам как бешеный, убивая все, на что только падал его взгляд. Услышав о Заячьей Губе, он немедленно повернул коня.

Старуха лежала в комнате, где еще какой-то месяц назад Азарика ждала тщетно, что Эд придет ее навестить. Заячья Губа настояла, чтоб окна закрыли шторами и солнечный день, шум ветра не проникали сюда. В воздухе стоял плотный запах тления.

— Чего ты от меня хочешь? — спросил Эд. — Я и так

тебя пощадил — ведь, в конце концов, яд-то приготовила ты.

— Я не о яде, — просипела старуха, отирая губы, на которых все сильнее пузырилась смертная пена. — Я звала тебя, чтобы открыть тайну... Великую тайну для тебя!

Эд подвинул табурет и сел, нервно пощелкивая хлыстом.

— Слушай, Эд, король Франции, ведь я твоя родная мать. Да, да, это истина, Эвдус Первый и единственный, это так! Не вскакивай, не хватай меня за руки, не воображай, что я тебя интригую, ведь мне теперь это незачем... Не успеешь ты сделать шаг отсюда за порог, как я покину этот свет!

Да, я поступила, как кукушка, подкинув тебя к чужой, неласковой к тебе матери, но посуди сам, смог бы когда-нибудь сын колдуньи стать королем? Народ говорит — бобер не родится у свиньи... Не скажу, чего мне стоило заставить Аделаиду объявить тебя своим сыном, теперь уж это значения не имеет. Но я не бросила тебя, я все время была незримо с тобой. Знаешь, какой выкуп я заплатила Сигурду, чтобы освободить тебя, когда ты был гребцом на его дракаре? Я вынудил Карла III отдать ему Фрисландию, целую страну!

Подай, сынок, — ведь я теперь могу называть тебя так? — подай, сынок, вон то питье. Мне совсем худо... И как же тебе не сделаться было королем, ведь я, лишь только ты родился, увидела, что ты вырастешь самым красивым, самым мужественным, самым дерзким в стране франков!..

И она запела дребезжащим голоском, то и дело переводя дух:

Из горсти я земли твою слепила плоть,  
Из ветра вольного дала тебе дыханье,  
Из радужных цветков — прекрасные глаза,  
Из пламени — в крови могучей ликованье.  
Как облако, изменчивым тебя  
Я сделала на гибель вражьей рати,  
Из солнца разум светлый создала,  
А душу — из небесной благодати...

— Постой! — остановил ее Эд. — Так, значит, Роберт Сильный мне не отец?

— Увы... К несчастью... Или к счастью... нет! При всей своей бессмысленной отваге был он туп, как пробка, и зол, как кабан. Ты у меня не такой...

— Но кто же тогда, скажи!

— Имя тебе ничего не даст. Он тот, кого вы называете «чернь», земляной мужик, упокой, господи, душу его в раю. Но вот у кого, как говорится, был царь в голове. За всю свою длинную и пеструю жизнь другого такого я не встречала...

Молчали. Эд, насупившись, размещал под упрямым лбом то, что услышал. Старуха тоненько сипела, отходя.

— Впрочем,— вздохнула она,— ты думаешь: старая, мол, ведьма, по сатанинской вредности своей все это придумала, чтоб и после смерти вредить... Бог с тобой, веруй как знаешь!

— Недаром же Озрик,— вдруг сказал король,— все твердил мне об этих... земляных мужиках!

— Озрик! — заперхала Заячья Губа, что заменяло ей смех.— Ах, бедный, наивный мой король! Неужели до сих пор ты не знаешь, что это вовсе не Озрик, а Азарика?

— Мне говорили много раз, предупреждали, даже доказательства предъявляли... Тогда я послал верного человека к канонику Фортунату, ведь в его келье впервые явился мне этот мальчик. Спросил только вот что: «Оборотень ли Озрик?» Знаешь, что он мне ответил? «Это твой ангел-хранитель». Но ведь Фортунат мой крестный отец!

Заячья Губа лежала, шевеля пальцами, видимо собираясь с духом. Приподнялась, выцветшие глаза ее зажглись.

— Слушай, король. Жизнь страшна, мир жесток. Бог дает любовь, чтобы сделать хоть как-то переносимым наше адское житье... Береги же любовь, ибо нет большей славы и большего богатства, чем любовь!

— Но кто же полюбит меня!

— Вот видишь, и тут ты виден целиком. Ты не спросил: кого же буду любить я? Ах, сын мой, сын,— ничего от себя не отдавая, ничего от людей не получишь взамен. Горько мне уходить и сознавать, что сын мой и в королевской короне останется несчастливейшим из людей...

И они снова молчали, потому что не было между ними живой нити, которая скрепляет сердца.

— Послушай! — встрепенулась старуха, глаза ее вылезали из орбит: видимо, конец уж был близок.— Послушай



же! Я не могу... Я не могу оставить тебя одного... Скачи! Мчись скорей в Андегавы, к святому Эриберту, лети, гони... Загони всех лошадей, только поспей, ибо есть у меня предчувствие — ты можешь опоздать!

9

Старый Фортунат перевернул страницу Хроники и увидел, что это последний лист и больше писать негде. Кончается отпущенное, завершается начатое, хоть и путь долог, и людские желания безмерны.

«Канцлер же Фульк,— выводил он, и теперь после каждой строчки ему приходилось останавливаться и отдыхать, словно пахарю на борозде.— Канцлер же Фульк не смирил своей гордыни... Не признав королевы Эда и бежав к коварным бургундам, он принял их помощь, и, наняв еще лотарингцев, которым бы только пограбить, он перешел границу Франции. Под городом Реймсом он развернул знамена принца Карла, именуемого одними Простоватый, другими же Дурачок, и провозгласил его монархом. Боже милостивый, опять в стране сразу два короля!»

Еще с утра у святого Эриберта названивали колокола, слышались приветственные клики. Праздника вроде бы сегодня никакого, удивлялся каноник, встречают, что ли, кого? То, что его не позвали на торжество, его не обижало — он уже привык!

Тень мелькнула в затянутом пузырьем окошке. «Озрик!» — подумал Фортунат и тут же отверг предположение. Озрик давно перестал появляться.

На пороге выросла фигура громадного роста, еле проходившая плечами в дверь. Фортунат привстал, взгляделся, ноги его задрожали, он заторопился вылезть из-за стола.

— Государь...— бормотал он, становясь на колени.— Король Эд... Бедному отшельнику великая честь!

Но король не допустил его стать на колени, усадил на табурет, сам неуклюже разместился на полу, у его ног. Он, по-видимому, пришел без охраны, потому что никто не следовал за ним и все тихо было в полуденном лесу.

После вопросов о здоровье Эд прямо спросил об Азарике.

— Так ты, значит, тоже знаешь, кто она? — спросил каноник.

— Да, я теперь все знаю о ней.

Фортунат покачал головой. С тех пор как Азарика вернулась раненой в его келью, он чувствовал, что с ней что-то неладное творится в этом лесу, на этой реке. Но он немог, передвигаться споро не может да и считает унижительным за кем-нибудь следовать... Вот лежит ее панцирь, шлем, воинские сапоги, только перевязь с мечом она унесла с собой. Не так давно на Лигере видели бретонскую барку, расписанную мордами лжебогов. Не похитили ли уж ее бретонцы?

— Она не такова,— возразил Эд.

Фортунат сокрушенно сцепил руки на чашлоу груди.

— Ушла она в мир, который нашей скудости недоступен...

Эд выбрался из кельи. Лесной шум растревлял грусть, и он с изумлением убеждался, что этого чувства светлого до сих пор не знал. Спустился к реке, камушки осыпались из-под подошв. Опытный его глаз различил в осоке след кия большой ладьи, еще недавно она стояла здесь.

Вот заводь, камыши клонят по ветру коричневые свечи, плывут водоросли по темной стремнине. На песке пересохший, осыпавшийся след маленькой, наверное женской, ноги... Здесь она купалась, ходила босиком по траве. Как странно называть «Она», когда в воспоминаниях только и думаешь: «Он!»

И вдруг король различил в остролиственных ветвях ивы, нависших над самыми струями реки, человеческую фигуру. В сетке солнечных бликов только и видать было, что кто-то сушит и расчесывает черные волосы. Королю не пристало бояться, да и чего мог бояться он, рыцарь, в этой глуши? Но в памяти ослепительно возник олень золоторогий, скачущий где-то в Туронском краю. Олень мчится, и страх нестерпимый мучит и мучит: не поймать, не схватить, не удержать, и исчезнет, теперь уж навек, оборвется единственная нить надежды...

Он сделал осторожный шаг, боясь хрустеть песком, и вдруг наверху, где-то в роще, заплакал младенец. Женщина над водой обернулась — это была Азарика. Увидела Эда, и сначала ужас, потом боль и муку мог прочесть он в ее взгляде. Но все же трепетная радость пересилила все и засияла в ее глазах, огромных, как две вселенные.

Спотыкаясь, словно мальчишка, король шел к ней, протягивая руки.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

И еще долгие сто лет царствовали Каролинги в Западно-Франкском королевстве, которое с тех пор именуется Францией. Карл Простоватый, или Дурачок (Carolus Simplex sive Stultus), во главе армии лотарингских и бургундских феодалов опустошил страну до реки Сены и занял Реми (Реймс), где Фульк поспешил возложить корону и на него. Война то угасала, то разгоралась с новой яростью, мятежи и нашествия раздирали королевство. Наконец, в зимнюю стужу 898 года Эд умер от черной оспы, завещав своим баронам подчиняться Карлу, чтобы распря прекратилась.

Царствование Карла было печальным. Голод и болезни косили народ. Париж обезлюдел хуже чем после норманнов. Ничтожный король не пользовался ни любовью, ни уважением. Это именно он заключил унижительный договор с Роллоном, новым главарем норманнских разбойников, уступив ему прекрасный край, который теперь зовут Нормандией. Непокорные феодалы держали короля в темнице, а жена его и дети бежали за рубеж.

В 922 году королем был снова избран Робертин — не кто иной, как младший брат Эда — Роберт. Хронисты сохранили о нем добрую память: «Никогда не причинял он несправедливости, не взывал к мести. Он любил простоту, был мягкий, помнящий добро, характер имел более благоприятный, нежели жестокий...» Ему тоже пришлось уступить трон вернувшимся Каролингам. Однако родным внуком его был Гуго Капет, после которого, вплоть до удара гильотины 1793 года, во Франции уже непрерывно царствуют произошедшие от Робертинов Капетинги и их ответвления — Валуа и Бурбоны.

Дело, однако же, не в том, какой династии король сидит на престоле. Каролинги знаменовали собой уходящее



время ленивых королей, неторопливого бытия, патриархальных нравов, когда господин не столь уж отличался от своих полусвободных землепашцев. За Робертинами стояло возникающее рыцарство — с его жестокостью, алчностью, высокомерием, с его религией войны и грабежа. В условиях того времени рыцарству суждено было победить: ведь средние века лишь начинались. Все было впереди — готические соборы, турниры, песни трубадуров, крестовые походы. Жакерия и альбигойцы... Тяжкий груз черных столетий только ложился на плечи человечества. Пройдет немало времени, пока оно поймет, что нужно строить мир без угнетения, без ненависти и кровопролития, и начнет воплощать это в жизнь.

Все главные лица, описанные в этой книге, исторически достоверны, они действительно существовали. Историк находит свидетельства их жизни то в древнем свитке, то на камне монумента. Современному туристу, например, если он посетит городок Анделау в Эльзасе, покажут монастырь, в котором сохранилась гробница императрицы Рикарды, и расскажут о ее необыкновенно благочестивой жизни. В Париже, на набережной Сены, есть бронзовая доска в честь героев, погибших во время осады 886 года.

Только имени Азарики историк не встретит в летописях и документах. В грамоте монастыря святого Вааста глухо упоминается о каком-то пожертвовании, которое король Эд перед своей кончиной сделал ему в память безвременно умерших «возлюбленной супруги своей Теодерады (*carissima conjunx nostra Theoderada*)» и единственного сына Ги, или Гвидо. Кто были они? В те времена, если простолюдинке случалось вступить на престол, ей меняли тронное имя. Почему они умерли так рано? Об этом мы не знаем ничего.

Мы намеренно не прилагаем здесь ни словаря, ни обширных комментариев. Если тебя, юный читатель, тронет судьба героев этой книги, возьми энциклопедии, возьми труды по истории, прочти о них подробнее. И вдруг ты сам захочешь стать историком, а что может быть увлекательней задачи — счастливым поколениям ныне живущих раскрыть и показать страдания и радости, ошибки и успехи, мечты и деяния предков, на плечах которых стоит наш мир.

*Автор*

# СОДЕРЖАНИЕ

## АЛКАМЕН— ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК

### Историческая повесть

Познакомьтесь со мной . . . . .	13
Теперь познакомьтесь с моим богом . . . . .	15
Жрец Килик . . . . .	19
Мнесилох-прихлебатель . . . . .	20
Мыши, торговки и лепешки . . . . .	24
Скупщики детей . . . . .	28
Театр . . . . .	31
Ночные разговоры . . . . .	34
Еще один враг . . . . .	37
Рождение «Беллерофонта» . . . . .	40
Девочка . . . . .	43
Расправа . . . . .	46
События надвигаются . . . . .	48
Остракизм . . . . .	53
Борьба переносится в театр . . . . .	58
Праздники . . . . .	60
«Скованный Прометей» . . . . .	63
Заговорщики . . . . .	65
Безумный день . . . . .	71
Палки в колеса . . . . .	75
Неожиданный дебют . . . . .	77
Успех, успех! . . . . .	80
Катастрофа . . . . .	83
Право убежища . . . . .	85
Когда рабом быть— удовольствие . . . . .	89
Сады Академии . . . . .	92
Ареопаг . . . . .	97
Священная змея . . . . .	102
Последний день города . . . . .	107
Отщепенец . . . . .	111
В гавани . . . . .	115
Город вымер . . . . .	117
Ночной бой и погоня . . . . .	121
Рассвет . . . . .	124
Тяжкая дорога . . . . .	128
К морю . . . . .	131
Саламин . . . . .	135
Ночь перед битвой . . . . .	139
Аристид . . . . .	141
Перебежчики . . . . .	144

Артемисия . . . . .	147
Мятежники . . . . .	153
Остров Пситталия . . . . .	158
Афинское кладбище . . . . .	162
Последнее представление . . . . .	167

## ПОСЛЕДНИЕ КАРОЛИНГИ

### Исторический роман

Глава первая. Дочь колдуна . . . . .	175
Глава вторая. У врат учености . . . . .	206
Глава третья. Пир мечей . . . . .	229
Глава четвертая. Оборотень . . . . .	260
Глава пятая. Робертины против Каролингов . . . . .	300
Глава шестая. «Качается, но не тонет» . . . . .	348
Глава седьмая. Милосердие . . . . .	391
Послесловие . . . . .	429

*Александр*  
**ГОВОРОВ**

Собрание сочинений  
в четырех томах

**Том 1**

Редактор *С. Кондратов*  
Художественный редактор *И. Сайко*  
Технический редактор *Г. Смирнова*  
Корректор *З. Комарова*

Сдано в набор 12.10.92. Подписано в печать 27.01.93. Формат 84 × 108<sup>1/32</sup>.  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 23,52.  
Уч.-изд. л. 25,38. Тираж 50 000 экз. Заказ 2134.

Издательский центр «ТЕРРА».  
109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Отпечатано на Можайском полиграфкомбинате Министерства печати  
и информации Российской Федерации.  
143200, Можайск, ул. Мира, 93.



